95 коп.

Индекс 73276

В последних номерах 1990 года
и в 1991 году журнал «НЕВА»
планирует опубликовать:

Даниил Гранин. «Наш дорогой Роман Авдеевич», повесть

Владимир Дружинин. «Именем Ея Величества...», исторический роман

Анатолий Злобин. «Мешок законов», фантасмагория

Дмитрий Лихачев. «Как мы остались живы», блокадные записки

Юрий Рытхэу. «Интернат», повесть

Юрий Слепухин. «Час мужества», роман

Александр Солженицын. «Красное колесо» («Март Семнадцатого», том II)

Аркадий и Борис Стругацкие. «„Жиды города Питера", или Невеселые беседы при свечах», фантастическая комедия

Феликс Светов. «Тюрьма», роман

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой», книга вторая, 1940—1949 гг.

Михаил Чулаки. «Анабасис», роман

Владимир Шаров. «Репетиции», роман

Журнал продолжает знакомить своих читателей с творчеством лауреатов Нобелевской премии. В 1991 г. будут опубликованы «Смерть Агасфера» и «Пилигрим в море» П. Лагерквиста (перевод со шведского). В разделе публицистики «Невы» найдет отражение широкий круг проблем современности, будет продолжен дискуссионный разговор под рубрикой «Политический клуб „Альтернатива"».

Подписка на журнал принимается без ограничений

«Нева», 1990, № 9, 1—208

ISSN 0130—741X

9/1990

А. СТРУГАЦКИЙ,
Б. СТРУГАЦКИЙ
«Жиды города Питера», или Невеселые беседы при свечах
Комедия

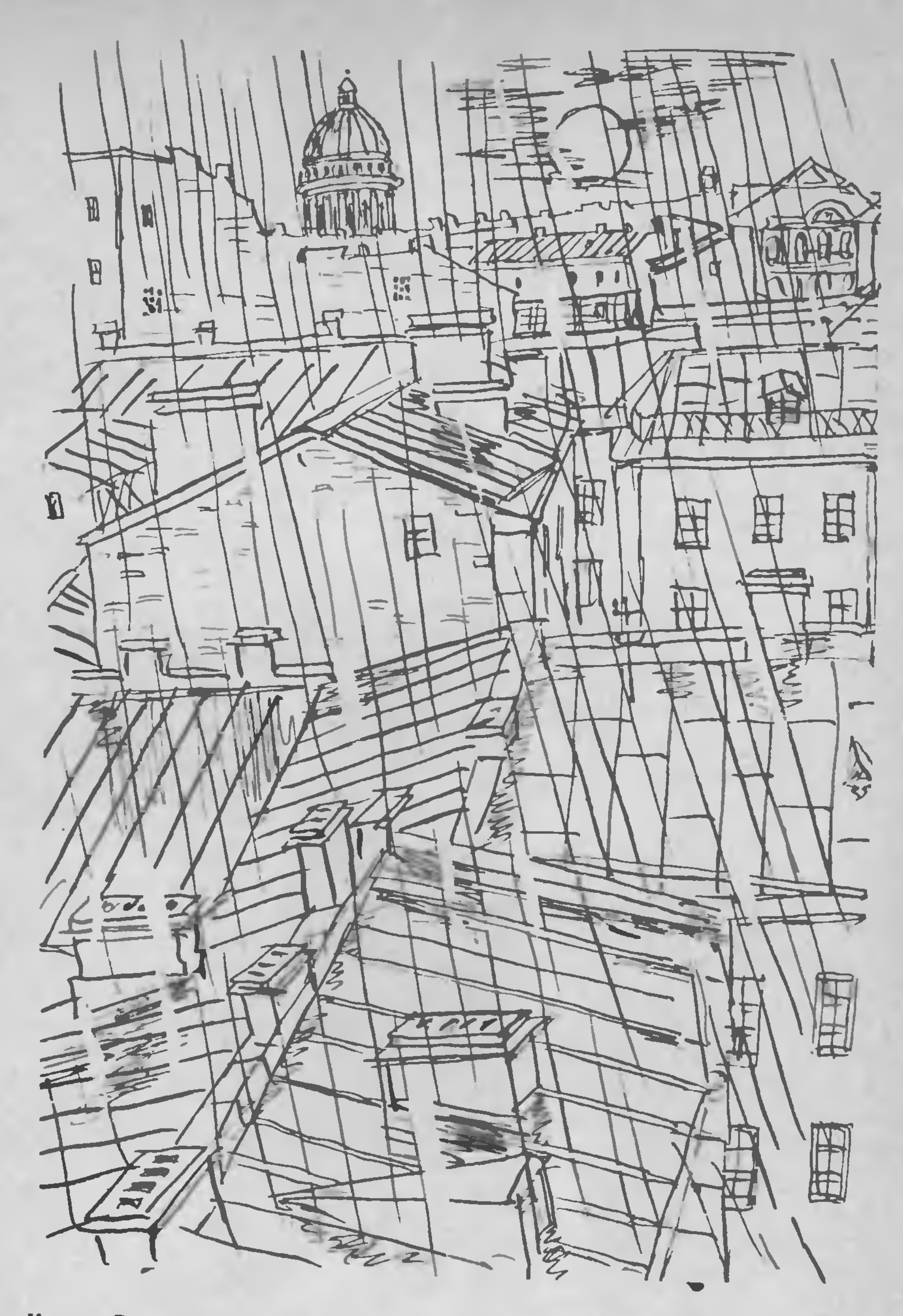
Нева

В. ФЕДОРОВ
Жареный петух
Повесть

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. ЯНОВ
Русская идея и 2000 год



Крыши Васильевского острова
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

9/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Редакция приносит свои извинения читателям за ошибку, допущенную в «Неве» № 7. Премия журнала «Нева» в 1989 году присуждена Аркадию и Борису Стругацким за роман «Град обреченный».

Сдано в набор 27.05.90. Подписано к печати 03.08.90. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 23,15 уч.-изд. л. Тираж 615 000 экз. Заказ № 269. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3.
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Виктор
МАКСИМОВ

Пулеметы строчили,
шли к победе полки...
Нас учили, учили
вдаль глядеть с-под руки —
в лучезарные дали...

. . . .
Вздох со всхлипом, с трудом...
. . . .
Мы не жили — мы ждали.
Мы чего-то все ждем...

Очкарик

— Сын не отвечает за отца,— сказал военком,
зачисляя Очкарика в Народное ополчение.
Но в разведку его не взяли.
— Только тебя нам и не хватало! — пояснил
старший сержант Сидоров.
И Очкарик три недели протрубил в обозе.
В ту, последнюю, ночь он читал Эразмову «Похвалу глупости».
На латыни, разумеется.
Другие писали письма, а он вот читал у коптилки.
Чудной такой, и очки отсвечивают.
А в полшестого рота пошла в атаку.
Его убило первым же снарядом, разорвавшимся в цепи.
Осколок угодил в сердце.
А еще взрывной волной у него сшибло очки.
— Эй, студиозус! — окликнул Очкарика
стоявший у входа в Рай апостол Петр.
Но оглохший от взрыва ополченец даже не оглянулся.
Широко раскрыв незрячие глаза свои,
Он прошагал мимо райских кущ — туда, в Неведомое,
к получившему десять лет без права переписки отцу.
Странный такой без очков.
Последний,
кто читал у нас Эразма Роттердамского
в подлиннике.

Слепой богатырь

Простирая руки вширь,
бродит днями и ночами,
ищет света богатырь
с выколотыми очами.

Стонет он: «Моя вина!»
Кается: «Моя ошибка!»
И вперед устремлена
его горькая улыбка.

А вокруг молчит страна,
так молчит, как будто нету,
все молчит, молчит, страшна...
Только дух на всю планету.

Только шелест лебеды
по-над мертвой тишиною,
только небылью следы
порастают за спиною.

Святогор

Трижды умер ворон на дубу.
И во глубине родного края
ворохнулся богатырь в гробу,
всколыбнулась мать-земля сырая,
покатились рюмки по столам,
небо раскололось пополам,
нечисть повылазила из нор,
свет перекрестился: ну и сила!..
Повернуться вздумал Святогор
с боку на бок... Да не тут-то было!
У Днепра лежал он аккурат.
Сверху сталь по стали грохотала.
Тяжелее стала во сто крат
отчина былая от метáлла,
от дерьма огрузла за века...
Да и мы с тобой не уследили:
придавили дамбой старика,
скважиной к эпохе пригвоздили.

◆◆◆

О, эти игры напоследок,
когда ни шагу без таблеток
(Что?! Прихватило! Поделом!..)
О, эта молодость вторая,
когда, себя же презирая,
прикидываешься орлом.
И, пуча взор, как Петр Великий,
в каких-то диких Озерках
с натужным счастием на лике
зазнобу носишь на руках.

◆◆◆

Девушка в летнем платьице
ходит по декабрьскому городу,
по такому ночному городу.
Девушка в ситцевом платьице
в окна и двери стучится,
ладони дыханьем греет
и снова стучится, стучится...
Ходит бездомная, ходит,
стучится в окна и двери.
Спит беспробудный город,
тихого плача не слышит.
По ночному зимнему городу
ходит девушка без документов,
нету у нее документов,
какие у Любви документы?
У нее, стрекозы, лишь надежда,
вера и такая вот надежда:
ну, а вдруг да кому достучится,
ну, а что как не все в этом городе
муравьиным заснули сном.

◆◆◆

Шеей долог, волосьями редок,
в шрамах весь, как шуваловский лось,
я хочу постоять напоследок
там, где счастье со мною стряслось.
Там, где сумрак на сад опустился,
там, где кованый вздрогнул орел,
когда воздух волшебно сгустился
и твои очертанья обрел.

Полет

Мы летели над облаком светлым.
За плечами клубилась гроза.
И полны были рты наши ветром,
и полны были небом глаза.

Вражьи пули уже не свистели
и давно не работала связь.

Мы летели в обнимку, летели,
все летели мы, слез не стыдясь.

От родного гнездовья — о, боже! —
как чернобыльские журавли,
улетали... И не было больше
там, под облаком светлым, Земли.

◆◆◆

Залетала радость ненадежная,
бодро напевала:
— Не грусти!
Заходила правда невозможная,
говорила, горькая:
— Прости!
Заползала смерть недостоверная,
в третий раз шептала:
— Это я!..
. . . .
Нараспашку дверь моя фанерная,
наготове душенька моя.

Евгений
ФЕДОРОВ

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ

Роман

Посвящается светлой памяти
Ирины Игнатьевны Муравьевой

ДВЕНАДЦАТЬ

Нелепо ли ны бяшеть, братие, подвигнуться и взяться за обстоятельное слово об Александре Сергеевиче Краснове (да, вы не ошиблись: о том самом, ныне легендарном, почти легендарном), воссоздать хотя бы годы его славного, трудного, кощеева жития на комендантском ОЛПе Каргопольлага, которые целиком и огулом выпали из поля рассмотрения дошлых современных Боянов (у Померанца ни слова; поразительно, если знать, что они на одном ОЛПе пребывали, да и позднее энергично знались, общались в период Ирины Игнатьевны). О житие Краснова на ОЛПе-2 я непосредственно и капитально осведомлен, не хуже, чем кто-либо: вдумчивый, внимательный, честный, истинный свидетель. Вообще-то с Красновым я водился не одну тысячу лет, съел с ним пуд соли, вылакал добрую цистерну водки — словом, мы накоротке, можно храбро сказать, что мы старые, закадычные, большие други, хотя есть мненьице, что нет положительно ничего более странного и загадочного, чем эта перманентная, не подверженная ржавлению дружба: так несхожи дружбующие. Друзья, как не раз говаривал мой замечательный учитель Андрей Андреевич Губер, цитируя кого-то из тех античных, не то Сципиона Африканского, не то его славного кирюху Гая Лелия, суть «лучшее украшение жизни». Так-то думали справедливые римляне. А в конечном итоге о дружбе здорово и знаменательно высказался Цицерон: «Бессмертные боги, пожалуй, за исключением мудрости, ничего лучшего людям не дали». А как ярко, проникновенно, сиротски трогательно и романтично пел о дружбе наш бесценный, горячо любимый Пушкин. «Я слышу вновь...» В стихах это изумительно! Как жаль, что Пушкин, в отличие от Шекспира, совершенно не переводим на другие языки, человечество обречено на непонимание нас, русских: чего это мы носимся с этим поэтом как с писаной торбой? Расточаем медоточивые речи. Какие основания считать, что после Бога Пушкин величайший творец? Вот и я, стало быть, горжусь своею дружбою с Красновым. В то дальнее, допотопное времечко, когда мы только что осторожно обнюхались, свели первое знакомство, — эх, беспардонно давно же это было, сколько воды в Москва-реке утекло с тех пор! Конец 1947 года — вот когда мы познакомились. К повести о той поре я и приступаю. Если говорить начистоту и нараспашку, то приступаю с подлинной робостью, с умоарительной дрожью в коленках, с нерешительностью, которая вообще-то не свойственна мне: я чужд всех этих «быть или не быть», «иметь или не иметь». Конечно, быть! Конечно, иметь! Отнюдь не потому в душе моей мерехлюндии и гамлетизмы, что тогдашнее, отшумевшее, историческое времечко было довольно трудное, прискорбное,

---

Евгений Борисович Федоров родился в 1929 г. в г. Иванове. Был репрессирован в 1949 г. (8 лет ИТЛ). Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, кандидат педагогических наук. Лауреат литературной премии им. В. Даля. Живет в Москве.

охота на ведьм, анафемное (что было, то было,— любил говаривать Губер,— из песни слова не выкинешь). Дело в том, что я сам жил в эти годы, у меня своя, независимая, пусть и маленькая колокольня, с которой я вижу все по-своему, без прикрас, без шор, не по шаблону, не так, как другие, как принято. Я открываю рот — мною недовольны и справа, и слева. Ни с кем в ногу не попадаю. Не легко и не просто взять да и пойти против общего непререкаемого течения, «начати же ся той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню». Ой, не легко! Я отнюдь не Геракл, не Ахиллес, даже не Савонарола, не протопоп Аввакум. Очень даже мне не по себе, когда думаю, что буду косо и криво затолмачен новоиспеченными, борзыми Боянами, гордыми, оголтелыми, дерзающими, дерзкими, дерзновенными. А я страшусь смелой, критически мыслящей, но в те годы дальние не жившей молодежи. Не мне переть, как грубый танк, наперекор труб времени. Ой, не мне! Ой, рискую! Как муху раздавят. Пятая лагерная заповедь громко гремит: ..! Что в переводе с русского на стерильно литературный значит: не мочись против ветра!

Все вдруг мгновенно прозрели, заскакали романтической резвой белкою по древу, «серым волком по земли, шизым орлом под облакы», запели Окуджаву, Высоцкого, Галича. А мне как быть? Подпевать?

Мы с Красновым, собственно говоря, сверстники, одногодки. Из яйца вылупились в один день, 12 декабря. Вообразите себе, случилось это знаменательное происшествие в одном и том же роддоме столицы нашей родины Москвы, кажется (сейчас уже не проверишь), в одной палате. Нас даже могли — хе-хе! — запросто, невзначай перепутать. Такие случаи бывают, не редки: нянечки сонные, опустошенные однообразной работой, изнуренные, усталые. Они смотрят на такие вещи философски. Не все ли равно! Родились мы под одной звездой, но наши характеры, жизненные пути круто разнятся, и заметно это невооруженным глазом. Мы очень разные. В наше время опять вошли в повальную моду всякие японские, тибетские календари, астрологии, суеверия. Интеллигенция увлеклась сказкою, уверовала, что небо и мерцающие, вечные, прекрасные звезды оказывают роковое, пагубное влияние на земные дела. Все то, что в старину называлось судьбою, фортуной-индейкой, жребием, счастливым или несчастливым, все то, чем у греков испокон заведовали могучие мойры (у римлян — парки), которые, как сказал поэт, «плетут нить бытия роковую»: Лахесис, «дающая жизнь», Клото, «прядущая», Атропос, «неотвратимая»,— все зависит от звезд, луны, неба, может быть, исчислено, подсчитано, предсказано с помощью гороскопов. Приведу любопытнейшую историю, которую слышал от своего любимого, мудрого учителя, Губера. Дело было, поди, в 3-м веке нашей эры (уточнять неохота, некогда, незачем: не все ли равно, 3-й век или там 5-й). Один ушлый римский патриций решил, что вера не должна расходиться с делом, согласовал и рассчитал, не валяя дурака, свой брак с данными гороскопа невесты, а именно: женился на бойкой, умной, страстной девице, гороскоп которой предсказывал брак с императором. Как? Хорош гусь? Читатель будет смеяться, когда узнает, что вскоре он потянул одеяло на себя, захватил власть, разбил наголову противников, был провозглашен императором. Это небезызвестный Септимий Север, счастливчик, хронический удачник. О нем с почтением говорится в учебнике Машкина, по которому я сдавал историю Рима. Его жена — трепетная Юлия Домна: императрица, мать императора Каракаллы, покровительница литературы, философии. Блок о Септимии Севере: «Была бы на то моя воля, просидел бы всю жизнь в Сеттиньяно, у выветрившегося камня Септимия Севера». Анекдотик о ловком, энергичном римлянине, конечно, примечателен, но, на мой взгляд, ровно ничего не доказывает. Ничуть не больше, чем милый французский фильмик «Фанфан-Тюльпан», с Жераром Филиппом в главной роли. Так считаю я, а вы, читатель со мною можете не согласиться. Как угодно. Я — человек старой закваски: ни на йоту не верю в приливы-отливы морей и бескрайних океанов, в действие на расстоянии, в то, что проказница Луна вызывает и определяет менструальный цикл милых девочек, не верю в гороскопы, биоритмы, иглоукалывание, содружества и гневные, ревнивые раздоры планет. Чужды мне эти дикарские, пошлые забавы. Такой уж я человек. А тем, кто всерьез в это играет, надо в ноздри продеть кольцо, водить их по улицам, показывать. Но если попытаться быть до конца честным, то придется сознаться, что было такое время (последние дни во Внутренней тюрьме, в воронке, в столыпине, на верхних нарах вагонки, в карантине), когда мне порою, сознаюсь, сквозь тусклую, туманную даль мерещилось, что моя неразлей-вода с Красновым не случайна, а форменно судьбоносна, что мы, горемыки, связаны, повязаны, неразлучны, как несчастные сиамские уродцы. Притом именно по жребию рождения: будь проклята цифра 12! День рождения — 12 декабря, арестованы в один день, 12-го, месяц ноябрь, сидим, в 12-й камере, наши дела жалует вниманием, распутывает майор ГБ, Кононов, в один день, 12 июля, нам зачитают решение Особого совещания, засим 12 августа утрамбуют в воронке, завезут на Северный вокзал, воспетый Магалифом. Кругом, куда ни плюнь, 12. А вот и Каргопольлаг, легендарный, несокрушимый ОЛП-2, комендантский. Астрология сплошь и на всех парах. «Неспроста,— задавал я себе вопросик,— или пустая, тупая, глупая, бессмысленная игра случая?» Никто нам с вами, читатель, на этот вопрос никогда не ответит.

Стало быть, знаком я с Красновым хоть и не со времен Трояновых, но давненько (сравнительно с другими): познакомились во Внутренней тюрьме МГБ еще в юном, нежном возрасте, про который в вечной, прекрасной Илиаде очень ладно по случаю говорится: «Первой брадою окутанному, коего младость прелестна» (Гнедич; неплох перевод, но мне нравится другой: «С первым пушком на губах — прелестный юности возраст»). Нам еще нет двадцати, скоро стукнет, брякнет. Сосунки еще мы, но сосунками себя вовсе не чувствуем. Пролетят годы, Краснов позволит себе надсадную, ходульную, вымученную остроту (вынужден согласиться с прекрасной полячкою Иреной, лагерной пассией Краснова: с юмором у Саши нелады):

— Наша дружба, как проспект Маркса, берет начало с Лубянки.

Читатель, случалось ли вам сидеть на Лубянке, будь она трижды неладна и проклята? Ой, не приведи Бог!

1947 год, еще прямые последствия войны, ее длинные, темные тени тянутся и тянутся, еще карточная система. Еще наша семья досыта не наедалась!

Нет, читатель, вы не нюхали Лубянки!

Нужно ли растекаться мысью по древу, втолдычивать, что впечатленьице не из самых приятных. Грубо говоря — не сахар, не идиллия. Ой, из рук вон не сахар и не мед. Не разлюли малина. Все, кто оказался в нашей прославленной на весь мир, гостеприимной тюрьме, потрясены, поражены, повержены. Кремневым резцом оставила тюрьма заметный след, и это на всю жизнь. Одного моего знакомца жарче всего проняло, что во время шмона ему пришлось разоблачаться до Адама,— «Нагнись!» — обидно-постыдным образом заглядывали в задницу! Наверно, бывали случаи, что и в задницу что-нибудь ныкали, бритву к примеру. А что вы думаете? На что только не способна подлая, мерзкая, бессмертная контра! Другой просвещенный интеллигент был враз, окончательно и бесповоротно скувырнут с панталыка, и все потому, что при приеме в тюрьму его гениальную голову заботливо, тщательно, немилосердно обработали машинкой, предельно наголо разделали, как говорится, «под нуль». Ведь каждого дурачину и лопуха Ваньку-новобранца бреют при призыве в армию. Всем и каждому очевидно, что сие делается для нашей же общей пользы: чтобы не обовшивел наш брат. Так-то так, но вот для слабонервного, неврастеничного интеллигента с незабудками в душе эта суровая, общеобязательная процедура оказалась не по силам, сломала волю, попрала душу, и мой знакомый подписал все, что ему ловкая каналья следователь деловито подсунул. После незабудочка «рвала на себе волосы» (рвал бы, что есть мочи, если бы они не были сняты!). Посягнуть на гриву интеллигента — преступление. Если кто спросит: почему? Ответим вопросом на вопрос: если священника машинкой обрить, неужели в этом не увидите вы измывательства, кощунства? Дело в том, несведущий читатель, что для настоящего интеллектуала — Эйнштейна, Гёделя, Кузьмы — густая, мощная грива является, можно смело сказать, тем же самым, чем и для библейского Самсона (см. Самсон и Далила), чем для сказочного Карлы Черномора борода! Так-то вот, дружище! Все-то вам объясняй. Со мной в камере сидели двое вояк, фронтовики, вла-

совцы (они-то себя называли: РОА), так они и в толк взять не могли, почему интеллипупы так переживают потерю волос. С их точки зрения, потерявши голову по волосам не плачут. А еще я дружил с одним большим чудаком, который на всю жизнь ушиблен тем, что у его ботинок обкорнали шнурки. Укоротили, чтобы случаем чего не повесился в камере. Подследственный склонен к самоубийству — известно. У меня, кстати, тоже так укоротили, обрезали, что стало проблемой зашнуровать, закрепить, чтобы не спадали с ног мои тяжелые, солдатские, гренадерские, неснашиваемые, заморские ботинки. Откуда такие у меня? И следствие интересовалось, протокольчик составлен. Посылочка. Но это особый вопрос, помалкиваю. Так вот, у человека обкорнали шнурки — пустяк, скажет читатель, сущий неимоверный пустяк, забыть и не помнить. Сколько лет с той поры минуло (ежовщина, до войны!) — глаза моего друга полны диким, фанатическим блеском, словно он слышит шаги командора, видит жестокого ангела смерти, летящего к нему на безрадостное, неминучее роковое свидание: — Хабеас Корпус! Почему они это делали? Зачем, объясните? Это никому не нужно, бесполезно, бессмысленно, подло! А затем, чтобы вас унизить! Чтобы в порошок стереть мое «я»! Чтобы обесчестить! Моя-то психика была устойчива к подобным казусам. Я-то, как и эти двое фронтовиков, что называли себя РОА, даже не заметил всех этих унизительных процедур и проделок. Наивно считал, что все так и надо, по темноте своей не понял, что процедура приема в тюрьму должна меня оскорбить и унизить. Мне повезло со следователем. Я не собираюсь уверять вас, читатель, что мне попался приличный, хороший человек. Нет, я вовсе не рвусь превозносить до небес Кононова, не утверждаю, что он был большой добряк. Кому, как не мне, знать, что он за фрукт. Да и Краснов, и Бирон, и ребята, что сидели по делу Кузьмы, и Славка не только о нем доброго слова не сказали, но, уверен, встреть на узенькой дорожке, несдобровать бы Кононову. Так. Но у меня, повторяю, своя колокольня, своя подворотня, своя экологическая ниша. Да поставь вас, читатель, на место Кононова, неизвестно, каким вы были бы. У следователя работа такая. Все мы не свободны, винтики большого механизма, называемого жизнь. Чистейшее заблуждение, что можно жить в обществе и не зависеть от него. Жизнь выше этики, выше логики, выше всех прокурвовых Кантов: она не укладывается в прокрустово ложе категорических императивов. Поставлю сразу все точки над «і». Тяжких, нечестивых у меня было два допроса. Первые, разумеется. А если вовсе честно, то один. На первом допросе следователь резвился, срывался, как с цепи, сущий дьявол, хоть без копыт, бурно угрожал. Естественно, матюгался. А то как же? Руки у него были сильные, кулаки, как у болгарского вождя Димитрова (в скульптуре), грохал по столу, дрючил. Тяжко, ночной допрос. Не отрицаю. Сгноить обещал. Обещал, что живым я не выйду. Статья-то у меня какая — 58-1, А. Это значит: измена родине. Я не запирался, разговорчики все признал на первом допросе. Объяснил, почему была из Америки посылка. Нынче читателю многое непонятно, но все, кто сидел со мною в подследственной тюрьме, не запирались, не фордыбачили, не выкручивались: шли навстречу следствию. Точь-в-точь, как в «Приглашении на казнь». Так было, хотя некоторые считают, что так не могло быть, что это ни в какие ворота не лезет. Дух эпохи. Тогда никто не петушился. Я никого не собираюсь судить. Не судите, да не судимы будете. Читатель, надо жить в дивном союзе с жизнью и не предъявлять прошлым эпохам брандовских, кантовских удручающих непомерных императивов. Мой друг Коган любит говорить: Deus caritatus. Что означает: Бог милостив! Отлично сказано. Хочу и Кузьму припомнить, его золотые слова: если хочешь, не терпится сказать о ком-нибудь плохо, скажи о себе! На втором допросе мне переквалифицировали статью с 58-1, А на 58-10. Не вредно знать и помнить, что все, что мне инкриминировалось следствием, так и было, я действительно все это говорил. Пойман за руку, с поличным. Никуда не денешься. При свидетелях говорилось, на факультете. Начиная со второго допроса все пошло гладко, сносно. Не в счет мелкие размолвки, они и в счастливой семье бывают. Эко диво: легкие трения. А допросы теперь днем, мирно, без сукинсынства, без хулиганства. Я не раз пособлял следователю готовиться к семинару по истории партии, толково обучал хитрым мнемоническим приемам, широко распространенным в студенческой среде, но неизвестных в МГБ. Уверен, никогда не забудет Кононов, кто входил в «Группу освобождения труда»! В те послевоенные годы поголовно все взрослое население нашей великой державы, включая, естественно, и авторитетных сотрудников аппарата ГБ, рьяно, неутомимо, оголтело штурмовало «Краткий курс». Когда дело доходило до знаменитой 4-й главы — стоном стонала страна, включая служащих МГБ. Сложнейшая глава. Не по зубам простому человеку диалектика. Еще должен сознаться, а предпочел бы опустить, что Кононов разрешил мне получить из дома передачу, набузованную яствами. Факт. И какой факт! Свалилось счастье, как тучная манна небесная — к новому году, году 1948. Успел уже зверски изголодаться на тюремных харчах, спал с тела, а мне к этому времени исполнилось двадцать годков, организм растет еще, ой как организму треба жиры получать! Чертовски жрать хочется. Без долгих размышлений и разговоров я набросился на передачу. Как троглодит. Ложка засверкала. Лакомы горох в сале cum commento. Читатель, мел ли ты когда-нибудь натощак с голодухи горох в сале, приготовленный cum commento? Пальчики оближешь! Пир на весь мир. Пир горой. Гей, славяне! Боже, что потом было! Стыдобушка рассказывать. Благо, дело давнее, маленьким еще был. Оскандалился, осрамился, окончательно опозорился, бесповоротно. Начались, не приведи Господь, дикие схватки и рези в животе, словно налопался толченого стекла. Криком скорбным, диким кричал, выл надрывно так, что поди на всю Москву, а уж во всяком случае в Кремле было слышно, благо близко. Загибался. Сокамерники мигом усекли что к чему, вызвали тюремную медицину. Заявились эти в белых халатах, меня раз-два и — на носилки, понесли. Куриный переполох, суматоха вокруг меня, как это бывает при отравлениях и на воле. Наш дежурный тюремный Гиппократ реагировал решительно, смело, профессионально, безошибочно. Промывание желудка. Спас мне, дурню, жизнь. Ассортиментная с преобладанием гороха и сала, собранная мамой, папой, женою передача не пошла впрок. Очень даже жаль. После этой глупейшей, нелепейшей, раблезианской позорнейшей истории я делаюсь притчей во языцех. Обо мне каким-то неведомым образом узнает вся тюрьма. А в камере смеху-то было! И не только в двенадцатой камере, подчеркиваю. Шумаков, начальник нашего следственного, доложил своему начальнику, тот своему и так далее, доложили Абакумову; эта обидная история докатилась в высшие инстанции, до самого Сталина дошла. Товарищ Сталин был в добродушном расположении духа. Говорят, очень смеялся. Говорят, все головой качал. Надо же! В стране голод, коров в колхозах на зиму подвешивают на ремнях, чтобы они, дистрофики, не падали, а тут, под боком, на Лубянке, контрики и вражата обжираются горохом в сале до заворота кишок! Спасай их, обормотов, затем! Не готов утверждать, что моя печальная, плачевная история действительно дошла до Сталина. Не проверишь. Кононов мог запросто и сбрехнуть. Не все ли равно. Мели, Емеля,— твоя неделя. Хейфиц, сокамерник, сидевший с двадцатого года в лагерях и тюрьмах, и тогда считал, что Кононов пустое брешет. После моей беды продуктовые передачи с воли были запрещены (возобновились уже после 5 марта 1953 года). Швах. Никто больше ничего не получал. Вскоре, говорят, открылся скудный тюремный ларек. Эх, вот бы рассказать эту историю с передачей и заворотом кишок Шаламову, обозлился бы старик, позеленел бы весь, не на шутку бы завелся, замахал бы конвульсивно руками, затопал бы ногами, как Бармалей. Проклял бы. Шуганул бы на хутор бабочек ловить к Набокову, дуропляс и воинственное эстетство которого терпеть не мог, а то и куда подальше послал бы. «Колымские рассказы»! Потрясающий, душераздирающий рассказ «Индивидуальный надел». А я о чем рассказываю? Обжираловка в тюрьме, добродушный смех товарища Сталина! А все было!

Взялся с испанской храбростью за гуж повествования о славном друге Краснове, а сползаю к безостановочному разглагольствованию о собственной персоне, о передаче, которую я ухайдакал, как последний дурак. А что, читатель, если на досуге подумать крепко, хорошенько, может, есть резон в том, что сначала я представлюсь, расскажу о себе. Будет очевидно, с какой колокольни я смотрю на мир. Все относительно. Эйнштейн кругом. Еще мои слав-

ные греки знали, что человек есть мера всех вещей, что нет абсолютных, незыблемых, вечных истин, что все зависит от точки зрения, от освещения, от подсвета. Без предварительных сведений о себе и вообще о моем незадачливом поколении, у которого голодные, вшивые детство-отрочество и послевоенная беспорточная юность, картина не понятна. Мерзли руки, мерзли ноги, в школьных классах замерзали чернила. В три смены учились. Карточки, бесконечные разговоры о калорийности, жирах, витаминах. Отцов на войне поубивали. И вообще мы несчастные сукины дети! Хочешь — не хочешь, а об этом следует свидетельствовать. Без подобных штрихов о моем поколении многое, что я пытаюсь рассказать, будет видеться глупым, придуманным, беспросветно вымороченным, преувеличенным, насквозь карикатурным. Впрочем, я вовсе не готов в сей момент отдернуть завесу над историческим прошлым, а лишь слегка. По складу характера я склонен к сдержанности, вежливости, к сглаживанию углов. По свойству натуры я тяготею к нежным компромиссам, к оппортунизму, к худому миру вместо доброй ссоры. Не смутьян, не борец. Болото. «Таков мой организм» (Пушкин). Но, разумеется, всему есть граница. И если дважды два — четыре, то четыре, никуда не попрешь. Для примера. Никто не бил на следствии меня смертным боем. И, если свои показания я дал не под жестокими, непереносимыми пытками, с какой стати мне безбожно брехать. Я, заметьте, отнюдь не намерен свидетельствовать, что никого не били. Полагаю, что били. Говорят, били. В милиции, говорят (сам не попадал), и сейчас лупят направо и налево. Но я избег мордобития и других пыток. Не имею к следствию особых претензий. Все, чем набиты компроматы, что записано в протоколах допросов, сущая правда. Еще маленькая, но удручающая, важная подробность, о которой свидетельствую: и тех, с кем довелось мне сидеть в 12-й камере Внутренней тюрьмы МГБ, не били. Не били моего друга Краснова, вам уже представленного, не били Хейфица, не били даже власовцев (а чего пытать власовцев? Они не отрицали, что были в РОА). Конечно, следователь с нами, политическими преступниками, не в бирюльки играл. Суровые, тягостные, со строгостью ночные допросы. Что греха таить, знатные допросы, серьезные. Но дело не в этом. Мы сами все начистоту рассказывали следователю. Сами доились. А нагло, наглухо запираться считалось дурным тоном. Может, власовцы думали и иначе, но они помалкивали в тряпочку. Меня никто не запутывал, не обводил вокруг пальца. Дух времени. Дух эпохи. Наше поколение под следствием — загадка для психологов. Может, читатель испытывает досаду, горький стыд за таких слабых, малодушных, ничтожных людишек, как обитатели 12-й камеры? Но — увы! — так было. Уверен, что если бы и вы, бесстрашный читатель, не в обиду будет сказано, сидели с нами в те годы, вы вели бы себя так же. Я что-то мало встречал дон кихотов. Не думай о нас свысока, читатель. Баста, точка на этом.

Для пущего разбора и раскрутки следует начать, как говаривали древние греки, с яйца, то бишь с рассказа о семье, родителях. С прозы начну. Как бы вам, читатель, получше внушить: все тоскливо, скромно, заштатно, обычно, беспробудно, заурядно. Отец, представляете, школьный учитель, а мать учительница. Отец вел математику в старших классах, носил баки, смехотворные, седеющие баки, вообще внешностью сильно смахивал на обрюзгшего, малоопрятного, малогигиеничного, состарившегося Пушкина: плюгав, хмырист, неказист, тонкие, рахитичные ножки, сомнамбулическая, порхающая походочка, тонкие, изящные, не очень сильные руки, холеный длиннущий ноготь на левой руке (кажется, у Пушкина такой же ноготь, но то романтическая эпоха, чудили поголовно все), на правой руке перстень, опять как у Пушкина (обручальные кольца в тридцатые — сороковые годы не носили, считалось — фи, мещанство), грудь колесом, надменно вздернута голова, опять же нелепые, неуместные, смешные бакенбарды! Кто в наше время носит бакенбарды? Большой оригинал. Если что-то и было, за что можно относиться с известным уважением к такому странному экспонату, как мой отец, так это лишь за то, что несчастных, ни в чем не повинных деток он мучил не по Киселеву, как было принято и положено, как учили все прочие нормальные люди, кто не выдрючивался, а по какой-то своей прескучной системе: свой курс геометрии у

него был. Отец страстно грезил издать этот курс, превратить в стабильный учебник и через это выпорхнуть, вабежать на тонких, рахитичных ножках на пьедестал. К нему не зарастет народная тропа! Стабильный учебник — немало. Кому-то придется снять шляпу. Киселев где-то когда-то сказал: «Вся Россия мои ученики». Отец корпел над курсом геометрии всю жизнь, вечерами, выходными, в редкие праздники, не разгибал спины, перепахивал, переписывал, множил, плодил варианты, циклился, опять начинал от печки. Веленью Божию, о, муза, будь послушна. Напомню читателю, что муз было девять, что муза Урания занимается геометрией, астрономией, изображается с циркулем. Не мне решать, каким отец был геометром, плох или хорош его учебник, знаю, что ученики его изрядно недолюбливали, прозвали зло, метко, ворошиловский выстрел, не в бровь, а в глаз: «Сухайдр!» Сколько там ретроспективится, отец практически все время хандрил, хворал, раздражался по пустякам, эгоцентричничал, беленился, на стенку лез, доводил себя до белого каления, раздувал из мухи слона. Скверный, тяжелый характер. Грандиозный скандал, и из-за чего? Мать ненароком взяла его зубную пасту, свернула резьбу тюбика. Зубная паста была не наша, а импортная, американская, присланная в посылке из-за океана. Почему, как получили мы посылку — целая, отдельная история. Все время отца тянуло на брутальные скандалы с матерью. Сумасшедший дом. Он страдал желудком. Вечные, одолевающие, хронические, ничем не устранимые изжоги, рвоты. Чуть что по нечаянности забудется, съест — все обратно, бежит в нужник (теперь это помещение называется санузел), затем со вселенским отвращением глотает питьевую соду, растворенную в стакане воды (не дай Бог, кто-нибудь возьмет его стакан, не поставит на место! Крику будет на весь мир),— и при этом делает такое лицо, что и меня начинает мутить. Сидел на жесткой диете. Того нельзя, этого вовсе нельзя и думать. Замучил маму неукротимой маятой и привередливостью. Это нынче живем счастливо, просто, как в песне: «чай не пьем без сухарей, не живем без сдобного...», а тогда, сами поди догадались, каково было: ой-ой! Одно слово, страшное слово: карточки. Я хочу сказать, что через рынок питаться — никаких денег не хватит, Рокфеллером надо быть. Мама была моложе отца на целых двенадцать лет, прямо как Наталья Николаевна у Пушкина. Мать — другой характер, легкий, бойкий, заводной, легкомысленный, бесшабашный, безалаберный, куражный. На зависть необидчива. Она могла на свой милый манер с юморком, беззаботно лепетать, как ловко ее унасекомили злыдни-ученики, подъелдыкнули, задали вопросик, чем отличается женская рифма от мужской, а она, конечно, начисто не знала, что-то с ходу и немедля наврала. У мамы милая, светлая улыбка, обезьяньи подвижное лицо. Смешлива, словоохотлива. Укатали Сивку крутые горки. Годы войны измочалили родителей, волосики поредели, побелели. Устали, раздавлены бытом, апатичны, аполитичны. Среднеинтеллигентская, обыкновенная семейка. Впрочем, мой придирчивый и шибко принципиальный читатель, если вы строги, пуристски щепетильны, можете смело относить моих родителей к полуинтеллигенции. Я-то сам стал рано относиться чрезмерно и немилосердно критически к матери и отцу. Гамлет, принц датский, сын покойного и племянник царствующего короля: «О, мои прозрения!» Не знаю, решусь ли о тайне поведать. А если и решусь, то не вдруг, а с большого разбега. Продолжаю о родителях. О быте, о красноречивых мелочах. Пусть читатель сперва представит нашу преогромную, нелепую, несуразную комнату: тридцать девять квадратных метров, непомерная высота потолка, поднебесье. Вся жизнь в этой дурацкой комнате. Тюлевые безвкусные занавески на окнах, во всю мощь на окне пылает, полыхает отменная герань. В кадке помпезный фикус, как в гостинице. И клетка, в которой безмозглая канарейка щебечет непрестанно, громко, глупо. Можете ли вы, читатель, вообразить, чтобы у Маяковского в комнате стоял фикус, щебетала канарейка? А я все детство, отрочество, юность бредил Маяковским, видел в нем идеал и норму недосягаемого образца. Зачем нам эта безмозглая, мещанская, глупая птаха? Маяковский и пошлая, поистине непереносимая, филистерская, мещанская птичка-невеличка — две вещи несовместные, как гений и злодейство. Канарейка, недостойный тошнотворный фикус — ходульные символы глобальной, вселенской,

кафолической смертельно-штопорной заземленности. Все не так, как у людей. Нашу семью, как говорится, посетил Бог. Я — в лагере. У отца — рак. Рак — синоним смерти. Умер. Царствие ему небесное, вечное. Жаль мать. Но я забегаю вперед. Уже упоминал, что я рано перерос тяжелые, болью давящие кандалы родства. Отец меня не понимал и не хотел понять. Общее место, трюизм. Родители не понимают детей, дети родителей. Учителя не понимают учеников. Аристотель не понял Александра Македонского, брюзжал. Мой отец бурно недоумевал, зачем я, непутевый, ослушник, дерзнул избрать специальностью искусствоведение, пошел на филфак, а не топаю по его проторенной дорожке, не посвящаю свою жизнь науке наук, геометрии? Отец откровенно презирал всех, кто пренебрег геометрией. А кто такой искусствовед? Что за профессия? Почему между картиной и зрителем должен быть объясняющий посредник, как между небом и землей? Поручитель, посредник, интерпретатор, Стасов. Зачем они? Безусловно, я могу ответить, что Стасов вовсе не искусствовед, а критик, на редкость одержимый, ураганный направленец, но я не желаю вступать в бесполезные, бесплодные, утомительные, никому не нужные дискуссии — терпеливо выслушиваю длинные нотации, углы осторожно сглаживаю, но поступаю по-своему, самостоятельно. Конечно, если бы пришлось начинать жизнь сначала, я бы не стал искусствоведом, а пошел бы на классическое отделение филфака, занимался бы древними языками, к которым у меня и способности, и склонность. И кто сейчас на кафедре? Мне учиться на искусствоведческом отделении было интересно, а это сильный плюс в пользу выбранной профессии. А дальше? Кем стану, когда закончу, не задумывался серьезно. Эх ма, а какие славные преподаватели были у нас на кафедре! Сливки, деликатесные сливки. Редкостные интеллектуалы. Почтенный, влиятельный вещевик Федоров-Давыдов, бесподобный Колпинский, Недошивин, великий эрудит Губер. Нам, тем, кто учился на искусствоведческом отделении в сороковые годы, можно лишь позавидовать! Если бы вы, читатель, знали, как остро, непередаваемо увлекательно читал Губер культуру древней Греции. Заслушаешься. Тысяча и одна ночь. Всем я обязан ему. Губер увлек меня античностью. А Колпинский — бог, Златоуст. Прости, читатель, мой романтический всхлип: «Были люди в наше время!». Сейчас не то. Выродились. Нет таких преподавателей и не может быть, измельчали, испоганились. Что же я мог возразить отцу в свое оправдание? Жар холодных числ — претит, увольте хоть без выходного пособия. Не моя свободная стихия, не для моего серого вещества. Разговор на эту тему скучен, как осенний дождь, беспочвен, беспредметен. Я глух, как стенка. Не пойду на мехмат ни за какие коврижки. Точка. Объяснять отцу я ничего не собирался. Почему дети непременно должны беспрекословно, послушно, безапелляционно идти по стопам своих неудачников-родителей? Мой отец так и не завершил свой скорбный труд, не издал учебник. Адски завидовал Киселеву, Гурвичу, немилосердно честил их на всех перекрестках и почем зря: проныры, ловкачи, карьеристы! Особенно Гурвичу доставалось, который по возрасту был ближе к отцу. Киселев-то принадлежал к старшему поколению, дореволюционная штучка. Не знаю, чей курс геометрии стройнее, чище, последовательнее. Не могу судить. Не копенгаген. Отцу не посчастливилось изловить фортуну за хвост, не повезло издать многолетнюю писанину, как стабильный школьный учебник для средней школы. Интриги, козни. Помню пресловутые, вечные сетования отца, что ему ставят палки в колеса, затирают, замалчивают, что против него кольцо блокад, «профессорский заговор». Неведомый шедевр, труд жизни так и остался незавершенным, в виде нескончаемых, беспардонно нечитабельных, бесчисленных, раздрызганных вариантов. Какой бы поздней ночью я ни просыпался, видел горящую лампу над письменным столом с зеленым абажуром, чем-то еще накрытую, чтобы не мешала мне, маме, и склоненную пушкинскую голову отца: мрачная, неугомонная сосредоточенность над каким-то темным доказательством какой-то теоремы. Над громадным старорежимным столом аршинными буквами прикноплен девиз: «Незнающему геометрии вход воспрещен». Замечу мимоходом, что знаю более точный, более близкий к оригиналу перевод: «Негеометр да не войдет». Но это так, к слову, для интереса. Я-то, безусловно, не геометр, входить не собираюсь, обходить думаю. Еле отбился от обрыдлого, проклятого мехмата, куда меня взяли бы прямо так, почти без экзаменов. Блат был. Заранее известны были задачи. Но мне это ни к чему. Только мехмат дает настоящее образование, приучает человека к самостоятельному мышлению. Знаю, слышал сто раз! При всем том и зная мои наклонности спрашивается, почему же отец вовсе не чесался, не печалился, беззаботно оставил мне в наследство Хеопсовы пирамиды бумаги? Неужели он думал, что его наследие будут изучать, разбираться, как разбирались Жуковский, Бартенев в наследстве Пушкина? Скажите на милость, что с этим густым хламом мне делать? Я — гуманитарий до мозга костей, а мне в наследство оставляют математические рукописи. Зачем? Почему батя не выкроил времени, не разобрал бумаги, не отобрал собственноручно последний, бесспорный, законченный, совершенный вариант учебника геометрии, а остальное не выбросил к чертям собачьим? Зачем мне тонны испачканной каракульной, мелкой, убористой скорописью бумаги, на которой сосуществуют не то пять, не то семьдесят пять изнурительно головоломных доказательств теоремы Пифагора? Почему я, не специалист, обязан во всем этом разбираться? Сжег бы лишнее и — делу венец. Одну папку, пусть и солидную, его непреклонный великий труд я бы хранил, как зеницу ока, строго наказал бы потомкам «хранить вечно», не отдавать в макулатуру ни за какую «Женщину в белом». Почему нудную, скучную работу по вычитке, выверке, сверке рукописи, по выявлению оптимального текста должен делать кто-то за автора? Нет, никак этого не пойму. Ведь отец «угас, как светоч» не скоропостижно, как Пушкин, царствие им небесное, а сбирался в далекий путь целый битый год: маялся, других замаял. Времени было навалом, минимум миниморум воз и маленькая тележка. Разобрал бы, рассортировал бы рукописи. Что мешало? Умирал? Не до этого? Но на стенку от боли лез он последний месяц, а раньше о чем думал? Что мне-то делать с тюком желтеющей, хиреющей, ломающейся, скверной дряни? В шестидесятые годы макулатура на абонементы еще не обменивалась. Книг в хрущевское время и так полно было, уцененные, дешевые. Даром. Бери — не хочу.

Горько каюсь, слезы мои не крокодиловы, что совершил сомнительный, неблаговидный поступок. Совесть не чиста, свербит. В душе заноза. Фу, черт. А если короче: вынес я в конце-то концов непомерные тюки отцовских манускриптов на помойку. В три приема. В растерянных чувствах шастал тудасюда, для поднятия духа приложился к бутылке вермута за 1 р. 22 коп. Без проволочки, забил барахлом контейнер до верха. А как я должен был поступить? Как бы вы, читатель, поступили на моем месте? Я не острый геометр, в широких пифагоровых штанах ни бе, ни ме, ни кукареку. Никто другой не пожелал портить единственные глаза, данные Богом, мучиться над чужими математическими рукописями. Кому охота, подумайте немного, братцы мои, добровольно и задаром чистить авгиевы конюшни? Любителей и дураков в наше время нет, перевелись. Хранить тюки с бумагой негде. Стечение обстоятельств, которые против отца: я расплодился, три юлы, девочки, а тут еще малогабаритную квартиру отвалили. Одно к одному. И без неподъемного отцовского наследства заросли хламом по горло, накопилось, дышать нечем. Ночной горшок бедному человеку негде примостить. Делали бы ручкой внутрь! — другое дело. Учи их, дураков, тупиц. А еще инженеры называются. В шею гнать.

Аз многогрешный предсказываю (чует мое сердечко): дербалызнет возмездия и справедливости гром и молния, мои наследники, дочки и их наглые, самоуверенные, амбициозные мужья поволокут без разговоров и проволочек и мои рукописи на помойку. А куда денешься? При этом еще будут надо мною остроумно подтрунивать. Вспомнят и мой подвиг. Скажут: традиция. Скажут, что вот если бы предок на микрофишах хранил свои мемуары, то другое дело. Может быть, для микрофишей и нашлось бы место. Да и то вряд ли. Я-то оставил всего одну-единственную папку, тщательно выверенную, тщательно вылизанную. А, может, туда и дорога? Прав Марк Аврелий, римский император, философ, бескомпромиссный стоик. В конечном итоге всех нас уравняет миротворная бездна забвения.

Отец, подожди немного, будем квиты. Огонь и сера!

Аминь.

Вот что для меня тайна за семью печатями, вещь в себе, так это союз отца с матерью. Страшная тайна! И росточком-то отец субтильно мал, мельче мамы. Когда вижу замечательную, острую картину Ульянова «Пушкин с женою», вспоминаю другой марьяж, родителей. Должно быть, не я один диву давался, глядя на сей облыжный, неуютный марьяж. Как-то Гайдар, уходя со дня рождения мамы, будучи весьма под градусом, с раскрасневшейся будкой:

— Такой розан попал в лапы такому крабу!

Вопиющая бестактность, ни в какие ворота не лезет. Сказано при мне, малолетке, впитывающем, как губка, каждое слово взрослых. А еще этот толстокожий, слывущий непьющим, называется детским писателем? Так вот, извольте знать, помнить, что говорят про твоего отца и уважать родителей! Зря валю на Гайдара. Зерно упало на подготовленную, хорошо взрыхленную почву. Я не любил и не уважал ни матери, ни отца. Не любил их быт, нелепую огромную комнату с помпезным фикусом, скрипучей, занудной, мещанской канарейкой. Противна заядло пылающая, вечно цветущая на окне герань. Соседи противны. Всех не люблю. Я мечтал жить в общежитии, где-нибудь на Стромынке. Нельзя: москвич. Я знал, что рано женюсь. Уйти от родителей, создать свою семью, которая должна быть радикально непохожей на ту, что воспитала меня. Мечты о собственном домостроительстве цвели, как май, как герань на окне.

— Отломанный ломоть,— сокрушенно, отчужденно сказал отец, замымрился, когда узнал, что я наладился отколоть номер, жениться. При мне сказано. Словно меня и нет, не слышу! Это все к вопросу о том, как он реагировал на мое скоропалительное решение.

— Небось, великая любовь? — холодно продолжал он язвить.— Где они намереваются жить?

— Они будут жить у нас,— бровью не повела мама.— За шкафом.

— Вот какие пироги. А я и не знал,— весь так обмяк отец, но продолжал ворчать.— Фу-ты, ну-ты. И рысаков орловских пару. Неизлечимая любовь? Лишь пара голубеньких глаз? Влипли.

— Посидим рядком, поговорим ладком,— сказала мать.

Мать и отец посмотрели друг на друга, рассмеялись, как бы услышав анекдот.

Решение родителей было для меня неожиданным. И не снилось. И заикнуться не смел. Ведь им на старости лет приходится потесниться, начать жить с человеком, которого они не знают. Две хозяйки на кухне и все такое. Оказывается, я, мнительный, неврастеничный, рефлексирующий Гамлет, плохо знал своих родителей. Но мои охальные глаза и на этот раз остались слепы. Удручающая близорукость. Почему? Не спрашивайте. Живем же мы не в реальном мире, а в мифе, во сне. А родители даже не поинтересовались, какие жилищные условия у будущей жены? А там на четверых 5 комнат, как в сказке. Что пользы в тех комнатах? Жить-то все одно мы стали за шкафом. Почему не в сказке? Длинная история. Не хочется начинать. Обстоятельства, словом.

— Жить, богатеть, спереду горбеть,— пожелал отец, а я, окрыленный, полетел к той, с кем намеревался связать свою жизнь.

А моя жена, Психея, с первого взгляда полюбила моих родителей, особенно они с матерью спелись: подружки, несмотря на разницу лет. Не знаю, как бы складывались мои отношения с отцом и матерью, если бы меня не посадили. Не факт, что все было бы просто и гладко. Полное впечатление остается, что кто-то все время вмешивается в мою жизнь, ставит мне подножку, переиначивает мои планы, намеренья. То одно, то другое. Вроде все хорошо, успокоился, женился, тихая гавань. Так нет же! Послано мне непомерное, сверхъестественное переживание, которое погнало мутную воду на зыбкую рутину семейной зашкафной жизни, и эта жизнь вдруг стала видеться слегка пресной, безрадостной, необратимо убогой, даже замызганной, перемызганной. Бзик.

Пора прыгнуть к сокровенному, сверхинтимному, вожделенному, очень тайному. Похотливая, несказанная, скрываемая, огненная гроза: когда же? Хоть бы одним глазком глянуть на солнце! Спал и видел! Ужасно хотелось увидеть Сталина — на Красной площади, во время демонстрации. Знаете, как-то так все получалось, что вокруг меня все видели и не один раз, одному мне, наказание какое-то, отчаянно не везло, всякий раз, когда наша колонна шагала мимо мавзолея, промашечка случалась: Сталина не было. Был, говорили, да сплыл, нетути. Ушел, отдыхает. Те, кто шли позже, счастливчики, везунчики, рассказывали, что видели. Не проверишь. Может, хвастают.

Это случилось — приключилось на большой праздник, то бишь на 7 ноября. Год 1947-й, уже история. Погодка, дай Бог памяти, стояла дрянная: демисезонно-ветряная, холоднущая. Хохлилось, куксилось мышино-пепельное, монохромное, бесфактурное, смурное, гнилое ноябрьское небо; оно насупливалось, пугало дождем, непогодой, но все ограничилось пустыми угрозами, блефом, грубой заурядной пропагандой. До дела не дошло: не упало ни капли. Наша колонна блюла черед далеко не первой, высыпали к центру эдак часам к двум. Подтекли к Историческому музею — у меня засосало под ложечкой, прямо как бывает при коварном расстройстве желудка, даже сильнее. На нервной почве бывает. У многих бывало. Предчувствие, опережающая интуиция. Засквозило. Заэкзальтировало. Душа спорошилась, во всю завибрировала. По какому-то внутреннему чувству, что сродни экстатическому просветлению, я наперед знал, притом знал недвусмысленно, определенно, бесспорно, как если бы это относилось не к будущему, а к прошлому, что нынче потрафит: сподоблюсь. Знобит. Вошли на Красную площадь. Как по гладкой, зеркальной поверхности глубинного родникового озера, легкий, свежий ветерок шибает рябь: «Сталин! Сталин!». Нас тряхануло пьянящее, вакхическое чувство восторга. Вскинулся. Еще не вижу его, но чувство радости нарастает, омывает душу, пронзает ее; дрожь проскакала по спине, по плечам, по шее. Предвкушение. Ни до, ни после ничего близкого и подобного я не испытывал. Я разглядел его на трибуне среди вождей, впиваюсь жадным, пристальным, долгим взглядом, и мне кажется, что я вижу его изумительные, янтарные, солнечные глаза, хорошо изученные по портретам, мне кажется, что он смотрит на меня, и в это мгновение я почувствовал, как мое трепещущее сердце пронзила длинная, острая, сладчайшая стрела: удивительное чувство свободы, цельности, исчезновение всех и всяческих границ и перегородок, исчезновение косности, замкнутости мира, решительная, полная, ударная, пронзительная безграничность вовне и внутри себя, дивная легкость, невесомость, бесспорность этого чувства; затем я испытал неописуемое, сверхъестественное наслаждение. За миг яркого, интенсивного, небывалого, властного, абсолютного счастья готов отдать все и вся, все богатства мира и славу его, готов без оглядки отдать жизнь. Я не шел, а плыл, парил над землею, купался в неизъяснимом, сверхъестественном счастье, которое все усугублялось, росло, усиливалось, возгоралось; и мое «я» затерялось в этом чувстве. Разламывало шибко и бурно колыхающееся сердце, которое норовило прямо выскочить из груди. Не могу знать, сколько долго длилось то удивительное состояние. Но кончилось оно внезапно, мучительно, мерзопакостно. Мы стекаем к Спасским воротам. Рубашка на мне — хоть выжимай, мокрющая. Я безвольно, растерянно, стыдливо пытаюсь кому-то улыбнуться. Догадываюсь, что не одному мне выпало пережить грохочущее чувство бездонного восторга, что оно владело всеми нами, что мы заражали друг дружку, растворяясь в сверхмощном, бурном соборном экстазе, в неистребимом, кипящем, бьющем через край, фонтанирующем чувстве любви к своему богу. До сих пор храню тетрадку с памятной записью, которую я сделал где-то вскоре. При обыске в лапы МГБ она не попала, так и наличествует в моих бумагах, где ей и положено быть. Видимо, чекисты работали невнимательно, разгильдяйно, небрежно. Не объяснишь ничем иным. Их никто не контролировал. А вот иностранные деньги, мелочь они нашли, хотя, уверен, у нас дома ничего такого не могло быть. Подбросили. Все, кому инкриминировалась 58-1, А, жаловались, что им подбрасывали валюту. Возвращаюсь к записи, читаю: «7/XI 47. Великий день. Сталин. Только Сталин. Один Сталин. Великий Сталин». Читатель, вам ничего не понять! Не понять, чем для меня была встреча с вождем. Сретенье.

Спотыкался о ненужных людишек, словно слепой. Я приволокся на Старомонетный, домой, благо близко. Через силу принял душ, надеясь, что полег-

чает. Не помогло. Как я доплелся до кровати — не знаю. Рухнул, как подрубленный. Упадок сил, депрессия, лихоманка. Мой молодой организм взял верх над печальным недугом, который обидно, стыдно, покамест неохота вспоминать. Отлежался, возродился, воскрес духом и телом, вновь ощутил испепеляющее желание видеть великого Сталина, вновь испить восторг, слиться в экстазе с тысячной армией демонстрантов, лицезреть вечное, неподвижное Солнце.

Жена, по-видимому, беременна.

Постылой мне кажется зашкафная жизнь.

Пустился во всю нетерпеливую прыть ждать весны, журчания ручьев, цветущего мая, мая 1948 года, колыхания знамен, новой встречи.

Говорят, нет хуже ждать да догонять. А впереди длинная, необъятная, кондиционная зима, снега, морозы. Ой, когда же 1 Мая? Когда же, наконец, праздник? Время как черепаха ползет.

Паника перед денежной реформой, слухи одни отчаяннее других. Нудящие, изматывающие нервы слухи. Скорей бы уж. Город ошалел. Такого никогда еще не видел. Но я-то вне этой нудной суеты, переполоха, неразберихи, кавардака, километровых очередей в сберкассу. У меня в кармане — блоха на аркане, вошь на цепи (и того меньше). Студент, стипендия.

Как кирпич на голову.

Вот здравствуйте!

Впрочем, я чего-то все время ждал, с волнением ждал неожиданного, нового оборота событий. Предчувствие. Оно не обмануло. Оно было. Отхлынула кровь, застыла. Эй, судьба-индейка, поганка, мачеха! С Пушкинской улицы в сюрреалистическом ракурсе, как у Гумилева, возник, громыхает громада — трамвай,— необычно ярко освещен, без водителя. Что это было? Видение? До сих пор не пойму. Где я? Кто я? Меня везут на «эмочке». Знаю куда. Туда, откуда не выходят. Я на заднем сиденье, трясет, язык откусить можно, по камням, справа со мною рядом — майор. Он сунул мне ордер на арест. Я от волнения даже не прочитал, позже, в деле узнал, что ордер на арест подписан Генеральным прокурором СССР Сафоновым (ходатайствовал об аресте министр МГБ Абакумов). Убыли со Старомонетного с майором; смотрю на его бравое, открытое, красивое русское лицо. Он честно выполняет солдатский долг, он на службе. Бессонная служба: два часа ночи. Его сердце не обременят жалкие сантименты. Никакие слезы не размягчат его честного, каменного сердца. Без всяких перспектив, неуместно, беспочвенно, но вдохновенно, горячо, в лихорадке, вкладывая душу, порывно обращаюсь к нему:

— Черный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер
На всем белом свете.

— Вы поэт? — нависает надо мною.

Теряюсь:

— Нет.

Грозный, клокочущий ужас захлестнул мою сжавшуюся, стекшую в пятки душонку. Хочется волком выть. Что я вам сделал? Ничегошеньки не умопостигаю, как растерявшийся инопланетянин. Бледная, немощная, но настырная надежда: если это ошибка, недоразумение, описка. Я ничего за собою не знаю. Ведь бывают же ошибки. Тридцать седьмой год. «Здесь живет Рабинович?» Из-за двери испуганный шепот: «Здесь живет Рабинович-нэпман, а Рабинович-коммунист живет этажом выше». Есть тайная связь в событиях моей жизни. Меня высек отец, и я оказался в мифе, из которого не мог выскочить. Я женился, чтобы избежать судьбы, выскочить из мифа, но тут это сретенье, опять я оказался в тисках неизбежного, неизбывного. Может, если события расставить в ином порядке, удастся уловить их смысл, уловить замысел?

Читатель, хватает ли у вас воображения представить первые дни подследственного в камере Лубянки? Дни ужаса. То мотаюсь (не сидится на месте) понурым, больным тигром, то плюхаюсь на койку, отчаянно запускаю пятерню в шевелюру, как бесноватый, начинаю чесать башку: о, ужас! — шевелюры нет, как нет, остался один оголенный череп новобранца. Не устаю

удивляться, а пора бы привыкнуть, знать. Бьюсь головой о стену, всерьез, чем больнее, тем слаще. Впадаю в тупую прострацию, недвижно, как египетский истукан, фараон, писец, тупо, бессмысленно впериваюсь в бесконечность пространственную, в дальний угол камеры, ничегошеньки ровным счетом не вижу перед собою. Хвастаться нечем: дурной я был в те жуткие дни, дошедший до ручки, пыльным мешком из-за угла по пустой башке тюкнутый, в чаду. Дня через три-четыре острота переживания тюрьмы порядком притупилась. Всего-навсего один срыв, рецидив. На всю жизнь в память вшурупилось жданное, злополучное 1 мая. Да, то: 1948 год. Повторяю (мать учения), что готовил я себя к иной встрече, к сретенью, а заместо клокочащего восторга — упреждающая участь злая: в тюрьме. Лубянка. Я — враг. Как водится в такие дни, понуро слоняемся по камере, кишим, мешаем друг дружке, задеваем, натыкаемся, хмуро, раздраженно, предскандально извиняемся. Нервы натянуты, перетянуты. Камера наша переполнена. Нас не шесть, как вначале, а дюжина. Койки нагромождены в четыре ряда, те, что в центре, стоят впритык друг к дружке, чтобы проходы пошире были. Теснотища. Просачивается несуразной невнятицей отдаленный гул и гомон непомерной толчеи, праздника, демонстрации. Как назло, где-то совсем рядом, поблизости динамик сооружен для праздника, во всю мощь зудит, рыгает, каркает, хрипит, как Высоцкий (читатель уловил анахронизм, но пишу я уже многие годы спустя, и не вижу лучшего образа), нагнетая тяжелый, спертый, непроветриваемый дух камеры № 12 знакомым с раннего, лучезарного, безоблачного, счастливого детства ликующим, душещипательным, болезненным, взвинченным, бесстыдно-демагогическим, экзальтированным, бурным, бравурным оптимизмом. Ангажированный, бесцеремонный, беспощадный оптимизм: «Ну-ка, солнце, ярче брызни!» Там, рядом, везде, всюду. Всюду и везде проник, пролез, давит уши, задирает нервы. Я нелепо, драматически заламываю руки, исхожу черною, неистовой, испепеляющей, сгущающейся тоскою. В онемелом горле мертвый спазм. Затыкаю старательно пальцами уши. Только бы не слышать назойливую проскальзывающую, пленительную, хрипящую сирену-мучительницу. Вот так же мучился привязанный к мачте корабля Одиссей. Сердце пьет звуки, которые заполонили душу, зовут к себе, зовут к бездонному счастью. Всверливаются, высвечиваются в душе одни и те же жгучие слова: «Ну-ка, солнце!» Знаю, там плотное, бесконечное шествие москвичей, пылают знамена праздника, они обтекают нас, это величественное здание, где мы в камере № 12. А я здесь! Уязвляется сердце щемящею болью. Что я вам сделал? За что?

Здесь грязь, цинизм, злоба; кто-то нарочито, похабно каркает:

— Менструация.

Образ. Почему люди так неделикатны, агрессивны, циничны, грубы, не уважают чужие чувства, чужие переживания?

— Не раз ходил мимо, в голову не приходило, что здесь тюрьма. Тюрьма в центре Москвы! В центре коммунистического мира! Символ!

— Что раньше было?

Я-то понятия не имею. Похоже, что никто из сидящих со мною в 12-й камере не знает, что было здесь, в этом здании до (до революции — понимай).

— Испокон здесь органы,— сказал один из незапомнившихся невзрачных РОА.

— Кто помнит? Какая погода в прошлом году? На май?

— Ветрено. Дождя не было, ясно.

— Что вы, теплынь, без пальто шли.

— А на Октябрьскую?

Тут я не вынес игры на взвинченных, натянутых, как струна, нервах, взорвалась громкая бомба:

— Ради Бога, смените пластинку!

Это я заорал, надсадно.

Возможно, они, мои сокамерники, готовы были взвиться, огрызнуться, хлестануть меня, недотрогу, скверным словом с матюгом. И заслужил. В чем, мол, недотыкомка, недотрога, дело? Заткнись, мол. Закрой хайло. Без тебя тошно. Но я сморщил такую морду, давлюсь истерическими, непрекращающимися

рыданиями. Забарахлил, невмоготу мне, маленькому. Так неподобающе развезло меня один раз, на май. Ни в тюрьме, ни в лагере я так позорно не раскисал. Вообще не нюнил. После этапа я очень переменился, стал духовным здоровяком, иным существом, сменил самость, характер, возмужал, что ли. Сокамерникам я не умел довести до ума, что же со мною. Как рассказать им о Сретеньи? Застенчиво, сквозь слезы улыбаюсь. Они-то поняли, что у младенца сдали нервы. Так, да и не так. Пришел в себя после оправки. Очередь дежурить пала мне. Тащил вместе с Красновым полную, тяжелую, ржавую парашу. Он за одну ручку, я за другую. Поборов позыв к подступающей рвоте, неистово драил агрессивно зловонный сосуд. Скреб яростно шваброй, мускульными усилиями гася гудящую душевную боль; брызгал во все стороны пенящуюся щелочь. Чуточку утихомирились последние нервишки, укротились. Слава богу, когда вернулись в камеру, непереносимый динамик умолк.

Как хорошо, что в нашей камере был Краснов.

Мне нужен был Краснов.

Если бы не Краснов, если бы не его целительные, соответствующие, нужно-необходимые моей душе речи, я бы запросто спятил. Он помог мне примириться, замириться. Я привязался к Краснову. Страшно и представить, что нас разбросают по разным лагерям.

Первые дни в тюрьме рассудок бунтует, отчаянно баламутится, болеет, отказывается признать объективность, данность, признать, что в твоей жизни случилось непоправимое, ты порченый, враг, преступник. Худо. Очень дурной я был. А следователь бережно листает страницы, запустив бегло глаза в толстенный гроссбух, битком набитый, начиненный впечатляющими компроматами, как опытный духовник, ведет докучливую канитель, ловко, устремленно, неуемно, невозмутимо выуживает то одно, то другое мое злодейское словечко, выводит меня на промокашку. Удручал меня следователь. Ой как удручал. Все, что записано в пухлом кондуите, говорено было мною, безумным. Как я мог? Локти кусал. И сколько оказалось набрехано за два года, что охотились за мною. Наколбасил же парниша, наломал дров, остолоп безмозглый. Расхлебывай. Незапамятен первый допрос. Кононов деловито листает сексотские материалы, посматривает на меня, головой качает, понимающе так. Зачитывает. Было! То дурного толка и сомнительный, недоброкачественный анекдот, за который надо за ушко да на солнышко, то какая-то глупая, бездарная, пошлая, вредная частушка, которую я пульнул на факультете, пульнул-то бездумно, безмятежно, затем только, чтобы было весело. Все делалось без злого умысла вроде, а, глядишь, накопилось, набралось, короб с верхом.

— Попался, враженок,— хлестанул глазомером Кононов, потер руки.— Долго ты, гад, нас водил за нос. С ног сбились. Скользкий, не ухватишь. Долго терпели. Знаешь, куда ты попал?

— В МГБ.

— Встать! — кричит следователь.

Я тотчас вскакиваю, выполняю приказ.

Нечестивый допрос был всего один, я уже рассказывал, первый. Типичный. А на втором допросе словно кто меня в бок толкнул: дерзай. Очень волнуюсь, как на исповеди, ничего не утаивая, рассказываю про демонстрацию, что была на 7 ноября. Всю подноготную выложил. Мой бравый следователь, Николай Еремеевич, вместо того чтобы задать пфефферу, густо, пунцово краснеет. Прямо — девица. Не стал протоколировать мой рассказ. Рукой махнул. А я подумал: Николай Еремеевич, хоть вы и чекист сталинской закалки, но и у вас есть ахиллесова пята! А у кого нет? Если угодно знать, после моего рассказа следователь крепко сел на крючок: у нас установились нормальные, добрые, человеческие отношения. Следователь следователю рознь. Что верно, то верно. Я имел продуктовую передачу с воли, имел свидание с женой под маркой очной ставки (разумеется, в кабинете следователя).

Вижу, не забуду.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И хлоркой. Параша рядом с моей койкой, в ногах, шибает в нос. Другие дальше от параши, видать, не замечают вони, запахов мочи, хлорки. У меня обоняние исключительное, как у пчелы.

Страдаю от смрада, стараюсь скрыть, превозмочь отвращение и начавшуюся аллергию, ловчу умоститься как можно дальше от параши. Не тут-то было. Бесполезно. Амбре — я те дам!

Первое впечатление о Краснове. Похож, как две капли воды. И рост такой же, завидный, поражающий: дяденька, достань воро ушка. Такая же форма головы, то же и в полном смысле каменное выражение лица. Жутко похож!

Еще. Краснов стоит рядом с парашей, видать, не воспринимает начисто ее скверных, бьющих ароматов; цепляется за каждое мое слово, когтит, терзает меня каверзными крюками. Я-то теряюсь и при менее мудрых вопросах: не профессор. Сверчок, знай свой шесток.

— Вы полагаете, что у нас не социализм?

Я-то, заблудшая, жалкая овца, невнятно, осторожно, оппортунистически-соглашательски что-то мямлю; Краснов дальше донимает меня страшными вопросами, прилип, как репей, придирается, как следователь на первом допросе. К каждому слову придирается. А что, мол, я понимаю под социализмом? Извольте определить. Признаю ли я, что у нас диктатура пролетариата?

Нас полдюжины гавриков (не пройдет и трех месяцев — доукомплектуют до полной дюжины — предел: койки негде поставить; говорят, в тридцать седьмом году и больше набивали, на полу спали. Не видел. Не знаю). Мне пособляют, подбадривают.

— Ну, какая там диктатура пролетариата,— помогают мне,— диктатура партии, Сталина.

Как глупый простофиля, безмозглый попка, я повторяю подсказку, не утруждая себя проникнуть в опасную глубину слов. Такой ответ только на руку Краснову: он уставился на меня. Он беззвучно смеется. Опять агрессивничает, энергично, с новым пафосом врезает мне:

— Простите, но то, что вы сказали, смешно, невежественно. Я принужден преподать вам самые азы и азбуку марксизма. У вас туманное представление о природе диктатуры. Что такое диктатура?

Краснов пустился растолковывать мне, что диктатура носит всегда классовый характер. Наполеон? Власть, в сущности, не ограничена. Обыватель обязательно брякнет, что это, дескать, пример личной диктатуры. Или что-нибудь в этом роде. Для нас, марксистов, или, что то же, объективно, диктатура Наполеона — это инструмент, используемый крупной буржуазией в своих интересах. В конечном счете Наполеон был слепым, послушным орудием крупной буржуазии. Должен вам объявить, что по существу и власть Робеспьера не ограничена. Конвент лебезит, малодушно подчиняется его крутой, решительной воле. Но наивно было бы думать, что воля Робеспьера, воля Сен-Жюста носила сугубо личный, надклассовый характер. Что хочу, то и ворочу. Это диктатура низов Парижа, беднейших слоев населения.

Знакомая до чрезвычайной типичности и повсеместности картина: Лубянка, 12-я камера, Краснов маячит у параши. Помню его вразумительные слова, эту дьявольскую, бесподобную, безупречную логику, рассуждения о диктатуре пролетариата. Я не преувеличиваю, не сгущаю красок, хочу заверить, читатель, что это типичная и растипичная картинка. Сидел я в одной камере, в 12-й, а уверен, что если разрезать Внутреннюю тюрьму МГБ, заглянуть в каждую камеру, везде мы столкнемся с такими непримиримыми, горячими, непрекращающимися идеологическими боями. В каждой камере свой Краснов, интеллектуал, идеолог, теоретик до мозга костей, умеющий прицельными, точными, меткими словами разнести в пух и прах незадачливых обывателей. Наверняка в моем освещении есть субъективизм. Если я могу допустить, что в оценке Кононова я проявил пристрастность, то в отношении Краснова я абсолютно нелицеприятен: его речи — типическое в типичном, архитипичное в квадрате, в кубе (мои милые греки, включая гениального Архимеда, не понимали, что можно возводить в степень большую, чем куб; мыслили чрезвычайно конкретно, а потому полагали, что операция возведения в степень, превышающую куб, бессмысленна. Абсурдный, голый формализм).

Век не забуду. Не на жизнь, а на смерть: бой гладиаторов. Генеральное сражение.

— Истина в том,— разгоняет Краснов свою мысль,— что власть Робеспье-

ра — это диктатура суверенного народа, его беднейших слоев, низов Парижа. Это — объективно. И вот теперь я попрошу вас, молодой человек, ответить мне, в чьих интересах диктатура осуществляется у нас, в нашей стране? В интересах какого класса?

Я уклончиво, удрученно молчу. Ведь я — желторотый птенец. Куда мне спорить с Красновым. Не очень хочется впросак попадать. Один из сокамерников театральным шепотом суфлирует, подстраховывает меня:

— В интересах бюрократии.

Фамилия сокамерника — Хейфиц. Редкий, экзотический, диковинный зверь: меньшевик. Его, пасынка судьбы, вечного жителя неволи, сидельца по тюрьмам, изоляторам, лагерям, единственного всамделишного меньшевика, встретившегося на моем лагерном пути, поди, давно уж нет в живых. Когда все было? А годы проходят, все лучшие годы. Может статься, никто, кроме меня, не помнит его внушительного, карикатурного румпеля (по величественной форме, как у Троцкого на портрете Анненкова: других портретов врага народа № 1 мое поколение знать не знает, ведать не ведает), неловких, маленьких, рахитичных ручек, которыми он неистово, горячо жестикулировал, этой ущербной улыбки, добрых, хитрых, близоруких рачьих глаз. Как мне забыть его прибауточки: «Поведет нас сегодня правительство в баньку, как вы, юноша, думаете?» Появился в нашей камере не как другие, а с шуточкой: «Приветствую вас, кадры ГУЛАГа!». А я еще и не знал, что такое ГУЛАГ. Пришибленность, обреченность, забитость в этом милом человеке непонятным образом соседствовала с невообразимой, нахрапистой самоуверенностью. Чуть что — Хейфиц лезет в спор. До хрипоты спорит, как пылкий юноша.

— В интересах бюрократии,— ничтоже сумняшеся опрометчиво поддакиваю я; радостно, как ребенок, хлопаю в ладоши. Эврика! Все так просто. Лет через пятнадцать я прочту Джиласа «Новый класс», подумаю, что нет новых идей, что все идеи я уже знаю, слышал. Книжка Джиласа покажется мне скучным, серым трюизмом.

— Чересчур! — Краснов давится деланным смехом.— Хватили, через край. Стой. Не балуй. Нонсенс получается, а? Я не ослышался, Виктор, вы сказали, что вы марксист? Какой же это марксизм? Либеральная, кадетская болтовня. Давайте, как условились, держаться твердой, надежной почвы марксизма. Согласны? Заметано. Вы должны знать, что для марксиста бюрократия не класс, а лишь инструмент того или иного класса. В чьих же интересах диктатура осуществляется у нас? Я спрашиваю, в интересах какого класса? Видите, Виктор,— Краснов эдак запросто кинул меня на ковер, положил на обе лопатки,— получается, что достаточно все поставить на свое место, разложить по полочкам, назвать вещи их собственными именами, по-марксистски сформулировать вопрос, и нелепость, вздорность, дикость ваших завиральных утверждений станет самоочевидной, как самоочевидны аксиомы геометрии.

В замке зловеще заскрежетал ключ. Шумно, гулко распахивается тяжелая дверь нашей камеры, вваливается рябой вертухай, чертов блюститель порядка. Мы его прозвали Рябушинский (все вертухаи имеют у нас прозвища: Буденный — за усы; Суслов — длинная жердь; Киров, Шкирятов. Сейчас я не мог бы сказать, чем отличался Киров от Шкирятова). Рябушинский очень вредный. Мы испуганно вскакиваем со своих коек, законопослушно замираем, как того требует тюремный распорядок. Кого-нибудь потянут на допрос. О, Господи! Когда же это кончится! Умом-то мы понимаем: исход летальный, никогда. Данте великий сказал: «Похерь надежды всяк сюда входящий».

— Приготовиться на прогулку!

Значит, ложная, фальшивая тревога.

В этот раз нас направляют на верхотуру тюрьмы. Прогулочный дворик огражден глухим деревянным забором, нам ничего не видно, кроме скучного, однообразного неба: потом мы будем зряшно спорить, в какой стороне север, а где юг. Я с грехом пополам буду припоминать, что эти полулежащие фигуры, украшающие нашу тюрьму, можно видеть с улицы, если смотреть от метро. Мы ходим быстрым шагом, гуськом, взяв руки назад. Изо всех сил стараемся надышаться впрок свежим, пользительным воздухом. Прогулка затягивается свыше отведенных тюремным распорядком пятнадцати минут. Опять затхлая, душная камера. После прогулки прерванное ля-ля возобновляется, вскипает с новой жизнью. Я узнаю от Краснова новые подробности, почему его взяли, что ему инкриминирует следствие. Он учился на философском. У всех порою случается разжижение мозгов. Вот и у него случилось. Со школьной скамьи он был связан с какой-то вредной компанией. Кружок, где верховодил Кузьма, самоучка, великий путаник. Этот-то Кузьма и сбил Краснова с толку, запутал, запудрил мозги; начинающий философ шарахнулся в крайнюю левизну (Ленин хлестко назвал левизну «детской болезнью»), решил, что он должен, как честный человек, выступить с прямой, открытой критикой, с предупреждением на комсомольском собрании. И выступил. Нес черт знает что. И во весь голос. А как же иначе? Он же не обыватель, не мещанин. Не хочет и не может молчать, как хладная рыба. Кононов квалифицировал его выступление на комсомольском собрании о бюрократической опасности как «антисоветскую вылазку».

— Здесь, в тюрьме,— откровенно, мужественно сознается Краснов,— я свел счеты со своей философской совестью.

— Ему следователь глаза открыл,— бодает Хейфиц, вламываясь в наш разговор.

— Вздор. Что мне мог открыть следователь? Кононов отменный дурак, образина, держиморда, прохвост, безобразник, злыдень, садист, сволочь рваная. Это вы вашего инквизитора, истязателя чуть ли не в гении произвели,— козырнул Краснов; хорошо влындил.

Тихо, ладится лишь мне:

— Неужели потому, что нас с вами ущипнули за одно упитанное место...

— Это называется не ущипнули, а взяли за жопу,— у Хейфица слух остер, как жало осы. Спорщик, боевой конь, не унимается, мстит, врывается в наш разговор Хейфиц,— прижопили! Юноша, надо знать русский язык.

Я заржал, как молодой жеребенок. Цирк, да и только! Дело в том, что Хейфиц говорил с комедийным сильным акцентом, неправильно, как говорят евреи только в анекдотах. Поди же, поучает русскому языку! И — прав! Мой Краснов не реагирует: мол, мараться нет охоты. Ко мне, почти конфиденциально:

— Неужели мы, молодежь, отречемся от истины марксизма? Я не отрекусь. Никогда. И под угрозой смерти. Я с истиной, как бы горька она ни была. Истина превыше всего. Хотите знать, почему я верен идее? Да, здесь, в тюрьме. В тюрьме я обрел, осознал истину во всей ее глубине. А это,— Краснов хлопает себя по заду, энергично формуя зрительный образ,— не орган познания. Мало уважаю, для кого это единственный орган познания. Эмоции, закидончики надо контролировать, сдерживать, угнетать разумом, подчинить ему. На то и дан человеку разум.

Краснов оглянулся, как парфяне: в глазке глаза Рябушинского не было. Он подсел ко мне на койку, что вообще-то не положено, принялся, суд да дело, просвещать меня новшествами, которые разверзлись пред ним во Внутренней тюрьме МГБ; бдительно приглядывался к глазку.

— Надо признать, притом откровенно и честно, что последняя война кинула нас назад, вспять,— говорил он.— Я имею в виду не добычу угля, нефти, стали. Вникните и поймите меня правильно. Я уверен, что у вас на филологическом то же, что у нас. Балаган, пошлые, глупые песенки. На далеком Севере эскимосы бегали. Гимн. На вечеринках танцы, обжимы девиц, пошлость. Мрак. Окопники, фронтовики, партийцы размахивают простреленными шинелями. Мы — кровь проливали. Приглядись к этой публике. Циники, проныры, карьеристы, стервятники. Точный, дальний прицел. Большая Берта: аспирантура. Противно. Гадко.

Доверительно, по душам, сокровенно:

— Много прилипал и всяких гадов во время войны в партию пролезло.

Затем Краснов зафугасил гулкую фразу, которая прожгла мне сердце, и я застонал от неимоверного восторга. Однако этой мысли, долгожданной и одновременно опережающей мою готовность воспринимать новое, я не решусь произнести без предварительных и нудных пояснений, извинений, оправдываний. С горьким чувством вынужден объявить, что коробы ярких, заме-

чательных, сверхгениальных идей были обпачканы, загажены, осквернены ходом жизни, временем. Начну с далекого примера. Предположим, что вам, читатель, зачем-то важно провести различие между Гитлером и Франко, притом вы полагаете, что между этими историческими феноменами лежит существенное различие, что они по своей внутренней природе отличны, что близость лишь кажущаяся, поверхностная. Словом, вы собираетесь сказать, что национал-социализм представляет собой вариант левацкой, социалистической тоталитарной идеологии, а то, что мы имели в Испании при Франко — есть разновидность вполне пристойного правового режима, при котором очень даже можно жить, притом франкистский строй легко, естественно трансформируется в либеральную, плюралистическую, парламентскую демократию, что произошло прямо на наших глазах в Испании. Но если вы действительно заявите, что в тридцать шестом году вы бы были на стороне Франко, а не на стороне Народного фронта, вы себя безнадежно погубите, скомпрометируете, притом не только себя, но и вашу идею. Знайте и помните, что существует гнет и тирания слов, а в сознании современного человека слово фашизм есть адский жупел: нечто ужасное, страшное. А Франко, как известно всем и каждому, фашист. Против Франко боролся сам Хемингуэй, а он всегда был на той стороне, на какой должен быть честный человек.

Итак, мой Краснов возвел, как римский оратор, к габаритному, штукарному небу правую руку, запузырил:

— Нужна культурная революция!

«Эх, дубинушка, ухнем».

Выражение «культурная революция» обильно, непролазно скомпрометировано китайскими левацкими штучками-дрючками, хунвейбинами и хунвейбиночками, но важно помнить, что борьба за нового человека, стремления и усилия создать прекрасного человека, труженика, творца, лишенного эгоизма и родимых пятен капитализма, человека с высокой нравственностью, самоотверженного, самозабвенного, бескорыстного бессребреника, строителя нового прекрасного мира, глубоко, кровно, крепко преданного сверхличной цели, не только не чужда революционной идеологии марксизма-ленинизма, но была, есть и будет актуальной и главной задачей коммунизма. А это и есть культурная революция, глубинная, истинная.

Краснов взвился с койки, помотался суматошным, лихорадочным, шизоидным маятником между койками, немного погодя остановился у параши, снял крышку, задумался, опять закрыл парашу; заклинает меня:

— Зашвырнем же за мельницу романтизм, мифы, маниловщину. Трезво, мужественно, беспристрастно, непредвзято глянем на действительность.

Гладко, ровно, как по-заученному, давно и хорошо продуманному, продолжая чесать: марксизм, мол, как раз и есть такое замечательное и вечно юное учение о законах истории и общества, которые действуют опосредованно, через экономику, через развитие производительных сил, косвенно формуя и определяя волю людей. А люди, развивал свою мысль Краснов, во все времена были и остаются одни и те же. Не добрые и не злые. Скорее даже плохие, злые, коварные, гадкие, пошлые, мелочные, тщеславные, завидущие, скорее жестокие, чем хорошие, отзывчивые, добродетельные. Если они не буржуи, а непосредственные производители, народ, рабочие, ремесленники, крестьяне, это отнюдь не значит, что в своей серой глине, в своей массе они более порядочны, добры, честны, отзывчивы, чем те, кто их эксплуатирует, буржуйствует, живет за их счет, извлекая и присваивая прибавочную стоимость. Не в этом соль! А в том, что экономические законы определяют волю людей независимо от того, добренькие ли они или безмерно злые, гадкие. Отбросим прочь маниловщину. Человек по своей природе отнюдь не добр, как наивно думал Руссо, а за ним чуть не вся обезумевшая, оголтелая, ошалелая Европа, Кант, Гете, Шиллер, а за Европой и вся образованная Россия, Некрасовы, Толстые (Толстой в медальоне носил портрет Руссо — символ веры), идеализируя, романтизируя простого человека, труженика, крестьянина, крестьянина-бедняка. Золото, золото сердце народное! Безумие это, ложь. Человек по природе не добр, а зол, ленив, коварен, лжив, фальшив, двусмысленен, эгоистичен, корыстен. Это знает средневековье, Августин и иже с ним, об этом ясно, предельно

честно и откровенно заявили новые апостолы, Маркс и Энгельс в великом Комманифесте. Лишь из страха перед наказанием человек удержится от взятки, гадости, подлости. Честь, совесть, мораль — устойчивые предрассудки. Они хоть и оказывают влияние на бытие человека, но не определяют его. Не честь, а голый чистоган, свинцовые инстинкты, любовь, голод подлинно правят миром. Для истории несущественно поведение и мировоззрение отдельной личности, атома. Термодинамика связывает температуру со скоростью движения молекул, но молекулы «идеального поведения», которая движется со скоростью, соответствующей точно температуре, может и не быть. Директор завода, секретарь обкома могут быть карьеристами, трусами, развратниками, сладострастниками, пьянчугами, подонками и ворами. Руководство партии может делать промахи, которые граничат с преступлением. Не будем страшиться слов: руководство партии может сознательно совершать преступления. Но в силу того, что у нас нет частной собственности на средства производства — да, именно в силу этого! — мы были, есть и будем на магистральном, единственно настоящем, истинном пути; а ошибки забудутся, исправятся, сотрутся, нивелируются общим ходом времени и истории. Лес, говорят, рубят — щепки летят. Смысл марксизма как раз в том, что законы истории продолжают действовать вопреки чьей-либо злой воле, вопреки промахам, преступлениям руководства. Маркс использует очень интересное выражение: «в конечном счете». Для истории несущественно, какая из партийных группировок одолела в двадцатые годы. Все это мышиная возня. И только те, кто не понимает истины марксизма, могут думать, что было бы иначе, если бы был жив Ленин. Абсолютно неважно, начхать, кто у руля, Сталин, Троцкий, Бухарин.

— А что ж важно? — шумно, глумко, скопом и дружно загалдели сокамерники, повскакивали, как на пожар, с коек, ополчились единым народом на Краснова, включая бирюков-власовцев.

Юный пророк и философ глядит на нас, как на непробиваемых, необратимых, злобных тупиц; тоном неистового педагога или укротителя диких тигров и львов (Дуров? Всегда выходил на арену цирка без оружия, взглядом, словом укрощал огромного зверюгу — такой был Дуров) командует:

— Тихо. Без паники.

В улыбке на мизинец все же есть высокомерие; вздернут тяжелый подбородок:

— Не ясно? Извольте повесить ваши тугие уши на гвоздь внимания. Слушайте. Мыли уши? Да очнитесь вы, куриная слепота! Лебеди мои белокрылые, важно одно и только это. Партия, стоящая у власти, должна сохранить принцип государственной собственности! Буржуев не надо! Не должно быть частной собственности на средства производства, а остальное приложится. Еще раз повторить? Не стану. Имеющий уши да слышит.

Лебеди озадачены, удручены. Их лица выражают слабоумное недоумение. У них численное превосходство, но лишь у Хейфица настроение боевое, хорохорится рьяный, неуемный спорщик, ершится, наладился пререкаться: кричит со своей койки, объясняет нам, что все, что только что сказал Краснов, дикость, бред, срам, нелепость, околесица, а главное-де «плохой марксизм», что ему, Хейфицу, очевидно, что Краснов абсолютно не постиг Маркса. Где-то, не то в «Анти-Дюринге», не то в одном из писем Энгельс писал черным по белому нечто такое, из чего необратимо и неукоснительно следует, что социализм не надо намертво связывать с государственной собственностью. Из своей роскошной памяти Хейфиц выудил цитату, убедительную, бесспорную. А знает ли Краснов, что у Маркса и Энгельса выражение «диктатура пролетариата» вообще употребляется в одном-единственном месте, как бы случайно? О себе говорит:

— Я не большевик и не ленинец, но марксист, а потому коммунист.

Но юного философа не сбить так легко и просто. Он выходит на середину камеры, переставляет зачем-то на столе кружки, чайник, как бы собираясь с мыслями; вот он встал в позитуру перед Хейфицем, парирует его злой, ядовитый выпад, говорит, что в «Анти-Дюринге» и в письмах Энгельса масса сомнительных, устаревших, староверчес-

ких, меньшевистских, аховых идеек. Вот те на! У меня ум за разум заходит, кружится.

— Может статься,— бесстрашно разгоняет бескомпромиссную мысль философ,— вы еще заявите, что все то, что творится в истории двадцатого века, «плохой марксизм», не по учебнику. Незаконнорожденная революция в России, отсталой, аграрной стране — бланкизм, плохой марксизм? Не во всем мире революция, а в отдельной стране — опять плохой марксизм, буза? Слепота куриная, педант, схоластик! Меньшевику не дано понять революционный дух марксизма, не дано понять тайну истории! Да революция всегда и везде опиралась на организованное, дерзкое меньшинство! В непонимании этой истины близорукость и трагедия меньшевизма!

Хейфиц подходит к Краснову, со вкусом творит всамделишный поясной поклон:

— Большое русское спасибо от еврейского благотворительного общества.

Смех, сбил пафос.

Краснов опять берет слово, овладевает нашим вниманием, говорит, что партия состоит из людей, а люди есть люди. Романтик впадает в уныние и разочарование, узнав, что люди не ангелы, что они ходят, куда царь пешком ходил, в сортир, опорожняют мочевой пузырь, желудок, люди болеют, стареют, умирают. Они слабы, криводушны, самолюбивы, мелочны, тщеславны, завидущи, злопамятны, мстительны, жестоки. Как так? — козлоголосит романтик, пускает пулю в лоб. А что случилось? Партия круто меняет курс, вводит нэп! Зачем было огород городить? За что боролись? Перерождение! А в тридцать седьмом романтик кричит, истерически руки заламывает: Бонапартизм! Термидор! А как тут пресловутый договор с Гитлером, «дружба, скрепленная кровью»! А кого сажают? Ленинскую гвардию? Ежовщина!

— Я прошел через горнило сомнений.

Расталдычивает, а для меня эти слова ну прямо бальзам на глубокую, кровоточащую рану.

Почему все же он «предпочитает» у руля государства видеть Сталина? Вот почему. Сталин — не романтик, а хитрый, тонкий, ловкий тактик; Пастернак назвал его «гений поступка». Сталин — реалист. А что было бы, если бы одержал в партийной борьбе верх блистательный позер, фанфарон Троцкий? Он попер бы на капитализм войною, стремясь спровоцировать мировую революцию, сделал бы ставку на мировой пролетариат, прежде всего на пролетариат Германии. Ввязавшись в военные авантюры, просадил бы игру, в пух и прах проигрался бы. Допустим, как честный человек, он пустил бы себе пулю в лоб и при этом произнес бы красивую, звонкую историческую фразу, на что он был большой мастак. Но кому от этого бы стало легче? Погибла бы истина революции. А Сталин горазд терпеть, выжидать. Умеет отступать, на словах особенно. Брестский мир многому научил большевиков. Весьма поучительный троп, не правда ли? Главное — власть! Власть и только власть. Сталин умеет и наступать, умеет максимум выжать из ситуации. Его слабости, недостатки более, чем на поверхности. Заранее согласен, что лучше, когда нет недостатков. Но так не бывает. Люди не ангелы. И на солнце есть пятна. Сам видел, смотрел сквозь закопченное стекло. Одно несомненно: Сталин великий реалист. Мастер. За то ему честь и хвала. Он умеет всеми имеющимися и доступными средствами усилить и укрепить принцип государственной собственности. А договор с Гитлером и все, что с ним связано, лишь тактический маневр, обычный в большой политике, попытка выиграть время, улизнуть из-под страшного, смертоносного удара.

— И вот, несмотря на все, мы на истинном пути! — назидает и подытоживает дерзкий философ. Это положительно так, несмотря на тридцать седьмой год, на договор с Гитлером, несмотря на репрессии, на то, что мы, а нас далеко не только двенадцать человек, а поди не одна и не две тысячи. Нас сотни тысяч! Наш неотразимый удел — всех, без изъятия — лагерь, где нам хана, загнемся. Наша песенка спета! Лес рубят — щепки летят. Утешить мне вас нечем, надежды нет. Человечество стоит перед великой, страшной альтернативой: строй без частной собственности на средства производства или капитализм? Надо сделать выбор. Честно, с открытыми глазами. Третьего не дано.

Увы и ах. Терциум нон датур. Третье человечеству не корячится. Вперед и выше или назад? За социализм или против социализма? Вспомните Александра Блока, его последнюю поэму «Двенадцать». Потрясающая поэма. Прозренческая. Апокалипсично. Окончив поэму, Блок записал в дневнике: «Сегодня я гений». Революция — смута, хаос, воинственное хамство, уголовщинка, сведение личных счетов. «Помнишь, Катя, офицера — не ушел он от ножа». Убийства. Гений Блока остро воспринимает и чувствует сердцевину и душу истории, слышит ее великую, торжественную, божественную музыку. Он пророчески дерзает: «Слушайте музыку революции!». Он покорно, деликатно, необъяснимо ясно и радостно, с легким сердцем, даже ликующе принимает все: пожары, а сгорело его Шахматово, любимая библиотека, погромы, кошмары, химеры, убийства, потому, что те, кто вершат преступления, те двенадцать, жарящие державным шагом в даль, в историческую перспективу, апостолы, новые люди. Они несут юную, новую, жгучую истину. С ними Бог, творящий историю.

В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос.

УТОПИЯ

Эх, твою мать, перемать совсем. Извиняюсь. По-хорошему, как надлежит паиньке, подвиньтесь. Не вертухайтесь. Было именно так и, поверьте мне, никак не иначе. Скажете, не может быть, скажете странно. Пусть. Картинка с выставки. Однажды в жаркий летний день, роняя на оленя тень, глухой Шаламов, ныне уже покойник (прошу покорнейше, не надо путать с Шалимовым, о котором речь пойдет ниже, а так же со скульптором Шалимовым, другом Гольдштейна; умоляю, читатель: будьте зорче, внимательнее к деталям, не путайте имена) назойливо заведясь, изъявил желание услышать «о самом страшном, что пришлось вкусить в лагере».

— И чтобы без понта! И чтобы без журфикса!

Не легко и не просто держать рачительный, честный ответ. Как же так, с бухты-барахты. Есть над чем призадуматься бывшему лагернику, крупно призадуматься. Не хочется опростоволоситься. Немаловажно при этом ни в коем разе не упускать из виду и постоянно иметь перед глазами в качестве александрийского маяка, отменного путеводного чуда света (без такого маяка, едрена вошь, запросто потеряешь верный ориентир, заколобродишься в кромешных потемках, налетишь на скалу и — буль-буль, пошел ко дну, потонул, только этим самым, что мои греки называли фаллос, болтанул, поминай, как звали) тот несомненный и немаловажный факт, что не только по сравнению с несусветными кошмарами, которые выпали на долю страдальца и страстотерпца Варлама Тихоновича Шаламова (о его мытарствах и страданиях я был досконально осведомлен по ухайдакивающим аккуратно и наповал «Колымским рассказам»), но даже по сравнению с другими моими солагерниками мое пребывание на достопамятном ОЛПе, что в поселке Ерцево, было на зависть благополучным. И вообще наш лагерь, обычный ИТЛ, по сравнению с Шаламовской Колымой смотрится фешенебельным курортом-санаторием, притом прозрачнейшей, чистейшей воды. А по доброй воле кто будет себе шукать огорчений на хобот? Никто. Дураков нет. Если не считать карантина, первой недели в конторе, пока я не освоился, пока не понял, что справляюсь с новым для меня делом, ничего страшного, печального со мною не случалось да не было. Расчетчик. Работа под крышей, в тепле. Сидишь чин-чином. Грех на судьбу клепать. Конечно, я знал и понимал, что в любой момент мыльный пузырь относительной устроенности может лопнуть: угодишь на общие; а того хуже: на другой лагпункт; а то и на 46-й ОЛП, повальный, штрафной, где вовсю работает жареный петух, клюет зэку мягкое место, пока от него не останутся одни кости, где, как говорилось, «вечно пляшут и поют», где так и снует лютая, невозможно жаднущая, наглая ненасытная жница смерть, где не только забудешь дум высокое стремленье, но забудешь какой зовуткой-уткой нарекли тебя мать и отец, где полюс голода, где держава смерти (туда-то в конце концов угодил

мой друг Краснов, но про это в своем месте). Хочу еще напомнить, что мне крепко повезло со следователем, что у меня было легкое, бархатное следствие: втерпеж. Знаю, что у других было иначе и по-другому, но в моей жизни все по-особому. Я не скажу за всю Одессу, а меня следователь любил. Факт, пусть не типично и льет воду не на ту мельницу. Пусть нет аналогов. Да знаете ли, что меня любил и Владзилевский, главный бухгалтер ОЛПа-2, а о нем никто слова хорошего еще не сказал. Меня все любили, с кем я сидел: и Коган, и Гладков, и Минаев, и Померанц, и Борис Арбузов, и Славка, и Татаринцев, и Васлев, и Федоров. А с Красновым мы были просто други. Любили меня и Кузьма, и Шмайн, и Красин. Вспоминаются строки Тютчева: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Да, по статье 58-10 я получил всего пять лет! А признайтесь, читатель, что вы не знаете никого, кто по этой статье в послевоенное время имел всего пять лет? Ах, да: Померанц. Среди женщин были: Калина, подельница Кузьмы, у нас Ирена, прекрасная полячка. Были. Не один я в рубашке родился. Но нас мало. Нас так же мало, как хороших следователей. Дело Померанца я в подробностях не помню, хотя сидел с ним в одном лагере. Конечно, Померанц — великий ум, можно сказать гений, крупнейший философ нашего времени, с другой стороны, нет пророка в родном отечестве. Ничего лучшего не придумал, как давать советы Сталину, поучать его, письмо какое-то написал, где разглагольствовал о недостатках в армии, чернил нашу победоносную армию, что-то о пьянстве офицерства писал, о хамстве, невежестве, грубости. Я не задался целью объяснить Померанца — могу и промах дать. Сам, чай, Померанц, разъяснит людям, подробно и честно расскажет о своем деле, почему отделался маленьким сроком, и о двенадцати подвигах. Он не молчальник, тверезо, ретиво, рьяно пишет. Язык хорошо подвешен, мастак. А Ерцево, волею судеб и случая, куда я был заброшен (конечно, и по бюрократической прихоти ГУЛАГа), было совсем не на краю света, как прославленная Колыма, не во глубине сибирских руд, а недалеко от Москвы, на юге Архангельской области. «Машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени» — право, не про нас с Померанцем. Где точно расположен наш лагерь — вразумительно не представляю. Против неба на земле. Луга хорошие, тучные. Макар телят гоняет сюда. Леса еще полностью не вырублены человеком. Каргопольлаг — лесные разработки. И в лагере я сходу выудил счастливый билетик, устроился в конторе, сразу пришелся ко двору. Всю дорогу на комендантском, и если не принимать во внимание карантина, где последнюю неделю о нас с Красновым вспомнили (порядком досталось: с непривычки, выбивался из последних сил, спина не разгибалась), то должен сказать, что за весь срок, который я, кстати, отбыл от звонка до звонка, я ни разу не вышел за зону. Извиняюсь: планида! В конторе, в тепле хранил гордое терпенье, а говоря попросту: жил припеваючи, лучше и желать нечего, работеночка не пыльная, протирал лагерные штаны, казенные, которые хоть и выдавались нам каждый год, но на другой день уже лоснились и блекли. Для того, чтобы попасть в контору, я не ударил палец о палец, не шустрил, не пресмыкался. Само в рот свалилось. Ума не приложу, кого и благодарить должен. Может, Фуриков, добрая душа, пожалел меня, малолетку?

* * *

Поскольку Варлам Тихонович размахнулся и в свой личный творческий план забил книгу про ужасы в лагерях, про всякий там ад и скрежет зубов, то мой незамысловатый, честный сказ должен был много его разочаровать. Это уж как пить дать. После моего рассказа, возможно, он перестал думать о своем великом замысле. Сбил я его пыл. Насколько я знаю, он не приступил к грандиозной задаче, а лишь трепался о ней на всех перекрестках. Может, оно и к лучшему. Не нужно ему такой книги: не его жанр. Зачем писать на основе чужих, сомнительных недостоверных сведений, когда и своего, пережитого материальчика ему хватало не на одну книгу. Словом, когда я простодушно поведал ему про самое ужасное, что довелось пережить, то весьма обескуражил старика, и он тут сделал свой всегдашний, выразительный, заблатненно-конвульсивный жест, как припадочный или бесноватый задвигал руками, под током словно. Вот он принялся меня, балду, бомбить, учить уму-разуму:

— Всю-то правду о себе не рассказывайте. С Лисы Патрикеевны образец берите.

Тут я без всяких обиняков, с наивной евклидовой прямолинейностью задаю старику вопрос, как мол, вы, Варлам Тихонович, относитесь к Ивану Денисовичу.

— Лакировка действительности,— отлил Шаламов лапидарные слова, вошедшие ныне в исторические анналы, ставшие хрестоматийными, известными всем и каждому.— Флер. Глянец. Конфетти. Полуправда, выдаваемая за всю правду, рассчитанная на дурной, примитивный вкус Твардовского, а, может, и на вкус Хрущева. Хитрый, ловкий, успешный ход. Кого он двинул мне в герои? Лагерную шестерку! А эти эвфемизмы,— патока. Журфикс, знаете, получается. Помяните мои слова, эта дешевка будет иметь успех у нашей стадной, шибко безмозглой интеллигенции, шумный успех.

— Иван Денисович, позвольте вам заметить,— запальчиво я брыкнулся: слова Шаламова все во мне возмутили,— не лагерная шестерка, а мужик. Скромный, честный, беспрекословный, неподдельный, святой труженик, на котором, как на трех китах, стоит Россия и мир испокон веков.

Я чуть было не брякнул, что называть гениального, посланного нам Богом Солженицына Лисой Патрикеевной может только последний подлец, что Иван Денисович в сто и тысячу раз лучше и правдивее всего того, что вы, Варлам Тихонович, написали и напишете. Это у вас, дорогой мой писатель, все неправда, литература, журфикс. Пляска смерти, эстетика ужасов, безвкусие, нагнетаете ужасы, а лагерь не такой, как у вас, а в точь-в-точь, как у великого Солженицына. Я сам с усами, нюхал порох, кровь мешками проливал, клопов кормил! Знаю, где раки зимуют, хоть в БУРе и не сидел. А вы-то сами сидели? Знаю и чувствую лагерь сердцем, как мусульманин Коран. Оставьте чванство, Варлам Тихонович, и не шебаршите. Не трясите Колымой, как орденом. Не вешайте людям лапшу на уши. Хватит. Долго страшно не бывает, а вы хоть там отмахали семнадцать лет, но лагерь не поняли, ничего не запомнили, кроме чехарды ужасов. У вас все серо. И ужасы серы. Романтизм. А где закон звезды и формула цветка? А у Солженицына все это есть. Он гений. Все это у вас, Варлам Тихонович, прет от черной зависти, и отсюда выходит математически, что по сравнению с гениальным Солженицыным, отмеченным Богом, нашим властителем дум, вы — подлинный пигмей. Это все я готов был сказать, но обуздал предельно смирительной рубашкой самолюбие, совладал с собою. И нынче, когда Шаламова нет среди нас, я бесконечно рад, что не дал воли мутным чувствам, душившим меня. Шаламов — редкостный старик, самоотверженный служитель пера, и на нем больше, чем на ком-либо, почил святой дух диссидентства. Это истинный бессребреник, восьмое чудо света, и я вполне искренне считаю, что он занимает первое место в моей коллекции выдающихся умов. И я не принадлежу к тем быстроногим, кто в темпе и со злорадством выкрикнул, что имя Шаламова зловонно, как кошачий кал, и столкнул старика под откос за его письмецо в Литгазету. Елки-палки, сколько раз я одергивал злые языки, хотя отдаю себе отчет, что тех, кто стоит на бескомпромиссных позициях, мне не переубедить. Глубоко ж копнул наш Достоевский. Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его. Не судите да не судимы будете. Перестаньте. И завидовал он, может быть, потому, что поэт, как сказал Гесиод, «соревнует усердно» (в отличие от простых смертных). В тот вечер я расстался с Шаламовым сухо, а он, уходя, как назло, надел мою новую ушанку, а свою, старую, с пролысинами, оставил на вешалке. Ничего не хочу сказать. Уверен, что старик без хитрой, задней мысли перепутал. Впопыхах обознался: опаздывал куда-то. Все ушанки похожи, как счастливые семьи. Да вскоре мы с ним и обменялись обратно. А, если кому я не так рассказывал, как рассказываю сейчас, то это для цирка, для красного словца, когда не жалеют родного отца. Признаюсь, говорил, что это типичный поступок лагерного волка. Но не думал так.

В целом, не будет преувеличением, если я скажу, что самым героическим, голгофистым из всего, что пришлось пережить после ареста до выхода на волю, выдался этап, сиречь дорога до Ерцева. Путешествие предрасполагает к созерцательному, философскому умонастроению. Гоголь страсть как любил

протрястись с ветерком по долинам и взгорьям Святой Руси. И Европу без внимания не оставил, исколесил вдоль и поперек: Рим, Париж, опять Рим; в Иерусалим мотался. Жил в дороге. Только в дороге легко и ладно себя чувствовал. Чудо-тройка, кто тебя выдумал? Какой же русский не любит быстрой езды и гоголем? С утра садимся мы в телегу. Пошел! И пошли перед глазами версты русские мелькать. Говорят, влечение к путешествиям — атавизм, воспоминание о кочевом образе жизни, который, как считают все историки, вели наши далекие предки-скотоводы. Где-то такое объяснение я читал. Словом, сел в вагон, набросился со вкусом на курицу, запил сухим красным вином («Мукузани», к примеру), можно из горла; на худой конец можно и портвейн употребить; отключился, словом, забыл и выбросил из головы невзгоды, нелады, проклятую жизнь. Хорошо. Ой, братцы, хорошо! Этап так запросто не роднится с путешествием. Для кого лето красное, а для нас, преступников, утрамбовали в воронке — человек не знаю уж сколько, как сельди в бочке; стоим, вплотную прижавшись друг к другу. А воронок, сами можете вообразить, не резиновый. 12 августа, как говорилось. Тупой, неподвижный полдень. Вовсю шурует и полыхает надмирная свирепая жаровня. Зной напирает, жмет, лютует; гнетущий, суровый, несусветный, неслыханно африканский, губящий. Жестяная крыша воронка безжалостно, адски раскалилась: плита. На улице тишь и непомерная жарища. Воронок стоит на самом солнцепеке, понятно, что внутри чистая, умышленная, как все мы считаем, стопроцентная душегубка, как в немилосердном, анафемном медном баке Фаларада: кровь сворачивается сывороткой. Эх, завернула! Живите — можете. Тянемся к крошечному окошечку, которое предусмотрительно переплетено толстенными, в два пальца, надежными прутьями железа, чтобы мы, зеки, с отчаянья не рванули на барочно-романтический марафон. Окошечко глядит в тамбур, куда в свой удел размещается конвой, которому, думается, в такое жестокое адово пекло тоже не сладко достается. Мы изнемогаем, доходим, заходимся. Накидывается волком матерым ураганный страх. Вот тут, вот сейчас кранты! Скопычусь! Я теряю связь событий, дух вон. Сердце бешено колотится, из груди готово выскочить, дать свечку. И ритмизованный звон в ушах, словно медный, мерный, гулкий ростовский колокол: бам! бам! бац! бенц! Мухи черные перед глазами хаотично, назойливо, густо носятся, крутятся, вертятся, а вот заметались круги, красные, кровавые, по краям весьма темные, черные, словно углем проведенные, обрамляют, а к центру бледнеют, размытые, какие-то сиреневые, оранжевые, пепельно-багровые, красные. Краснов крепко, как большая птица, держит меня за руку, пособляет; я слегка прикостылился на его железную руку. Он льет мне в ухо: «Голубь, не терять крыльев! Повторяй за мной. Человека создает его сопротивляемость окружающей среде». Послушно, как пай--мальчик, как попка-попугай, твержу за Красновым, бубню его врачующую молитву, черпаю в ней силы; доверился молитве, как ребенок. Где я? Кто я? Я это или не я? Так с цитатой из Горького я все это и рассказал Шаламову!

А вот еще картиночка, которую жажду вытурить навсегда из памяти, но она, заноза, не вылазит. Комом стоит непроглоченный крик, режет. Несообразный, невообразимый — как если бы дружным хором заголосило сто полоумных огромных зайцев. Ринулся и упал. Тянется к окошечку воронка, цепляется руками, за решетку цепляется, за эти убедительные, бесспорные, железные прутья. Он один пьет наш кислород, который отпущен на всех. Нам тоже надо, мы тянемся, задыхаемся. Наш кислородный воздух он один хлебает, а он всему живому необходим для жизни. Не один здесь! Совести нет! Дудки, для всех воздух! Вижу, кажется, и одобряю. Но не я это сделал. Тому, наглому, звезданули по яйцевидному, едва обросшему волосиками кумполу. Тряханули. Нет, мы не чикались. Но это сделал не я. Но я был заодно с теми, кто это сделал. Воздух для всех. Все мы хотим жить, выжить. И еще ему приложили, чем попадя, неоднократно. Совесть надо иметь. Он сник, обмяк, вроде воздух выпустили, как из надутой куклы, осел; с полу, утробно, сипло: «Конвой!» Начал, как ненормальный, в дверь дубасить, откуда силы взялись, на помощь кличет двуногих зверей, но там, за дверью, обитой толстой жестью, видать, не очень нас слышно, а может, неохота конвою валандаться с нашим братом. Опять упал, уже иное запел, уже умирающего лебедя поет, уже ревет ревмя, шквально:

— Братцы! Родимые, умираю!! О!!

Рванулся подняться, чтобы к окошечку. Еще одна попытка. Не смог, кувыркнулся, плюхнулся на карачки, прямо у дверей, закашлял порывисто, астматически, непрестанно, опять заблекотал. Хрюкнул неуверенно наконец движок, заурчал, недовольный, с перебоями, надсадно, за сим — устойчиво; воронок задрожал противно, дернулся глупым, ретивым козлом, рванул с места в карьер: нас куда-то помчали. Беспорядочная болтанка, утруска; мотало, как в шторм на море. Шофер, поди, дурак или сроду так. Или неопытный. Забыл, видать, что людей везет, хоть и зэков, а не мешки с картошкой. На ходу полегчало. Ехали изнурительную вечность, сто лет. Я искренне и истово бормотал Красновскую молитву, хорошо укреплялся ею. Саша припомнил потом, что из Горького. Откуда — не знаю, до сих пор. Не полюбопытствовал, а надо бы. Ткнулись, наконец. До мурашек противно лязгнул засов, распахнулась тяжелая дверь «воронка». Начальник конвоя деловито, донельзя скрупулезно выкрикивает нас по списку — в час по чайной ложке. Крикнет фамилию, а дальше шепоток, словно слух у вас пытает, проверяет: Имя? Отчество? Статья? Срок? Окончание срока? Надо шустро выскакивать из «воронка», а то как бы добрые молодцы, старатели, невзначай тебя прикладом не угостили.

— Краснов?

Очередь дошла до Краснова, скоро и меня, значит.

— Александр Сергеевич,— отрывисто чеканит Краснов,— 58-10. Десять лет. 1958-й.

Диалектика, Гераклиты всех времен и народов нас учат, что все, что имело начало, будет иметь свой конец. И до меня, стало быть, черед доплелся. Протиснулся вперед, отбарабанил что надо, порывно, правильно — откуда-то силы мобилизовались. Брезгливо, кабы невзначай не задеть, не коснуться, перепорхнул через горбившееся тело того, кто пил наш, общий воздух, а теперь, по очевидной видимости, отбросил копыта. Я проворно ныряю из «воронка», выплюхнулся. Глотнул жадно воздух — так, должно быть, глотает новорожденный пузырь, вывалившись из мамки. Я чуть было не завопил что есть мочи, потрясенный. Рождение — и все тут! Благословенны наши пять чувств! А сердцебиение невероятное, отчаянное. Ненасытно, большими глотками, хлебаю московский воздух. Продышаться — не налаживается, дыхание перехватывает. Прочухиваюсь. Силы мои неукоснительно крепнут, как на дрожжах прибывают, полуобморочные, тягостное изнеможение тает, испаряется, как дурной сон, как недоразумение. Жив курилка! Все. Сдюжил! Не вешать нюхало! Глазею по сторонам. Радость неподдельная. Где мы? Спешно верчу головою. Жмурюсь, вглядываюсь. Мало-мальски я продышался. Режет глаза, слепит косматое солнце. Обезумело: и здесь пекло. Улица. Деревянные домики, двухэтажные, с выцветшими наличниками. В три окна домишки, хибары. Не мощено. Пыль — само собой. У вокзала, небось. Куры бесстрашно, спокойно ходят. Глупая коза с бородкой, как у Калинина, привязана к забору, тянется куда-то дура, фальшиво, неестественно блеет, словно разучилась или стесняется. Остановилась какая-то женщина, пожилая, уныло, невозмутимо, прикрыв глаза ладонью, смотрит на нас. Глаза ее ничего не выражают, равнодушие. Не впервой видать такое. Принесла бы попить. И колонка рядом. Студеная вода — рукой подать. Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Танталовы муки. Может, колонка и не работает; так, осталась от прежних, неблагоустроенных времен. Москва все-таки: и на живописной окраине должен быть водопровод, сработанный еще рабами Рима. Хорошо бы добрый глоток жигулевского пива! Не сумел рассказать, как доходил в «воронке», Шаламову, обострить, драматизировать, форсировать, а надо бы.

Прощай, родная, шумная, пыльная Москва! Прощай, первопрестольный вечный град!

— Либерман?

Осечка. Никто из «воронка не отозвался.

Рассказанное происшествие защемляет душу до сих пор. Оно является

самым голгофистым из всего, что пришлось пережить. Я отнюдь не изгилялся над Шаламовым, когда выбрал именно эту историю. Прежде всего и во-первых, оно имеет для меня острую символическую значимость и сакраментальность: завершается большой период жизни, полный мытарств, смятения, недоумения, ошибок, глупостей, начинается другая жизнь, спокойная, полнокровная, уравновешенная. Второе рождение. Я стал иным человеком, прямо-таки несвойственно сменил характер. Я давно стал ощущать, что все, что со мною происходит, не напрасно, а имеет особый, не всегда мне ведомый смысл. Кто-то вмешивается в мою жизнь, подталкивает меня на поступки, чья-то пекущаяся, опекающая, старательная, распоряжающаяся воля определяет и задает мою судьбу, карму, которые не всегда гуманны и милостивы ко мне, но непременно дидактичны. За дерзкое ослушание я был высечен отцом, запомнилось. Педагогика. Очутился в темном, душном, пыльном шкафу, очнулся в мифе, во мраке, в смуте. Я и женился, должно быть, затем, чтобы выскочить из смуты, взбрыкнуться, уйти от путаницы. И ушел бы, избег темного, свирепого, терзающего жребия, но увидел Сталина на мавзолее, опять все замутилось непробудно, закружилось, завертелось, полетело в тартарары. Спятил. Я ведь рассказывал, что со мною творилось: еле ноги приволок, добрался до кровати, еле оклемался, очухался. Тема весьма и весьма деликатная, интимная. Не знаю, как и быть? Не смутить бы невзначай тебя, читатель. Сначала такой сюжет, далекий. Не о себе. Один мой друг завел собаку. Бывает. Псина к нему привязалась, представляете? Дико, безумно полюбила, боготворила, ела обожающими, влюбленными, бесподобными, преданными глазами, впадала в черную меланхолию, когда он отлучался, уезжал в командировку, ходила понурая, осунувшаяся, с перманентно опущенным хвостом, места себе не находила, страдала, изнывала, того гляди окочурится. Да так по моему другу не тосковала жена, ненаглядная, любящая, преданная Ярославна! Случай из жизни друга. Ненастный, осенний вечер, когда он возникает на пороге дома после двухнедельного отсутствия и несчастный, богооставленный пес вновь видит своего повелителя: зверь впал в истерику, подлинную, конвульсии, экстаз, сопровождающийся припадочным, неуемным кручением волчком, неуклюжими прыжками, лаем, надрывным, отчаянным, несусветным визгом, навзрыд, сумасшедшим лизанием рук. Э, тысяча чертей и одна ведьма. С ним еще что-то стряслось: стало корчить, сгибать; забила судорога, наконец, виденью моего друга предстало (забыл сообщить, что песик был мужского пола, самец, кобель), как за экстатической радостью, за неистовой любовью к человеку, как к божеству, проглянула неромантическая, низкая, грубая сексуальность: вылезла здоровенная, красная елда, длиннущая, по форме морковь, стала прямо на глазах расти, раздуваться, достигла непомерных размеров, хочется сказать, неправдоподобных огромностей, подчинила силе страсти, скрутила; дальше продолжает расти, как в сказке (такого не бывает!), еще бухнет; и вот — лопнула, хлестануло; весь блестящий, выдраенный к приезду моего друга паркетный пол очутился залитым семенем, хлынувшим под неимоверным напором. А чуткий, легко ранимый, безъязыкий друг, растерянный, расстроенный, угнетенный, униженный случившимся, угрюмо, уныло, смиренно заковылял по-стариковски заколоденной растопырой прочь, понуро пряча умные, полные отчаянья и стыда глаза.

Лады. Может, я это и зря. Решаюсь. Была — не была. Собрался с мужеством. Долго я эту тайну носил под сердцем, всё: кончаю игру, кончаю намеки, двусмысленности, жмурки. Вперед! Смелость, говорят, города берет. Читатель, поди догадался, что мой друг, который завел собаку, и я — одно и то же лицо. Это я завел собаку. Прости меня за этот ход, стыдлив оказался. Итак, читатель, я должен сознаться, что мой восторг перед живым богом, восторг неописуемый, немыслимый, неукротимый, увенчался внезапно, скоропостижно и точь-в-точь, как у моей архичувствительной псины. Хорошо, что люди, большие, взрослые люди, со времен печального изгнания из сада-Эдема прародителей Адама и Евы напяливают на срамные места всякую там одежонку, а тем паче без одежонки нельзя в нашем климате, в этой северной, объективно скверной, подлой, нервной холодрыге. На демонстрацию я летел, как на орлих крыльях, одет был в новенький демисезонный реглан, купленный в ЦУМе к свадьбе. Последний ухватил. Почем зря хватали перед реформой. Я хочу сказать, что брутальная, безобразная сторона экстаза осталась тайной. Я покидаю живого сущного бога, стоящего в фаворской, непоколебимой высоте на фоне древнего, прекрасного Кремля. Топаю мимо драконоподобного, одетого в леса Василия Блаженного, кругаля даю, вот уж на мосту. Да-с, такие пироги. Ощущаю себя изнуренным, ощущаю порядочный спад душевных сил, крутую подмену настроения, депрессию, будоражащий, мучительный позор. В душе занозится унизительное, свинцовое чувство вины пред тем, что восторг сорвался, завершился так неблагополучно, так злодейски материально, предательски, грязно. Где-то, когда-то, у кого-то я прочел, что динамика мистического экстаза близка к динамике полового акта и порою захватывает сферу грубой сексуальности. Очень думается, что мои наблюдения и записи были бы крайне интересны и важны Соловьеву, Мережковскому, Белому, Розанову, Скрябину, Чюрленису, Нестерову, Врубелю; их бы внимательно прочли и прокомментировали Экхарт, Беме, Паскаль, испанская Тереза. Помните у Пушкина в «Рыцаре бедном»: «Не путем де волочился он за матушкой Христа»? Ах, Пушкин! Вот уж кто «несносный наблюдатель»! Мне отнюдь не удивительно и не странно, что Спаситель воспретил Марии Магдалине прикоснуться к себе, хотя и предложил апостолу Фоме вложить персты в кровоточащие раны свои. А с кем бы я поделился своими переживаниями и сомнительным, химерическим опытом, так это с Паскалем. Попадался ли тебе на глаза, читатель, «Мистический амулет» Паскаля? Вот выдержки из него (интереснейший документ!):

«От приблизительно десяти с половиной часов вечера до приблизительно полуночи с половиной.

Огонь.

Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.

Нет философов и ученых.

Достоверность. Достоверность. Чувство. Мир.

...Радость, радость, радость, слезы радости.

...Разлучился с Ним.

Оставил меня, источник воды живой».

Обжигающие записи! Зашиты были в сюртук Паскаля, заныканы. Не предназначались для постороннего, чужого взгляда. Обнаружены случайно после смерти.

Спустя время, будучи уже взрослым, большим (уже в хрущевское время), я намекнул о своих чрезвычайных переживаниях на Красной площади в разговоре с одной очень умной, трезвой, интеллигентной женщиной, а она вдруг, непристойно покраснев, потупив глаза, доверительно поведала мне, что испытала нечто схожее, похожее, близкое, но, «как женщина». Тут же сообщила, что ее ближайшая приятельница, «очень интеллигентная женщина», после одного такого восторженного экстаза на Красной площади отказалась делить с мужем супружеское ложе, прогнала несчастного бедолагу, обозвав «грубым животным», а он-то ни сном, ни духом не ведал, что же такое случилось, в чем же он так провинился, чем прогневил обожаемую женщину, нежную супругу. Потом она спала на раскладушке, жила воспоминаниями о встрече, надеждой на новую, превратилась, если так можно выразиться, в мистическую супругу Сталина. Не хочу на эту тему распространяться. Может быть, испорченный телефон, не все так просто. Да и плохо представляю потенции, парадоксы и хитрости женской психики, женского организма. Одно добавлю, что полученного эмоционального заряда хватало ей с лихвой до следующего праздника, а о сюрреалистических последствиях удара и экстаза не буду распространяться.

Таким образом, выскакиваю я из «воронка», вдыхаю всей грудью горячий московский воздух. Второе рождение! Все вздор! Свободен! Какой же я был дурак, дурак набитый! Как умна, чутка, как права моя жена, когда сказала мне:

— У тебя замечательные родители!

Эх, мой зоркий, внимательный читатель, уж как я желал и надеялся, что удастся хитро увильнуть от излишних подробностей, дипломатично объехать

стороною печальные воспоминания нежного возраста, не бередить болячки, как я надеялся изъять из рассмотрения все, что стоит за этими геркулесовыми недоразумениями. Ничего не выходит. Без разъяснений останутся одни недомолвки, намеки, двусмысленности, темные айсберги. Итак, я вывалился из «воронка», глянул на мир божий, на небо, на домики, на всамделишную, глупую козу, ощутил себя переметаморфозившимся, новорожденным, ощутил себя блудным сыном, вернувшимся в семью, к отцу и матери, в отчий дом. Но разве я уходил из-под родительского крова? Разве я бежал куда глаза глядят? Нет. В том-то и дело, что я ушел, никуда не уходя, отпал, стал внутренним эмигрантом, чужим. Почему? Что вымело меня помелом из семьи? Что вернуло? В ретроспективе прошлого видятся события, которые сильно попрали, исковеркали мою детскую психику. А ведь могло ничего такого не быть? Грубый, разбойничий произвол случая. Читатель, поди, насторожился. Опять воспоминания детского возраста. Фрейд. Я и сам не люблю этого Фрейда с его эдиповыми комплексами. Остроумно сказала Анна Ахматова: у Эдипа не было эдипова комплекса. Конечно, Фрейд, гений, но какой-то противный, самоуверенный, самоупоенный, упрямый. Все же я намерен говорить о детстве. Я был и слыл покладистым, отзывчивым, славным пацаном, радовал маму и папу, любил их. В меру резв, в меру способности. Все в меру. От двух до пяти лучший возраст, говорит Чуковский, а дальше всякое бывает: характер портится, ломается; притом сплошь да рядом. На стыке возрастов грянуло событие. Врасплох. Играл, как обычно, во дворе с ребятами, заигрался. В этом возрасте ребенок без царя в голове. Меня окликнул отец. А я продолжаю отрешенно, обуянно играть, делаю вид, что не слышу. Очень допускаю, что сцена вышла непозволительно смешной. Кто-то непроизвольно прыснул. Слушайте дальше. Отец обозлился, заклокотал, как индюк. Еще бы: учитель, а сын не слушается. Честь мундира! И дернула же его нелегкая продемонстрировать перед людьми законную, веками освященную отцовскую власть, проучить, вернуть в чувство малое дитя, ослушника. Огромная тень накрывает меня, и властная рука отца хватает за шиворот. Все бы хорошо. Все бы этим и кончилось, да как назло, отец поскользнулся, потерял равновесие, замахал нелепо руками, как птица крыльями, плачевно хлобыстнулся о землю. Грохнул хохот — как из орудия. Всегда смешно, когда человек нежданно падает: закон анекдота. И дети, и взрослые покатились, за животики схватились. Особенное веселье началось, когда я дунул тикать, раз, цирковой номер, ловкость рук и — след простыл. Как метеор: нет меня. Эх, свобода, свобода! Озорство, шалтай-болтай по улицам и дворам. Вечереет, скоро и ночь, темнеет. А куда деться? Помыкался, взгрустнулось, стало невыносимо скучно. Некуда такому ребенку наивному, как я, запропаститься. Стою долго, как блудный сын, перед отчими дверями, не решаюсь звонить. Душой-то наладился туда, в тепло. Давлю неуверенно на кнопку. Робко позвонил. Собираюсь делать вид, что никакой вины не ведаю. Знает кошка, чье сало съела: вид у меня несчастный. Отец сразу открыл дверь, словно притаился за ней, поймал чадо за руку. По сравнению со мною, былинкою, он был сильным, как кран. Энергично, не говоря худого слова, поволок меня в комнату, а там, приготовленный заранее, терпеливо ждал меня соответствующий ошейник, немецкий. Сразу мне он в глаза бросился; декоративные металлические бляхи, тяжелая пряжка, красавец; еще с той войны, воспоминание о плене. Не размусоливая и без рефлексий (Гамлет: «Так трусами нас делает раздумье») отец начал молча, безбожно, безудержно учить уму маленького гаденыша, грешника. Не стану вас заверять, что до этого печального случая я не ведал, что такое физическое наказание. Знал. Нынче кардинально и беспримерно переменилось представление о том, что полезно для души и тела ребенка, что вредно. Сейчас вроде не принято сечь детей. А до войны иная была жизнь, на нынешнюю вовсе нисколечко не похожая. Моя мать была поборницей суровой, немецкой школы воспитания, горячо проповедывала экзекуции, считала, что порка отнюдь не вредна маленькому человечку, а очень даже идет на пользу, закаляет его нежное тельце, укрепляет волю, твердость, бесстрашие, сопротивляемость невзгодам. Всыпать, особенно за дело, очень даже стоит: сразу мурзилка становится кротким, как овечка, положительно шелковым, начинает ходить по струнке. Но она, как и всякая женщина, была не

слишком последовательна. Ее рассуждения о том, что в жизни не одни пироги и пышки, а бывают синяки и шишки, носили абстрактный характер. Так, дарила подзатыльники и затрещины, а шлепала редко и нестрашно. Не по-настоящему. Наказания за провинности вершила она одна: отец не вмешивался в мое воспитание. Но час пробил! Ошейник взял в руки отец. Целеустремленно, рьяно начал меня стегать. Не как мать, а самозабвенно, щедро, без удержу. Помню его дрожащие, синие губы, ошалелые, хищные, страшные, ополоумевшие, сверкающие и одновременно кроваво-мутные буркалы. Жарит, поливает меня, вымещает на мне, цыпленке, что был смешон, что честь его пострадала. Лупит вовсю, заходится, свирепеет. Небо с овчинку. Я верещу, как свинья, которую режут, задыхаюсь, захлебываюсь от собственного крика: «Больше не буду!». А отец все сечет, подбавляет. Ору страшно, мой голос ломается, хрипнет, слабеет. Я уже не рыпаюсь, лишь судорожно вздрагиваю всем телом. А родитель все прибавляет жару, выкладывается, вымещает, сам остановиться не может. В дверь раздался сердитый стук. Мой ангел-хранитель, посланный Богом,— сосед. Видать, переутомился, не выдержал душераздирающего, отчаянного, дикого, пронзительного, проникающего сквозь стены SOS, вмешался: «Дайте покоя!». Отец разом опомнился: дернул тормоз Матросова, бросил затягивающуюся, как омут, страду. А что было бы, если бы не возмущенный стук в дверь старого хрыча? Мне бы ангельский чин в лоне вечности, а отцу? Не знаю и знать не хочу. Пришла мама. Куда она запропастилась? Я продолжаю беспомощно, распластанно лежать в кресле, где меня огорчали нещадно и жарко, учили манерам, уважению старших, безоговорочному послушанию с первого слова и даже с полуслова. Нет бы маме раньше прийти! Я душою потянулся к ней, хотел пожаловаться, что меня чуть не забили только за то, что я не выказал уважения к предкам, к корням. Отец первым поднял тему, сообщил, что сын растет хаменышем, что он вынужден был учинить большую порку, вложить мне березовой лапши. Но отец не сказал, что увлекся, что лупил меня так, что небу было тошно, что чудом не забил до смерти, что только стук соседа в дверь спас мне жизнь. Мать взыскивающе, отчужденно, осуждающе посмотрела на меня. Она одобрила отца. Даже заметила, что хорошо, что он наконец-то занялся воспитанием сына, не отлынивает. Ее слова больно ранили мое угнетенное сердце: предательство самого родного, самого чуткого человека! Нет у меня матери! Подступила истерика к горлу. Я ощутил беззащитность, беспомощность в злом, холодном мире взрослых. Повержен, сломлен. Душевная рана не зализывалась. Присмирел, избегал отца. Не мог простить матери. Слабое, ласковое, доверчивое существо сразу сделалось чахлым подранком. И сейчас заявляю. Всем! Всем! Во всеуслышанье. Родители, опомнитесь, не порядок лупцевать так увлеченно Богом посланного вам беззащитного человека. Нельзя без меры и удержу. Зачем отводишь душу, истязая маленькое, психически неокрепшее существо? Пусть оно виновно, но нельзя же так! Приструнить, слегка, для ума и острастки в духе и букве Пирогова — другое дело, святое дело. Но не так. Не уклонюсь и скажу: взрослые дяди и тети, извольте обуздывать разбушевавшиеся инстинкты, извольте не вымещать дикую вашу злобу на детях, гасите самолюбие, обиды. Дети наивны, глупы. Все равно они не понимают, что такое честь мундира, дворянская спесь и вообще честь. С Дантесом, если обижен, дуэлируйся сколько угодно (еще кто кого?), а сына-кроху, подлец, не тронь. Не гаси свет разума, когда хватаешь в руки орудие наказания, ремень, плетку, розгу, ошейник собачий, воспоминание о немецком плене. Зашло для меня солнце детства, самоизолировался, чуждался родителей, приохотился проводить время с нянькой, привязался, тянулся к ней. Хочется еще раз сказать, что довоенная жизнь сильно разнилась от теперешней. Мы жили скромно. Учителя мало зарабатывали. Я все детство мечтал о велосипеде, двухколесном, как у больших. Даже заикнуться о своей пламенной мечте не смел: это все равно, что просить луну с неба. А прислугу родители держали, на сундуке в коридоре спала, соседи понимали, терпели. Вера привязалась к нашей семье, родной была. Примета времени. Рассказываю, самому странно. Вера матери поверяла свои тайны, о чем-то они непрерывно судачили, шептались, о чем-то Вера советовалась. Я залез в шкаф, закрылся, тихо там играю, сижу в сплошной, плотной темноте. Задремал даже.

Очнулся, когда мама и Вера пришли с рынка, громко беспечно тараторят, зацепились языками, как это водится у женщин, отцепиться не могут. Разговор не для моих ушей предназначен. Невольно и беззаконно подслушал треп взрослых, сделал капитальное, царапающее сердце, обескураживающее открытие. Слабая, робкая детская душонка вскипела страшным волнением, но мир, окружающий меня, стал пронзительно ясным, не противоречивым: все объяснилось. Конечно, такого рода наваждения частенько врываются в обиженные, мнительные детские головки, но не надолго, не прилипают навсегда. У меня иначе. Всерьез, род болезни, недуга. Итак, из разговора мамы и Веры я узнаю, что я отцу вовсе не родной. А кто же мой родной отец? Отвечаю: Маяковский! Нарочно не придумаешь! Тише, читатель. Без шухера! Знаю, у вас куча вопросов. Но прежде всего позвольте напомнить, что в тридцатые годы, когда происходило событие, Маяковский не воспринимался таким уж Голиафом, гигантом, как ныне. Смею думать, если вам кто-нибудь скажет, что настоящий, родной отец Сельвинский, вы не воспримете это как безудержное, непревзойденное хвастовство, арапство, прощелыжность, манию величия. Сельвинский так Сельвинский. Эко диво. А в те годы все эти Маяковские, Сельвинские, Каменские котировались приблизительно одинаково, равно. О них знали в узком цеховом кругу, за пределами которого они были ничто и никто. А сейчас Маяковский чуть ли не равен Пушкину. Уверен, найдется такой Г. В., который прогорланит: «Выше!». Вообще-то я знал, что мать якшалась с Маяковским, что он надписал ей несколько своих книжек. Как только отец поссорится с матерью (а это бывало частенько), летят на пол злосчастные книжки, отец сумасшедше топает ногами, орет, как тюлень, пинает книжки. Мать кротко его увещевает, говорит: «Хочешь, я их сожгу?» Книги почему-то не сжигаются, не уничтожаются, принимают участие в следующей, скорой, очередной розни. Вот оно что (открытие!): он мне не родной, этот изверг, лупивший меня, а Маяковский мой настоящий отец, большой, замечательный человек, революционер, борец; его, моего отца, Маяковского, любил Сталин, назвал «самым талантливым». Мать предательница, изменница, обманула отца, то бишь Маяковского, бросила, сошлась с этим злым, грубым, пошлым существом, которого и человеком не назовешь. Сухайдр, кащей бессмертный, злыдень. И этот изверг ненавидит меня, принца и нищего, наследника прекрасного, сказочного царства, задумал забить, изжить, изничтожить физически. А отец мой, Маяковский, покончил жизнь самоубийством из-за измены матери, не пережил ее женского коварства. Ты не отец мне, а шут на троне, фальшивый купон, самозванец. Тушинский вор! Вот ты кто! И росточек у тебя крохотный, заурядно-позорный. Я тебя скоро перерасту. Да, да. Скоро. А книги, подписанные Маяковским, подтверждают, что он нежно любил мать. Какую жалкую, угрюмую мымру мать предпочла тому, кто был и остается самым талантливым поэтом нашей эпохи! Как это могло случиться? Где были ее острые глаза? Ссоры родителей, случайно оброненные слова, укрепляли мою догадку. Смута, ураганом ворвавшаяся в мое сердце, легко, в два счета, без выстрела единого покорила его. Приютская крыса, круглый казанский сирота! Будоражил, растравлял рану. Безотцовщина. В матери видел развратную подлую женщину. Есть такая песенка: «Наша мамка стала нехорошею...». Ужасная песенка! Двор, улица открыли мне свои объятия. Завязались дружбы. Другом я был отличным, как Пушкин, нелюбимый сын. Ценю дружбу. А сколько детей, потерявших отцов на войне, страдали, как я, от безотцовщины, стыдились, презирали, ненавидели, проклинали, как Гамлет, распутных матерей, ищущих мимолетного счастья. Мы обрели объект горького, болезненного, истерического поклонения: Сталин. Он, Сталин, стало быть, заменил нам отцов, погибших героями на войне. Так все естественно, просто, в порядке вещей. Мы безумствовали, когда видели Сталина на мавзолее. Нас надо понять, простить. Мы голодные, натурально вшивые, несчастные, неухоженные дети военного времени. У нас нет отцов. Мы и создали истинный, истый культ Сталина. Мы, а не пропаганда, уверяю вас. Может, мне следует быть осторожнее с обобщениями. Может, все не так. Может, это мнимое, одностороннее, субъективное, тенденциозное толкование исторического процесса и такого сложного, дремучего явления, как культ Сталина. Где миф, где почва и реальность? Думается, что читатель не удивится, что мудреная трагедия Шекспира «Гамлет» имела на меня угнетающее, деморализующее воздействие. Обо мне! Для меня писалось! О «Гамлете» немало спорят литературоведы, филологи, говорят много стоящего, умного. Каждая эпоха заново читает и открывает эту вещь. Для XIX века — лишний человек. Нас в школе учили, что это глупо. Всякий школьник знает, как свои пять пальцев, и вам запросто докажет, что Гамлет никакой не лишний человек, не Рудин, не Чацкий, не рыцарь на час, не Печорин. Перед нами не трагедия безволия: Гамлет умеет интриговать, действовать. Он человек Возрождения, прытко, ловко владеет шпагой, любо-дорого смотреть на сцене, как он дерется с Лаэртом, братом Офелии. Гамлет закалывает короля. Сколько раз взахлеб я перечитывал «Гамлета»! Не бессильным, сухим умом, а глубокою печенкою чувствовал, что это все обо мне, о моих болячках, что есть здесь сокровенный смысл, который литературоведы игнорируют. А все так просто и ясно. Я — это Гамлет. Моя мать — коварная предательница Гертруда, королева. Грубый, пошлый, фальшивый Клавдий, король — мой мнимый отец. А Маяковский — истинный, убитый, великий король. Расставил я все точки над «i», и вы, читатель, улыбнулись: неприлично как-то. Нарушена этика, правила игры. Так о чем же «Гамлет»? Имеющий уши да слышит. Имеющий глаза да видит.

— Либерман!

Начальник конвоя повышает голос, рвет глотку. Опять осечка. Заминочка. А из воронка — молодо, озорно, дерзко, кто во что горазд — понеслись рапортички:

— Был таков!

— С концами, ушел!

— Ищи ветра в поле!

— Сидеть, начальник, тебе!

— Эх, какой ты говорок...

Начальник конвоя замешкался, сунулся было в тамбур нашего воронка, но чуть не кубарем оттуда вышмыгнул, заметался, засуетился, замельтешил, забегал. Времени у него, знать, было в обрез, и этот подарочек судьбы ему совсем излишен. Остается одно: на скорую руку химичить акт, объяснять, поспешно оправдываться, отбрехиваться, как, почему, при каких таких стечениях обстоятельств человек, вверенный ему, скончался, да еще вроде бы естественной смертью. Тебе сдали по списку живых людей, и ты по списку и по счету должен сдать столько же, а у тебя сказалась усушка, утруска. Интересно знать, сулятся ли ему неприятности за такую халатность? А в чем, скажите на милость, виноват начальник конвоя? Солнцепек, жарища. У нас климат такой. А ведь могут по головке не погладить. Сегодня несчастный случай, завтра несчастный случай, а у других все хорошо, гладко. Не долго и должности лишиться. Того, кто окочур выдал в «воронке» из-за жаркого климата, выволокли за руки и ноги, понесли в тенек, голова раскачивается на длиннущей шее, как у гуся, ненароком оторвется. Глаза открыты. Приметная, седая, жесткая, очень с виду негигиеничная щетина, очень уж замшелый. Смерть лишена величия, тишины. Уложили в тенек у забора, в двух шагах от нас. Не знаю, кто он: бытовик или 58-я. От этапа в утлой памяти спаслось от всепоглощающей, всепожирающей реки забвения напутствие и предупреждение, брошенное в отсек столыпина: «Вологодский конвой шутить не любит!». И еще — резь в мочевом пузыре, разорвется того гляди. Это все в столыпине.

По моему впечатлению, очень рельефно оформившемуся, вовсе не из-за меня Шаламов не поднял очередной, великой книги. Ему, знаете ли, очень трудно было наскребать материал. Туг на ухо. А для глухих, говорят, две обедни не поют. Помнится, докладываю ему подробности, а он никак не усечет, в чем перец и соль рассказа? Естественно, зэков в «воронке» повезут. Возили и будут возить. Как же иначе? Где ж крутой маршрут? Говорит, гефсимании не вижу! Я же, как дебильный неуч, начинаю кренделя выкаблучивать опять от печки, повторяю снова сказ, а Шаламов становится все нервнее, раздражительнее. Я горланю ему прямо в ухо, рупором руки сложил, а он, глухая те-

теря, опять переспрашивает, моргает: где ужасы? Где Голгофа? Где индивидуальный надел и авва отче, если можешь, чашу мимо пронеси? Почему кисло в рот?

* * *

Коль скоро в балладе о нашем живописном, легендарно-умопомрачительном ОЛПе, на котором разразились события большой, я бы хотел сказать, исторической, космической важности (имеется в виду бунт; кто говорит — бунт, а кто — заварушка), на котором вовсю била ключом интеллектуальная жизнь в начале пятидесятых годов, собралось волею судеб немало гениальных голов, я интродуцировал сцену смерти, то очень опасаюсь: не дай Бог вы, читатель, высмотрите в этой присказке литературно-художественный трюк, эдакое нарочито-намеренное «ружье», которое теперь обязано по законам жанра выстрелить, шибануть, так сказать, обрамить, фланкировать. В школе все мы проходили Пушкина. Как же, «Евгений Онегин», роман в стихах. То да се. Пятое да десятое. Объясняли нам, что структурно роман в точности повторяет басню Эзопа «Журавль и Цапля», действие развивается между двумя письмами: письмо Татьяны к Онегину и письмо Онегина к Татьяне. Какая стройность! «Анна Каренина» начинается зловещим случаем на вокзале, кончается тем, как сама Анна сигает в пролет между двумя вагонами, падает под колеса поезда: «Свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». «Илиада»: единоборства Менелая с Парисом и Ахилла с Гектором — обрамляют и фланкируют остальные события. Но поверьте мне, читатель, что у меня вовсе не прием, как у Гомера, а тоскливое и не меркнущее в памяти событие жизни, о котором я в свое время чистосердечно, без дураков, рассказал Шаламову, а Шаламов признал это все негожим для своей новой книги, признал недостаточно апокалипсическим и социально значимым. Раз выплыла тема умирания и смерти, позволю себе немного полюбомудрствовать. Я, знаете ли, очень интересовался предсмертными мытарствами и приключениями души человеческой. Пофилософствуешь, и ум вскружится. Говорят, что первое, что чувствует рождающийся ребенок, это удушье, судорожное, инстинктивное желание-неумение хлебнуть воздух, расправить легкие. Из вечной тьмы небытия с ужасом от удушья, с криком отчаяния душа выпрыгивает в жизнь, глотает воздух. Это вначале. А в конце: вне зависимости от того, какой неминучей смертью вы, читатель, окочуритесь,— от дурацкого легкого гриппа, от инфаркта, от инсульта, от рака, от непроходимости старческой — жизнь завершается удушьем. Если в счастливой Америке вас ненароком жахнут по голове гуманным, безболезненным электрическим стулом, и вы, как принято считать, мгновенно, через общий паралич, отдадите последнюю чалку, последнее чувство, что вы, как живой организм, испытаете, будет не боль, а одно сугубое удушье. Удушье, а за ним: дзинь-ля-ля. Неколебимая, верная долгу Мойра Атропос (буквально: та, которая не оборачивается назад) обрывает тонкую нить субъективного бытия и субъективного времени. Конец! Больше ничего нет, а значит, как это гениально схватил, уловил Достоевский, удушье никогда не кончается, остается в вечности. Дурная бесконечность. Вечно и присно удушье. Быстроногий скороход Ахиллес, воспетый Гомером, никогда не сможет преодолеть дихотомии, не догонит черепаху, а это знали и умно изрекли мои подопечные греки. Они доказали. Мутно болото, пахнет тухлой, гнилой метафизикой. Может, вечного, незатухающего, неумирающего удушья вовсе нет. А проще, наше вам с кисточкой, пробежит, как у Чехова, стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, а дальше, как уверяет Шекспир, «тишина»: «бобок», каюк, белые тапочки, вечный тлен, абсолютная, вечная тьма, великое всепоглощающее ничто, черная дыра, поминай, как звали.

* * *

Вообще-то, как уже недвусмысленно сообщалось, я покусился на летописный очерк о Краснове, своем друге, а в связи с ним и о Каргопольлаге, о благословенном ОЛПе-2 — Афинах мира, где к началу пятидесятых годов сгрудилось больше выдающихся умов, чем в солнечной Греции в век Перикла, и если я так долго не переключаюсь со своей особы, то только потому, что о себе писать проще. Можно ведь и не справиться с поставленной задачей. Можно всю жизнь смотреть в потолок, созерцать его, но так и не понять, каким образом Краснов в столь неблагоприятных условиях, как лагерь, смог оседлать и взнуздать великую идею, дать ей неожиданное, дальновидное, пророческое истолкование. Отметим, что изложение и описание внешних условий быта не сулят понимания идеи. Хотелось бы эти слова подчеркнуть жирно. Отнюдь не значит, что мой друг был всего-навсего далек от действительности, предрасположен к абстрактным, метафизическим построениям, в чем-то был подслеповат. Не буду отрицать, что отчасти это так. А быть может, для того, чтобы видеть, как орел, дальнее, идею-образ, и надо быть дальнозорким. В земных, суетных делах был подслеповат великий астроном Тихо де Браге — о чем полно анекдотов. Бесспорно, имеется разлад и раскол между повседневными несносными реалиями лагеря, опытом, который волей-неволей должен был стяжаться по мере того, как мой башковитый друг адаптировался к экстраординарным условиям и глубинным, метафизическим осмыслением, оформлением этой эмпиреи в головную теорию, которая запросто могла разворотить мозги любому, которая до сих пор вызывает мое подлинное восхищение. А знаешь ли, читатель (может быть, этого ты и не знаешь), что все великие философские концепции создавались как результат внутреннего озарения, а не под влиянием повседневного опыта и жалкого житейского быта. Я был крайне смущен, когда взял в руки историю философии (поневоле: греки стали моей специальностью, пришлось продираться и сквозь их интеллектуальные построения), прочитал о Фалесе, которого древние причислили к семи великим мудрецам: мудрость Фалеса сводилась к тому, что он учил, что все состоит из воды. Ну это же явно не так! Какая-то глупость! Может быть, надо мною шутят. Может быть, это надо понимать как-то аллегорически, ну не прямо из воды, а... словом, как-то иначе. Одна моя знакомая, открыв Гегеля, сказала: или я дура, или Гегель. Все, значит, состоит из воды. Нет, нам, русским этого не понять! Почему именно из воды? У Гомера куда ни шло: «Река Океан, от коего все родилось». Еще больше испугал меня Парменид, который уверенно отрицал реальность изменения, развития, движения. Движения нет. Нелепость. Как это можно серьезно говорить? В чем мудрость? Оказывается, если бы вы сказали Пармениду, что видите движущиеся предметы, что факт наличия движения вам гарантируют ваши органы чувств, он бы вам возразил: «Нет, с помощью аргументов разума обсуди ты предложенный мною спорный вопрос». Значит, и Фалес, и Парменид, отлично понимали, что их философия находится в явном, кричащем, нахальном, неприличном противоречии с повседневным опытом простых людей, человека с улицы, неизощренного в любомудрии. Великая философия греков дерзко, смело противопоставлена образному, предметному, чувственному восприятию мира: она представляет собою результат интеллектуального осмысления бытия, плод могучих абстракций. Это философия впервые в истории человечества декларировала абсолютную автономность мысли. Она больше ценила внутреннюю логическую непротиворечивость, последовательность, чем совпадение с той картиной действительности, которую лепят нам пошлые чувства. Увлекаясь греками, я не раз и не два вспоминал о Краснове, вспоминал дерзкие, высокомерные, интеллигибельные, выигрышные концепции моего славного, несравненного друга.

Эй, ямщик, не гони лошадей! Избежим крутых виражей фабулы, не будем перемахивать барьеры, форсировать изложение, забегать вперед, пренебрегать мерой, воспетой великими эллинами, а равно и последовательным чином внешних ситуаций и обстоятельств, которые тесною толпою обступили новоиспеченного лагерника, юного, дерзкого бесстрашного философа.

Вы, благосклонный читатель, поди, не раз слыхивали, что лагерная хмарь и фантасмагория начинается чистилищем: карантином. Это так. В карантине я впервые увидел новые денежные знаки.

Нас с Красновым на работу почему-то не гоняли, позабыли, что ли. Погодка выдалась пригожей во всех отношениях: безветренно, теплынь. Млеем на

нетомящем архангельском солнышке у барака, баклушничаем, предаемся последнему пузогрейству и спиногрейству. Краснов разоблачился до пояса, нацелил малокровно-мертвенную спину лучам любезного августовского, неведомого солнца. Я зажмурился, пребываю в полузабытьи и бездумье, наскреб с трудом энергии, чтобы положить хер с прибором на звезду пленительного счастья и не дурманить мои зэчьи мозги привязчивой, не знающей границы, прожорливой мечтой-грезой о несбыточной, уплывшей из жизни воле, о нормальной, простой человеческой жизни, а эта хитрая, непокорная греза того и гляди подкрадется, прорвется, тяпнет и утащит фантазию прочь от грубой, твердой почвы, унесет, как унес орел Ганимеда, в сияющую обитель света, туда, где «нет опоры живому телу». Ни о чем не думать, не думать, главное, о завтрашнем дне, который, как говорится в древней книге, «сам о себе позаботится». Жизнь полетела под откос, пошла сикось-накось. Впереди корячится лагерь. Его же царствию не будет конца. У меня очень даже получалось: укрощал фантазию и пустые мечтания. Царство Божие внутри нас. Забывался. Чувствовал себя отлично. Без ложной скромности скажу, что моя психика уравновешена. Не ведаю, что такое тоска, не склонен к меланхолической созерцательности, умею легко, спокойно засыпать, не думать о девочках на сон грядущий, как некоторые. При невзгодах я, как эластичный мыслящий тростник, сгибаюсь, но не унываю: пройдут громы и молнии, я опять, в отличие от дубов, выпрямлюсь. Паскаль, Тютчев уподобляет человека тростнику. Значит, милый читатель, мы в карантине. Представь. Новенький забор, запах свежего теса: забор отделяет мужскую зону от женской. Почему-то в одном месте забора доски всегда оторваны: дыра. Каждую неделю дыру зашивают, но она вновь и вновь, как по щучьему велению, образуется на прежнем месте. Доски не держатся здесь: сами собой отлетают. В амбразуру удобно нырнуть глазом, усмотреть, что там, за забором, делается, и, если бы ты, читатель, туда нацелил изголодавшийся, тоскливый глаз, то увидел бы, как там в некотором отдалении с ленивой грацией крупных хищниц шастают зэчки, бабьё — «наши женщины». Они постарше нас с Красновым, им под тридцать, а в общем кто их разберет, тучногрудые, донельзя широкобедрые, сдобные, перезрелые халды, лахудры, кикиморы; как в песне: «Моя милка сто пудов, не боится верблюдов!». Так видит этих женщин Краснов. Я бы рискнул назвать их цветущими женщинами. Тициановский, зрелый тип женщины для Краснова не существует. В глубине души он не верит, что таких женщин вообще кто-нибудь может любить настоящей любовью. Там, за забором, для Краснова зряшный, несуществующий мир. Не интересно. К тому же эти фефелистые тетки блудливы, неразборчивы, как кошки: каждую ночь меняют «мужей». Об одной — «красючка, век свободки не видать» — наш брат зэк судил с нескрываемым восхищением, переходящим прямо в испуг: ненасытна, десяток за ночь пропускала. У нас междусобойчики и дрязги. Кому первым на Зойку сигать, а кому вторым. Кто последний? Очередь, записывались. Не для Краснова, не для меня.

Приютились, говорю, мы у барака, нежимся, кемарим, кости, отсыревшие в тюрьме, прогреваем. Я котом жмурюсь, морду солнышку навстречу тяну, поддался сумрачной приятности. Кто-то (соображаю, что то может лишь Краснов) тырк меня локтем, заядло:

— Лебедь, глядь. Резвее. Совсем девчурка. Мила, как мила. Ангел! Глядь же! И галстучек пионерский.

Читатель, судите, рядите сами. Чудеса в решете, да и только. В амбразуре забора было видно существо столь юное, что моему философу оно увиделось сущим ребенком — чистым, невинным, взаправдашно прекрасным, излучающим мощное, магнетическое, гипнотизирующее очарование. А на шейке отроковицы, и правда, что-то вроде красненькой косыночки, что принималось за пионерский галстучек. Любо-дорого смотреть! Было очень странно и не верилось, что здесь, на нашем пятачке, в карантине, где царит и бушует знойная, гомерическая похабель, где все грязно, грубо, примитивно, преступно и пошло, возможна хрупкая, изысканная, эфемерная красота. Голенастый подросток смотрелся волшебным, эйфорическим символом, одним из тех, кто временами заскакивает в наш грубый мир, скажем, в часы лютой, одуревающей, затяжной, ничем не гасимой зубной скорби (в народе есть поверие, что физическое страдание — короткий, прямой путь к спасению), когда неожиданно и невнятно почему боль отступает, накатывает облегчение — становится легко-легко и малость неправдоподобно: еще не верится, что черная боль убыла навсегда, еще есть страх, что она вот-вот нагрянет с новой силой и с новыми правами; но вот уже цветет, сверкает надежда на исцеление; и ты испытываешь чувство, которое сродни мистическому просветлению, сродни с пневмой: непосредственно знаешь, что соприкоснулся с безмерной, краеугольной, неизъяснимой тайной: очевидным, как дважды два, свидетельством, что Кто-то смилостивился над тобою, что живешь ты среди непонятностей, загадок, иероглифов, Сфинксов и тайн, что чудеса никогда не переведутся. Остановись, мгновение! Нам некуда больше спешить: мир прекрасен! Мой Краснов в немом, нелепом восторге, как лунатик в трансе, поднялся, все еще держа лагерную обновку второго срока в руках, которой прибарахлился в каптерке, и рубашку. Стоял, как стояли перед Прекрасною Еленою троянские мудрецы, а если попросту: маячил эдакой нелепой орясиной. Глаза моего высоколобого друга намертво приклеились к «ангелу дивной красоты», под легкой маечкой-матросочкой которого едва дыбились груди; не груди, так, что-то едва наметившееся: два сладких трюфеля. Она, ангелочек,— ноль внимания на опупелого философа. Она от души и навзрыд хохотала, захлебываясь, заразительно искренне, счастливо, как смеются в классическом детстве. Замечу и обращу для полноты картины ваше внимание на то, что она у забора не была одна-одинешенька. Уже по нашу сторону забора, перед амбразурой, но так, что девочку нам видно хорошо — злобно-угрюмый тип, здоровенный детина с густыми, черными, как у армян и всяких там восточных народов, дремучими усищами. Мурлом он даже смахивал на молодого Хемингуэя. Есть такая фотография, кажется в ЖЗЛ, тридцатые годы. На морде нашего, лагерного Хемингуэя дохлое уныние, как у шизоида, и в то же время откровенная, бесчинная, пошлая, неприличная похотливость: млеет. Дышит, как паровоз. Левой, могучей, короткой рукой он мнет, мучает безвинную кепку: терпенья нет. На руке выразительно, жирно, расплываясь, синеет наколка: «Помни заветы матери!!!». Увлеченный неземным видением красоты философ и не дал себе труда приметить мордастого, гориллоидного Хемингуэя: абстрагировался, убрал все лишнее, случайное, мешающее видеть лик дивной, божественной красоты (Плотин в «Эннеадах» описывая процесс художественного творчества, замечает: «Ваятель отбрасывает лишнее»; Блок: «Сотри случайные черты / И ты увидишь, мир прекрасен»). Незнакомка наконец поцеловала глазами Краснова, привычно-победно, дерзко-бесстыдно, демонстративно. Она ничуть не удивилась его дурацкому столбняку. Еще зыркнула, высунула язычок, длинненький, тонюсенький, нежно-розовый, как семга,— подразнила философа.

Читатель, прошу тишины: спокойствия, внимания.

Продолжая, забыв о философе, предназначая Хемингуэю, в сердечной простоте она искренне по гениальности пустила:

— Умру за горячую...!

О, силы небесные! Где вы? Хлестануло — убит наповал наш философ, Краснов Александр Сергеевич. Ах, если бы вы, читатель, могли видеть этот экзистенциальный, сверхисторический момент, с которого начинается лагерное существование моего замечательного друга! Ушам не верит. Поверил. Его, зайчика, скособочило всего, как если бы кто-то за здорово живешь шарахнул его по голове увесистым дрыном. Да и как было не сверзиться с вершины седьмого неба на грешную, грязную землю, когда из невинных, детских уст небесного создания, воплощавшего так полно гений чистой красоты, слетает запросто эдакий смачный, кудрявый, обескураживающе-скабрезный, соленый шедеврик, спархивает и больно разит ваше не очень еще адаптированное ухо. (Гомер-Жуковский: «Странное, дочь моя, слово из уст у тебя излетело». Гомер-Губер: «Дитя мое, что за слово выбежало у тебя из-за ограды зубов?». В выразительности с Гомером только наш Пушкин может соперничать: «Какое слово ты сказала?») Вижу, как у Краснова всполошились и запорхали ресницы, как он, приснодева, сам не свой, сунул голову в плечи, напомнив

видом оторопелую черепаху, прячущуюся под каменный панцирь, поддел хламиду второго срока и рубашку, стреканул тараканей рысью в барак. Антракт. Занавес. Читатель, аплодисментов не слышу.

Я, выждав приличествующую минуту, захватил монатки, побрел за убитым, осрамившимся Красновым. Он сидел бледный, как глиста в обмороке; силком выдавил улыбку.

— Бывают в жизни злые шутки,— сказал я.

— Все. Хватит. Тихо, без шухера, лебедь мой! — нервно разрядился Краснов.— Не выношу паники. Все, ясно, как солнце. Комментарии излишни, скучны.

После короткой паузы он выхлестнул тираду:

— Все же хочу проиллюстрировать на наглядном примере, что то, что мещанин называет фактом, далеко не элементарная штуковина. Видимость не всегда впору сущности. Платон считал истину, добро, красоту как бы единосущными. Поверь мне, лебедь, что это подлинный, кромешный, густопсовый романтизм. А если оформить мысль и обвинение рельефнее, точнее: грубая пенка. Наша скороспелка в пионерском галстуке лишь видится ангелом, но это отнюдь не факт, тем паче не действительность. А кажимость, видимость, дым, который рассеется, вылетит в трубу, как банкрот, труха, сон пустой. Действительность выше видимости, выше факта. Кажется, тот же Платон считал, что ухо мудрее глаза. Скажу свое мнение. Девочка с платочком на шее лишь воспринимается чудом, а на поверку: наглая, бесстыжая, аморальная тварь, клоака, рвотный порошок. Пробы негде ставить. А ты — факт, факт. Факты затемняют истину. Стоит подумать честно и серьезно, сильно, что такое факт. Да ну ее в болото! Что ты на меня вылупился? Не узнаешь?

* * *

Нас оставили на комендантском ОЛПе. Краснова маханули на шпалорезку. Место, я вам честно скажу, аховое. По мне бы — ад. Надо ли объяснять? Какой-то зэк обмишурился, не успел моргнуть глазом, напрочь отхватил себе пальцы рук. Маятниковая пила не шутит. Надо думать, такое от усталости, ротозейства, хронического недоедания, недосыпа, апатии, задрипанности. Не членовредительство. Злонамеренного ничего не было, и никто уголовщинки ему не паял. И до него, кто стоял на маятниковой пиле, так кончали: все. Рано или поздно. Недоброе для зэка, доходяги, место. Краснов встал на маятниковую пилу, с ходу сделался заправским, незаменимым мастером; заявил мне, что шпалорезка для него самое сподручное место, что работа посильна (радовался!), что готов отбыть свой червонец на маятниковой пиле.

— Лебедь,— говорил,— за себя я абсолютно уверен. Ничего со мной не случится. Глаз острый, рука твердая, не дрогнет. А знаешь, за пилой время летит. Как заведенный работаю. Не успел оглянуться — обед привезли, жбаны с кашей разгружают, звенят; перерыв, а там, глядь, гудок, конец смены. Сосновый дух, свежий воздух бодрит. Усталости ни в одном глазу. А нож, как гильотина, сам, собственной тяжестью режет, рвет древесину, усилий почти не требует. Звенит! Нудит, зудит, скулит, на нервы, правда, действует. Даже весело...

К этому времени я привык к Краснову, пристально его разглядел, изучил его, всерьез привязался к нему. Я был изрядно высокого представления о физических и духовных данных Краснова. Я свято верил в Краснова. Его слова не считал пустым бахвальством, брехней, мало опасался, что его пребывание на шпалорезке закончится осложнениями, непоправимыми увечьями. Предварительно и мимоходом сообщу, что нисколечко не мазанул: на шпалорезке с Красновым, слава Богу, ничего худого не приключилось.

23-й барак — клоповник сумасшедший, немилосердный: насекомые в нем вызволюционировались на богатых харчах непомерные, как черепахи мезозойской эры, притом морозоустойчивые и с крыльями, говорят, хотя я сам не видел, чтобы они летали, врать зря не буду. Запах, если невзначай, случаем раздавишь, резкий, надрывный, пронзительный: армянский коньяк три звездочки ереванского разлива, точно! Клопы несметными, несчетными стадами бродили по нарам, по стенам, по потолку. Мы с Красновым, как единоутробные братишки-близнецы, повязанные жребием, гнездимся на хлипкой, туда-сюда качающейся вагонке — верхние нары. На соседних — Шалимов (прошу не путать с Шаламовым, с которым я познакомился позже у Надежды Яковлевны Мандельштам), напарник Краснова по шпалорезке: неуемный трепач, воодушевленно плетет одну за другой саги, повествует, как был на страшном 46-ом ОЛПе, куда и злейшему врагу попасть не пожелает. Две трети ОЛПа — доходяги.

В пору иную, в незабвенные шестидесятые годы, уже на воле, когда я через Краснова перезнакомился и сблизился со всей их шатией-братией, опаленной лагерем, с несравненным их предводителем Кузьмою, так до конца и не разгаданным, гордыми, мощными умами: со Шмайном, Красиным, Александровым, Смирновым, Федоровым, с другими гавриками (братались, как ошалелые, напропалую говорили о лагере, о веселом житии-бытии, о каторжной молодости — заново переживали прежнее, наговориться всласть не могли), так вот раз Илья Шмайн потребовал безотлагательно, чтобы каждый из нас, вынь да положь, выудил из памяти один-единственный эпизод, в котором полно, как солнце в капле воды, отразилась душа лагеря, самое характерное, сверхтипичное. Подход отличный от Шаламовского: Шмайн хотел не самое ужасное и страшное, а типичное. Как ни странно это может показаться, для самого Шмайна лагерь видится хотя и мрачным, зловещим, пророчески апокалипсическим, но все же немного театральным действом. Представьте, поножовщина. Не так уж важно, что было. Ну то, ну се, пятое, десятое, лагерь, словом. Все позади, стихло. Ночная смена, рабочая зона. Илья вышел из курилки в осеннюю неразбериху-непогоду, а в природе случились изменения, стихло, нахальная, преогромная, непомерная, каких не бывает, луна вылезла одним боком из-за буйной черной тучи, пугает нещадно, вот-вот туча снова заграбастает ее, обнимет, слопает. Безнадега в сердце. Душа тускла, подла, смердит, как Лазарь-четырехдневник. Чей-то молодой голос; блатной запел, посланный, как ангел молитвы, насквозь просек душу: «Нависли тучи, словно гроздья винограда». И душа Ильи воскресла, словно кто, имеющий право и власть, прикрикнул: «Лазарь, встань, иди вон». Все изменилось и в природе. И луна уже льет не кровавый, а зябко-меланхолический, двусмысленно-гермафродический, таинственный свет, вдруг фасонно переменилась, уверенно водворилась над лесом чернеющим, блестит безупречно круглым николаевским золотым или той путеводной унцией, прибитой высоко к мачте корабля, призывая смело сразиться с роком, преследовать неумолимого Белого Кита. Блатной пел. Луна сияла. Если бы вы, читатель, знали, как я люблю и уважаю Шмайна! Шмайн — голова! Мое восхищение Шмайном не знает берегов, как реализм. Однако в моих воспоминаниях лагерь преснее, будничнее, не так театрально эффектен, не так художественно закончен. Возвратимся в наш чертог, барак 23: длинный ряд вагонок, идущих по обе стороны широкого центрального прохода, полумрак, узаконенный и привычный гомон, тарарам, дым коромыслом, радио вовсю ревет. Вот уж зло, нервы не выдерживают. Лежу на нарах, слушаю надоедливый, дидактический треп Шалимова. На сей раз он брехает, как обмишулил голодную смертушку, как ускользнул из ее цепких, когтистых, железных лап.

— Студент, слушай былинку, учись пока жив! — присказка.— С воли ни одной посылки, никаких шишей, а жив. Почему? За пайкой лишней не гнался. За добавку и лишний черпак каши не выкладывался. Приходим в лес. Первое дело — нарубить сучьев, сухих. Первое дело — костер. Весь день до темна у костра кукую. Приди, приди ко мне желанная свобода, я обогрею тебя ласковой рукой. Думку думаю, а в груди на весь мир злоба тлеет.

Заливается соловьем Савич, как с кипяточком штрафную пайку сосет, как от зубов мороза хоронится. А пилу и в руки за весь день не берет.

— Слушай, студент! Семь месяцев на штрафном летел — подумать страшно. Ой, как жрать хотца! Штрафная пайка, вода. Во рту вкус смерти, язык распух, гниет. В животе неладно, мутит, сводит болью, корчит. Зубы кровоточат; давно их на полку положил. Сидеть — зябко, бо-бо: не на чем. Одни костяшки кожей обтянуты. А на перекомиссовке, суки бесстыжие, наглые, норовят первую, повальную влиндить. Опять, значит, лес. Взбеситься можно.

Говорю ему, псу большеголовому, будке, волкодаву: дистрофик я, не видишь? Окочур близ, рядом. А ну, валяй, сделай нам одолжение. Это мне он, волкодав, говорит. Присядь пять раз. Быстро! Быстрее! Маши руками! Работай, пошел. Я машу вовсю, поддаю пара, стараюсь из последних сил, как воловая лошадь, а медбрат, шакал, стручок поганый, шавка, открывает дверь кабинета: я яростно машу, как ветряная мельница крыльями. А кровосос, будка, с несказанно гаденькой, подлой улыбочкой тихо мне на ухо шепчет: сильнее. Лети, лети. В моей башке мара, ничего не понимаю; а он: ауфидерзейн, орлуша. Как гаркнет: лети, сука, отсюда! В коридоре буза, смех. Третья лагерная заповедь: падающего подтолкни. На себя пенять приходится. Гад, мразь. Опсовелая совесть. Умирать буду, а с ним на одном поле не сяду. И это называется медицина? Гитлера бы на вас! Между прочим,— обращаясь к Краснову,— вашей нации.

— Как, как? — я пришел в телячий восторг и взвыл от удовольствия.— Саш, слышь, в наш огород!

Но Краснов лишь спросил:

— А какой, по-вашему, я нации?

Шалимов не имел настроения пикироваться, доискиваться до правдыматки, пропустил несогласие Краснова мимо ушей, распространяется дальше:

— Опять злыдень-лес, зарядилась пурга, колет лицо, в рукава, за воротник лезет, мохнатые шмели вьются, слепят глаза, во все набиваются, жалят. Сугробища, снега гибель сколько. Зима вовсю работает, старается. Нездоровый для зэка здесь климат, погибельный. Слушай сюда. Случай из жизни. Повал. Пилу не трогаю. Болтается весь день на суку. Лишь костер подбадриваю, соблюдаю, друзг подбрасываю. Грею то один бок, то другой подставляю. Валенки сушу. Это дело надо с умом и осторожно делать. Оплошно прожечь — раз плюнуть. Пайка, как повелось, штрафная, жук чикнул. Четыреста грамм черняшки — весь ассортимент питания. Мамочка, роди меня обратно. Запоешь. А напарник, хохол-верзила, полтора Ивана, двужильная, трудолюбивая орясина, не наш характер. Вовсю выкладывается, старается очень, стахановец. До посинения. За добавкой, дурында, гонится, норму гонит, бендеровец. Дундук, ишак. Спину гнет, ломает, на мускул и силу надеется. Упирается так месяц, два. Силы есть — ума не надо. Пилит, искры из глаз. И на третьем месяце, глядь, зафитилил, голова садовая. Идем в зону, ветер гудит, гудит, как бык: у-у! — Савич вложил в голос стихии крылатое словечко: у...у! — Готов бендеровец: ноги заплетаются, кренделить начал. Наломался дурень за день — силы оставили. Сразу. Так сразу. А у меня еще ресурс. Я ногами легонько перебираю, семеню, качусь, как шарик легонький. Пушинка. Заерихонил Бендера отпетым, дурным лебедем: Савич, земеля, пособи, дух вон! Накося — выкуси. Черта лысого! Не выйдет! Я на штрафном качусь какой месяц! Чего захотел. Как дух легонький. Отбузуй свою пайку? А хохол жох, жаден. Гуд бай. Не жди пощады! Вот моя хиромантия. Умри сегодня, а я умру завтра — четвертая лагерная заповедь.

Надменный, гордый смех победителя: Савич решил страшную теорему жизни.

— Отстал от строя,— постепенно, с чувством собственного достоинства роняет слова Шалимов,— пиши пропало. Думаешь, конвой на руках понесет тебя в зону? Держи карман шире. Пиф-паф, девять грамм в затылок. И был таков, Иван Пятаков. Убит при попытке к бегству. Хай живе Степан Бендера и его сообщники — допрыгался стахановец!

Венчает нравоучительную притчу Шалимов блистательным афоризмом, который непосвященному может показаться искусственным, крикливым, пустопорожним парадоксом:

— Лучше недоесть, чем переработать.

И еще история с географией про то, как Шалимов в долгожданной и размечтанной больнице оказался, задержался там, санитаром что ли работал или еще кем-то. Я спать хочу, просто умираю. Мои свинцовые, отяжелевшие веки слипаются под его неиссякаемый, черный благовест (чего нет в бараке, так это безмолвия и тишины), и я сползаю в объятия благодатного, целительного сна и дрыхну без задних ног, пока дневальный не начнет тормошить: «Витек, столовую пропустишь». В памяти держатся ошметки слов Савича: «Испить, браток?». О чем? Что было потом, о чем рассказ — не ведаю.

Однажды Краснов кликнул меня из барака, сказал, что попал в непонятное. На шпалорезке перерыв. Проглотили кашу. Гудок, кончай перекур. А вот тут-то и разверзается самый перекур с дремотой, дорогие минуты, сверхсладки. Заводской родной гудок призвал подлого, лукавого зэка напрягать мускулы, все спешат еще малость урвать. Вытряхнулись, наконец, из курилки, побрели с Савичем за шпалой. Нехотя, неспеша. Леса не было. Шпалорезка стояла. Подгребали, подскребали остатки, что когда-то в завал было пущено. Они, Краснов и Савич, идут. Шалимов забегает вперед, встает перед Красновым настырным фертом, камень, не сдвинешь его.

— Слушай сюда, Сашок! Эту видишь? — тычет ногою в шпалу.— Честь-честью прошу, пустишь мне! Как с человеком говорю,— Краснов нагнулся, легко поднял шпалу за один конец, навалил ее на плечо: не ахти тяжела. Шалимов присел на корточки, крепко прижал короткопалую кисть руки к шпале, зажмурился, отвернулся, сжался в комок: «Готов! Пошел!» Краснов уверенно пустил шпалу с плеча. Глазомер. Тютелька в тютельку. Хорошо, точно ляпнулась. Шалимов разинул сперва пасть, оскалились гнилые зубы, выкатил очумелые бельма, долго не мог голос спустить, задыхался. Замахал подбитой, поуродованной рукой, запрыгал бесновато, высоко, на метр. Рука сделалась белой, какой не бывает: лист бумаги писчей. Забазлал. Приналег на рысях к вахте. Вскоре туда, на вахту, тяганули и философа. Шалимов был тут же, с неподдельной вроде злобой матюгался, повторял одно и то же, назойливо. Вот-де дают в напарники Фан Фанычей, интеллигенцию, азохен вей, а они калеками нас сделают. Студент, философ, азохен вей. У него из рук все валится. Ничего, кроме ручки, в руках не держал. Ему в конторе сидеть. Чаи гонять, а не со шпалами мудохаться. Ему ручечку, дебет-кредит, геморрой высиживать.

Мы шлендаем по ОЛПу; история, которую поведал мне Краснов, завершена проницательным умозаключением, которое я помню почти дословно:

— Факт это, спрашиваю, или не факт? Лагерь, утомительный, изнурительный труд. Перерасход энергии, и она за время отдыха не восстанавливается: хроническое недоедание, следует дистрофия. Материал для долгих размышлений. Допустим, Шалимов спас себе жизнь, улизнув от работ на повале, выбрал четырехсотграммовую штрафную пайку вместо рациона лагерника. Я не такой простак, чтобы не видеть, что Шалимов враль, пустомеля, арап каких мало, забубенная совесть, большой сукин сын. Я не забываю другое. Человек, немощный сосуд, по природе подл, мерзок, гнусен, страшен и отвратителен. Не спорь. Лучше вспомни «Комманифест» Маркса, Фрейда, приоткрывшего завесу над кошмарами подсознательного, вспомни Штейнера или своего любимого Достоевского, подпольного человека. Такой тип, как Шалимов, будет работать только из-под палки. Дело отнюдь не в лагере, как ты отлично понимаешь. Может, и есть Моцарты, Бетховены, Эйнштейны, которые не равны нам природою. Пришельцы из других миров, творцы, захваченные высокими болезнями. Сделаем еще шаг вперед. Всякое отклонение от нормы — болезнь. Гений — болезнь. Лебедь мой, мы прекрасно знаем, что кроме Бетховенов, Моцартов, их экстазов, существует низкий труд: физический, неприятный, тяжелый. Этот труд никто не хочет выполнять, отлынивают. Я Горького уважаю, многим ему обязан, но он врал, прекраснодушествовал, когда воспевал тяжкий физический труд. Не спорь. Я лучше, чем ты, отношусь к Горькому. Честнее были древние философы, которые откровенно говорили, что физический труд унижает человека, что он постыден, противоречит добродетели. Так думает Аристотель. Конечно, просидел день в конторе, почему не размяться, то-се, почему не разогнать кровь. Можно и дрова поколоть. Но когда ты зверски устал, вымотался? И изо дня в день, без просвета. Нет. Пусть каждый задаст себе вопрос. Ответь, согласился бы ты всю жизнь вкалывать? Не жду ответа, скажу, что я не готов. Ни за какие коврижки, хоть озолоти. Никто без палки работать не будет. Так устроен человек, такова его природа страшная. А из своей природы не выскочишь, как на ребра не опирайся. Лагерь ни при чем. Простые люди, которых миллионы и миллиарды, которые бесчислен-

ны, как морской песок, без палки, без лагеря не будут работать. Не перечь. Не шарахайся. Я отнюдь не оговорился. Вся наша жизнь в некотором неромантическом, нудном смысле слова есть неволя, лагерь. Только в лагере все обнажено, откровенно, что там, на воле, прикрыто фиговыми листами. Вот от этой печки будем смело танцевать.

Кошелев, начальник ОЛПа, с напористой ретивостью и хлопотливой энергией Петра Великого исполнил предписание ГУЛАГа: буквально за два дня провернул «великое переселение народов» — отделил политических от уголовников и бытовиков, расселил нас, зэков, по статейным признакам. Помню точно, когда нас переселили. Умер Жданов. Вскоре нас с Красновым из клоповника перегнали в барак 22, фашистский. Краснов водворился в том бараке надолго, а я перебрался в барак, где собралась придурня. Хрен редьки не слаще, но все же. Чуть чище. В бараке 22 дневальным оказался наш старый речистый знакомец — Шалимов. На сей раз он обвел медицину: после трех недель больницы урвал временную инвалидность. Краснов получил в бараке отличное место. Хоть и на верхних нарах, но в закутке, рядом с лампочкой: можно читать, не ломать глаза в темноте. Еще и тем потрафило Краснову, что сосед в ночную смену работает: никогда нет. Никто рядом не гомозится. Я приютился похуже, на юру, но тоже ничего. Жить можно. Я в конторе, в тепле, за зону ни ногой, а потому грех роптать и сетовать на судьбину. Авось да небось. Срок помаленьку идет, катится. День, ночь — сутки прочь.

Мне кажется, что если кто-то и имел влияние на Краснова, так это Эдик Бирон, пусть это может показаться натянутым. Сам Краснов никогда не признавал этого влияния. Уместнее говорить не о прямом влиянии, а лишь о том, что то, что случилось с Бироном, способствовало становлению мировоззрения Краснова.

Раз на разводе к Краснову подкатился невысокого росточка, шпингалетистый человечишка. Малокровное, серое лицо, напоминающее цветом ростки клубней картофеля. Видать, только что испеченный, тепленький.

— Здорово, мужик,— это с ходу.— Стойте. Глазам не верю, Краснов?

— Он самый,— сказал Краснов.

Шибздик учтиво давит позу, церемонно и, как только можно вообразить, затейливо раскланивается; после этой неуместной у ворот вахты пантомимы, начал с места в карьер:

— Мое вам с кисточкой. Кузьма! Кузьма! Шмайн, Красин, Александров, Смирнов, Калина, Житомирская Нина, Житомирская Маша, Татаринцев, Васяев, Федоров. И уж конечно, Краснов! Как же без него могло обойтись? А кто это ходил на поклон к Кузьме? Не стыдно? Молодая Россия? Идеологические, философские бури? Святое беспокойство? Вечная тревога? Идейные и метафизические скитания. Русские мальчики. Здорово я вас вычислил? Как? Как вам это нравится? Не Бирон, а сама Жанна д'Арк. Ясновидящий. Вижу: дядя Степа, стропила, Эйфелева башня, каланча с усиками. Он, думаю. Точно, думаю. Всю вашу подноготную знаю. О подвигах наслышался. «Слух идет о твоих поступках». Кто это? И я забыл. Значит, «новый комсомол»? Так? Злобная, вражеская вылазка на комсомольском собрании. Докатились до открытой борьбы, заострили, подняли ядовитое идеологическое копье. Глаголом жги сердца людей. Но МГБ не дремлет. Цап-царап, обезвредили. Логика стремительного падения. Как говорим мы, юристы, сегодня ты не наденешь галоши, а завтра убьешь свою мать. Эх, прокурором бы мне быть. На месте Вышинского я был бы хорош, с удовольствием бы эту сволочь жучил. Какой рост?

— Сто восемьдесят девять, как у Маяковского,— сказал Краснов.

— Ого! Почему на общих? Из убеждения? Давно в лагере? Ого! Старый лагерник. Разрешите снять шляпу. А я из жарких объятий Лефортовской. Незнакомы ненароком? Великолепный казематик. Говорят, еще со времен Екатерины Великой. В плане буква К. Не знаю, кто архитектор, но он гениален. Литая. Хорошо строили. Еще тысячу лет простоит. «На закате наша тюрьма прекрасна». Читали «Мои записки» Андреева? Блеск. Советую при случае прочесть. Не ленитесь. Сколько? Червонец? На месте Советской власти я бы за такие делишки расстреливал. Комсомол устарел? Так? Вас забыли спросить! Нет смертной казни? Большевики никогда не были формалистами. У нас не правовое государство. Не поняли? Сегодня комсомол устарел, а завтра подавай вам Учредительное собрание. Знаю я вас! Юноша, зарубите себе на носу, в России никакой демократии не было и не будет. И не надо! Проклятая Россия! Неужели вы верите в Россию? Клоака. Следователь кто? И у меня! Кретин, каких мало. Одно долдонит: а ну, давай рассказывай! Представьте — самое невинное мое высказывание: Советское правительство тире банда уголовных преступников! Говорил, говорю, было дело. Взвился бесноватой ракетой: Бирон, мне страшно, у меня холодеют руки. На батарею положил ручищи, греет. Помните его лапы, красные. Лучше бы ты, Эдик, человека убил! А прокурор кто? Дорон? Сволочь. Кровавая сволочь. Из карантина месяц, а вот за зону иду первый раз. Элементарно. О чем речь? Чему же я на юридическом четыре года учился? Все мастырки знаю как пять пальцев. Здешняя медицина — пустая, дремучая публика. Ровным счетом ничего не петрит. Элементарно: кладу на ночь под веко горчичное зерно. Утром глаз — во, дуля с кулак. Горы сдвигает. Вынимаю зерно. Работа чистая, не придерешься. Ничуть не опасно. Советую. Зернышко одолжу. Да и кто мог подумать, что я, москвич, интеллигентик, маменькин сынок, птичье молоко на губах не обсохло, дерзну начать хлебать лагерную сивуху с мастырок? Начальница санчасти мне соболезнует, печется обо мне. Безмозглая старая калоша. Не завести ли с ней шашни? Подумаешь, тридцать пять лет. Старуха, да? Нет, нет. Эдуард Васильевич, побойтесь Бога, так низко вы не пали. А как вы, юноша, отнеслись бы, если бы узнали, что у меня роман? С этой старой редькой?

— Никак,— со спартанской прямотой и простотой ответил Краснов.— Я вас не знаю.

— И знать не хочу,— продолжил Бирон.— Какой вы, юноша, грубый. Нехорошо. А эта жидовка отнюдь не против. Чего ей ни выдам — хихикает, заливается, словно я ее щекочу. Бальзаковский возраст, перезрелый фрукт. Как там у Олеши? «Зависть» читали? Советую. «Она посмотрела на меня как женщина», а? Женщина — курсивом выделено. Все ясно. Каков подлец! Не отнимешь. А как вы к Олеше относитесь?

Краснов целомудренно молчал.

— Одесская школка. У Бирона отличный вкус. Куда вы?

— Не люблю похабства,— с досадой объявил Краснов, неучтиво и решительно отчалил прочь. Его бригаду уже вызывали.

После работы Краснов лежал на нарах, впивался что было сил в Гегеля, которого прислала (по настоятельной просьбе) ему мать.

— Гегель мне требуется, как кислород.

В барак завалился Бирон.

— Что, занимательное чтиво? — чирикнул, бесцеремонно взлетел к Краснову на нары.— Дико извиняюсь. Виноват. Чем это вы, юноша, так безумно увлечены? Ого! Самообразованием занимаемся. Не теряем времени, усовершенствуемся в любомудрии. Готовим себя к приходу новой власти. «Другое само по себе есть другое в самом себе, так как другое самого себя есть другое другого»? Высоко немного, да темновато. Что-нибудь понимаете? Это вы серьезно? Вам не скучно? Пасую. Не по зубам Гегель вашему покорному слуге. Не даром Женька гремел хвалу вашей философской шишке. Учтите, он ваш настоящий друг. Юноша, а почему не набили стружкою матраца? Почему трын-трава и спим по-спартански, на голых досках?

— Привычка,— сказал нехотя Краснов.— Я и дома так спал. В детстве увлекался Суворовым, затем привык. Говорят, полезно на жестком.

— Суворов? Ура, Варшава наша? На Шипке все спокойно. Нет, из другой оперы. Краткая история России в анекдотах. А Рахметовым вы не увлекались? На гвоздях не спали? Клопы вместо гвоздей? Вы, я вижу, не очень гостеприимны.

— А я разве приглашал вас в гости? Что-то не помнится.

— Незваный гость хуже татарина. Уж эти кретинские русские поговорки. Почему незваный? А Кузьма? А Кузьма! Вам мало? У меня знатные рекомендации. Женя, Александров. Кузьма! Неужто Кузьму вы чистым гением мыслите? Шесть классов. Как его угораздило? Каким нужно быть остолопом, чтобы не окончить советскую школу? Семь, говорите? Колоссальная разница!

Почему вы морщитесь? Да, я принадлежу к тем докучным, несносным людям, которые говорят правду и только правду. А вашего Женьку я как облупленного знаю. Он из-за Риточки прекрасной быть собою перестал, чуть руки на себя не наложил, не слышали? Слушайте. Треугольник у них там образовался, классический. Догадываетесь? Женька, гениальный Кузьма и Риточка. А отца Риточки чуть кондратий не хватил, когда она этого Кузьму привела в гости. Интеллигентский, белогвардейский дом и Кузьма? Да на месте папочки Риты я бы этого обормота вышвырнул...— Бирон запнулся, видать, мысленно соразмерив свои физические силы и Кузьмы, театрально закончил: — У ней из головы!

— Как вы смеете! Я не позволю в таком тоне говорить о моих друзьях! Святые имена! Рита необыкновенная девушка! Прекратим разговор.

— Цирлих-манирлих. Сплошной многоуважаемый шкаф! Эдуард Васильевич, с кем вы вынуждены сидеть?

— Всего наилучшего,— сухо, скрежеща зубами молвил Краснов, демонстративно окунулся, углубился в Гегеля.

Так примерно через месяц Бирон перебазировался в наш «фашистский барак»; место урвал завидное, внизу. Видать, Шалимову шикарно подмазал.

— Туточки ваше место,— говорил ему Шалимов.— Я вас прописал внизу, не будете возражать?

Утро. Выходной. Бирон чуть ли не час ожесточенно драит зубы, брызгает там и сям. Его оттолкнули. Недоуменно:

— В чем дело? Хамьё. Подонки! Остолопы!

Наладился в санчасть, а вернувшись:

— Порядок. На завтра в законе. Дольче вита. Яшка, передай маршалу. Не буди утром. Так и быть, от моих щедрот, возьми мою кашенцию. А я, проспавши до полудни, курю табак и кофий пью. Откуда?

Бригады уходят на работу, а Бирон уютненько, как сурок, спит так часов до десяти, затем, спорхнув с нар, старательно, долго умывается, направляется в каптерку, где хранит полученные из дома продукты, приносит в барак колбасу, масло, сало, ест эти вкусности, крякает, обозревает при этом барак, красуется: «Люблю пошамать, едрена вошь! Погибель моя: чревоугодие. Смертный грех». Плотно поев, на боковую опять, дрыхнет; продрав глаза, читает что-то, по-французски.— «Французский я знаю лучше, чем Бидо». Не скажу точно, сколько минуло времени, может, месяц, может, больше. Не важно. Бирон объявил во всеуслышанье, что переутомился, что работа на лесозаводе не для белого человека, что самое время лечь в ОП. Горизонтальное положение больно заманчиво. Заваливается Бирон на комиссию, и, как это ни странно, комиссия направила его в ОП, притом на месяц, а не как обычно, да и то при бесспорной, заметной дистрофии недельки на две.

— Жидовка ему потрафляет,— пытается раскрыть успех Бирона его напарник по бассейну Яшка Желтухин.— Русскому человеку туда нет хода, хоть ты околей.

— Дурак же ты, Яшка. Кретин редкостный, стопроцентный. Да я русак! Да я больше русский, чем ты. Яшка, друг ситный, заруби себе на носу, что мой род древнее, славнее, чем Николая Кровавого, которого ты, кретин безмозглый, паразит, сверг, пристрелил в подвале. Думал, с колокольни долой, нет, спросится: теперь в лагерях маешься. Не ты застрелил, а кто? Пушкин? О чем говорить, такая же сволочь, как ты! Все виновны, евреи, масоны, поляки, литовские стрелки, а мы ни при чем, сидни, Ильи Муромцы. Нам навязали оккупанты Советскую власть?! Кто революцию делал? Не прикидывайся, я помню. Как твоя фамилия? Белобородов? Желтухин, говоришь. А кто орал «Долой самодержавие»? Яшка, откуда у тебя такое имечко? Уж не еврей ли ты? Авраам, Исаак, Яков? Как? Что скажете, подсудимый, в свое оправдание? Подсудимый, встаньте! Ведите себя прилично. Хамло. Яшка, твои отцы у моих рабами были, а ты тут раскомандовался. Старшой, где ж справедливость? Да я не выдрючиваюсь. Это я так, для красного словца, увлекся. Я не горжусь, а стыжусь, что я русский. Пойми, стыжусь. Татары честны. Поляки, еще польска не сгинела, ну на худой конец — гонористы. Турки отважны, ярки. А мы? Пустое место. Ни рыба ни мясо. Теплохладные. Пьянь, свиньи грязные. Самовар изобрели! — Взвизгнув на весь барак: — Третий Рим! Святая Русь. Богоносец!

К этому времени Краснов и Бирон навели между собою мосты, уже разговаривали. Краснов с явным любопытством слушал разглагольствования Бирона. Итожит:

— Оригинал.

Поведал мне шепотом как тайну, которую можно сообщить не всякому, а избранным:

— Очень интересно. И ты наверняка не знаешь. Представь себе, как это ни странно, а Маркс был порядком неравнодушен к аристократам. Абсолютно достоверно. Георг Адлер заострил на этом внимание, писал, что Маркс смеется над глупцами, которые набожно повторяют катехизис пролетариев. Смеется и изгиляется над всем миром. Единственно, кого он искренне, всем сердцем уважал, это аристократов, больших аристократов, с гордым сознанием своей значимости. А Адлер весомый, самый почтенный биограф и свидетель.

Опять Бирон получил «ящик» из дома с разной питательной всячиной, режет сало, откладывает солидный кусок. Все разумеют: для маршала.

— Богатый харч, буржуйский,— пуляет Яшка Желтухин.

— А, друг мой ситный, старшой, а чего тебе жена не пришлет? — смеется Бирон.— Небось, бросила. Завела молодого, чекиста? Шуры-муры. Правильно сделала, что такого остолопа бросила.

Но Яшка Желтухин не клюет на обидные, задиристые подначки Бирона, свернул подобострастную, прохиндейскую улыбочку, глазами кнокает сало. Он понимает, что это не про его честь, а для бригадира, но нет силенок убрать в сторону непослушные глаза. Бирон пошукал по сусекам, где-то в наволочке, полной продуктами, нащупал гранат, извлек, поиграл им, как мячиком, пустил заковыристое про арбуз, который на солнце любит зреть, а затем нежданно протянул опупевшему Яшке: «На, тупица!» На воле, в дождливой, неважной, вшивой Вологде да на фронте Яшка не только не видел, но и слыхом не слышал о таком фантастическом чудо-фрукте, как гранат. Что за зверь? С чем его едят? Поди, вкусен же, гад! И абсолютно немыслимо, чтобы это библейское, потрясное чудо природы свалилось ему прямо в рот, здесь в Каргопольлаге, на комендантском ОЛПе. Не поверил Яшка свалившемуся счастью и, как фраер, что первый день в лагере, прогнусавил: «Не шуткуй так». Строго очень молвил. Отвернулся было от граната, с надломом произнес «не шуткуй», но жлобливая, оглоедская рука, а значит, и душа, поскользнулись в иной пошиб, раскатали нос: рука сама собой потянулась за вожделенным фруктом, а Бирон не мешкая убрал гранат за спину, притом фик-фок провел ловко, как завзятый, заправский фокусник, в последний момент отвел руку, когда всем, в том числе и Яшке, мерещилось, что дело в шляпе, экзотический фрукт уже его собственность и может быть уестествлен.

— Это уж как тебе будет угодно,— резон давит Бирон, пряча гранат за спину.— Не соблаговолил, упрашивать не намерен. Как знаешь. Была бы честь предложена, а слопать витаминчик и я горазд. Эх, эликсир жизни. Амброзия. Думал, ты будешь. Гордый ты, Яшка. Не по чину горд. Ложная гордыня до добра не доведет.

Щербатая, подержанная физия Яшки вытянулась до неузнаваемости, как в кривом зеркале, а барак неистово гогочет над неудачником. Поделом. Что ни говори, а ловко ему влындил жиденок. Бирон бодро принимается за гранат, форсисто сплевывает в кулак кровавые косточки:

— Недурственно. Кретин, гнушается? Ой, не вредно.— Бирон явно в ударе; вынимает банку с вишневым вареньем, смотрит сквозь стекло и варенье на лампочку, любуется.— Объедение, пальчики оближешь. Лукуллов пир, разлюли малина, мечта поэта. Да здравствует Лукулл! Виват! — Протягивает Яшке: — Без дураков. Зубами откроешь — твоя. Карфагень, смелее. Мужики, эй, кретины, слышали? Заяц трепаться не любит.

Яшка-сквалыга приступил к делу рьяно. Старается, зубами пытает предательскую крышку. Все безрезультатно. Хоть тресни. Не идет, срывы, крепко проклятая приварилась. Бирон и несколько ротозеев-любителей зрелищ расселись вокруг, дают советы, поучают, отпускают шуточки.

— С одного края прикипела, рядом бери. Рядом, говорю, и пошел, пошел!

— Ты слушай. Он дельному учит.

— Смелее, чертушко. Не жалей зубов.

— Вот бы мне эдакий франт,— тут как тут возник Васька Богоявленский по прозвищу Колобок; нескладный мужичишка, ханурик.— Дай-ка я,— просит Колобок.

— Не гуди, змий,— отстраняет Колобка Желтухин.— Отзынь, паразит. Сгинь, говорю, Ирод. Убери грабли.

— Еще рвани,— подзуживает Бирон.— Почти сдалась. Пустяки остались.

Яшка мается, стараниям его нет конца и края. Не может сладить, сконфузился, скис.

— Несерьезный ты человек, Яшка, бестолочь, не Мересьев. А Мересьев запросто бы открыл. Глазом бы не моргнул. Ну, мужички, кто следующий? Подходи, подешевело.

— Можно мне? — канючит без конца Колобок, улыбчатая луна, рот до ушей, хоть завязочки пришей.

— Ты, я вижу, не промах. Наддай, но по-быстрому. Раз-два. Мне некогда. Раз жлоб безоговорочно капитулировал — лови удачу. Пусть неудачник плачет.

Колобок взял издевательскую, гипнотизирующую банку, нахохлился, впился сметливым, отточенным взглядом, проанализировал края банки, зацепил голодным зубом край, напрягся, сделался медно-красным, как рак, в кипяток брошенный, дернул, враз открыл. С первого рывка. Сам диву дается. Оказалось проще пареной репы. Обвел собравшихся смешливыми, голубыми глазами, недоуменно и с укоризною смотрит на Яшку. Пошто не дюж? На Бирона вопрошающе смотрит.

— Твоя,— говорит Бирон.

— Не жаль?

— Слово,— говорит Бирон,— закон. Здесь без обмана. Не в церкви. Мне доставили приятность его жадность и твоя подлость. А за цветы удовольствий надо сполна платить. Обычай предков. Особливо на безрыбьи, когда забав и удовольствий мизер, раз и обчелся. А ты вахлак обездоленный, чего зубы жалел? Головотяп нерадивый, на фу-фу живешь, халтурщик. Для себя не можешь работать. Трус, лодырь. Национальное бедствие. Учись, пример бери. Герой, Мересьев, настоящий человек! Скажи, чтобы тебе умелец оставил. Справедливо будет. Она была открыта. Не смотри на меня глазами обиженной, голодной собаки. Я банку отдал. Иди, требуй свое, иди же: на бобах останешься. А может, у тебя диабет? Вредно сладкое?

Колобок не мешкая слинял, уволок банку в свое укромное логово. Дорвался, прилепился к банке страстной душою, приголубливал, все через край, гужевался. Не торопясь, усердно лакомился. Кипяточком прихлебывал, утрамбовывал. Пайки-то не было: остаток от утренней пайки дожевал в столовой. Уплетал, порою кисою мурлыкал: «Фартовая бацилла». Ему радостно кричали: «Выверни, дурень: ловчее станет. Оближи». Но Колобок жестоко был наказан. Желудок, не имеющий большой привычки к сладкой жизни, спасовал. То и дело Колобок шмыгал из барака с искаженным лицом. Потащил нас Колобок. Помнится, я нечаянно высказался в манере, которая вообще-то мне не свойственна, полез к Бирону с дружественным советом: мол, говорю, умерь язычок, кончай театр для себя. Не следует раздражать и дразнить население барака. Зачем так явно и бесцельно дразнить гусей? Надо быть благоразумнее, осторожнее. Бирон вломился в амбицию:

— Начхать с тринадцатого этажа. Думаешь, к вам они лучше относятся? Да они презирают и меня, и вас, и Краснова. И ненавидят. Белая ворона. Чужеродное тело. Меня этот кретин, что на раме стоит, спрашивает: твой корешь, долгохарий, тоже еврей? Юноша, это о вас. А ваш Краснов дурак. На общих. Думает, к народу ближе. Да они его презирают. Я русского человека вижу насквозь, как Вий. Ясен его портрет. Посмотри на эти хари! Когда русского человека угощаешь, его можно третировать, унижать, как твоя душенька соблаговолит. Глянь на этого типа. Хорош? Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы эту страну сжег, сжег бы эту скверну, подлость. Ненавижу! Хамье, взбеситься можно. Кретины! Мерзавцы! Кошмар! И я должен жить среди этих скотов! Тихий ужас. Как я принимаю Ницше, сказавшего: «Я с жадностью жду конца». Сие есть и мой катехизис.

Как-то после работы Бирон призвал Краснова:

— Юноша, можно вас на минутку. Хотите философско-психологический этюд? Я вас прошу, очень. Продолжение нашего разговора. Садитесь. Бесплатно.

Бирон кромсает с усилием сало, отсекает маленькие дольки, бросает Яшке Желтухину, как собаке. Тот стоит на четвереньках, ловит сало пастью, с ловкостью фокусника ловит. Бирон комментирует этюд:

— Отпетый кретин ты, Яшка. Говно! Не стыдно так унижаться? Говоришь, что с такими посылками и дурак проживет? Сколько тебе лет? Убелен сединами, а ума так и не нажил. Чурбан, капли нет ума, казанский мыло. Слушай, друг ситный, знай: есть такой закон, и божий, и человеческий, на великих скрижалях записан. Жить я должен сдобнее тебя! Понял? Мои родители живут так, как тебе и твоим предкам не снилось. Деды и подавно жили слаще. Какой тут разговор. Я и в лагере живу лучше тебя, хоть ты и старшой. Войны, революции ничего не меняют и не изменят. Так было, так будет. Кому шишки, кому пироги и пышки. Дается имущему; а у неимущего отнимется последнее. Все течет, ничего не меняется: кошмар истории.

Яшка Желтухин масляно сияет, пробует вилять задом, сало уминает.

— Говнюк ты, Яшка. Сраное русское говно. Как не стыдно. Неужели у тебя чести нет? Скажи, Яшка, когда человека угощаешь, можно его унижать? Как? Раскинь мозгами. Пошевели шариками хоть раз в жизни, не все багром.

— Колбаской унизь меня малость,— хитро щерится Яшка, красноречиво-бесстыдно заглядывает в глаза Бирону.— Колбаски, мил-человек, больно охота.

— Подлец! Ух, какая сволочь, какая подлая скотина! — задыхается от восторга Бирон, весь просиял.— Бездонная, как тартар, беспардонная, непробиваемая сволочь! Наш современный, полюбуйтесь! Ничего не попишешь, придется тебе колбаску дать. Лови, злодей! Нахлебничек на мою голову нашелся. Жируется. Как ты сказал? Колбаской меня унизь? Воистину велик русский народ! Какие перлы! Зернисто. Нет слов, башка! Вот в чем наша сила. Вот почему войну выиграли! Вот почему татар сбороли. Весь мир подомнем под себя. Да что нам вонючие американцы с их грандиозной техникой. А надутые англичане? Парламент, парламент! Французы — выродки, минетчики. Всех слопаем, спета их песенка! Третий Рим. Слопает удав и на солнышке будет греться. Скажем, так и было.— Адресуясь больше к философскому уму Краснова, чем ко мне: — Признаю, промашечка. Сел в лужу.— Бирон театрально возвел обе руки к близкому небу барака.— Гибель Помпеи. Мои убеждения рухнули. Эту скотину ничем не унизишь. Нет ни чести, ни самолюбия. Жрет, как кот Васька, меня презирает. Не я его, а он меня унижает, смеется надо мной. Обжирает. Скажи, Яшка, презираешь меня? Какая сволочь! Пред вами грядущий хам. Не близ, а рядом, пришел, победил. Полюбуйтесь. Смирись, Европа!

Очень многие события и напасти протекали не на моих глазах. Не мог же я одновременно находиться в нескольких местах. А получается. Я вроде уже успел сообщить, что перебрался в другой барак. Теперь о Бироне мне непрерывно рассказывает Краснов. Не рассказывает. Он худой рассказчик. А рассуждает на тему, разве можно так вести себя в лагере? Что он, спятил? Мы оба диву давались: Бирон вел себя в лагере не так, как все, явно и грубо нарушал методические требования лагеря. Казалось, что Бирон ищет гибели, закусив удила, несется в пропасть. Здесь это проще простого. И искать не надо. В бараке его, между прочим, два раза лупцевали, но, кажется, так ума и не вложили. Все нипочем: колюч, непреклонен. Не хотел, а может, не мог переломить себя. Озорничал. На хохлов взъелся. Они символизировали для него коммунизм, Россию, Советскую власть. После ОП он подмазал бригадиру: его перевели на самый легкий участок, на наколку, где старшим с незапамятных времен был Яшка Желтухин. Впрочем, не буду делать вид, что я понимаю Бирона. Изложу события в той последовательности, как они шли. Буква, фотография

и фактография, если это возможно. Бирон решил, что совсем не будет работать. Так вот. После перерыва он смотался на бункер, завалился на опилки, ищи-свищи: задал храпака. Его обнаружили не скоро, потурили с нагретого местечка, дернули к начальнику лесоцеха (не был зэком ни ныне, ни в прошлом, а носил на широких, могучих плечах золотые погоны лейтенанта): «Почему оставили рабочее место?» «Вместо того, чтобы вечно задавать малоосмысленные вопросы, разумно дать работу по специальности». «Ваша специальность?» Ответ: «Философ!» Шутка ли: уважающему себя человеку услышать столь непозволительный, фанфаронский ответ, притом сделанный откровенно вызывающим тоном. Еще никто из зэков не осмеливался так говорить с этим бесчувственно-чванливым человеком с золотыми погонами, а потому он на какое-то время даже лишился дара соображения и языка; угрюмо молчал, глядел по-бычьи на Бирона, как на неведомого зверя, недоуменно, огорошенно, постепенно раздувал ноздри, раскочегаривался, как самовар у проворной бабы. «Могу работать исключительно на руководящих постах»,— прифальцетил Бирон. «Еще что вы можете?» «Могу не работать!» — сказал Бирон. «Саботаж! — взорвался начальник лесоцеха зычно-иерихонским басом, видом он все больше напоминал быка, готового броситься на наглеца, закатать всласть и до смерти; хватил тяжким, крутым кулаком по столу — аж стекла в конторе зашлись и зазвенели.— В бараний рог скручу! В тюрьму!» Но Бирон, как вы уже догадываетесь, не из тех, кто за мятежным словом в карман тюркается: «Дудки. А я, вообразите, и так в тюрьме. Дошло? Чтобы посадить, меня надо сначала выпустить. Динь-дзянь. Не получается. Извиняюсь. 58-я, фашист. В кулак свистеть остается». Нашла коса на камень. Поднялся трам-тарарам, и вулкан, стычка боевая: начальник лесоцеха разбушевался, понес в хвост и в гриву; да здесь доктора наук тачки катают, да здесь академиков к тачкам приковывают. Дальше — больше; мой Бирон спуска не дает, подпустил демагогии: читал, что у Гитлера в лагерях академиков к тачкам приковывали, а вот чтобы у нас такое было, не видел и даже первый раз слышит. «Ну, даешь»,— уважительно рек Глядковский, бригадир лесоцеха, тертый калач, прошедший огни и воды, в прошлом фронтовик, боевой офицер, Ванька-взводный, в конце войны капитан, примечательная, стоящая специального внимания фигура лагеря. В бараке только и было в тот вечер, что разговоры о Бироне. Чем все кончится? В своем уме ли? Глядковский, ему-то Бирон сунул, а он сытый не кусался, решил не мараться, сделал для Бирона, что мог в этой ситуации: турнул неслуха на шпалорезку, в другую бригаду. От греха подальше. Но Бирон, видать, умом тронулся: не угомонился, продолжал беспечно манкировать обязанностями зэка. Его со шпалорезки турнули в бригаду строителей. Она числилась полуштрафной. Кривой, бригадир строителей, подкарауливал Бирона на разводе, полоснул взглядом: «Подь сюда»!». Бирон бесстрашно глянул на скуластое мурло Кривого, на его единственный поганый глаз и... (Гомер: «бедность его покрывает ланиты»; «от ужаса членами всеми трепещет») сник. Понял, что вышла промашка. «За зону, тля, не ходи,— цедил слова Кривой, пылая глазом.— Тебе там светить не будет. Это я говорю, Иван! С потрохами сожру!» Бирон забил отбой, укоротился. Неужели раньше не понимал, что лагерь есть лагерь? На земляных работах ему пришлось туго, долбил мерзлую землю ломом; рядом, начеку, стоял неуемный одноглазый страж. Бирон разогнулся, чтобы дух перевести, замешкался, а следущий пластически простой, впечатляющий, превосходный кадр: Кривой, здешний землитель, землитель милостью Божьей, с форсированного отскока-подскока влепил Бирону каблучищем упрямого сапога, умеючи и от всей вдохновенной, экстатической, ликующей рабоче-крестьянской души вмазал в бок, высоко, где манифестируется боль, где случились проклятые почки, парные органы, поддерживающие в первозданном состоянии состав крови близким к составу морской воды, образующие мочу, выделяющие из организма избыток солей, чужеродные и токсические соединения (хорошо, что у человека их две!); потомок русофоба семнадцатого века Хворостинина и русофоба восемнадцатого века герцога Курляндского захлебнулся болью, преобразился в бескровно-серо-трупную неприглядность, осел сеттером, сыграл, скособочившись и даже не подставив маленьких рук, в смирительную яму, которую долбил, углублял. «Вставай, сучий потрох! Темнишь, тля!». Кривой поливает Бирона натренированными ногами — спортивная злость, удары безукоризненно точны. «Сачок, бери лом! Вонючка гнойная!» После работы дерзкоречительный Бирон намылился было в санчасть, лелеял нежность, что пустит пену, закосит: не тут-то было! Фанатичный Кривой упредил тактический, возможный маневр, завалился в кабинет врачихи, поднял бучу: горлопанил, стегал медицину глаголами лагеря. Жиды, мол, засели в санчасти, потакают симулянтам, фашистам, чтоб им всем пусто было, а он, Иван, должен для страны к празднику, через две недели, погрузочную площадку сдать. А людей нет! С кем работать? Начальница санчасти совестливым тоном, но твердо, прямо, честно сказала, что былой фавор Бирона накрылся, что освободит лишь на завтра, а в следующий раз его здесь ждет от ворот поворот. А в бараке пошли о Бироне нехорошие шу-шу-шу, мол, стукач, давно пора такому по шапке дать, приземлить. Яшка Желтухин словно воскрес, отыгрывался за прошлое: «Вместо Сталина думал сесть!». Будит утречком развенчанного Бирона, торжествует: «Эй, гроб с музыкой, подъем! Эй,— дергает за ногу,— вставай, буржуй, с постели, грибы жарены поспели!» Читатель, были вы сами в безвыходном положении? Хватались ли за соломинку? Бирон выкинул трюк из области безумного, но сейчас он мне более понятен, чем раньше. Он не вышел за зону. Хоронился в уборной, где его застала поверка, после спровадился в соседний барак, мельканул мимо дневального, который не признал в нем чужака, залез на чьи-то нары, лежал недвижно, ждал. Человек не иголка. Все же нарядиле пришлось сбиться с ног в поисках отказчика, еле нашел, стащил беднягу с нар за ногу, с верхних нар: Бирон дербалызнулся я те дам, как Икар с верхотуры. Чудом не гробанулся, ушибся порядком. Погнали взашей раба божьего в изолятор, но там и пятнадцати минуток не продержали, отнеслись к проступку келейно, по-домашнему, даже не занесли в черный список отказчиков, не оформляя протокола, погнали на лесозавод с отдельным конвоем. Стоит ли говорить, что веселого мало. Не пожелаю вам такого, читатель. У вахты, облокотившись на косяк, преспокойно ждал Бирона Кривой, словно орел, готовый вцепиться в добычу; глаз его сладострастно пылал. Они двинулись к объекту, который не там, где лесоцех и сортплощадка, а на отшибе. Шли узкой, нахоженной тропой. Бирон впереди, безропотный, беспрекословный, ввергнутый в пучину страха; Кривой за ним по пятам. Издали, на снегу, при свете яркого солнца они смахивали на двух пингвинов, гуськом идущих друг другу в затылок. Бирон не выдержал чреватого молчания, оглянулся. «Бей!» Но кто ж откажется бить виновного, бить по праву, по справедливости? История сообщает, что сил дойти до зоны у Бирона хватило. Дать лапу Кривому? Говорят и пишут, что ни одна крепость не может противостоять ослу, нагруженному золотом. Все мое, сказало злато! Словно прочитаны его мысли: в барак заявилась депутация от Кривого, двое, шестерки, помялись у нар Бирона; один из них ткнул в сапоги Бирона, хорошие сапоги, кирзовые: «Жмут». Бирон сблочил сапоги, передал; они ушли с трофеями. Читатель, знаешь ли ты, что глубинное, истинное зло так же бескорыстно, как и добро? На другой день у вахты гудел Кривой: «Думаешь, лапу дал, филонить будешь? Посмотри на меня! Я — твоя смерть!». Еще один день кончился, бригады собирались у вахты, чтобы идти в зону. Краснов узнал Бирона лишь по скрипучему, высокому голосу. В строю они рядом. Утро было погожее, а теперь все по-хамски сменилось. Пьяный, шатающийся, неуемный, метельный ветер буквально царапал и кусал зэчьи морды. Бирон согнулся в три погибели, буквой «Г», еле волочит ноги, отстает от строя. Краснов подхватил его, как когда-то меня в «воронке». Бирон тут же повис на Краснове, вцепился в него, как птица, железными когтями. Они отменно отстали от строя. В ясную, сократовскую голову философа лезут гадкие байки Шалимова про то, как пристрелили верзилу-бендеровца. Философ оглянулся на цербера. Конвоир идет близко; винтовка наизготове, чуть штыком не упирается — в двух шагах. Не положено так близко, пульнет! Молодой парень, юнец. Тридцатый год, может, тридцать первый. Исподволь страх щекочет спину. Пиф-паф, отвечать не будет. Попытка к побегу. Вот и вахта! Пронесла нелегкая! Без фокусов дотянули до зоны. Не загогуливая в столовую, Бирон доволок непослуш-

ные ноги до нар, бухнулся, благо место внизу. Голову бросил на руки, полупокойник.

— Махну в столовую. Я мигом,— предупредил Краснов, оставив Бирона.

Он сидел с бригадниками в столовой, не торопясь, с расстановкой, как бывалый зэк, уминал супец-брандохлыст, а затем крутую недурственную перловую кашу. Нет, каша ништяк: густо заварена. С пыла, с жара, добра, не то, что на завод в бачках привозят. Он ел, блаженно улыбался. Червячок заморился. Чуть, слегка. Жить можно. Теплота из живота быстро распространялась по всему продрогшему на ветру телу.

Смурная, изнурительная, бескомпромиссная, изыскательная работа мозга закруглилась ярко, притом полным, непротиворечивым идеологическим благополучием. Перед его внутренним взором засияла в неколебимой вышине, как неподвижное, вечное, прекрасное солнце, гравюра из «Утопии» Мора. Созерцание этой гравюры, когда-то давно виденной и теперь так четко, бесспорно восстановленной памятью, вглядывание в ее детали давало ощущение радости, ровной, незамутненной, спокойствия, абсолютной внутренней свободы. Ярчайшей молнией брызнули мысли. Курочка ряба снесла яйцо. Не простое, а золотое. Не замечая шквального ветра, он бежал из столовой, спешил с кем-нибудь поделиться открытием, сунулся было ко мне в барак, не обнаружил меня на месте, на всех парусах разлетелся к Бирону, который по-прежнему являл собою живые мощи в той же безрадостной позе.

— Готовая, в броне и панцире, как Афина-Паллада, идея выскочила у меня из головы,— начал философ излагать свое потрясающее открытие.— Я сподобился получить первый раз добавочный черпак каши. Обычной перловой каши.

Прорвались шлюзы, речь Краснова полилась широкой, бурной рекой. Да, маршал толкнул ему миску с добавочной кашей, именно ему, а не кому другому, и это сделано было красиво, умно, подлинно справедливо, и вот он, Краснов, сидит, спокойненько усмиряет разыгравшийся аппетит, а кругом пар, стук мисок, гвалт, гул, пустой однообразно-естественный мат; вдруг зарница: не то наитие, не то шальная, случайная ассоциация, прямо как у Кекуле в зверинце перед клеткой с обезьянами (открытие бензольного кольца!). Мысли забарабанили по черепу, как град. Томас Мор, коммунальная столовая! Идея, великая, глобальная, вселенская идея! Но не хватило духу объять необъятное: изгнал поганой метлой Афину-Палладу, как беспризорную шваль, как кричащий, дикий абсурд. Но она явилась вновь, все в том же великолепном вооружении, и он, как последний идиот, оглядел восторженно бригадников шпалорезки, которые уплетали порционную кашу, и, словно узрел самого Бога истины, господа животворящего, рявкнул что есть мочи:

— Так вот где зарыта собака моя!

Зверски ликует и скачет сердце. Звони во все колокола. Нет, не он оседлал идею, а она, идея, оседлала его. К шутам собачьим иронию. Ты мне голую истину вынь да положь! Истину с большой буквы. Мост в будущее. Гениальные и простые слова. Вот они! В каждой коммуне будут общие трапезы, на которых члены общины обязаны присутствовать. Внимание, внимание! Интонационно выделено слово *«обязаны»*. Какое мужество! Равенство, свобода, всеобщее счастье. Или смерть. Краснобай Герцен иронизирует, мол, за этим так и ждешь подпись: «Питер в Царском селе» или «Граф Аракчеев в Грузии», но оказывается подпись не Петра Первого, а первого французского социалиста Гракха Бабефа. Нет, уважаемый Герцен, оставьте иронию. Здесь подлинное бесстрашие, предельные честность и откровенность. А какая глубина проникновения в человеческое сердце! Социализм был, есть и будет феноменом принудительным. Спарта, монастырь (откуда это «все верующие были вместе и имели все общее»?), казарма, к этому списку давно пора добавить и ОЛП, являются идеалом человеческого общежития и прообразом справедливости. Коммунизм — это не реки с кисельными берегами, текущие млеком и медом, а жестокое, насильственное, принудительное равенство. Справедливость и дисциплина. Каждый сверчок знай свой шесток и не высовывай голову выше других, не тяни, подлец, на себя одеяло. Один за всех и все за одного. Ныне мы присутствуем при рождении новой системы связей, новой земли и нового неба. Новое, правда, вылупляется в несовершенном, убогом, уродливом, неприглядном, как Золушка, виде, в пугающем глаз арестантском бушлате и тяжелых, неудобных кордах-мокроступах. Но за карикатурно-кошмарной оболочкой скрыта гениальная, предвечная идея, а ей-то суждено расти, развиваться, бухнуть, разрастаться, цвести, энтелехтироваться, захватывать, побеждать народы, царства, материки и континенты, объединить человечество в одну семью, победить мир, актуализироваться в тысячелетнее царство железной справедливости. Нигде и никогда так полно и глобально не проступали обетованные, истинные черты социализма, как в ИТЛ. Придите, страждущие и обремененные гордостью, завистью, тщеславием — здесь успокоитесь вы! Нет частной собственности. Нет и личной! Ничего нет. Кое у кого сберегся еще с воли свитер, фуфайка какая-нибудь, сапоги, как у Бирона, как у Глядовского, офицерский китель, галифе, но это мелочь, недоразумение, отклонение от надлежащего закона всеобщего равенства и не делает большой погоды, бесконечно малая величина, которую безболезненно отбросим. Те, кто в лагере давно, к примеру, сосед Краснова, забыли и думать о манатках, которые не положены по форме. Лагерь не знает подлых денег. Осуществилась великая мечта солнечного Мора: «Даже сама бедность, которая, по-видимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно и неукоснительно стушуется и слиняет с совершенным их уничтожением». Те же страстные глаголы слышим мы в раскатистых и разрывающих даль и горизонты пророчествах Бабефа: «Деньги отменяются!». Зэк, выполнивший трудовую норму, получает законную сладкую пайку — 600 граммов черного хлеба, вывешенную точно, на аналитических весах, и бесплатное питание в общественной столовой. Пайка — святая святых! А невредные фигли-мигли, гроши подбрасывают вам в таком мизере, что их и под микроскопом не увидишь, изучать надо. На спички, на курево. Свое, что задержалось у вас с воли, вы обязаны сдать в каптерку. Носить не имеете права, если оно и сохранилось. Вам выдадут по окончании срока. Глядковский, согласитесь, исключение, подтверждающее закон. Подумать только, не поверишь, всё, как в «Утопии» Мора. Изумительные, потрясные и очевидно, что далеко не случайные совпадения. Внешний вид одежды «различается в соответствии с полом». Это у Мора, и у нас. Но здесь Мор недодумал. Мне кажется, это излишество. Не должно быть ни мужского, ни женского пола. А что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь: «Покрой остается одинаковым, неизменным, постоянным, вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре». Все пострижены наголо, и волосы носить не разрешается. Как в армии. По тем же соображениям: гигиена и так далее. Не вижу ничего плохого. Для женского пола, впрочем, лагерь делает исключение: волосы не стригут, оставляют им красоту. Поблажка, отступническая, надо думать, временная. Равенство так уж равенство, и женщин следует стричь наголо. В «Утопии» Мора все ложатся и встают в одно и то же время. И у нас! Потрясающе! Мы встаем в шесть утра под звуки гимна, на скорую руку одеваемся, поспешно, как угорелые, застилаем постель, умываемся, справляем там нужду, а вот уж ноги сами несут нас в столовую для принятия пищи, а затем они топают к вахте. Всегда в один и тот же час распахиваются тяжелые ворота лагеря. Вот нарядчик пошел кукарекать наши фамилии, отдает шестерке карточки отказчиков. «Все! — рапортует маршал.— Двое в законе». Надзиратели не спеша пересчитывают бригадников, затем бригаду принимает начальник конвоя, снова-здорово считает, затем святая, напутственная, утренняя и вечерняя, вливающая в души свежесть, жизнь, реализм, молитва: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Понятно?». И бригады сбившимся строем, напоминающим стадо, валят в рабочую зону, к своим производственным участкам. Труду в лагере отпущено десять часов. Все остальное время, что набежит за вычетом обязательного труда, трапезничание в общественной столовой и сна, предоставляется для личного употребления зэку, но при этом надзиратели зорко следят за тем, чтобы не имело места непозволительных злоупотреблений, «излишеств и всякого рода нелепых, губительных и гибельных забав» (Томас Мор). Это же так есте-

ственно, что в лагере запрещены наркотики, дурманы, чифиры, божии травки, планчики, страшные спиртные напитки, азартные картишки и т. д. Но допускаются организованные культурные развлечения. Раз в месяц вертят кино. Существует в «Утопии» и особая бригада, в которой собраны натуры художественные, таланты, артисты. Они избавлены от физического труда, а заместо работы готовят развлекательные и назидательные спектакли, концерты. Не очень ясно, как Мор отнесся бы к культбригаде? Зачем искусство? Если не считать нравоучительного, дидактического агитационного аспекта искусства, то занятие это весьма и весьма сомнительно, двусмысленно, неблагонадежно. На это указывают и божественный Платон, и Кампанелла, и Чернышевский, и Толстой. Ведь что не полезно, то вредно. Концерты культбригады посвящены критике тех, кто в условиях лагеря отлынивает от обязательного физического труда, а попросту — темнит, мастырит, филонит. Следует признать, что эта критика не очень-то убедительна: сами-то артисты избавлены от физического труда. Возможно, следует быть более последовательным: запретить культбригаду, ограничиться самодеятельностью. В десять вечера в «Утопии» замирает жизнь: отбой — о чем зэки оповещаются троекратным ударом по рельсу, подвешенному на столбе около КВЧ. Одновременно в бараке вам угрожающе подмигнет лампочка. Лампочка, как вы помните, мигала нам и в следственной тюрьме. Радио после отбоя отключается, и все мы, зэки, одновременно и дружно задаем храпака. Игры, чтение, тары-бары после отбоя наказуются, изолятор запросто можно словить. Надзиратели зорко следят, чтобы во время, отведенное под сон, наш брат зэк не куролесил и не колбасил. Мор считает, что на сон достаточно восьми часов. Наполеон спал четыре часа в сутки. Новичкам и всем тем, кто ухайдакался на работе, разрешается залечь на нары и уснуть еще до отбоя. Население лагеря разбито на бригады. Во главе бригады — бригадир или, как его подобострастно величают, маршал. Он физически не работает, а следит за дисциплиной в бригаде, погоняло. Бригадир назначается лагерной администрацией, а не выбирается. Крепкий, хороший бригадир — это клад: он, конечно, понуждает к работе ленивых и нерадивых, а такие очень даже в большом изобилии в каждой бригаде (зэк не любит упираться, хитер и лукав), но и кормит бригаду. От него зависит, хорошо ли закрыт наряд, а значит, сколько перепадет бригаде дополнительных мисок каши. В критические минуты бригадир сам встает на ответственный, горящий участок, великолепным примером заражает, захватывает, увлекает за собою вечно сонных бригадников: «Эй, навались! Нажали!». Все веселеют, готовы в лепешку расшибиться. «Маршал на раму встал!» Откуда и силы взялись? Накопившаяся усталость растворяется в новом порыве. Работа спорится. Бригада имеет прямое сходство с русской общиной, которую, не лишне помнить, боготворили как славянофилы, так и Герцен, Чернышевский, народники, видели в ней зародыш, росток социализма. А эта самая община возмущала, бесила Петра Аркадьевича Столыпина, и он приписывал ей всю русскую дрянь, все русское зло, лень и бесхозяйственность. Со своей точки зрения он даже прав. Для вящей справедливости будем мертво помнить, что в лагерной бригаде больше общности между ее членами, чем в миру, в крестьянской общине, и, пожалуй, она даже напоминает семью, большую трудовую патриархальную семью: бригадники повязаны друг с другом не одним производством, но, как в семье, как в первых христианских общинах апостольских времен, всем бытом, всей жизнью. Никто не обособляется, не замыкается в своей конуре. Женская зона, мужская, но на производстве работают все вместе, а женщины, как и в семье, как и у восхитительного Мора, «как более слабые, выполняют более легкую работу». Распределение по бригадам зависит от физической предрасположенности зэка, что выясняется немедленно из личной беседы с начальником ОЛПа или с его замом, а чаще распределяет сам нарядчик. Больные освобождаются от работы. Освобождение, как всем хорошо известно, дается врачом. Утопия отнюдь не выдумка фантазеров, а дитя жизни, трудное дитя. Но в то же время следует сказать, что это самое реальное и перспективное, что создала современность. Хотя в первосущности ОЛП нерукотворен, но это отнюдь не означает, что его формы сложились стихийно и случайно; напротив, это осуществленный идеал, и над его осуществлением, по легенде, которую из уст в уста передают старые лагерники, хорошо поработала гениальная еврейская голова Френкеля. Не должно нас смущать и сбивать с толка, что внешние формы лагеря порою приобретают гротескные очертания. Если подумать, это в природе вещей, символизирует рождение, рост, которые, как известно, всегда болезненны. Юное, новое, перспективное пробивается робко, неуверенно, а если невзначай по внешним формам принимает отталкивающе страхолюдное обличье, то будем мужественны, преодолеем предрассудки и предубеждения, буржуазный либерализм, гуманистический треп. Прослежу на примере, насколько тесно жизнь и быт лагеря повязаны производством, его жизненным ритмом. Режим и инструкции ГУЛАГа требовали быстрого и крутого слома устоявшегося лагерного уклада: из соображений сугубо политических считалось, что зэки должны жить в бараках не побригадно, а постатейно, что логично. Ядовитая, чумовая 58-я не мешалась с бытовиками, которые хотя и преступники, даже матерые порою, но не совсем отпетые, рано или поздно, несмотря на астрономические сроки, должны возвратиться на волю, перековаться, снова влиться в жизнь. И вот нас всех раскидали по статейным признакам, а тех, кто по глупости брыкался, упрямился, уклонялся от переселения, наказывали: ШИЗО. Приказ ГУЛАГа, Москвы; ничего не попишешь, исполняй, повинуйся. А чем эта угрюмая воля разрешилась? Неразберихой, глупостью, неудобствами. Бригадир грузчиков канителится полночи, мыкается, шныряет по ОЛПу, свистая заспавшихся бригадников в разных бараках; путается впопыхах, бесчинствует, хватает за ноги не тех, не своих. Грузчики стали прямо-таки непристойно опаздывать на погрузку. Участились простои железнодорожных вагонов. Прореха на прорехе и прорехой погоняет. А план давай! И вот первоначально для грузчиков сделано рискованное послабление, в нарушение приказа Москвы: собрали их всех, независимо от статей, в один барак. Продиктовано интересом дела, производства. А вслед за грузчиками и другие бригады дружно искали общности, собирались в одном месте для жития. Реформа захлебнулась, все, как говорится, вернулось на круги своя, к старым, проверенным практикой реалиям. И вновь лагерь возродился, зажил по старым законам и нормам.

— Тут как-то вы, мой лебедь, фигуряли дикими, вычурными, завиральными идеями. Гнилыми идейками о каком-то законе крови, о том, как мне помнится, что вы, дескать, отпрыск благородных, жирных, столбовых кровей, Бироны, Хворостинины, а поэтому вы будете и в лагере жить лучше, чем Желтухин? Я вас правильно понял? Гнилая философия, подлая. Нет такого закона! Пустой романтизм, треп, фарс, собственно говоря, искажение истины. Сдается мне, что вы и сами-то в это не больно верите. А если и верили, то наказаны за дурной кругозор, опровергнуты прагматикой, опомнились, узнав, где раки зимуют. В Утопии, не побоюсь этого слова в применении к лагерю, действуют неукоснительные, суровые, беспощадные законы социализма, общности, справедливости, равенства. Кривой, его риторика, демагогия — лживы и мерзопакостны. Нет спору. Но моральные критерии не годятся для истории. Через Кривого осуществилась историческая воля. Такова истина без прикрас, как бы вы от нее ни шарахались.

— Юмор, да? — Бирон еле языком ворочал.— Подъелдыкиваешь? Чего ухмыляешься?

— Отнюдь,— недоуменно.— Вовсе не ухмыляюсь. Откуда вы взяли?

Разговор принял досадно нелепый характер.

— Плюй, плюй в меня,— твердил Бирон.— Мешай с говном, по стенке размазывай. Все собрались? Плюйте!

— Успокойте бунтующие, раздрызганные нервишки и давайте наладим нормальный, результативный диалог. Не выношу расхлестанности, кипячения, паники. Вы, Бирон, как я вижу, завзятый, неугомонный спорщик. Остановитесь. Лебедь мой и заблудок, не отмахивайтесь отчаянно, раздраженно от истины, как от назойливой мухи. Лагерь — горькое, но для таких, как вы, полезное лекарство. Триединство социализма: равенство, справедливость, насилие. Три кита. Полно, лебедь, лезть в бутылку. Глупо. Не в обиду

будь сказано, кроме как себя самого, свой спесивый, ослушный характер, вам некого винить. Кто вас заставил выкидывать неподобающие фортели? Не пожелали считаться с аксиомами, по которым живет лагерь. Всяк кузнец своего счастья. Кто виноват, что вас угораздило сойти с колеи, заварить кашу, создать безвыходные, головокружительные обстоятельства? Пеняйте на себя. Кривой учинил справедливую расправу, потешился всласть, окоротил дворянскую спесь. Дрынком попотчевал. Поучительная, назидательная история. Не проходите мимо. Описать, издать в порядке прагматического назидания новичкам. Пособие по технике безопасности.

— Фигляр! — дряблым, ломающимся фальцетом закричал Бирон.

— Постойте минуточку, помолчите. Ничегошеньки вы не поняли. Руки опускаются.

— Катись колбаской по Малой Спасской!

Краснов обиделся:

— Аривидерчик, князь. Как вас, Хворостинин или Бирон? У меня и в мыслях не было вас насекомить. Я только сказал, что вели вы себя не наилучшим образом. Завтра выходной, заходите, возобновим диалог, скрестим рапиры.

Краснов отчалил, вспорхнул на нары пострелом, схватил Гегеля, впился в него, вгрызался в каждую неповторимо прекрасную фразу великого диалектика, величайшего из философов. Отмечал: «Отличный перевод!». Даже не заметил, как подошел я. Решили прошвырнуться по ОЛПу. С безудержной радостью Краснов рассказывал мне о замечательном открытии (такое, поди, чувствовал Архимед, когда в ванне просек новый закон, воскликнул: «Эврика!»), развивал, уточнял идею, которую Бирон не пожелал воспринять серьезно. Краснов нимало не сомневался, что Бирон образумится, воспылает узнать суть великой концепции, каким должно быть тысячелетнее царство лагеря. Он не совсем ошибся, что Бирон явится к нему. Вот заклябались нары — нагрянул Бирон. Первым сделал шаг к миру, хотя послал накануне Краснова к едрене фене. Краснов решил быть честным до конца, без обиняков начал:

— Рад вас видеть, приветствовать, как сказал поэт, звоном щита. Считаю своим философским долгом предупредить, что вчера я отнюдь не шутил. Если я вам не по душе, можно не продолжать. Предлагаю быть рыцарем истины. Здесь, в ИТЛ, формируется, отрабатывается и обкатывается грандиозная модель будущего всего человечества. Знаете ли вы, что человек абсолютно подл, и нет для человека ничего страшнее, чем то, что сосед живет лучше него. Человеку совсем не хочется жить лучше, а важно одно: чтобы сосед жил еще хуже, чем он. Может быть, человечество будет долго мыкаться и мучиться со своими предрассудками, со свободой, с либерально-моральными ценностями, но оно придет к ИТЛ, приползет на карачках, и лишь здесь найдет свое утешение и успокоение.

— Кончай балаган! — крикнул Бирон строго.— Довольно, повыпендривался. Не раздражай меня, прошу.

Краснов ощутил себя тем сеятелем, который большими пригоршнями бросал семена, но все до одного они попали на каменную почву.

Накатило молчание, непроворотное, тягостное. Говорят, в такие минуты рождается милиционер. Не знаю, так ли.

Прервал Бирон:

— На бедного Эдика восстали все силы ада. Черт с рогами, привязалось лихо одноглазое. Швах, швах. Положительно не знаю, что делать. Шапку-невидимку — вот бы здорово. На этап хочу, на дальний. На худой конец — на другой лагпункт. К черту на кулички. Сильная просьба, будь другом, поговори с нарядилой. Тебе — сущий пустяк.

Но для Краснова разговор с нарядилой был далеко не пустяк.

— А сам?

— Кончился Бирон, свернулась кровь в его юном организме. Батарейки сели. И уже ни на что не способен. В паху страшно саднит, как у Пушкина. Не вынесла душа поэта. Сдал, сдаюсь. Я сорвался вчера, наговорил три короба и десять бочек арестантов, прости. Скверно получилось. Я редко срываюсь. Не

серчай. И прошу без базара, выдрючивания и высоких материй. Не до них. Все вы, я вижу, друзья до черного дня.

Краснов очень растерялся, желваками задвигал, брякнул наобум, что надо привлечь меня к участию, что в таких вопросах я большой дока, лажу с жизнью, могу чудеса творить. Они быстренько направились ко мне.

В мире лагерной придурни были страстные любители свежего воздуха. В конторе мой стол был рядом с окном, а я-то предпочитал форточку держать закрытой. Возникали легкие трения, приходилось уступать. Почему свежий воздух такой холодный? Форточка была закрыта, но от окна кошмарно сифонило. А меня раньше продуло, неможилось, подзнабливало, сильно чихал и дохал. С самого утра начались нескладушки, неладушки. Болезнь — напасть. А по неписаным и давно установившимся законам конторы, где я до сих пор благополучно, как у Христа за пазухой, обитал, не принято шлендать в санчасть и даже упоминать о ней. За одно слово о санчасти полагалось толстым дрыном по макушке. С любой, самой высокой температурой перемогались. Мы, интеллипупия ОЛП-2, полны рвения. Горим, горим на работе! Скрипим дружно перьями. С подачи Фурикова, добрая душа, и по прямой и недвусмысленной указке главного бухгалтера, моего благодетеля, заступника, доброй феи, я плюнул на удручающую традицию, настрополился прямичком в санчасть. Раз сам главный на мой очередной чих сказал: «Куль червонцев» и рекомендовал закосить — надо быть круглым идиотом, чтобы не воспользоваться. «Не зевай!» — гласит святая, девятая лагерная заповедь (в христианско-иудейском мире, сие пернатое слово, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй мя, дурака, грешного, числится вроде бы одиннадцатой). Ко мне зашли Краснов и Бирон. Я предупредил, что захварываю, что должен сначала пойти в санчасть. Сказал, что, как хотят, но вдохновения у меня нет, что едва превозмогаю тяжесть болезни. Температура разгуливается. Плеврит бы не схватить. Очень сожалел, что взялся выручать Бирона. Дохлый номер. Все будет зряшно. Нет сил, охоты шустрить.

Я в санчасти, очередь. Санчасть — удивительное место лагеря, здесь, как и на воле, вам могут дать освобождение от работы, признать, что вы больны. Всегда, в любое время года здесь битком набито нашим братом. В поэме нашего куплетиста и поэта Магалифа есть строчки: «Душа болит о производстве, а ноги тянутся в санчасть». Гениально, не правда ли? Толкаюсь три битых часа. Хорошо еще, что лесозавод выходной, а то бы еще больше народа было. Стою, стенку подпираю. Как и другие. Перед кабинетом врача почему-то всего один стул. Может, правильно. Чтобы мы, воинствующие, наглые симулянты, не очень разнеживались, чтобы жизнь нам не казалась раем. А то наш брат зэк повадится шастать сюда, ноги сами несут. Не отвадишь. А так не всякому захочется обивать здешние пороги. Очень даже все продумано и разумно. Куда-то все, как оглашенные, бросились, толчея, толкучка. Ну и я, скуки ради, поплелся глянуть, в чем сыр-бор, почему переполох. По воле я давно уже поминки справил, привык ко всему, не удивлюсь, но и моему приученному глазу стало видно, что ЧП. Пассаж! Не помню, рассказывал ли я об Олеге. Стоп, машина: вроде не рассказывал. Без рассказа об Олеге дальше нельзя.

Сложную субординацию лагерных отношений я еще не полностью постиг, но Олег — это что-то вроде старшего блатного ОЛПа, пахан, гой си добрый молодец, силач-бамбула, пребуйтурнейший геркулес, равных нет и не было по росту и силе. Что же я увидел? Нет, самой баталии я не видел. Олег восседает на ком-то, как на добром коне, а тот распластан под ним, на животе лежит, голову руками обнял, загородил — такая сцена. Олег с силой, но без задора и спортивного азарта сажает нож, с размаха — туда, в то место, где шея в голову переходит, но не находит согласия в том, кто под ним: голову в туловище жмет, чтобы шеи было меньше.

Из раны фонтанирует кровь, бьет вверх сантиметров на двадцать, удары сердца запросто можно считать. Видно, как мощный насос работает. Раз, два, три. Лужа крови заметно растет. В крови ушанка, рядом.. У Олега одеревенелое, бесстрастное лицо, глаза тупо вылуплены: манекен, робот. Лишь кадык ходит, словно то яблоко, которое подала Ева, никак заглотать не может, ста-

рается. Еще удар; уже ждешь, надеешься, что последний. И жутко, и непонятно, почему человек еще жив? Ой, живуч!

Скоро ли?

Неслышно подошел сонный надзиратель, укоротил бессмысленное действо:

— Пошли.— А нам: — Мальцы, по баракам.

Олег всаживает нож в мертвое тело, заглох пульсирующий, страшный фонтанчик жизни.

Великан легко поднялся, расправил могучие плечи, ни на кого не глядя, с подчеркнутым достоинством двинулся за надзирателем. Не шел, а залихватски вышагивал, чуть вразвалку, щеголеватой, неторопливой, раскованной походкой; сияют голенища хромовых сапог, игриво собранные в гармошку. Некондиционные для лагеря сапоги. Рядом с нашим атлетом, Ахиллесом, героем лагерного эпоса, невзрачный надзиратель выглядел невыгодно: недомерок, семенит в кирзовых сапогах. Что обломится Олегу? Ведь смертной казни нет. А срока у Олега невпроворот, марафонская, астрономическая перспектива. Хоть отбавляй: 25, 5 и 5. Наш гуманный закон не позволяет сверх двадцати пяти намотать. Своя, особая, интересная арифметика. 8 плюс 10 будет не 18, а 10. Ведут Олега в изолятор, ну, а дальше: штрафной? Тело основательно распластано, недвижно, заметно, что это мертвое тело. Торчал по рукоятку нож, цветная рукоятка, фигурная, красивая. Из плексигласа.

— Гадина, из-за нее, суки!

— Зойка?

— Поганка ядовитая!

— Гадина, а не человек!

— Не Зойка?

— Молчок, прикуси язык!

— Почему?

— По кочану да по капусте.

Признаюсь вам, читатель, что я очень поразился, когда в убитом распознал Кривого. Гора с плеч, к нарядиле тащиться не надо. А Бирон и Краснов меня заждались.

Являюсь в барак, звонкий вестник удачи, выдаю:

— Убрал я его. Все. Живи. Магарыч с тебя полагается.

Бирон выпялился, ничего не понимает. Я рассказываю ужасную сцену в санчасти, рассказываю, что Олег сосчитался с Кривым. Бирон искательно в меня взыривается, не верит, верит, опять не верит.

— Deus ex machina,— говорю я.— Когда древние трагики не умели обычными средствами разрешить конфликт, они прибегали к чуду, что и мне оставалось.

— Не опошляй,— возмущенно сказал Бирон.

В женской зоне не было бани. Каждый четверг (вечерком) наших фефел проводили надзирательницы по ОЛПу в баню. К звездному часу собирается толпа зевак: «сеансов набраться». И я в этот раз, движимый своим интересом, оставил рабочее место, что у окна в конторе, пошел позырить на баб. Впереди пилит смелоглазая Зойка, притча во языцех, королева красоты, знакомая мне и Краснову еще по карантину. Идет, отчаянно глазами играет, швыряет их во все стороны, всем и каждому: лови! Минул год, даже год с лишним, с тревожной поры карантина, когда я впервой приметил Зойку, и если бы не слышал о Зойке чуть не каждый день столько фантастического, что прямо уму непостижимо, если бы я не был женат и не был влюблен в свою жену, если бы в силу жгучего идеализма молодости (молодость требовательна, сурова!) не имел предвзятого мнения о женщинах, к пошибу которых принадлежала Зойка, если бы не опасался, что меня осудят наши щепетильные пушкинисты, то с легкой душой, глядя на бесподобные, огненные стати этой девчонки, погружая на секунду взор в ее чистые, лучистые глаза (в эти глаза хотелось смотреть и смотреть не отрываясь!), назвал бы Зойку (вслед за Красновым) «гением чистой красоты». Думается, Пушкин не был бы возмущен и шокирован. Назвал же он Керн «вавилонской блудницей». «Идет, нарядница, как пишет»,— кто-то сказал рядом. А нарядница шла в телогрейке, а лагерная телогрейка отнюдь не красит женщину. Идет, как пишет. Уважение простого человека к письменному слову. А Зойка шла так, как не снилось никому писать, как не писал ни один божественный Пушкин! Мы все приходили в безотчетное возбуждение, теряли волю и голову, и когда она исчезала в дверях бани, наши пламенные мечты устремлялись за нею, целились, зарились в нее. Какой-то сумасшедший дом! Зойка, царь-баба, чудо-краля, возглавляла шествие, за нею плелось остальное наше бабье, замыкала процессию царственная, ветхозаветная старуха: могучая, как кумранская сивилла, что изваял Микеланджело, с крутым рубильником Савонаролы; на вид ей далеко за сто. Грузная развалина. Старость — не радость, вдвойне не радость в условиях лагеря. Она еле и со скрипом переставляла опухшие, ватные, свинцовые, амортизированные от долгой жизни ноги. Однако голову, седую, величественную, она несла высоко, гордо. Перед вами, читатель, легендарная Туган-Барановская, громкое, зычное, романтическое имя, сама история революционного движения в России. Хоть рот ее давно на замке, но всем откуда-то известно, что она болтается по политизоляторам, лагерям и тюрьмам с исхода великой эпохи, что она подруга Пешковой, жены Горького, что заступничеством Пешковой она спасена от расстрела. Порасспросить бы ее, что и как? Однако, если вы не хотите разочаровываться, мой совет, держитесь на расстоянии от великих людей. В шествии зэчек меня интересовала не великолепная Зойка, не Туган-Барановская, не знаменитая артистка Окуневская, которая недавно попала на наш фантастический, крепкий ОЛП. Меня жадно занимала полячка, из-за которой на самом деле стыкнулись Олег и Кривой, хотя вначале я грешил, что это все из-за подлой Зойки. То была женщина среднего росточка, худая, гибкая; в зеленом платочке, из-под которого непослушно, нечаянно, игриво, задорно, фасонно выбивались вьющиеся волосы. Она не глядела по сторонам, шла, уронив голову; ее лицо я не смог рассмотреть, оно было как бы за дымовой завесой. Всего-то ничего. «Из-за этой тихони?»

* * *

Краснов милостиво уступил позыву сна, задвинув привычно, машинально «Науку логики» под угол жесткой подушки, прикорнул. Забылся, знать, ненадолго: его выволокли из розовой, невнятной симфонии сна, за ногу грубо дернули.

— Философ, ух спать здоров, проспишь царство небесное! Шнель! На абордаж. В темпе! Труба зовет. Не посрами, малек, земли русской!

В бараке нездешняя, чреватая тихость, как в центре великого урагана. Скрип нар. Первое, что различил сонный Краснов, так это клоунскую физию белобрысого, белобрового Колобка — рот до ушей, хоть завязочки пришей. Ясные, чистые, плутоватые, смеющиеся глаза. Одновременно невинность и пройдошистость: из глаз мельчайшими блестками-звездочками обильно валились смешинки, струились, вихрились, прыгали и мчались во все стороны. Шалун перед вами, малый пацаненок, еще не познавший уродливость мира, не познавший, что кроме игры есть на свете еще собачий ошейник с пряжкой, который легко превратится в жестокое орудие экзекуции. А ведь Колобку под сорок, а то и за сорок. Юный философ угрюмо, недовольно поморщился, приподнялся на локте, вмиг уразумел, что значит «не посрами земли русской». Оторопел. С ходу прохватило всего, как сквозняком, чистая его душа запаниковала, содрогнулась от непреодолимого, могучего омерзения, свернулась в твердый ледяной комок, дезертировала испуганной улиткой за твердый, непробиваемый панцирь.

— Кыш! — вот и все, что он смог из себя выдавить; еще обеими длинными ногами, за которые цеплялся Колобок, пытаясь его стащить, отчаянно, малодушно задрыгал, словно на невидимом гоночном велосипеде, как ошалелый, полетел прочь.

Где оркестр? Туш!

Эдакое редко узришь, а если и сподобишься узреть, будешь помнить до гробовой доски, а может, и за гробовой доской. На соседних нарах, внизу лежала женщина — с задранной юбкой, срамно, широко расставив ноги; на ногах

чулочки, нелагерные; новенькие туфельки — на высоком каблуке, модные в наши послевоенные годы. Туфельки — последний крик моды! Над женщиной господствовала, работала чья-то голая задница, яростно старалась! У туфельки — казенные трусы, болтаются, преогромные, голубые; ноги длинные, изящные, точеные, дьявольски женственные, и по этим ногам, хотя их никогда не созерцал и не разглядывал, Краснов враз признал богиню любви комендантского ОЛПа несравненную Зойку, что поразила его сердце в карантине. И вот опять явилась ты! Оркестр, жарь! Удалец Алексеев, рамщик лесоцеха, неуклюже сполз с женщины, отлетел, как ужаленный, к противоположным нарам, разом подтянул штаны, спрятав в них мощное, завидное, перво-классное ладное хозяйство, заулыбался. Впервой мой философ сподобился зреть жутковатую женскую наготу — без набедренных прикрас, без фиговых листов, а прямо так. Не успел он моргнуть, а Зойку уверенно покрыл следующий герой, вовсю, остервенело, айда — пошел работать, как сказал поэт, «скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье», а двое очередников, со спущенными штанами, совсем в молитвенно-коленопреклоненных позах, рядом, мобильные, норовящие ринуться в бой, не теряя секунды, только неприятной белизной сияют исхудалые ягодицы.

Набожно склонены бритые шары голов на худущих, непомерно длинных, рахитичных зэчьих шеях:

— Кончаешь?

По-деловому, просто.

Счастливчик покрывал Зойку; и вот еще один, ловко, почти с разбега полез, покрыл, разом отвалился; вот и четвертый, шебутной, как кот, так же скоренько отваливается. Еще. Снова неутомимый Алексеев, ударил, а эта стерва Зойка азартно ищет его губы, ей все мало, экстатично, благодарно прижала к себе, издала — только с Алексеевым — экстатический, откровенный стон и пошла писать губерния. Просто, страшно. Философ не выдержал: в ужасе отпрянул. Но снова, украдкой запустил глаз, куда нельзя, не следует, вперился в то, что бушевало внизу на нарах. Взасос вперился. Он продолжал смотреть вопреки рвущему, распинающему стыду, прилип глазами, широко разинул вышедшие из-под контроля и повиновения вежды. Опять он видит ягодицы очередников — мерзко, отвратительно. А выражение лица у гениальной Зойки инфернально: в глазах блаженство, угрюмое блаженство, и она отвратно, немыслимо задирает зачем-то ноги, болтает ими, как лягушка, этим движением ног царапает, ранит сердце юного философа, и он начинает в такт ей задыхаться, заражаясь низменной, свинцовой страстью, все очевиднее, явственнее материализующейся, и он видит безумную женщину, только ее, он абстрагировался от этих, от этого, кто на ней, от двоих очередников, спустивших штаны, коленопреклоненных, готовых, от всех тех, кто обступил нары; он видит только фигуристые бедра женщины, ее ногу, чувствует сердцем мрачно-порнографические подробности, сатанинско-лягушачьи, выразительные, как кадры немого кино, движения ладных ног, понятные движения, видит восторженный оскал женского прекрасного лика.

А вот и следующий — во всю прыть пустился терзать Зойку, аж небу тошно. Отвалился. Как блины печет. И еще один, изголодавшийся, заждавшийся очереди, прошел проторенною дорожкой, прытко, лихо прошел. А народ пронюхал, страждущие и обремененные муками плоти валом валят; толпа вокруг нар растет, полукруг образовался, как в театре; давка, сутолока, зэчьего населения — тьма тьмущая, пушкой не прошибешь, наваливаются друг на дружку, напирают. Барак желаний!

— Шалишь, хлопец, очередь.

— Не при, как на буфет. Отвали, кому говорю.

— Отскочи,ханурик, так не годится.

— Сморчок, отзынь на три локтя. Жахну промеж глаз.

— Не пори горячку!

— Сыграй назад!

— Не лезь. Соблюдай дистанцию.

— Погодь, куда, дура-лошадь, лезешь?

— Повремени, шобла. Тише. Гуляй не хочу. Всем обломится.

Но всем разохотившимся, голодным, рвущимся вперед и вне порядка и очереди, как это бывает везде и всегда, не хватило. Зойка схватилась за низ живота.

— Не трожь меня! — дурным голосом.

С места в карьер: ловко цапнула наладившегося зэка за роковое, боевое устройство, ухватила немилосердно, аж взвыл бедняга: небо с овчинку показалось. А она еще влепила звонко по мордам, отрезвила. Огреб по вывеске — ошалел, отпал, потух. Глаза Зойки полыхнули черной зарницей, лицо, еще минуту назад страстное, превратилось в неузнаваемую, свирепую, отталкивающую маску: страхолюдство. Эриния! Ее неловко пробуют неволить. Где там! Истошно заблажила, заблажила дико, надрывно, как дурная, взбесившаяся, страшная пантера, у которой злодейский капкан перебил лапу. Не подходи! Ух, полетят клочки по закоулочкам! И наши рохли, что в иератических, богомольных позах стояли на коленях со спущенными штанами, сдрейфанули. Да и не с руки, потерялись воители: штаны-то спущены. Тупо, молча наблюдали, как обезумевшая, шальная залетка экстренно, надсадно пытается продеть левую ногу в трусы, мишулится, путается, мешкается, неудача за неудачей, и с третьего захода неудача. Впопыхах получается такое недоразумение: каждый раз каблучок изящной, модной, блестящей туфельки за что-то цепляется, путается в длиннущих, разливанных, как море, голубых, как небо, трусах. Опять, значит, промах. Опять отчаянно, пьяно тыркает ногу, канителится. Снова-здорово — зацеп. Новый приступ. Обезьяна, собака, крыса — и те находят выход из хитрых лабиринтов, а перед нами разумное существо, женская человеческая особь, хоть и разъяренная. Нашла выход, сообразила, скинула туфельку, без труда разрешила квадратуру круга, продела ногу, натягивает трусы на сокровенные, нежные, лососевые тайники, снова поспешно напялила туфельку, такую изящную, черную, обулась. Она мудрует между нижними и верхними нарами вагонки, сгорбившись в три погибели, выгнув крутую спину, гибкую, как у кошки. Встряхнулась, как собака, словно этим прогнала напасти. Взметнулась, сиганула с нар. Перед ней беспрекословно расступились, как перед шаровой молнией. Рванулась сквозь гурьбу зэков, сурово обступивших нары, ринулась сломя голову к двери, пулей миновала однообразный, строгий ряд нар-вагонок; как угорелая, врезалась в дверь — разверзлась дверь перед нею. Скатилась вниз по лестнице, гулко, дробно зацокали каблучки, словно улепетывала не одна шалая зэчка, а табун кобылиц. Вид стремительно улепетывающей женщины породил у нашего брата, зэка, здоровый, естественный инстинкт — инстинкт преследования. Поздно. Ее и след простыл. Уже где-то у конторы, поди, хвост трубой, чешет, ищи ветра в поле. Преследовали ее не ахти как рьяно, а больше для пущего блезира.

— Лови! — на звук цоканья каблучков отозвался дневальный; забил в ладоши, но не шелохнулся с места.

Кто-то засвистел, пронзительно, как соловей-разбойник; еще кто-то крикнул вдогонку:

— Держи, двери держи!

— Доступ к телу закрыт,— деловито, как распорядитель церемонией, подвел черту дневальный.— Шабаш. Расходись, не следи. По баракам. Поворачивай, дядя, оглобли. Прошу. После дождичка в четверг! Молчать, пока зубы торчат!

Философ лежал на своих нарах, вытянулся во весь рост, уж ноги не помещались, и о них кто-нибудь время от времени задевал: прокрустово ложе. Ни жив ни мертв, обезоруженный, растерянный, тухлый, пронзенный, распятый новым знанием, низким, темным. Он тупо долдонил свое, панацейное: «Человека создает его сопротивляемость окружающей среде». А в уши ему рекою вливался яд, прочно, надолго зарядился шурум-бурум, жу-жу-жу, переливание из пустого в порожнее. Судачат, гудят, как пчелиный встревоженный улей, барак. Трения, что ваше ООН. Тупое, механическое большинство держало сторону Шалимова. Зачем отпустили? Кляп в пасть, паскудихе. Задрать юбку, завязать над головой — букет. Под зад лопату, а еще лучше две. И — айда-пошел. Понеслась! Поддавай жара.

— Стрекоза; сама, сама запорхнула.
— Леха, Леха организовал. Не к тебе пришла.
— Бедовая прощелыга, хоть куды.
— Артистка.
— Хоть месяц пожить с такой. И — умереть! Щедра: скатерть-самобранка. Веселая, душевная. Не соскучишься с такой.
— Да уж не соскучишься,— ершистый басок.
— А философ дезертировал,— сказал Шалимов.
— После тебя, сифилитика, грёбовал.
— Сашек, не горюй,— заливался Колобок, штатный клоун,— в другой раз первым запустим.
— Поезд ушел: не будет другого раза.
— У философа зазноба в Москве, студентка. Вчера ксиву получил. Ждет?

Краснов воды в рот набрал. Письмо было от матери.

— Любовь до гроба?
— Как же — ждет.
— Студентка? — весь встрепенулся Алексеев.— У студенток душа нежная. Я люблю, когда душа нежная. С одной я как с женой жил. Во время войны. Когда в летной школе учился. Ходил к ней. Маленькая, худенькая, в чем душа, а очень любопытная. Я в чулках уважал. Вся голенькая, а ноги в чулках. Валька сама чулки надевала, чуяла, тварюга. Бабы умный народ, умнее нас. А мордочка с кулачок, вся в веснушках и прыщиках, а это дело очень любила. Но до Зойки ей далеко. Таких, как Зойка, вообще не бывает.
— Отличный трамвай получился.

Стали говорить, что вот-де ежели пошарить да пошукать в темных лабиринтах женской души, то на поверку окажется, что всякая баба с детства мечту лелеет о трамвае, но страшится: осудят. Еще и страшатся нас, оголтелых, попадешь в лапы, не улепетнуть живой, заездят. Набросятся, как волки голодные. Получается: и хочется, и колется, и мама не велит.

— Зойка — человек. Отчаянный характер, с перцем.
— Рекордсмен.
— Чудо-девка, никому не объездить.

Другие благорассудили, что бабу вообще нельзя замучить до смерти, что она так великолепно одарена природою, что может этим делом заниматься всегда, а если она вам отказывает, то лишь из вредности, чтобы досадить, отомстить, помучать. Но с этим мнением не соглашались. Знаем случай. В лагере были. Ставили на хор, начинали трамвай, драли до смерти. На поверку оказывается, что смертельно опасный рубеж, гибель не за горами, рядом.

— Мы по-хорошему,— говорит Шалимов,— отпустили. Иди с богом. А наш брат, мужик, попадет в злые когти, каюк. У баб жажда неугасимая. Они до смерти тебя истязают.

— Уши вянут,— снова пошел препираться Алексеев.— Мужика нельзя замучить. Не уважаю брехунов.

— Ты, Леха, сегодня в своем репертуаре. Всезнайка. Доволен? Не был ты, Леша, на женских лагпунктах,— свою идеологию гнул Шалимов. Он-то, старый зэк, не лыком шит, не пальцем делан, он-то знает лагерь вдоль и поперек, а тем паче лагерное бабье, нагляделся на этих курвятин. Да они нас в грош не ставят. Сам раз еле ноги унес. К какой дьявольской хитрости прибегают. Навалятся на тебя, Лешенька, ордою, руки за спиною свяжут, хайло кляпом заткнут, чтобы не блажил, а это дело укрепят, поставят, как следует, а затем туго бечевкой перетянут...

«Грязь, мерзость, свинство»,— горячо, отчаянно шептал Краснов, лежа на верхних нарах; ему уже удалось накинуть на растрепанные, взбаламученные чувства и нервы узду, унять их, поостыл мало-мальски, перегорел, оправился, пришел в себя, укротил, стряхнул брутальное, свирепое иго плоти и после нетрудной борьбы и пререканий с самим собою ощутил вновь спокойное, мерное течение крови, нормальное биение пульса. Остро, непомерно ощущал гадливость, ощущал, что в его душу наплевано, нагажено и гадится. «Свиньи, скоты, пакостные животные». Пифагор был вообще против брака. Заколдованный круг. Как же быть? Половые органы и коммунизм? Скверна, пропасть, мрак. Животное о двух спинах. Жгучая антиномия.

Краснов поведал мне в ярчайших, впечатляющих красках о бесчинном трамвае, говорил о своем потрясении, о потере достоинства перед лицом растревоженного, своенравного, дерзкого инстинкта, говорил, что выбит из седла, повержен: солнце и свет мира померкли. Говорил о ниспадении, низопускании, загрязнении души, о ее тяге ко всему темному. Затем пошел со страстью нагромождать головоломную готику идей, выступая уже не от себя лично, а от имени какой-то сверхисторической, надличной цели, а я балдел и с открытым ртом восхищенно внимал его пламенным, путеводительствующим откровениям, словно присутствовал на пиру у Агафона, где гремело новое слово об Эросе. Мы вываливались из барака, как заправские перипатетики, фланировали по несокрушимому, фантастическому комендантскому ОЛПу.

— Именно так, лебедь мой. Никогда у меня не было столь бесспорного ощущения внутренней зрелости и того, что я владею полнотою истины. Не я владею, а она владеет мною. Трамвай развил, укрепил, обогатил мою концепцию. Ницше метко лепил: «Истину надо пережить». Признаю, я не был прав, когда хулил знаменитую нашу королеву, Зойку. Не возражай, я помню. Я назвал ее рвотным порошком. Она в своем роде светило, вершина. Слушай внимательно, постарайся меня понять. Не перебивай. Вихри враждебные веют над нами. Я всегда говорил, что человек подл, зол, коварен, отвратителен, мерзок, завидущ, тщеславен, жесток. К этому списку я прибавлю: это — сладострастник! Безумный сладострастник! И природою, и духом, гнусным, мерзким, сладострастным человек страшен. Самое страшное животное. Его надо укротить, обуздать. Нужна узда, железная. Не должно быть трамваев. Не должно быть убийств из-за ревности, не должно быть Пушкиных и Дантесов. Общество и государство обязано строго регламентировать отношения полов, держать их под неустанным контролем, строго следить за девушками и юношами, за молодыми мужчинами и молодыми женщинами. Самое ужасное не то, что был трамвай, а то, что это по обоюдному согласию. Зойка — дитя природы, естественный человек, без предрассудков, честна. Так, как она, ведет себя Кандид у Вольтера. Естественные отправления организма, как помочиться. А в чем дело? Инстинкт, как голод; зов плоти. А если честно разобраться, то этот инстинкт есть преужаснейший хитрюга, развратник и плут. Физиология? К чему это угодничество? Ты не можешь не знать, что экзогамия суть высшее достижение первобытности, и, видимо, экзогамии мы обязаны появлению современного человека, гомо сапиенса. Общество внесло ограничения в половую жизнь. Позволь напомнить слова гениального Кампанеллы, от которых просто дух захватывает. Для нас писаны, для меня! Почти дословно. Ни одна женщина не имеет права вступать в сношения с мужчиной до девятнадцати лет, а мужчина не назначается к производству потомства раньше двадцати одного года или позже, если имеет тщедушное, хилое телосложение. Но тот же Кампанелла смело идет на то, чтобы тем, кто легко возбуждается, чья душа заражена и ранена эротикой, разрешить совокупляться и в более раннем возрасте, однако исключительно с бесплодными или беременными, чтобы не было хилого потомства. Излишние запреты могут довести юнцов до запретных, привязчивых, пагубных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей похотливых и легко воспламеняющихся юнцов, идут навстречу блудливой природе, но во всем соблюдается мера и золотая середина: разрешение на случку исходит от главного начальника деторождения, опытного врача-гинеколога и тонкого психиатра, который, как я уже предупредил, подчинен Правителю Любви. Правитель Любви — именно это выражение использует Кампанелла. Город Солнца. Предельно ясно, просто, бесспорно. Регламент и еще раз регламент. Ограничение, узда для блага и пользы человека. Ярмо, устав, а без ярма человек мгновенно превращается в страшное, распущенное, омерзительное животное, деградирует, катится вниз. Молодые мужчины и женщины на занятиях физкультурой в палестре обнажаются, остаются в чем мать родила, а начальники определяют, кто боек и горазд к совокуплению, а кто вял, и какие мужчины и женщины по строению тела и темпераменту более подходят

друг к другу. Затем они допускаются к половым отношениям каждую третью ночь. Как прямо, честно, поразительно смело. А в трусливую, лживую, филистерскую, буржуазную эпоху царит густопсовый романтизм, извращающий естественные отношения полов. Любовь, душная звездная ночь, духи и туманы, перья страуса, вечная женственность, мол, всех нас влечет, химеры, призраки болезненного, больного юношеского воображения, эротические мечтания, Ромео и Джульетта, Анна Каренина, мифы, суеверия, выдуманные, воспетые людьми, не способными к правильному производству потомства, поэтами. Не закрывай глаза, нас с детства приучили им верить. Но ведь не дозволяются браки между родственниками, братом и сестрой, притом не делается никаких поблажек романтизму, а кто, казалось бы, ближе друг другу сердцами, чем брат и сестра? Почему же в глобальном, подлинно вселенском масштабе не идти на регламентацию отношений полов? Есть, лебедь мой, полный резон огород городить, высокие, крепкие заборы ставить и с колючей проволокой. А в ряде случаев полезны и желательны, как считает Кампанелла, умные, специальные институты, облегчающие юношам и девушкам вступление в половую связь для продолжения рода человеческого.

ОБЛАКО В ШТАНАХ

Чем напряженнее вгрызаюсь и пристальнее втелескопливаюсь в плотную мглу затонувшего, канувшего в тщету и затхлое небытие прошлого, что есть мочи истощая внутреннее зрение, тем очевиднее становится, что превесьма много выветрилось, испарилось из памяти. О, где моя юность? Где мои восемнадцать лет? Где девятнадцать? Где двадцать? Где и так далее? Где мои серебряные коньки? Где соловей, шпак, пташка дрянь, зловредная, и его звонкие весенние, увлекательные, душераздирающие трели? Пара гнедых, запряженных с зарею, а? Где моя гитара семиструнная, балалаечка без струн? Эх, были когда-то и мы рысаками! Где, скажите на милость, это чертово обретенное время? Нет как нет, корова богатым языком напрочь слизнула, сжевала жвачными, мощными, упорными зубищами, проглотила с потрохами. Слабое утешение — оправдание: у других (Краснов, впрочем, исключение; у Краснова чертовски завидная память, прямо как у древнего философа Companies Гергия) головы еще дырявее моей, решето (некоторые исследователи считают, что у Аристотеля была плохая память). Рыпаться, спросить, уточнить — не у кого; а Краснов — далече. К стыду своему, сплошь да рядом не способен толком, четко и без явных, грубых нелепостей и несуразностей реконструировать подробности ретроспективной дали, чин и черед темных событий прошлого, немых ныне, далеко уплывших. Наглядный и унылый, удручающий примерчик. Подельница Кузьмы горячо, настойчиво, искренне, старательно норовит всех и каждого уверить, что отбывала срок по бытовой статье и выскочила по знаменитой, бериевской амнистии. Что я о ней должен думать (врет и не краснеет?), когда Кузьма-то сидел по 58? Точнее: нежелательная —58-10, 11. Как не впасть в противоречия? Как избегнуть оплошностей, незлонамеренных недоразумений? неувязок? Думается, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что мой друг Краснов взбрыкнул, сбрендил и произнес непредвиденную кощунственную речь где-то в 1949 году. Видится самое начало осени. Месяц готов назвать точно. Да, явно то было совершенно роскошное бабье лето, еще мы не напялили телогрейки, еще ходили по-летнему, налегке. А что уж бесспорно, что это было до семидесятилетия Сталина. Славное семидесятилетие — четкая, маяковая веха, это как-никак эпоха и волнующий неизвестностями рубеж в жизни огромной страны, раскинувшейся на два континента, а тем паче рубеж в жизни лагеря, самая темная длинная ночь, самый темный день в году. К этой дате стягивается, сгущается и уплотняется время, и от нее мы, зэки, счет дням и годам вели. Так будем же условно, гипотетически относить метаморфозу во взглядах Краснова к концу сентября 1949 года, когда в лагере еще пышно и донельзя бурно цвела надежда на общую политическую амнистию, циркулировали тоскливые, неправдоподобные, но упорные слухи. Если не сильно в молоко я пуляю, то могу

говорить, что такие блистательные, чарующие умы (разумеется, как и Гомер: «Только вождей кораблей и все корабли я исчислю»), как Коган, князь гуманитарных знаний, кладезь премудрости, Минаев, Грибов, Кузнецов, философ с головой Сократа, бесстрашный, как Геракл, Померанц, Ляхов, Васильев, Васяев, Федоров, Тарасов, Татаринцев еще не прибавились к народонаселению нашей благословенной, крепкосколоченной обители. Нет среди нас маститого, именитого Гладкова, автора бессмертной комедии «Давным-давно», которая не сходила со сцены театра даже после ареста автора. Доктора наук, кандидаты наук, писатели, артисты — хоть пруд пруди, кто только не обитает на нашем ОЛПе. Вот Рокотов, бестия, плут, отъявленный валютчик, миллионер. Но миллионером он стал в эпоху волюнтаризма и пустозвонства в конце пятидесятых годов, а со мною он сидит по статье 58-10. Вот я с шипящей пеной у рта уверяю вас, читатель, что каналья Рокотов (в те годы он не виделся мне продувной канальей, это, увы, анахронизм) еще не появился на ОЛПе, а как же в таком случае смогли пересечься Рокотов и Бирон в карантине? И Магалиф где-то в это время вынырнул; разразился и меня уже потчевал поэмой «Шея Змея» (сам же обычно добавит в скобках: «Одиссея, эпопея»). Гениальное, сладкозвучное творение. Сохранилась ли поэма? Не исчезла ли? Неужели в самом деле и Рокотов, и Магалиф, и Гладков уже были на ОЛПе, а обильный урожай на остальную высоколобную интеллигенцию ухает на следующий год, на 50-й? Как разузнать, распознать, выверить? Знаю точно: 12 августа 1949 года первый раз проведать приехала моя Пенелопа, и нас оставили на ночь в комнате свиданий; стояла жарища, и я постеснялся захватить телогрейку, что привело к неудобствам: в комнате свиданий два стула, стол, жесткий пол. Как не помнить привалившего счастья, долгожданного, краткого, острого, а утром я отправился в контору, кемарил, клевал носом, а вечером опять свидание. Жена навещала меня два раза в году, летом и зимой, уезжала порожней, я шутил: «В неволе не размножается». Знаю, что 12 августа Краснов был еще при своих высоких, стройных, непоколебимых убеждениях, а на его горизонте только что появилась прекрасная полячка. Метаморфоза: Краснов сражает меня неслыханными, крамольными, кощунственными глаголами. В тот раз в 49-м году Нинка не брала с собою девочку, берегла. Правильно делала. Мала еще Леночка для таких передряг, мытарств. Пока доберешься до ОЛПа — замучаешься. Когда первый раз едешь, всех ухабов, где надо соломку подстелить, не знаешь. У нас-то роды кончились благополучно. Поголосила белухою женушка, повытирала рукавом обильные, соленые водопады слез, попричитала, как та незабываемая Ярославна, что из Путивля, да и успокоилась, родила здоровую девочку. А вот у Юрки нелады обалденные: у жены после ареста мужа молоко пропало. Тут как тут последствия: рак груди. Бедную женщину резали, сурово полосовали, кромсали эскулапы, замучали проклятые прежде, чем ее Бог прибрал, и она отошла в лучший, вечный мир, из которого нет никому возврата. Издержки истории. А у нас все в порядке. Слава Богу! Для сведения оброню, что я на редкость удачлив и счастлив в браке. Утешений и сладких радостей на стороне не ловил, придерживался жены. Позволю выразиться старомодно: Бог благословил меня тремя дочками. На современном языке, на языке неозаренного мира: настрогал трех дочек. Мудрец Еврипид пропел ямбическим стихом: «Душа всего живого в детях». Грибоедов выдал: «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом». Какой это ужас, когда подрастают дочери, и у них появляются кавалеры. Так бы и схватил ружье: «Субчик-голубчик, стой, не балуй! Такой-сякой, немазаный, сухой. Не подходи, дрянь, к моим девочкам!». Дочки попали в приличные руки. Опять, слава Богу! Зятьями не то, что доволен, а так, могли быть хуже. А внукам, скажу, числа нет, целый выводок, мал мала меньше, млечный легион, устаешь от крика, возни, черт знает что творят, у каждого в заду пропеллер, бесенята, сорванцы, архаровцы, головорезы, егозы. Отрадно чувствовать себя эдаким гнездарем, корнем, патриархом Иаковом. Выражаясь языком Библии, от моего семени идет клан шустрых, здоровых, веселых отпрысков, прямо как от библейского патриарха Иакова идет двенадцать колен неистребимого, как клопы и тараканы, еврейского народа, подарившего нам Книгу. Опять полу-

чается, что я нечаянно, ненароком скользнул вбок и прочь от центровой темы повествования. Но в свое оправдание скажу, что как раз в период, к описанию которого я боязливо приступаю: Краснов с жадным необузданным любопытством, с настойчивостью, как та девица из анекдота (а после? а потом? А после было раньше!), дотошно расспрашивал меня, как я женился, желал знать подробности. Я не считал нужным уклоняться от сей важной темы, охотно, честно, распахнул настежь окна души, все без утайки поведал другу милому, ничего не замуровал. Полезно будет вкрапить в повествование забавную сценку, так, штрих. На ОЛПе возник Фильштинский — выдающийся ум, интеллектуал, арабист, мыслитель. Об этом человеке стоит написать целый роман: судьба трагична. Вполне нормально, что таким ярким человеком заинтересовался юный философ; познакомились, что в лагере проще простого. Краснов пошел с ходу и с бестрепетным сердцем, как в случае с Бироном, насиловать бедного арабиста лекцией, упорядочивающей вселенную, которую читатель уже знает. Еще раз повторил и проверил пронзительные, занозистые идеи. Нас трое, Краснов, Фильштинский и я. У Краснова голова перевязана бинтами, под глазом — дуля, переливает всевозможными цветами радуги, украшен после злой баталии с Каштановым, о чем будет ниже, в своем месте. Вид Фильштинского одновременно и пришибленный, жалкий, в лагерной обновке второго срока, и надменный, серьезный.

— Как по женской части? Ходок? — такой балдой Фильштинский развязно перебивает лекцию Краснова: явная пощечина.

— Не понял?

Фильштинский с садистической злобой поясняет, а мой философ с бесконечной моральной отвагой, честно признает, что еще не знал женщину. Фильштинский поднимает знамя: кто не знает женщину, не знает жизнь, должен помалкивать.

— Я не целовал ни одной девушки,— говорит Краснов,— но истина не зависит от того, целовал ли я девушек или нет.

— Зависит,— сказал Фильштинский,— мне вас очень жаль!

— Нет, не зависит.

— Зависит,— кило презрения, два кило ехидства.

— Не зависит! — без оглядки, бойцово ринулся вперед Краснов.— Платон...

— Гомик, вот кто ваш Платон,— ядовито смеялся Фильштинский, отвалив от нас с видом победителя, полным кичливого, чванливо-верблюжьего презрения к собеседнику. Вот в таких плотных, надменных шорах прошло маленькое, шебутное, богоизбранное еврейское племя мимо великих культур Египта, Месопотамии, отчасти Греции, не только не испытав никакого влияния, но даже не заметив их, словно Египет, Месопотамия были абсолютной, глубокой пустыней, бездной. Но сейчас не то время, и Фильштинский в отличие от удивительных, великих предков, верующих в свою звезду, предназначение, оглянулся. В его карих подвижных глазах, все еще выражающих абсолютное торжество, мелькнула сумятица, смута от совершенной оплошности. Не провокация ли? Нас-то двое, два свидетеля, что требует уголовно-процессуальный кодекс, и значит, за нами истина. Во взгляде отчужденность, ущербность, отчаяние.

— Не приклеивай ярлыков! — кричит злобно он.

— Чем-то похож на Хейфица,— сказал Краснов, разглядывая спину улепетывающего Фильштинского.— Помнишь Хейфица? Маркса хорошо знал. Не отнимешь.

Как мне не помнить Хейфица? Жестикулирующий, лупоглазый. Рачьи, выразительные глаза. Но с Фильштинским нет ничего общего, национальность разве что.

В конце семидесятых годов я напомнил Фильштинскому об этом курьезном диалоге, о его ехидстве. Представьте себе, отрицает.

В тот день мы долго шлендали по ОЛПу, решали важную поблему, может ли человек знать истину, если он еще девственник? Я не принимал кредо Фильштинского, считал, что как раз наоборот: с потерей невинности человек утрачивает способность проникать в тайны духа, мироздания, истории, что

не случайно все великие духовидцы, пророки, кудесники, маги, волхвы, йоги, халдеи, софы, иерофанты, пифагорейцы, христианские святые были девственниками, блюли чистоту. К слову я поведал Краснову, что знаю от одного верного человека, что у нашей неистовой, великой бабули, Туган-Барановской, прославленной зсерки, есть любовник.

— Не может быть! — возмутился Краснов.— Не верю.

— Колобок,— торжествующе сказал я.

— Чепуха! Ей сто лет!

На лице Краснова зачаточно появилось и погасло гадливое выражение.

— Зачем ты мне рассказал? На мыло! На свалку. Чудовищно! Старая карга! Сто лет, а она шуры-муры, никак не уймется. Грязь, извращение, неистовая какофония, рвотный порошок. Фарс, свинарник. Мне не постичь эти бесчинства и безобразие. Хулим Екатерину Великую, а сами что? Революционерка называется! Стыдобушка. Тебе что-нибудь понятно? Зачем ей? Нужен Достоевский. Любил карамазовщину, аномалии, надрывы. Знаю, что гений, но чужой. Пушкин, Толстой — другой коленкор, светлая, мажорная, жизнеутверждающая струя русской литературы. А ваш Достоевский — декадент и отец декадентов! С него пошло. Еще Гоголь хорош гусь. Все не как у людей, ужимки, подмигивания. О чем «Нос»? Знаю, ты ревностный, неисправимый поклонник Достоевского. Прости, твоих вкусов я радикально не разделяю. Не возражай. Достоевского я изучил досконально, вдоль и поперек. Врага надо знать. Все мои друзья без ума от этого пророка и гения зла. Все: Кузьма, Васяев, Шмайн, Красин, Федоров, Маша Житомирская, Феликс Карелин. Оставь. Толстого вы определенно недооцениваете. Толстой для вас объект насмешек, что-то школьно-скучное, нудное, безнадежно устаревшее. Не кушал ни рыбы, ни мяса; ходил по аллеям босой.

Краснов еще раз сплюнул. Чтобы сменить тему, я поведал другу историю своей женитьбы.

Нас, студентов МГУ, погнали на митинг, посвященный 800-летию Москвы. Волнующий, славный юбилей: в летописном своде за 1147 год первое упоминание о Москве. Москва названа в числе других сел, принадлежавших боярину Кучке. Митинг проходил там, где сейчас памятник Юрию Долгорукому. Наверно, в связи с закладкой монумента был митинг. Не знаю точно. А может, и по какому иному случаю. Вижу, хорошенькая девушка. Взял на прицел. Слово за слово. Улыбочка за улыбочкой. Разговорились, проводил, попросил телефончик. В пору юности все просто, быстро. Вчера еще только увиделись впервые, а сегодня кажется, что знали друг друга всегда, все тысячу лет, друг для друга созданы, друг для друга слажены и не можем жить без друг друга. Втюрился. Стройная, легконогая, довольно дылдистая, что крайне импонировало мне (меня она чуть ниже); копна каштановых волос, удивительный цвет лица: щечки — чудо, переспелый сладкий персик. Девчонка в самой поре и что надо. Мой тип. Во всех отношениях — краля моей грешной, медовой, юношеской грезы. Сказка. Шехерезада! Нравилась до потери сознания. Пришел, увидел, победил: и я ей приглянулся. Не прошло двух недель нашего знакомства, а казалось, что всю жизнь знаем друг друга: здорово влюблены! Все свободное время околачиваюсь у нее. Решили пожениться, оформить брак, чтобы все, как у людей, без сомнительных штучек-дрючек. Обещаю Вере, что буду на руках носить. Подали заявление в ЗАГС, а там тетенька очень строгая, зловредная поглядела на нас сквозь очки, сказала, чтобы заходили через неделю расписаться. Как положено, Вера познакомилась с моими родителями; с ее я был уже знаком. Отец ее мне нравился. Большой солидной комплекции, дородный дяденька; седеющий. Умный. Он был крупной шишкой, заместителем министра легкой промышленности. Номенклатура. В штате Косыгина. Ходил с Косыгиным из наркомата в наркомат, из министерства в министерство. То легкая промышленность, то текстильная промышленность. Сработались. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Если бы не моя труба, если бы не загудел в лагерь — видели бы мы с вами, читатель и друг, моего тестя на мавзолее в сонме могучих, бессмертных вождей. Разметчался, пора и честь знать. Нет, еще два слова и навсегда похерю эту тему. Хоронили тестя на Новодевичьем кладбище.

Некролог подписал сам с усам: Косыгин. Так-то и так-то, скончался, дескать, не хрен собачий, а внушительная фигура, пенсионер первой всесоюзной категории. Не жук чихнул, словом. Взять в толк, спортил я, грешным делом, биографию своему замечательному тестю, подгадил и много. После моего ареста ему пришлось куда-то писать, объясняться, толком не знаю, что и как, но с орбиты он сошел, уже больше не возносился. Я-то обелился после 53-го года, а его из черного списка не вычеркивали. Довольно о тесте. Для вас-то, читатель, это побочный, малоинтересный сюжет, не стоит выеденного яйца. Не терпится все-таки сказать, что квартирка у них была отличная, завидки брали. Первый раз — остолбенел. Комнат уйма, без конца и края, пять штук на четверых. У отца отдельный громадный кабинет. Столовая. Спальня. У девочек по комнате. На такой фатере, говорит народ в своих пословицах и поговорках, и умирать не захочется. Очень возможно, что сейчас такие размеры квартиры не так зло будоражат зависть и воображение; многие свободно живут, кооперативы себе поотгрохали: хоромы, я те скажу, будь здоров! Забывать мы стали, что есть коммунальная квартира. А после войны был адов голод на жилплощадь. Мрак, легче было из лагеря выйти, имея 58-ю, чем получить площадь в Москве. Один мой друг, помню, шутил, что ему жениться некуда. Через год уже шутил, что женился в никуда. Никому из дружков-приятелей и не снилась в те любезные годы своя комната. Даже привыкли как-то к тесноте, в коммунальности, к местам общего пользования. Считалось, что все нормально, что так и должно быть. Тиритумбия, хороши только первые робкие встречи. Жму звонок. Как всегда, открывает мне Верина младшая сестренка, которой все интересно. Я: «Здрасьте». Слышу, как она шепотом оповещает: «Верин ухажер». Я же бочком развернув плечи по стене, проскальзываю в Верину просторную, чистую, светлую комнату, толково выходящую на улицу Воровского, по которой в те годы вообще никакого движения не было: невозмутимая тишь, благодать. Накидываем крючок, вделанный мной, воркуем, обжимаемся, балуемся. Все условия. А, когда подали заявление в ЗАГС, сделались женихом и невестою, стало быть, официально, то вроде и сам бог велел нам обжиматься и напропалую миловаться. А то как же, дело молодое. Никто уж не имеет права пресечь: субчик, голубчик, стой! Вот и Грибоедов, будучи женихом, записал о невесте: «Я повис на ее губах». Все, словом, шло хорошо, но стряслась история с географией, что и вспоминать стыдно. Раз дер Фатер унд ди Муттер улепетнули вечерком куда-то там на хутор, запропастились до поздней ночи. Вообще-то они раньше нам не мешали баловаться. Как всегда, накидываем крючок на дверь, кинулись друг к другу — давай во всю целоваться. Нет, не я, а она виновата, что довела меня до такого бешенства. Я же только сравнил ее спинку, как Сван у Пруста, с Венерой Веласкеса, утешался, что у великого испанского художника тот же высокий идеал. Виновны во всем ее жадные, попустительствующие, горячие, точеные губы, нежные пальцы. Раззадорила меня. Краем рассудка отмечаю: почему бы и нет? Все одно на днях распишемся! Словом, я окончательно шалею, бормочу несусветное, что больше, мол, не могу. Люблю, мол, безумно. Бред отчаянный, горячечный. Она молчит, а ее губы говорят о душевной щедрости, зовут, согласны. Я, словом, не отдаю уже отчета, что творю. С развернутым знаменем страсти штурмую девицу, свою невесту. Иду, как Гастелло, на таран. Моя партнерша уже прекратила увертываться, ерепениться, капитулирует на милость победителя: тело ее полностью покорно моей неистовой, необузданной взбаламученной инициативе. Но сие оказалось лишь в моем воспаленном мозгу. Так-то. Если в соблазнительном мифе мраморная Галатея под влиянием любовной страсти превратилась в живую женщину, то в моей жизни все наоборот: в моих горячих руках бесчувственное холодное изваяние! Эта зараза, полудева, видать, не лишилась рассудка и чувства реальности, лишь прикидывалась безрассудной и неистовой, играла.

До меня доходит:

— Нет!

Нет, мол, и никаких гвоздей. При этом мощно, как амазонка, отстраняется, остервенело локтями пихнула. Слышу ее шип змеиный: «Потом, потом!» Что потом? Почему потом? Потом — суп с котом. Мне сейчас, а не потом. Еще не

вполне пропетриваю, что значат ее слова. Она твердо говорит: «Милый, успокойся». Голос сухой, трескучий, чужой. Это голос не моей Веры, подменили невесту. Нет в ее голосе ни ноты индивидуального, личного, мягкого, того, Вериного, а одно надличное, видовое, холодное, бездушное, безжизненное. Она говорит, что после ЗАГСа будет моя, бери, владей, властвуй всласть и как твоей душеньке угодно. Так и сказала: «Как хочешь и как твоей душеньке угодно». Опять звучит ее металлический, бездушный голос: «Потерпи. Недолго осталось». У Шекспира есть страшный образ, страшная метафора: «Непорочна, как лед».

Сейчас, спустя века, можно и благомудрствовать, холодно рассудить, что Вера, безусловно, права. Непререкаема права! Почему не повременить еще три дня? За эти дни мало ли что могло случиться. Можно попасть под трамвай. Объясняй потом какому-нибудь патологическому ревнивцу, как случилась беда, почему приметный изъян в твоем юном, прекрасном организме. Наш брат мужик страсть подозрительно, мнительно-болезненно относится к эдаким изъянам. Как хочется во всем быть первым! Обноски, объедки — фи. После тебя я брезгую. Противно и — все тут. Видать, это заложено глубоко в психике мужчины, гены, природа, наследственность, а выше себя, своей природы не прыгнешь. Тут у нас отсутствует и толика трезвости, притом у всех без исключений.

Но сию мораль басни, дорогой читатель, я вижу нынче, спустя годы, когда у меня взрослые дочери, и я знаю жизнь вдоль и поперек и наизусть, когда я понял, что такое слепая мужская ревность. Волосы мои побелели, полиняли, я, как змей, мудр, как император Марк Аврелий, рассудителен, спокоен стоически, как Будда,бесстрастен. Но не таким я был в 1947 году. Разохотившийся двадцатилетний юнец требует у невесты, что, считает, ему положено, забыв, что она еще не жена, а потому не обязана выполнять супружеский долг. Он не слышит и не хочет знать никаких разумных житейских соображений и всяких там несуществующих моральных категорических императивов. В костях ломота, шлея под хвост попала, не хочу и не могу годить:

— Сейчас или никогда!

Моя-то амазонка ни в какую, непобедимая, увертливая крепость, борется, бурно, энергично устраняется, применяет военные хитрости. У ней свои серьезные философские резоны говорить мне «нет», этим резонам испокон веков учат девушек всех стран и народов.

Ах, так? Спасибо. Дебет-кредит, значит? Крохоборка! Бухгалтер! Стерва! Не увидишь меня больше! Ноги здесь моей не будет. Психанул — моча в голову шибанула. Забалдело ору, смачно, непотребно и во что горазд выражаюсь, утратил меру и приличия, забыл, что мы в квартире не одни. Дал ходу в коридор. Море по колено. На ходу штаны беззастенчиво подтягиваю. Злоба в груди, а пламя романтической, юношеской любви погасло. Один пепел.

В коридоре откуда-то взялась Верина сестренка-шибздик, забыл о ее существовании. Сестренка орет:

— Витя, с ума сошли! Витя, опомнись!

— Тебя еще не хватало! — без оглядки дую по лестнице, сигаю через три ступени, растерзанный весь, раздрызганный весь, галстук в руке держу. Та за мной устремилась, хочет меня, обалдевшего черта, унять, вразумить, вернуть. Раздухарился — ни в какую. «Не суй нос не в свое дело!» Она задорно скачет рядом, упрашивает, пророчит, что сам же после жалеть буду, что Вера права, что ее надо простить, что нельзя так. Уселись мы, наконец, в темном скверике — укромное, тихое местечко. Гудит голова, не слушаю ее. Сестренка прилежно взялась увещевать, уговаривать. Тысяча и одна вочь, ничего не скажешь! Помнишь ли ты, читатель, фильм «Сердца четырех»? Уговоры прекратились внезапно, неладно, негаданно. «Офелия, иди в монастырь!» — оборвал я; без предварительных мерехлюндий, полутонов и переходов, привлек к себе Нинку, молча начал ее целовать. Маленькое открытие: она целуется точно так, как Вера, те же мягкие губы! Гены. А я уже беззастенчиво бубню Нинке льстивые, безумные слова о любви. Пустой треп распалившегося, разохотившегося кобеля, так? Нежданно-негаданно слышу, что Нинка давно тайно вздыхает обо мне, сохнет, завидует, ревнует сестру-красавицу.

Лестное открытие: для нее я «свет в окне», что она готова на все и хоть сейчас, без всяких предварительных формальностей, рада-радехонька попустительствовать, утолив пылающее, яростное юношеское сердце. Без риска нет женщины!

— Идем!

И вот мы цельную вечность поспешаем, никак не дойдем, бежим, целуемся на ходу, держим курс назад, на улицу Воровского. Прибежали впопыхах, задыхаясь, как презренные, подлые воры с хищенкой в руках, оглядываемся, прислушиваемся, проворно сняли обувь на лестничной клетке перед дверью, тихо, трусливо открыли дверь Нинкиным ключом, гуськом, по стенке, предательски, неверными шагами крадемся в Нинкину комнату — благо сразу направо, далеко от Вериной, где только что пылал и громыхал непримиримый скандал. Прошмыгнули. И успешно. Зажгли свет. Тушим свет. Ни зги не видно, но приметил, где кровать. В запарке, на скорую руку ее раздеваю, канителюсь, а она робко, но очень ловко, удачно ассистирует мне, опять обнял ее, совсем голенькую, слышу, как ее сердце трепещет, хочет выскочить из груди от счастья. Губы — мед; вся она — желание. Храбрый, раболепный, покорный моей вожделенной воле, безропотный подросток. Умница. Складно, славно, безотлагательно, просто, а решается вопрос вопросов! Услышал Нинкино обалденное девичье «ах!», каким-то далеким краем сознания отметил, упрекнул себя: «Е-мое, что же я напроказил! скотина!» «Не жалеешь?» — пытаю. В ответ услышал блаженный, лихорадочный Нинкин лепет (а во тьме сверкали глаза): «Что ты, я счастлива!» Она сжимает худенькими руками сильно, до синяков мою шею, слышу нескончаемый, захлебывающийся дифирамб, дионисирамб: «Мой, мой, мой! мой! Я, как в дремучем сне, счастлива! Мой, мой!» Знаешь, читатель, что я, заблудок между двух сосен, женился на Нинке. О бывшей недотроге-невесте раздраженно думал: «Так тебе, жлобка, бухгалтер, фригидная стерва, и надо!» Не из одной вредности я женился на Нинке. Обнимая Нинку в тот раз, я мысленным взором ласкал Веру, притом в ласках Нина очень походила на старшую сестру, красавицу, со спиною, что с картины Веласкеса. Мне отнюдь не кажется неправдоподобным и сомнительным, что во тьме ночи Иаков не разобрал, что ему вместо любимой Рахили подсунули нелюбимую Лию, сестру Рахили, что Озирис в ночи перепутал, не отличил Изиду от Нафты. Читатель, вспомни себя: мужской вкус непостоянен, блуждает, эволюционирует. Я хочу сознаться, что миниатюрная Нинка сумела деформировать, изменить, подчинить мой вкус, мои зыбкие представления о вечной женственности. Но должен утвердить еще нечто, что удивит читателя: не только в моей голове заменился идеал, но произошли изменения и во внешнем, объективном, данном нам в ощущении мире, притом изменения к лучшему. Дело в том, что от яростных, истовых моих объятий и мужских подвигов пошла моя Нинка, замухрышка, малявка, бесцветная птаха, голенастый подросток, вовсю хорошеть, цвести, дозревать, довоплощаться женскими статями. Была-то прямо кожа да кости, легонькая, как цыпленок, но вот прошмыгнул медовый месяц, и эта заморышная, подростковая худоба слиняла, сошла на нет, как с гуся вода. Ножки вытянулись, словно кто их умело дернул, растянул, икры интересно округлились, кожа улучшилась качеством, подкожный жирок нарастился, хороши щиколотки, с ума сойти можно. Я ничего не выдумываю и не воображаю. Ей вовсе уж не подходил нулевой лифчик, а потребовался, к нашей обоюдной радости, побольше, сначала № 1, затем и № 2. Нет, это вам не одно голое воображение, фантазия и вольготный восторг неожиданно втюрившегося в собственную жену мужа, а нечто имеющее отношение к объективной твердой реальности, которую можно измерить точным прибором, которая существует и для других трезвых людей. Не одни груди да ножки изменились, переменились, улучшились, а все абсолютно: резче округлились бедра, обозначили узкую, осиную талию. Бедра у Веры пошире, но талия у Нинки просто восторг, изумительна. Еще с германской, империалистической войны у моего отца сохранился ошейник, который, как я уже сообщал, отец в тот раз использовал для экзекуции. Красивый ошейник с фигурными, блестящими бляхами-наклепками. Отец хранил его, как память о германском плене. Нинка быстро этот ошейник разглядела, выпросила у

отца, приспособила, носила, как ремень на талии. Как тонка должна быть талия, чтобы подошел собачий ошейник! И откуда эта Психея могла разгадать мое тайное желание, чтобы она надевала этот ошейник при исполнении супружеского долга? Голенькая, лишь ошейник на талии! А знаете, почему я полюбил Гомера, почему он мне открылся своею бескрайней глубиною и прелестью? «Илиаду» я одолел поздно, когда вернулся из лагеря, домучивался в университете. Читал, зевал, скучал, чуть челюсть не вывихнул. Дело не шло дальше 2-й главы, до перечня тех, кто явился с великим Агамемноном под Трою. Очень понимаю Мандельштама, который каждый раз спотыкался на этом месте, засыпал: «Я список кораблей прочел до половины...». Однажды я открыл Гомера наобум, как блаженный Августин Святое писание, ахнул (как и блаженный Августин, которому попал в поле зрения стих 14 главы XIII «Послания святого апостола Павла к Римлянам» «...и попечение о плоти не превращайте в похоти». Эти простые слова предназначались ему, написаны для него, для его пробуждения). Я прочитаю, как Гера выцыганивала у Афродиты «узорчатый пояс», чтобы обольстить Зевса (Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса):

> Пояс узорчатый: все обаяния в нем заключались:
> В нем и любовь, и желания, шепот любвв, изъясненья,
> Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных.
> . . . .
> Вот мой пояс узорчатый, на лоне сокрой его, Гера!

Раскрылись вежды: ожил для меня старый старик Гомер, перестал быть мертвым классиком, вытанцевалась нежданно моя судьба: воссияла яркою звездою античность, забуксирила мое сердце. Конечно, было и влияние Губера, подталкивающего мой интерес. Ой, опять отвлекся, заговорился. Так где ж я, бишь, застопорился, забуксовал? Возвратимся вспять к Нинкиной талии. Да, собачий ошейник с замысловатой фигурной пряжкой, орудие безбожной порки, которую я едва перенес, чуть не лишившись рассудка. А ножки у Нинки, ей-богу, стали длиннее на три сантиметра, стали такими, как мне нужны. Волосы сделались пышнее, красивее, шелковистее. Как в сказке, Золушка, поздний плод утомленного родительского чадородия, преобразилась из заморыша-куколки в яркую, сверкающую бабочку! Кровь с молоком! Неоскудевающая веселость и жизнерадостность. Пришвартовался и прилип я душою к пригожей, похорошевшей Нинке, словно именно она, а не кто другой предназначен мне небом. Полонено мое сердце Нинкою и все тут! Недаром в старину говаривали, что браки заключаются на небесах. Читали «Метель» Пушкина? И прожили мы с Нинкою жизнь душа в душу. И не отдам ее за все царства мира и славу их. Психея. Знаю наизусть ее тело и душу, не наскучивает, только к ней и тянет. На всю жизнь и по уши втюрился. А ты, читатель, говоришь, «любовь, любовь!». Что ты в этом смыслишь? Все романтизм, с чужих слов, из оперы «Кармен»? Бизе да Гуно. Вот был я пылко влюблен в старшую сестру, а обознался, невзначай женился на младшей, прожил с младшей жизнь и, как Одиссей, готов «свою старуху предпочесть бессмертию» (Цицерон). Возвращаюсь к повествованию. Мое дьявольское коварство и дьявольское предательство долбануло бедную, красивую Веру как обухом по голове. Мрак. Убийственный, невиданный кошмар. Померк свет солнца. Без ножа зарезана. Разбито сердце на мелкие куски. Чего-чего, а такого непотребного фортеля, такого крутого, злого оборота событий она не желала и не могла предвидеть и представить. Прошло два года (я уже сидел в лагере), и наша Вера дерзнула выправить огрех, забросила чепец за мельницу, уступила домогательствам женатого человека, который к такой гордой, красивой девушке и на пушечный выстрел не должен был подходить. Это был известный летчик, сердцеед, сверхдошлый, неотразимый ловелас, который, конечно, обещал ей жениться, обещал, что будет на руках носить и все такое, включая вечное блаженство и золотые горы. Тянулись их отношения бесконечные, бескомфортабельные семнадцать лет. Притворялся, беспардонно лгал, актерствовал, угрожал покончить жизнь самоубийством. Вдруг — умер. Нет, он не разбился, как другие, как Чкалов. Удачлив был. Что-то с желудком, как у

моего отца. Повалялся два месяца в больнице, готов. Рачок. А у Веры вся жизнь псу под хвост. У судьбы в немилости, обсевок в поле. Не вдова, а неизвестно кто. Даже на похоронах не была. На могилу тайно ходит. Ни семьи, ни ребенка. Дырка от бублика. Одинока, как тот утес на Волге, так же поросла мхом и бурьяном. Встретил ее на днях, высохла вся, худющая. Защебетала: «Витя, что ты о китах думаешь? Я очень за китов беспокоюсь, волнуюсь. Киты на берег выпархивают. Что это? Самоубийство? Витя, к чему бы это?». А что ей остается делать? Борется вместе с Лихачевым, чтобы реки текли в положенном природой направлении, волнуется о Байкале, о китах. Нинке пришлось уйти из пятикомнатного гнездышка, что на элитарной, тихой улице Воровского. Перебралась к нам, в общую квартиру, в нашу нелепо большую комнату. За шкафом нам выделили просторное, бесскрипное, крепкое супружеское ложе. Ничего: жили, не тужили. Союз наш нерушим и вечен. Дай Бог всем! С моей матерью Нинка спелась, полюбила ее. Характерами сошлись. Женская, говорят, солидарность. Я уже успел сообщить, что дочка, Леночка, родилась, когда я сидел на Лубянке, что на очную ставку жена приходила с заветным пузом. Все годы, что я был в заключении, моя верная, преданная Ярославна-зегзица прилетала два раза в году ко мне на свидания, омывала мои раны.

Кто внимательно читает мои воспоминания, должен помнить, что звездное сретенье 7 ноября 1947 года с богоподобным, богоравным Сталиным имело для меня грандиозное значение, катастрофически-пагубное для семейной жизни, последствия которого не поддаются трезвонаучному расчету. Но Бог милостив. Меня сгребли. Интимное сверхсобытие пришлось на тот период нашей зашкафной жизни, когда Нинка была уже стельна, но все еще с исключительной внимательностью, чуткостью исполняла супружеские обязанности, потворствовала моим юношеским порывам. Физически я был удовлетворен. На стенку не лез, как другие в моем возрасте. Обращаю на это внимание вдумчивого читателя, чтобы он не стал все случившееся объяснять нежным, пылким возрастом, неотрегулированностью половой жизни, когда бедный, неопытный юноша изнемогает под гнетом низкого, свинцового, безнравственного, неукротимого, надоедливого инстинкта, в аккурат готов прямо на стенку лезть, прицеливается к воспетой в стихах замочной скважине. Моя-то половая жизнь к моменту сретенья была сгармонизирована, даже был чуть пресыщен медовым месяцем. И вообще я очень уравновешен, спокоен. Всех этих жгучих, страшных проблем пола, безумств, мук плоти я не ведал. Терпелив. Не ударяюсь в крайности. Еще и еще раз повторю, что к женщине у меня спокойное отношение: никогда я не был флюгером, готовым устремиться за первой встречной-поперечной, порхающей, флиртующей женской юбкою.

Читатель, думается, сам додул, что там, на Красной площади, с моим организмом творилось нечто неладное, что наслаждение я испытал сверхмощное. Хочу еще добавить, что не всякий способен вообразить даже, что со мной происходило. Не в голове, а физически, в низменной, срамной части моего организма. Вот когда был нужен человеку путный совет врача! Чтобы не отфутболивать читателя к энциклопедичному Форелю (да и где взять Фореля? Не в библиотеку же Ленина переться?), позволю себе апелляцию к замечательной древнекитайской повести, которая приписывается исследователями древности Линь Сюаню, жившему где-то там на рубеже нашей эры, то есть около двух тысяч лет назад. Вечная, умопомрачительная классика, жемчужина из жемчужин, повесть вошла в сокровищницу мировой литературы под скромным названием «Частичное жизнеописание Чжаю — Летящей ласточки». Приведу отрывок, отдаленно иллюстрирующий состояние моего тела, когда я покидал Красную площадь:

«Вскоре государь занемог и вконец ослабел. Главный лекарь прибег ко всем возможным средствам, но облегчения не было. Бросились на поиски чудодейственного зелья. Как-то добыли пилюли — шэньсеойцзло — „Камень, придающий силу“. Пользование ими требовало осторожности. Лекарство передали Хэ-дэ. Во время свидания с государем Хэ-дэ давала ему по одной пилюле, действия которой как раз хватало на единое поднятие духа. Но как-то ночью, сильно захмелев, она поднесла ему разом семь штук. После чего государь всю ночь пребывал в объятиях Хэ-дэ за ее девятислойным пологом; он смеялся и хихикал без перерыву. На рассвете государь поднялся, чтобы облачиться в одежды, однако жизненная влага все текла из потаенного места. Через несколько мгновений государь упал ничком на увлажненные одежды. Хэ-дэ бросилась к нему, посмотрела: избыточное семя било ключом, увлажняя и пачкая одеяло. В сей же миг государь опочил...». Да, я познал феерический, дикий, неистовый экстаз и его затяжные, удручающие, смертоносные последствия, весьма сходные и подобные тем, что после пилюль пережил несчастный император Чен-ди. Я был молод, крепок здоровьем: сдюжил. Три дня пребывал в немощи, на самом пороге гроба. Время, всеисцеляющее время, лучший врач. Но я был напуган тем, что мне пришлось пережить. Не должен смертный вкушать столь непоплечные, сверхмощные наслаждения. Моя психика искривилась. Я предчувствовал расплату. Я не удивился, что расплата явилась так скоро. Тюрьма притупила болезнь. А когда я вывалился из «воронка», хватил полной грудью жаркий московский воздух, я ощутил себя здоровым: вновь обрел свободу от наваждения и крепкий союз с жизнью. А что бы меня ждало, если бы не избавительная Лубянка? Что мне маячило? Намек на свою возможную судьбу я вижу в истории той молодой женщины, о которой вскользь уже рассказывал. Хотя история из вторых рук, но сердце чует, что все чистая, святая правда. Интеллигентная женщина, кандидат филологических наук, ученица Пинского, западница, приличнейший, достойнейший во всех отношениях человек и — вот выброс: оставила грешный свет, бросила мужа, стала вовсю крутить роман (разумеется, астральный, мистический) с великим Сталиным. Пародия на святую Терезу: ей-ей! После каждой такой «встречи» на Красной площади она, с позволения сказать, становилась «тяжелой». Беременность-то мнимая, но со всеми неромантическими подробностями и знаками истинной беременности. Того гляди — родит. Врачи фиксировали истинную беременность, слышали биение сердца ребенка. Пророчили крупного Геракла. Где-то недели за две до праздника весь этот карнавал кончался. Спадал, словно из него выпустили воздух, непомерно, неприлично раздутый огромный животище — ищи, свищи его; скоропостижно животик становился гладеньким, плотным, как у юной девушки. В предчувствии мистического рандеву она дьявольски хорошела, молодела, расцветала, дьявольски невестилась. Возвращалась стройность, легкость, подвижность тела, восемнадцати не дашь, цветок! Она светилась счастьем, тайною вечной женственности, но для кого и для чего этот «цвет», этот «брачный наряд»? Волнений пред новым свиданием хоть отбавляй. Нужны новое платье, белое, новая шляпа, новые туфли, новые чулки, новое кружевное чистое, ненадеванное нательное белье. Она летела радостной птицей на демонстрацию. Опять истерический восторг, удар, агония, исступление, смятение чувств. Все по новой, опять понесла от встречи с богом! Эта жуткая страсть, которую не хотелось бы называть любовью, как петля, затягивала ее всю, затягивала все туже, туже. Не знаю, как бы она пережила смерть Сталина: думаю, что умерла бы от черной, жгучей тоски, от отчаяния, как умирает лебедь. Она рвалась на последнее свидание, на прощание. Она была раздавлена на Трубной площади такими же одержимыми истеричками, как и она сама. Символ, обозначающий мою судьбу, если бы вовремя меня не зачалило МГБ. Ой, не зря говорят, что нет худа без добра!

Но, кажется, я пренебрег советами мудрого Аристотеля, отца философов, преступил в отступлениях меру (и Шекспир устами своего героя, который один только мог написать все его драмы и комедии, рекомендует «знать меру»), заблудился в прорве лирических закоулков, интермедий: заболтался. Не дурно бы и честь знать...

* * *

...не теряя ариадниной нити, вспомнить о дражайшем сиамском близнеце, с которым я все это время не-разлей-вода.

Прежде всего, нахожу уместным сообщить, что мне вовсе не по душе было, что мой гениальный брат Краснов трубит на этой адовой шпалорезке. Во-пер-

вых, легко получить увечье: ухайдакаешься, потеряешь бдительность — раз, рука прочь. Рано или поздно этим кончится. Но это во-первых, а во-вторых: интеллигентный человек, тем паче Краснов, мозг крупнейшего масштаба, не имеет права физически работать, а должен при первой возможности сменить завывания маятниковой пилы на сухой скрип легкого пера: головой работать. Момент подходящий. С лагпункта убирают женщин, освобождаются придурковые места. Краснов умничал, моих настроений и взглядов не разделял, но меня это нисколечко не волновало; я ближе к земле, чем Краснов, лучше кумекаю, как надо жить в лагере; решил осчастливить своего друга против его воли, пристроить как-нибудь. Владзилевский, главный бухгалтер, мой благодетель и большой любитель назюзюкаться, а затем исповедываться (приходилось выслушивать его исповеди) всегда склонял ухо ко мне. Вот я и подсуетился, шепнул словечко за Краснова и о'кей: Краснов — учетчик погрузки, придурок, отличный ранг. В голову моего философа не могло прийти, что это я его сосватал. Спасибо он не сказал бы мне, как пить дать. Если бы я знал все последствия перевода Краснова из пешки в знатные ферзи, не делал бы этого никогда.

— Мне не нужен учетчик,— круто, непреложно дал поворот от ворот Каштанов, начальник погрузки, вылупился с брезгливым презрением, как на букашку. Поганый тип, йехуобразен, мощная, лошадиная челюсть, огромные лошадиные зубы, такими зубами запросто крушить грецкие орехи; глотка луженая.— У меня есть учетчик.

— Я не навязываюсь,— с достоинством отбрехнулся Краснов.— Могу и на маятниковой пиле работать.

— На данном участке Советская власть буду я! Все! Сгинь! Кому говорю?

Положение предельно щекотливое, прямо скажем, дурацкое. Что делать? Погрузку пиломатериала сейчас учитывает некая Ирена. Перевод Краснова не согласован с Каштановым. Но женщин методично убирают с комендантского, уже многих мы недосчитываем. Судите сами: из полутора сотен, что было в 1948 году, едва уже наберешь три десятка. Нет на лагпункте неотразимой, неукротимой, угарно-пылкой Зойки. Право слово, помню, когда ее уводили на этап, вся наша бражка-мужичье, кто почему-либо оставался в зоне, вылезли ее проводить, запрудили подход к воротам ОЛПа. Нас не менее пятисот человек. Стоим в гробовом молчании, тянем тонкие шеи туда, откуда должна показаться первая краля ОЛПа, обнажили оболваненные машинкой зэчьи головы. Мы — угрюмы: и никто эту грусть, грусть глубокую, и никто никогда не поймет! Начальство переполошилось: не бунт ли? Ан нет. Она выпорхнула: солнце взошло! Жена, облеченная в солнце. Боже, как хороша!

— Мужички! Нос не вешай! — крикнула.— Встретимся при коммунизме!

Что же она нам такое сказала? Не ясно. Всем стало легче, теплее в этом мире, улыбчатее на душе. Нет, она не хотела нас обидеть, сказать, что с любовью у нас не будет встречи: коммунизм это такая штука, которая (в анекдоте) имеет общие черты с линией горизонта: удаляется по мере приближения к ней. Нет и нет. Мне кажется, что она хотела сказать, что при коммунизме будет общность жен, что всякий может хранить надежду, что станет ее мужем. И все мы, забыв, что на свете не одна Зойка, но есть и другие женщины, вздохнули тяжко:

— Эх!

И — умереть! Умереть, как умирает трутень. Как сказал поэт: «И вечность отдал бы за миг».

Погрузка начинается ни свет ни заря, когда на небе пасутся стада звезд. Грузчики мотают туда со своим специализированным конвоем. Краснова не берут. Он тащится на завод с остальными бригадами, заявляется на погрузку. Работы закруглены. Грузчики вовсю стучат топорами, зашивают вагоны. Последние штрихи. Что остается делать Краснову? Прохлаждается, бьет баклуши, неприкаянный бродит туда-сюда, глазеет, как учетчица что-то пишет на дощечке, какую-то цифирь. Набрался силы, духа, хотел сунуть нос.

Она подняла глаза.

Узнавание, удивление, испуг.

— Да нет, вы меня с кем-то спутали.

— Извините.

Грузчики, молодые ребята, все хиханьки да хаханьки, перебрасываются:

— С усиками, что за фрей?

— Новый учетчик, стажер.

— А Ирена?

— Бабье убирают. К Новому году тут ни одной не будет. Запоем псалмы. Прощай, половая жизнь.

Грузчики уматывают на ОЛП; Краснов шастает, как проклятый кащей, по заводу, в чужих курилках мается, киснет, околачивается, коротает длинные одиннадцать часов. Куча тухлого, болотного времени. Скука тоскою давит. Ощущение странненькое, особенно после сердитого визга маятниковой пилы. Чтобы не подохнуть от зеленой тоски, стал брать с собою на завод толстенький кирпич Гегеля, от чтения которого мозги заметно яснеют. Взыграл новый интерес. Он всматривается, до чрезвычайности вникает во все альфы и омеги производственного цикла. Он изучил и постиг все до мелочей: с момента, как бревно перво-наперво поддевается дрынком, с громовым грохотом летит с вагона, катится до транспортера; транспортер волочит бревно к бассейну; здесь, на бассейне, с незапамятных времен старшим наш старый знакомый, расторопный Яшка Желтухин, который артистически, легко, любо-дорого смотреть, играет тяжелыми бревнами, правильно, по науке сортирует их, энергично, мастерски толкает то к одной пилораме, то к другой (те, что помельче); транспортер пилорамы подхватывает бревно (насаживает на транспортер бревно уже другой зэк — «наколка», считается легкой работой); транспортер волочет бревно к пилораме, которая разом крушит его, превращая в доски; доски равняются, гудящим и воющим, как черт, обрезным станком, плывут на сортплощадку; здесь они набело сортируются, сбрасываются в «сани», а «сани» попадают на биржу готовой продукции или, минуя ее (побывав на бирже готовой продукции только на бумаге), доставляются на погрузочную площадку; грузчики грузят продукцию завода в вагоны; Ирена хлопочет, носится с дощечкой между «саней», записывает, подготовляет загрузочную ведомость; и вот продукция лесозавода развозится по железной дороге в разные далекие места, к потребителю: ЗИЛу, Калининскому вагоностроительному заводу, другим. Краснов ознакомился с явлением на редкость любопытным, сокровенный смысл которого мог раскрыться далеко не всякому. На одном из участков «потока» ручной труд был заменен машиной. Если до этого важного нововведения эффективность работы пилорамы во много раз превышала пропускную способность «истока», что приводило все непременно к простоям пилорамы, то теперь ритмы работы пилорамы и остального потока были сбалансированы. Это значительно увеличило выпуск готовой продукции. Тяжелый мускульный труд заменен техникой, полуавтоматизирован. Уменьшилась ли потребность в физическом труде лесозавода? Еще проще вопрос: стала ли легче работа? Ответ: нет. Модернизация, оснащение новой, перспективной современной техникой не только не уменьшает и не облегчает физический труд, а, как это ни парадоксально покажется, увеличивает. Так, рост пропускной способности пилорамы повлек за собою прежде всего увеличение штата грузчиков как на выгрузке, так и на погрузке, увеличилось число зэков, обслуживающих бассейн, не говоря о сортплощадке, куда, как правило, загоняли новичков. Резко возрос спрос на неквалифицированные руки-крюки, на чернорабочих, сократилась потребность в рабочих, стоящих на узком фронте работ, от которых требовалась выучка, сноровка, ловкость, наконец, недюжинные физические силы (так называемые — «незаменимые»).

Мы бодро дефилируем по ОЛПу. Нескончаемые разговоры о лесозаводе завершаются монологом Краснова. С энтузиазмом и убежденностью ясновидца Краснов внушает мне:

— Современному производству нужны несколько специалистов экстра-класса и армия чернорабочих. Принеси, подай! Еще быстрее! На лесозаводе после модернизации потока можно на любое место ставить человека, который первый день выходит на производство. Не требуется особых навыков, ни даже богатырской физической силы. Последнее очень важно для производ-

ства. Поток перестал зависеть от капризов незаменимых, от умельцев, от тех, у кого золотые руки, а это в свою очередь привело к глубинному, подлинному равенству внутри бригады, к умалению привилегированной прослойки рабочей аристократии. Она не полностью исчезла, а почти. Сошла на нет. Лебедь, учти, что вреднейшим и ядовитейшим либерально-буржуазным предрассудком, удивительно живучим, является утверждение, что подневольный, рабский труд нерентабелен, уступает свободному труду. Кто и когда первый это придумал? Гнусная, подлая, намеренная ложь! Если бы это было так, коммунизм был бы невозможен. Еще Троцкий понимал, что без насилия, без жесткого внеэкономического принуждения фундамент нового общества не может быть заложен. Мужественные, честные, золотые слова. Троцкий как никогда прав, смел, глубок. Возможно, истину не всегда можно высказывать вслух, чтобы не отпугнуть средние классы. Лагерь рентабелен, самоокупаем, экономически прибылен. Это самый могучий и мобильный способ ведения хозяйства в XX веке. Еще вчера нас, социалистов, упрекали в прекраснодушии, в утопизме, в том, что наши идеалы благородны, прекрасны, но это сон золотой: они чужды человеку, не могут быть практически реализованы. Перед нами лагерь. Он есть и будет.— С фактами и цифрами в руках Краснов готов посрамить маловеров, гуманистов, которые боятся смотреть правде в глаза.— Вопрос состоит не в том, чтобы ликвидировать подневольный труд, а в том, чтобы лагерь сделать единственной нормой жизни и справедливости. Перед нашими глазами новая, растущая, властная реалия, бурно развивающаяся, идущая на смену индивидуализму и либерализму. Диалектика идей и природы. В эпоху механизации и автоматизации вновь, а может быть, и впервые в истории, рентабельными становятся формы принудительного труда, ушедшие в небытие.

Краснов запнулся о какое-то мысленное препятствие, задумался, затем энергично продолжил. Да, лагерь, ОЛП — идеальный образ будущего, это символ, который следует внимательно рассмотреть, раскрыть. Лагерь рентабелен. Здорово! Ура! Мне же, голубю сизокрылому, предлагается запомнить раз и навсегда, что для истинного социализма дело не в рентабельности, а в перспективе новой жизни: в равенстве. Если придется выбирать между сытостью, разлюли-малиной, рентабельностью и равенством, то истинный социалист, друг человечества, всегда, во всех ста случаях выберет равенство. Так думали и Томас Мор, и Маркс. Не беда, что ты или я будем загребать меньше, если при этом падет и общий уровень, если всем поголовно будет хуже.

— Никто не должен жить лучше меня. Зависть не будет когтить сердце.

Голубю сизокрылому опять предлагается заглянуть в свое сердце, раздвинуть тину и грязь. Готов ли я жить хуже, но чтобы никто не жил меня лучше? Бог призвал праведника. Нет, не праведника, а обычного, среднего человека, слабого, посулил исполнить его любое желание, любую просьбу, но при одной единственной оговорке, при одном еще условии. То, что тот пожелает, Бог сделает и для соседа, но в сугубом, двойном размере. Что же пожелал человек? Он прицелился. Скромная, смиренная просьба: Боже, возьми у меня один глаз! Как? Гениально! В этом великая правда коммунизма! А любая другая философия безнравственна!

* * *

Десятник лесозавода, тертый лагерник, туз, персона, после нарядилы первый на ОЛПе человек, углядел, что Саша выходит на работу не со своей бригадой (не с грузчиками), взялся учинять острастку:

— Ходи с грузчиками. Учись. Почему не ходишь?

— Не берут,— выступил Саша, очень зарадовавшись, что разговор сам собою получился о том, чем он мучается.— Каштанов говорит, что ему не нужен учетчик. У него есть учетчик.

— Почему не пришел? Не сказал?

Саша не первый день в лагере, не пыльным мешком из-за угла ударенный, чтобы по начальству ходить и жаловаться. Кто же ходит? Не принято. Такого и в мыслях у него нет. Лагерь. И самому десятнику яснее ясного, почему Са-

ша, москвич, не предстал пред его светлыми очами с кляузой на Каштанова.

— Поговорите с Каштановым,— просит Саша.

Вечером, на обратном пути с лесозавода на ОЛП, Саша сам подкатился к десятнику.

— Своевольничает,— сказал амбициозно десятник.

— Мне что делать?

— Лады. А тебе что, кисло в рот? — десятник прохиндейски улыбнулся беззубым ртом старого лагерного волка, обнажив воспаленные алые десна.— Шалтай-болтай, кантуйся. День канту — месяц жизни. Пущай проводит, а другого учетчика ему не светит. Обнаглел хамски. Царек. Обуздаем. Управу и на него сыщем. Допрыгается.

Не замедлясь никакими событиями, мелькнул бесповоротно месяц. Каштанов поманил Сашу, «подь сюда», осклабился непомерными лошадиными зубами, и, как если бы никогда не говорил ничего иного, тоном, не допускающим возражений, выдал новый инструктаж:

— Ирен, слышь, валяй: учи его.

Девчоночка захлопала ресницами-бабочками, мандражно брызнула в Сашу растерянно-испуганными, выразительными глазищами, опустила низко-низко головку, затаилась, как мышонок.

— Не умею,— дернулась, буркнула еле слышно и себе под нос придушенным голоском, нервно куснула губу, и по ее придушенному голосу, по этим горестным сиротским плечикам Саша распознал, насколько ей не по вкусу пришлась новая суровая воля начальника погрузки: затравленный, беспомощный зверек.

— Медведя учат,— еще сильнее, противнее оскалил лошадиные зубы Каштанов.— Тебя учили. И ты учи.

Она вовсе сникла, заскучала, сидела понурая, закручинившаяся, обреченная, одинокая, как в воду опущенная.

Саша напропалую растерялся, увидев, что девчурка кончиком платочка старается незаметно вытирать неестественно крупные слезы.

Ну и ну. Она его будет учить уму-разуму, натаскивать, а как только он освоится на новом, придурковом поприще, наловчится, начнет работать самостоятельно, ее спишут, сбагрят куда-нибудь на общие несладкие работы. Как-то все нефильтикультяписто обернулось. Таковы непреходящие, суровые законы лагеря. Никуда не денешься. Сам он толком не знает, как попал сюда, на погрузку. Не сам себя двинул. Не от него зависят неукоснительные приказы ГУЛАГа: закруглен один зон жизни лагерей, начался новый, мужские и женские лагеря разделяются. Новые утеснения. Но ведь и сюда, в Каргопольлаг, он не по доброй воле прибыл, а по прихоти ГУЛАГа: прикатили в столыпине, с конвоем притаранили: «Вологодский конвой шутить не любит!». Под конвоем на лесозавод приводят. Он-то был готов и дальше упираться на шпалорезке, на маятниковой пиле. Все было отлично, не скулил, не ныл, не ловчил, не рыпался. В придурки не лез. Не по воле своей он в учетчики выпрыгнул.

Она безропотно, кротко, наивно стала учить.

Учет пиломатериалов — немудрое, плевое дело. Кубатура «саней» обычно записана на одной из верхних досок. Ее надо переписать на дощечку, затем «сани», которые будут нагружены в вагон, пересчитать. Перемножить кубатуру на число саней. Задача для второго класса. И еж не дал бы промах. Говорили, зимой сложнее. Под снегом, ночью не видать записи кубатуры. Еще вылезла неприятность. Грузчики появляются на погрузочной площадке вместе с учетчиком, сразу начинают грузить продукцию завода (доски), а когда учетчик подойдет к последнему вагону, чтобы переписать «сани», оказывается, что уже несколько «саней» заброшены в вагон. Никто не ждет, покамест учетчик со своей учетной дощечкой поспеет к началу. Суматоха, деловой вихрь: грузчики проворно бегают с досками по тропам, доски так и летят в вагоны. Миг — «сани» заброшены, кубатуру в последних вагонах придется определять на глазок. Важно: не лихо мазать. Ирена теперь уже не дичится его, покорно учит всем премудростям, приемам и обычаям погрузки. Показала,

как работать с кубатурником. Делов на рыбью ногу, освоил с ходу. Не тупой. Она осторожно, робко, тихим голосом натаскивает на главный секрет: где нужна особая снайперская точность, скрупулезность, а где можно на скорую руку, смело, беззастенчиво гнать фуфло. Он поднаторел, насобачился, кое в чем даже превосходит Ирену. Он мог бы с учетом сладить и один, но считает, что было бы «неэтичным», если бы он это открыл Каштанову. Потянет кота за хвост как можно дольше, помурыжит, максимальное время обучения. Подножку, да такую крепкую — нет, не хотелось бы давать.

Они в конторе одни. Пугливая Ирена отогрелась, разговорилась. О себе рассказывает. «Я вас испугаю!». Ее отец оказался русским, офицером царской армии, полковником. Бурная жизнь. Гражданская война — у Деникина, затем эмиграция, Турция, Франция, Прибалтика, Финляндия, Польша. В Польше он бросает усталый якорь, женится. Ее мать — актриса, в кино снималась. 39-й год, Гитлер напрочь раздраконил Польшу. Отец участвовал в боях против Гитлера, убит.

— Сколько вам лет?

— О, я старая клюшка. Страшно сказать,— говорила она обезоруживающим, нежным, воркующим голоском, говорила доверительно, тихо.— Двадцать пять стукнуло. Признайтесь, вы в лоск разочарованы? Ну, чуть-чуть разочарованы?

Саша был разочарован, даже не чуть-чуть, а очень. Вежливость и застенчивость никогда бы не позволили ему признаться с однозначной прямолинейностью, характерной для него, что он разочарован. Язык не повернулся. Он не умел отшучиваться, изворачиваться, не умел выскользнуть, как налим. Смутился, глупо молчал.

— Вы не умеете врать. Совсем ребенок,— еле слышно вкрадчиво вздохнула Ирена, когда Саша сообщил, что ему будет скоро двадцать один.— У меня было светлое, безоблачное, чудное детство. Как бы я хотела начать жизнь сначала! С самого детства! Я горжусь своим отцом! — кликушески, неожиданно прокричала она.— Слышите? Горжусь. Он герой, совсем особенный, замечательный человек.

Она робким, громким шепотом сообщила ему, как тайну, что во время войны вступила в нелегальную молодежную антифашистскую организацию, готовили восстание против немцев.

— Варшавское восстание. Не слышали?

Восстание запросто раздавлено регулярными немецкими частями. Ирена, как и многие другие, попадает в плен, в немецкий лагерь. А сколько расстреляно! Нет числа! Из немецкого лагеря освободили русские, два дня она работала переводчицей. Арестовали. Уже МГБ. Много статей навешали, но все несерьезно, липа. Абсурдное, «шитое белыми нитками», нелепое обвинение в измене родине, шпионаже сразу отпало, но ее не освободили, продолжали мурыжить. Сменили статьи, инкриминировали теперь пронемецкие настроения, восхваление немецкой техники. Дело передали на Особое совещание. Особое совещание вернуло дело: «за недостаточностью улик». Слышал ли кто о подобном? Может, единственный случай в истории, когда Особое совещание считает, что для срока недостаточно улик! Чудо! Все, особенно юридически сильные, сведущие, подкованные умы, толмачи, ведуны, прорицатели пророчили уверенно, что она идет на свободу. А как же? Особое совещание — святая святых, высшая, последняя инстанция, сердце МГБ. Ирена учила адреса сокамерниц, чтобы навестить их родных, близких. На волю ее не выпустили, подержали, без дополнительных юридических финтифлюшек и волокиты дело было передано в обычный городской суд во Львове, куда еще до большой войны после гибели отца они с матерью и старшею сестрою перебрались, короткое время жили, числились советскими подданными. Судья сметливым, зорким, сурово-равнодушным, незаинтересованным глазом не моргнул, впаял ей пять лет по 58-10. Оно, пожалуй, по здравому размышлению, так и должно быть. Ларчик просто открывался. Судья не в безвоздушном пространстве и эмпиреях витает. Что может себе позволить Особое совещание, то не может судья, простой советский человек, такой же смертный, как и все мы.

— На комендатском мне быстро вправили мозги. Объяснили, что у меня детский срок. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Закругляю,— угнетенно, виновато улыбнулась она, как бы извиняясь за то, что кончает срок; опустила глаза, прикрыла их огромными, чудесными ресницами.

— Я на старте,— отозвался Саша.— Десять лет.

— Десять лет? Не может быть. Вы верите, у меня не было пронемецких настроений?

Саша пылко, искренне сказал, что верит.

— Я ненавижу Гитлера,— нервно выкрикнула Ирена.— Он убил моего отца. Он искалечил, исковеркал мою жизнь. Почему следователь мне не верил? Я — участница Варшавского восстания! Ничего не понимаю. Ералаш.

Неожиданно, по-женски, без всякого перехода, повода, видимой логики, как одержимая:

— Я пленница!

Зашлась в горьких слезах.

* * *

Погрузка завершена. Грузчики стабунились в курилке, картинно развалились, расслабили мышцы, мускулы, прикорнули. Сонные, ленивые позы. Кто-то смачно храпел. Законный перекур с дремотой. Ждут конвоя. Саша вступил в курилку, безмятежно сунул спецификации Каштанову. Привычно Каштанов подмахивал, не удосуживаясь глянуть, доверял учетчикам. В этот раз:

— Притормозись на пару ласковых. Доложи обстановку.

Наладился просматривать бумагу, глаз мымристо щурит. И так-то начальник погрузки имел отталкивающую, звероподобную внешность, а тут делается мрачнее страхолюдной тучи. Дело в том, что Саша своею властью загрузил пиломатериалы, которые хотя и подходили для погрузки (по заказу), но вот уже несколько дней по непонятной халатности «забывались», придерживались на погрузочной площадке. Ирена мягко советовала: «Повременим». Он не перечил, уступал. Но нынче она выходная, осталась в зоне. «Совсем не худо бы с грузчиками успеть»,— спешил Саша. Он самостоятельно работает давно, уверен, знает дело. Пусть скажет, в чем опростоволосился, обмишулился, где пенка? Да, где пенка?

— Надысь сорокопятку трогал? — рык льва, аж оторопь берет. У другого бы поджилки затряслись, но не у Саши.

— Привет, чего ее не грузить? — не повел бровью Саша.

— Так дело у нас с тобой не пойдет.

— А в чем дело?

— Ты что, контуженный?

— А в чем дело?

— Умничаешь? Портило, а не учетчик. Колун тупой,— Каштанов лязгнул кошмарными зубищами, плюнул.— Смотри, интеллипупия. Мне не нужен такой учетчик!

Прибавил трезвящий образ: этот самый, как его, в мозгах у Краснова полоскать намерен.

— Говнюк! Что пустые бельма пялишь?

— Сам говнюк. Шакал. Рвотный порошок. Рваная сволочь!

И мой Саша заиграл желваками, вычурно плюнул в сторону Каштанова. Кто-то из грузчиков художественно свистнул, кто-то противно засмеялся, кто-то лениво, скучно, пакостно пустил:

— Что, рук у вас нет?

Каштанов нравен, строгонек, с ним шутки плохи. Угождать и брыкаться зря словами не имеет привычки: бывший военнослужащий, взводом командовал, в атаку гавриков поднимал, сидит за воинские преступления, за разгул на оккупированной территории. Руки у Каштанова так и чешутся. Короткая распеканция, и уже метелит истового грузчика. У него в руке ферула с метрическими делениями, не расстается с нею. Символ власти. Палка стремительно и со свистом описала порядочный круг — сломалась на руке Саши. Пронзительная боль резанула, хотя телогрейка порядочно смягчила, аморти-

зировала удар. Саша бросился на Каштанова, обеими руками, что было мочи, ухватил его за воротник куртки. Не сдвинул. Здоров же буйвол! Саша харкнул в тупую, наглую, лошадиную, свирепую морду Каштанова. И еще раз плюнул. Опять тот же грузчик гаденько засмеялся, пустил: «Дело пахнет керосином!» Каштанов энергично, спокойно, неумолимо, как хирург качающийся зуб, оторвал от себя Сашу, поднял устрашающим движением, мощно швырнул; Саша навзничь грохнулся к стене курилки, звезданулся о скамейку, что шла вдоль стены. Пучками полетели искры из глаз, почувствовал боль в голове, тяжелую, гнетущую, не ту, что после первого удара палкой. Но боль ощутил на секунду-другую. Новое, неистовое, давно незнакомое чувство завладело им, сняло, как рукою гипонотизера, боль, прямо выдернуло ее. Неведомая сила подхватила его, подняла стремительно на ноги, руки словно выросли, налились силою, в правой руке сам собою очутился топор — схвачен поперек топорища. Саша надвигается на Каштанова, воззрился в него, неотрывно, остро, бдительно следит за каждым движением. Глаза их впились друг в друга, жгли. Не жить одному из них. Курилка затихла. Время замедлило равномерно-монотонный, ньютоновский бег, сменило свою природу, стало бергсоновским. Саша вскинул топор, ощутил, что рука его стала пружинистой, еще удлинилась. Он делает дерзкий шаг. Каштанов метнул табуретку, злобно полыхнув разинутым глазом — в голову Саши ладил. Саша импульсивно шатнулся, подался проворно вбок, молниеносно подставив топор. Табуретка срикошетила, как эластичный резиновый мячик, но, видать, все же голову шаркнула, выше левой брови. Боли вообще не было. Кожу срезала. Мозг Саши фиксировал: Каштанов норовит к двери, юркнул, исчез, а там, у входа в курилку, у крыльца — топоры. Суворов: «Глазомер, быстрота, натиск». Упредить, осадить, не дать цапнуть топор. Саша рванул за противником. Шваль, гнутся шведы. Голиаф не помышлял о топоре. Прытко, без оглядки мчался наутек к вахте. Москва — Воронеж, хрен догонишь. Саша во весь бег, неминуемый, как сама смерть, шел за ним, взмыленный, как скаковая лошадь на ипподроме. Глаза ему заливала кровь. Как дикое, преследуемое животное, Каштанов лопатками спины выхватил, почувствовал ту единственную секунду, дарующую спасение, выдал верткий, лукавый вольт; Саша, как быстроногий, дурной гепард, промазал, несообразно пролетел мимо, вперед. Остановился, враз опамятовался, волею обуздал, задушил раздрызганную неутоленную злобу: остыть, уняться, пусть угомонятся нервы. Дотронулся до головы, смотрит на руку: кровь, все волосы в крови, липкие, слипаются. Теперь и руки в крови. Весь в крови. Ощутил тупую, саднящую, то накатывающуюся, то затихающую боль.

— У философа срока навалом, край непочатый,— назидательно, степенно объясняет один из грузчиков.— А у Ивана — жук чихнул, пшик, скоро последний год разменяет, бесконвойник.

«Наша взяла», уныло, безрадостно думал Саша, вспомнилось (где-то читал), что Суворову просто везло. Вот так каждый раз везло.

Бывает: дух побеждает грубую физическую силу. Храбрый, как самурай, Померанц одной левой оборол Шилкопляса, грозу карантина. Сам видел. Своими глазами. Так-то.

Каштанов раздул на вахте хипеж, привел в курилку начальника конвоя, надзирателя. Указал на Сашу, а сам завыл, как тюлень, на ОЛПе должно быть слышно. Сашу повели на ОЛП. Дорогою думал: «Влип». Но его на ОЛПе ждал не изолятор, как обычно положено за такие подвиги: его доставили прямехонько в санчасть.

— Каштанов разукрасил,— сказал надзиратель.

Судьба индейка. Мог бы в БУР попасть. Никто не внял тому, что Каштанов клепал на фашиста; не услышали даже, что Саша с топором гнался за начальником погрузки, чуть не порешил его. Каштанова хорошо знали, надоело разбирать его художества. То и дело кулаки тяжелые распускает. С другой стороны, план есть план. За простой вагонов Каштанов отвечает. Назначили начальником погрузки Каштанова — нет простоя вагонов. А с новичков надо спесь сбивать. Это как на фронте. Начальник должен себя поставить. Каштанов — с 24-го года, фронтовик, окопник, прошел от Сталинграда до Берлина, вырос от рядового до Ваньки — взводного. Медали, два боевых ордена: орден Красного Знамени, звездочка. «Где вы, ребята с двадцатого, мальчики с двадцать четвертого?» А Каштанов даже не был ни разу ранен, везло. В Германии развернулась и расцвела яркая, богатая натура Каштанова. Погулял, покуролесил. Есть что вспомнить. Скольких изнасиловал — со счета сбился. Изнасилует, припорет. Надежнее. Концы в воду. На войне, как на войне. Хорошо было, все подросшие немочки-девочки твои, любую бери. Рассказывал — отработанный рассказ. Бравада, самоуверенность.

В дверях:

— Негодяй!

Мать, наверно. А он на девочке. Схватил автомат, вскочил на ноги — штаны съехали. Выпустил обойму. Так и села, паскудина. Из белых, видать. Сволочь! Полез на девчонку, кончил. Ушел. Каштанов считает, что сидит ни за что. Так оно и есть. Незначительное воинское преступление, дали пять лет. За ерунду. Чего только не вытворял, а погорел на мелочи.

Саше в санчасти промыли, перевязали голову. Осчастливили: освобождение от работ, производственная травма. Две недели преспокойно куковал, искал утешения в головоломках Гегеля, которыми был зачарован. Повалялся две недели в бараке — неплохо.

Повезло Саше, сильно. С начальством не следует спорить («накладно», сказал бы Пушкин), Магалиф взбрыкнул, стыкнулся с мастером цеха: и был избит, и полетел с комендатского на лесоповал.

На погрузке Саша появился с внушительной нахлобучкой из бинтов.

Ирена по-быстрому утерла чистеньким, крошечным, вышитым у одного из уголков, батистовым платочком (остаток долагерной роскоши, еще с воли!) сбежавшую крупную слезу, застенчиво, радостно сделала заговорщицкую улыбку:

— О, как я о вас сильно тревожилась. Не связывайтесь с ним, ради Бога. Вы его не знаете — зверь, остерегайтесь!

Саша преспокойненько явился к Каштанову. И Каштанов держал себя с Сашей, как ни в чем не бывало. «Надо с ним быть начеку»,— решил Саша, подозревая скрытые, реваншистские, коварные поползновения Каштанова. Перемирие. Видеть морду Каштанова, оскал лошадиных зубищ — противно. Лагерь есть лагерь.

* * *

Из-за леса, из-за гор вышел дедушка Егор. На сизом, белесом, тусклом небе старалось сглазное, уже незаконное, несолидное, неверное, старчески бессильное, неторопливое, сугубо ласковое солнышко. Выдалась безветренная, просторная, немилосердно сквозная осень. Погожий, редкостный денек, каргопольская, немая, мирная, призрачная лепота, как на заказ. Поди, о таком состоянии мира поэт выискал в тайных закромах кинжально-вдохновенные слова:

Есть в осени первоначальной...
Ущерб, изнеможенье, и над всем —
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумно мы зовем,
Божественной стыдливостью страданья.

Он специально облюбовал удобный комелек бревна, долго усаживался на нем, наконец притулился, примостился. Тихо, как на цыпочках, подкралась тоска, накатила, заграбастала, необычно настырничает. Вот-вот Ирена выйдет вольняшкою из ворот комендантского ОЛПа. Они-то думали, что еще месяц. Месяц — вечность. Ее вчера вызвали в нашенскую спецчасть, объявили, чтобы сматывала удочки. Четыре денька, кот наплакал и — ту-ту! Сказали, что зачеты. Сказали: «Пляши, девка!» О зачетах как-то все умудрились намертво забыть. Когда-то были зачеты, сейчас нет. Срока у всех астрономические. Давно с комендантского никто не освобождался, даже те, кто по указу сидят, не говоря уже о злосчастной, черной 58-й. Первое освобождение с тех пор, как Саша в лагере. Сегодня на разводе она сказала Саше. И Саша нос повесил.

Четыре денька и — покедова! Четыре — число мистическое. Все к одному. Ирена старше его на четыре года. Женни, жена Маркса, старше Маркса, почитай, на четыре года. Четыре времени года: лето, осень, зима, весна. У Магомета четыре жены. У Эмпедокла четыре первостихии: вода, земля, воздух, огонь. У Гиппократа и Галена — четыре основных жидкости живого организма: кровь, слизь, желтая желчь, черная желчь. Четыре психологических типа: флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик. В Имени четыре символа: ИНЦИ. Четыре евангелиста, четыре евангелия. Четыре апокалипсических зверя. Четыре мировых монархии. В колоде четыре масти. А еще пифагорейская четверка, знаменитая. А еще четверка в каббале. Четыре протосюжета мировой литературы; четыре протоэлемента первоязыка Марра. Четыре части в поэме «Облако в штанах»: долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. Почудились ее шаги, озырнулся, шукнул глазами. Куда провалилась? Опять этот ханурик. Хлюпик. Вчера его нещадно метелил Каштанов. Сволочь. Бедные немки, что они претерпели! Погибнет, обречен: кривоплечий, затюканный, смурной малый, без возраста, без лица, без роста, похож на всех и ни на кого. Не запомнишь.

Невзрачный, задрипанный малый бочком проковылял мимо Саши, наладился к топорам, что поодаль крыльца конторы — много топоров всякое время, как идет погрузка, здесь валяется, брошено. Цап топор, бросил, другой схватил. Саша все это видит очень отчетливо, бесспорно, каждую деталь видит, но не понимает. Малый кладет свою левую руку на вершину бревна, на комельке которого поодаль пригорюнился, сидит Саша. Легко сказать, написать еще легче — да и Саша не новичок в лагере, видел виды, сам Шалимову бросал на руку бревно; у Саши глаза на лоб скаканули — спекся. Малый посуровел, с усилием приподнял топор, сосредоточился, зажмурил глаза, еще больше скособочился, отвернулся — тюк! Себе по пальцам. Не бывает, не должно! Глухой, отвратительный звук — «хруск», слабо слышный, но явственный. Мигом явилась, хлестанула как из крана восхитительно яркая кровь. Парень остолбенел, замешкался, распространил вокруг себя поле паники. Ошалело деранул к вахте, прямичком, как когда-то бежал Шалимов (шпалорезка и погрузка рядом), как совсем недавно на всех парусах от Саши улепетывал мощный Каштанов.

Тюк, значит; «хруск», значит. И это бархатное, неестественно мягкое, обольстительное, евнушистое, негреющее солнышко, безоблачная блеклость, безмятежная чистота, ясность во всей природе, раздолье для чистого зрения и созерцания. Тютчев сказал, что «нет согласья в стройном хоре, душа не то поет, что море». «Хруск» и — все. И боле ничего. Канареечка жалобно поет. На осенней, жухлой траве окровавленные пальцы, обрубки; их — два. Кровь теряла преувеличенно яркий, мистический цвет, жухнет на глазах, вот она уже цвета темной губной помады, вот она уже совсем нестрашная, запеклась. Пальцы упрямо живописно кровоточат, хотя и не дюже сильно. Они как бы продолжают жить. Особенно тот, что попал в лужу. Не сразу заметил. Еще один обрубок, указательный, видать, на бревне так и остался, влип, запечатлен, как память, непонятно чем и как держится, дурачком. Саша ощутил физическую боль, как если бы это был его палец, тот, что на бревне. Закрыл лицо руками. А ведь он не раз видел зэков-саморубов, еще больше слышал разговоров об этом деле. Лажовников-саморубов в лагере презирали, как хануриков, как последнюю шваль и букашек. В брюхе забулькало; гудела, бушевала Великая Французская революция, подступало к горлу приступом, удушливо вывернуло все нутро наизнанку ячневой кашей, которой вот уже полгода передовое лагерное начальство каждодневно глушило наш славный ОЛП.

Налетело воробье, пернатое царство, подкралось, клюет блевотину.

Отсел подальше, чтобы не видеть.

— Моя мордочка, что с нами?

Он забыл о ней, потому не заметил, как с улыбкой проказника-подростка, незаметная, неслышная, как тень, выпорхнула из дверей конторы Ирена, неслышно подбежала к нему сзади, поверх его рук наложила свои: «Ку-ку». Он отстранил ее руки, грубо; отчаянным глазом ткнул в натюрморт. Опять

закрыл лицо, почувствовал, что тянет, подступает к горлу удушливая, мерзкая, кислющая тошнота. «Больше нечем!»

— Ах, как ты меня перепугал! — закудахтала она, робко, торопливо взяла его руки, принялась изучать их, перебирала пальцы, щупала их, хотя понимала, что пальцы на руках Саши целы.— Что это, Сашуля? Час от часу не легче!

Не доверяя дозору глаз, она перещупала, пересчитала пальцы на обеих руках, еще раз сочла в обратном порядке, как считают колонки цифр у нас в конторе наши горе-бухгалтеры. Вроде все до единого. Легко успокоилась, шепнула на ухо Саше:

— Сегодня у свинули такие глазки интересные, совсем больные глазки, да?

Она потянула его за карман телогрейки.

— Кыш,— первопопавшееся; его лицо постепенно принимает непреклонное, отсутствующее выражение. Глаза — безумны, вращаются, блестят.

— Совсем нисколечки меня не кнокаешь. Не любишь! — с укоризной, будто бы обидевшись; целящими, нежными, тонкими пальцами гладит неровно стриженную машинкою, щетинистую голову, гладит лицо; плутовато, прелестно, тихо улыбается. Он глядит на нее, как сомнамбула. Обалделый, стеклянный, невидящий взгляд. Она смотрит на Ирену, а не на обрубки-пальцы, но перед его взором они, кровоточат, неодолимо ужасные, тошнотные. Они дерут, леденят душу. Как плохо мы себя знаем. Совсем не знаем. Мы даже не знаем, что не знаем себя. Греки на зря учили: познай самого себя. Это, сказывают, записано на храме Аполлона в Дельфах. Этому учит экзистенциализм — якобы. Кровоточащие обрубки-пальцы, один, что пришпилен к бревну, другой в луже, кровоточит, живет, навалились высшей, абсолютной реальностью на несчатного философа, душат, сдавили.

Философ, воин, рыцарь истины, витии долго, тупо, как жвачное, шевелит желваками; срывающимся, шибко скрипучим, неузнаваемым голосом разрешается от бремени:

— Нет, нет!

— Махонький, хрюша, посмотри на меня,— она дергает его. Она пытается вернуть его из скучного, опасного, глубокого приступа, вернуть на землю, наладить. Напрасный труд.— Какая тебя муха укусила? До чего ж ты глуп! Фу, злюка! Горе мне!

Она стихла, подчинилась, смотрела на него преданными собачьими глазами.

Он поднялся. Глаза его, как у полоумного, всерьез из орбит норовят выпрыгнуть, покатиться; он шевелит желваками, шевелит бескровными губами. Язык присох к гортани, но он все же срывающимся, непослушным, судорожным голосом вытолкнул со всего духа и враз страшное, новое слово.

ПОСТСКРИПТУМ

Я горячо верю, что читатель сумеет вообразить, каково было мое душевное смущение, растерянность, смятение, колыхание, когда я услышал из уст моего необыкновенного друга, отменного, упрямого, бескомпромиссно-невылазного апостола, нежданные, новые, беспрецедентные, глушительные, разительные, свирепые, самозабвенные, всесокрушительные, жутковатые, ни в какие ворота не лезущие, посягающие на святая святых речи:

— Проснись! Очнись! Очнись, куриная слепота! Я — контра! Пепел Клааса стучит в мое сердце. Если за несколько жалких дней, за неделю канта он, человек, уродует себя, уродует, чтобы уйти от смерти: рубит пальцы рук. Не хочу! Хватит, слишком. Не надо. Против, контра, и — баста! И никаких разговоров! Я против этой злокачественной, как рак, лживой, двуличной, отвратительной развратной, растлевающей, чумовой системы! Она наступает! Она всё, всех пожирает. Я был слеп, одурманен. Обмишулился, принял шаманский, колдовской, соблазнительный призрак за реальность.

Очень мудреные, странные речи.

Что я слышу? Откуда это все? Голова идет кругом. Жора, подержи мой макинтош. Причем тут антихрист? Мозги набекрень. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Оглушен какофонией речей. Ошарашен, обескуражен, астения в коленках. Стою под северным, архангельским небом, смотрю на Краснова, на бараки, на колючую проволоку, раззявил изумленную варежку. Свет в глазах померк. Высыпал холодный пот на лбу и испарина. Уши бы мои такого не слушали!

Что он узнал нового, чего до этого не знал? Сам же Савичу бросил шпалу на руку. И — ничего.

Почему?

Тут запятая, большая загогулина, точка с запятой.

Тут ситуация, обстоятельства, не все ясно.

Вопреки мнению отдельных, хорошо вышколенных, сметливых, быстрых на умозаключения умников, воздержимся до поры до времени называть их имена, я чохом и с порога отринул нелепую версию, что Краснов выкарабкался из плена-затвора постепенно, исподволь, что иное мировоззрение возникло подспудно, но оно долго не проявлялось. Нельзя пройти и не заметить суровых, неизбывных лагерных реалий, очевидностей. Нет и нет. Здесь уместно еще раз решительно, громко заявить, что Краснов был и остается истинным философом, интеллектуалом: никакой лагерь-разлагерь не мог сдвинуть его с места, изменить воззрения. Если бы речь шла не о Краснове, а обо мне, тогда другой коленкор. Охотно, откровенно, без всякого стыда сознаюсь, что даже не заметил, почему, как и когда в моем воображении чудесный образ Сталина померк, распался, перестал быть иконой, святыней, трансформировался в банального Бармалея. У меня вообще никакого мировоззрения, взглядов нет. Так, винегрет, окрошка, что-то болтается в урыльнике, цветок в проруби, а что — сам не пойму и не хочу понимать. Никакой внезапности, никаких скачков, начинка меняется, а почему, как — не интересно. Не моя сфера интересов. Читатель, чай, помнит, как я выпрыгнул из воронка с рюкзаком в руках — все, бобик сдох, второе рождение, не второе, а поди, четвертое; уже другой человек, как после огненного катарсиса; небо снизошло в мою душу. Но все эти перемены, вся эта новорожденность относится к сфере чувств, к мироощущению, а не к разуму. Да, к этому времени я изжил, избег, преодолел в себе мятежного Гамлета, выбрал себе иную душу, а с нею и иную судьбу. Есть поверие, на него ссылается Платон, что Одиссей, памятуя о своих злоключениях и мытарствах, о бесконечных бедствиях в подлунном, погрязшем в грехе мире, подбирая себе душу для вторичного рождения, предпочел, выбрал душу самого обыкновенного, заурядного, ничем не замечательного человека. Эту версию Платона развивает и муссирует Джойс в «Улиссе». Его Блум, как считают многие литературоведы, тот человек, кем по Платону стал Одиссей при вторичном рождении, в следующей жизни. Хочется, чтобы читатель вспомнил мой рассказ про то, как я очутился в шкафу, подслушал разговор взрослых, не поняв толком, что к чему, очутился в фантастическом, ужасном, кошмарном мире; моя матушка невзначай влила яд в преддверие детских, глупых, громадных, оттопыренных, музыкальных ушей, и я сорвался в мрачный миф, хорошо объясняющий почему меня чуть не засек до смерти разбушевавшийся, гонористый отец. Вообще-то мой миф был не хуже любого другого, не хуже того, в который был результатом высшего творения человеческого гения, в котором охотно жила подавляющая часть взрослого, разумного, трезво-рассудочного населения, обитающего на территории нашей великой, бескрайней, распластанной на два материка страны. Итак, я сорвался и угодил в когти злых, докучливых, неотвязчивых, мрачных демонов, изуродовавших безжалостно детскую психику, создавших мне безотцовство и вымышленный идеал, в который я страстно влюбился: сияющий призрак Маяковского, которого я почитал родным отцом, кровным, прекрасным, в котором видел гиганта и бога. Этот пленительный призрак, науськивающе путеводный, как наваждение, как дух убиенного датского короля Гамлета, сосал, как вампир, мое сердце, отчуждал, отлучал от семьи, от отца, от матери. Я, словом, спятил, хотя внешне оставался нормальным, уровновешенным юношей. Читатель, надеюсь, хорошо помнит, как моя безумная страсть к поэту естественно, силою вещей (да и не могло быть иначе!) перекинулась на Сталина, которого мои восхищенные, щедрые глаза увидели на мавзолее 7 ноября 1947 года. Всякая большая любовь — это умопомешательство. Со стороны она видится бзиком, фантазией, болезнью, колдовством. Брабанцио, отец Дездемоны не без основания полагает, что Отелло околдовал его дочь: «Что лишь искусством адским он достиг того, что совершилось». Вот я выскочил из воронка вслед за Красновым — опростался от призрака. Душе настало пробужденье. Воссияла простая истина. Пришла запоздалая разгадка ребуса, не «Гамлета» Шекспира, ибо он бесконечен (правы все, кого волнует, мучит эта трагедия!), а скажем аккуратнее, моего, вымышленного. Хотелось кричать, срывать голос: не верьте призракам, обольщениям! Гоните в шею их! Бесы рядом, у дверей, ловят нас. Люди, будьте бдительны! Шекспироведы справедливо считают, что «Гамлет» — самая интимная трагедия Шекспира, что ее намеки, аллегории приоткрывают дверь к тайнам души великого драматурга. Гамлет — это как бы сам Шекспир, это Шекспир по мощи интеллекта. Оговоримся, что сомнительным нам кажется утверждение, что только Гамлет мог написать все драмы, которые написал Шекспир. Интригу Гамлет плетет вяло, через пень-колоду, с грехом пополам. Не сравнишь его с гениальным Яго, истинным драматургом, драматургом божьей милостью, для которого интрига — это игра, фейерверк, искусство для искусства. Если, читатель, вас завлекут призраки, если Яго и его козни окутают, опаутинят ваше сердце, овладеют им — пишите пропало! Вы утратите все, радость жизни, трон, прекрасный замок Эльсинор, жизнь. Все в конце концов достанется наглому, хищному проходимцу Фортинбрасу. Один современный поэт предупреждает: «Опять победа Фортинбраса!». А чем лучше судьба рехнувшейся женщины, бегущей на свидание с призраком два раза в году, на 1 мая и на 7 ноября, раздавленной во время ходынки на похоронах великого вождя. Я уже говорил, что ее горький жребий — мой удел, не замети меня гэбэшники. И я бы рвался на последнее свидание! А что касается отношений моей матери и Маяковского, то, надеюсь, что читатель не был шокирован, обескуражен, введен в заблуждение, что у бездетного поэта нашелся сынок. Вывалившись из воронка, я понял, что никакой я не сын Маяковского, что это бред. Мать рассказывала Нинке об отношениях с поэтом. Всего и делов-то было, что самый талантливый поэт нашей эпохи разок чмокнул в щечку мою хорошенькую матушку, «тоненькую и длинноногую дуру» (Асеев), получил по фотокарточке, разом утратил весь пыл, гусарство, храбрость, вел себя прямо, как Дантес на квартире Полетики, когда к нему случаем залетела Наталья Николаевна Пушкина: вытащил откуда-то пистолет, приставил к виску. «Дурак!» — крикнула моя матушка. Маяковский опустил руку с пистолетом, подошел к зеркалу, увидел себя, заплакал. Моя мать была крепко удивлена, что эта сцена повторилась с другой женщиной, что Маяковский все же выстрелил. Мог ли выстрелить Дантес? У Толстого Вронский выстрелил. Как это ни парадоксально, но к Маяковскому я сохранил до сих пор восторженную привязанность и чем больше узнаю о нем гадостей, тем сильнее люблю его. А любовь, как известно, зла (козла), ей «нет закона», см. о любви также XIII главу «Первого послания апостола Павла к коринфянам». Я широко использую приемы и метафоры, которые нашел у Маяковского. Читатель мог заметить, что мое сравнение хрипа и рычания динамика с пением Высоцкого вычурно, чрезмерно, но это дань и поклон Маяковскому: «Терек шумит, как Есенин в участке...». Если я могу точно датировать, когда закончилась моя угарная страсть к великому Сталину, то ответить на вопрос, когда я вообще преодолел то, что позже стало именоваться культом личности, тяжко. Вот пошукал по сусекам и извилинам мозга, выцветилась, выудилась такая сцена. Я и Краснов лежим на нарах в 23-м бараке, на верхотуре гнездимся. Я наблюдаю за несусветной армадой клопов, что хаотично движется по потолку. Сколько же их! Чертова гибель! Эти гнусные твари имеют разум, и препорядочный! Визави с нашими нарами

усовершенствованные нары, нары с выдумкой, с изобретением. Вот что смекали народные умельцы, наша слава, те, что и блоху подкуют. Как бы толковее, понятнее объяснить сложную конструкцию. Это — остров: нары на штырях стоят, а каждый из штырей умно, хитро помещен в консервную банку с водой. За такие нары не жаль и Сталинскую премию. Но еще Шмайн доказал чисто математически, что на всякую хитрую лямбду эпсилон с винтом найдется. Со всех сторон к некоторой точке потолка движется войско клопов, а там, с этой точки клопы пикируют на заколдованные, научные нары гениальных умельцев. Дождь из клопов! Канальи! Откуда прыткость, сообразительность? А какой точный расчет. Без промаха асы сигают. Восхищенными глазами слежу за мазуриками, умницами. Тю-тю. (Метерлинк признавал разум у насекомых! И Бергсон. Впрочем, для Бергсона это скорее минус, изъян. Разум, рассудок — окостенение, это то, что противостоит интуиции, жизни, творческой эволюции). Может, не все разделяют мой восторг перед клопами? Может, кто-то осудит мое бездумное времяпрепровождение? Плевать. Если хотите знать, то сам Сократ, если верить Аристофану, восхищался блохами, усердно измерял прыжок блохи. А в 23-м бараке мы обитали до того, как нас, заразную, тлетворную нечисть, скверну, фашистов, энергично перегнали поганой метлой в 22-й барак, до первого великого переселения народов, серьезного, надрывного. Отдельный барак для фашистов, отдельный ОЛП, отдельный лагерь (действительно, вскоре 58-ю стали вывозить в особые лагеря!) — все это полумеры, паллиатив. Один разумный выход — уничтожить! Но еще общий барак, 23-й. Лежу с Сашей рядом, на верхних нарах. Радио отключено. Слава Богу. До чего же надоело! В 23-м бараке все зэки перепутаны, и бытовики, и 58-я, и указники. Все статьи кодекса. Все равны. Каждой твари по паре, как в Ковчеге, как у Босха на картине, изображающий «Рай». Радио включилось. Траурная музыка, марши. Сердце екнуло, забилось, забарабанило. Лежу, настороженно слушаю холерическим, вырвавшимся из-под контроля, предательским зачьим сердцем несравненную 6-ю симфонию Чайковского. А что, если? Надежда живет собственной жизнью, как образ в художественном произведении, не подчиняется воле, разуму. Возьми и легковесно спроси Краснова, а правда ли, что у Сталина на одной ноге шесть пальцев? Задал легкомысленный вопрос, а в это время радио подвалило сообщение о смерти Жданова! Да я ничего не имел в виду, не было никаких зыбких, пронзительных надежд, не было безумных перспектив! Ничего я не хотел — убей меня Бог!

— Идиотский вопрос! — с откровенной гадливостью и без всякой снисходительности разряжается и ухает Краснов.— Какое это имеет значение?

Ляпсус. Умом-то и разумом-то я отлично понимаю, что никакого. Тем не менее мне хотелось задержаться, почесать язычок на эту тему. Еще очень жаждалось знать, правда ли, что у великого кормчего, творца генеральной линии, рябое лицо? (В дореволюционном сухом бюрократическом подлиннике сказано: «Рожа рябая, на одной ноге шесть пальцев». Это — особые приметы жандармского сыска.) Правда ли, что курит он исключительно «Золотое руно»? После категорично-брезгливой, энергичной реплики я не решаюсь легковесничать. Полагаю, что в моих мозгах была основательная сумятица, трали-вали, сумрак, смущение. Уже не было былого бурлящего, бьющего через край восторга. Когда вытек, испарился, усох — не припомню. Подспудность вызревания — мое врожденное, природное качество. Мое, а не Краснова. У меня в котелке одна бренная извилина, отнюдь не протуберанец, два катаются шарика. Они так как-то крутятся, вертятся, позволяют мне не проносить ложку мимо рта, отличать день от ночи (впрочем, я прибедняюсь: на свет реагирует и дождевой червь!) Я не привык докапываться до философской сути, до корней, сводить концы с концами. На этот счет я никогда не обмишуливаюсь, не заблуждаюсь. Знаю, тонка моя философская кишка. Проживу как-нибудь и без вашей толстой кишки.

У Краснова все иначе, не как у меня. Я далек от мысли, что понимаю его полностью. Если мы в себе-то как следует не разберемся, что мы можем о других сказать? Что-то можем. Режьте меня, кромсайте тесаком на жалкие, мелкие кусочки, крошите, устраивайте зверскую, бесчеловечную расчлененку моему выхоленному телу, но оппортунистическую версию, что Утопия размылась в мозгах моего друга постепенно, подспудно, не приму. Тут, как у Савла, взрыв, катаклизм, вулкан. Знаю, что как раз накануне того эмоционального взрыва, вызванного, скажем, видом живой крови, пальцев-обрубков, запахом, тошнотворным запахом крови, смешанным с ароматом гниющей древесины, хвои, под чьим напором, я настаиваю, разом во все стороны разлетелись, как от фугаски, всепожирающие абстракции, Краснов заглянул в мой барак, призвал проветриться, прошвырнулся по ОЛПу «на сон грядущий». Я накинул только что выданную, новенькую телогрейку, и мы вытряхнулись: нырнули в нахлобучившуюся на Каргопольлаг ночь. Темень шурует непроглядная, обволакивающая, продырявливающая душу; хоть убей — ни зги не видно, глаз выколи. Это — первое впечатление. Замечаю, что справа, в черной мути, прожектора на вышках режут желтым, невыносимо мертвенным светом влажную, густую враждебную темноту, да гирлянды лохматых, разбухших лун по сто свечей каждая рвут мертвенной радугой пространство, где начинается запретная зона. Безнадега, туга, сиротство, бесприютность. Не верится, что где-то на планете иная жизнь, счастливая, где-то кипящая, сверкающая огнями Москва, счастливые влюбленные парочки, музыка, консерватория, Рихтер. Нет Москвы, нет Рихтера, нет влюбленных пар, танцев, музыки, а везде один лагерь, сплошной, вечный лагерь и его тысячелетнее царство. Хочу назад, в вонючий барак, к людям. К братьям зэкам! Мы с Тамарой ходим парой, как одержимые кренделим по ОЛПу; Краснов в ударе, абстрагировался, вдохновенно заратустрит:

— Лебедь мой, хочу привлечь твое внимание к одному непостижимо глубокому месту в «Утопии». Оно свидетельствует о подлинном знании человеческого сердца. Я порою излагаю эскизно, пунктирно. Рассчитываю на понимание, на творческое восприятие. Я говорил и не перестану повторять, что по своей природе человек лжив, подл, неприемлемо опасен, что ему нужна узда, железная узда, нужна несвобода, браслеты, смирительная рубашка, тюрьма, лагерь. Душа человека на крыльях рвется к высшей справедливости: к равенству. Тоскует, стенает, мучается под тяжким бременем свободы, гибельной свободы и неравенства: люди по природе не равны. Есть, к примеру, дефективные, олигофрены, импотенты. Есть рыжие. Есть карлики, пигмеи. А жажда справедливости, равенства, правды в человеке всепоглощающа и ненасытна! Страшная антиномия! Томас Мор и все великие учителя человечества, Маркс, Энгельс знали это, принимали в расчет, нашли единственный выход. Справедливость, всем сестрам по серьгам, меры равенства должны быть привнесены в общество не на либерально-гуманной основе, а насильственно, опираясь на цветущую мощь государства. Простая, ясная, солнечная истина! Давно, ой как давно пора защитить и спасти человека от него самого, насильственно обуздать, укротить, стереть его подлое, гнусное, ядовитое «эго», разрушить индивидуальность, личность, самость, махровое «я». Все, кто глубоко задумывался о природе человека, приходили к этой идее. Платон величал человека «божественной куклой», а вот кто-то назвал Зойку «чертовой куклой» — так надо назвать человека, тебя, меня, любого, Бетховена, Ньютона, Эйнштейна. Себя я не исключаю. Да, я утверждаю, что человек — это чертова кукла, принял на вооружение, и эту куклу надо нудить в лагере и ни на секунду не сводить с нее автомата. В чьих руках автомат — особый вопрос. Важный, не спорю. Вопрос вопросов, который должны мы решить, теоретики марксизма. Не люблю Достоевского, но он разительно прав. Сказал: «Смирись, гордый человек». И Ницше, куда денешься, был прав, когда говорил, что человек — это «стыд и позор», что он должен быть изжит, преодолен. И Фрейд с его «подсознательным» прав. Шекспир заявил в Гамлете, что люди «отменные мерзавцы». Он же: «Если бы каждого из нас принимали по заслугам, то никому не избежать розог». Отлично сказано. Мысль самого Шекспира, выстраданная, выношенная. А возьми молитвы христианских святых — вот уж кто знал сердце человека. Христианство призывает отвер-

нуться от ветхого человека, человека-подлеца, зовет к новой земле и новому небу. О новых людях трубит чуткая к правде русская литература. И вся тревожная поэзия. Маяковский, Гумилев — «шестое чувство». Пастернак: «Телегою проекта нас переехал новый человек». Все, все! О гибельности свободы не раз предупреждал Пушкин. Когда будет побеждена, сломлена, преображена, переделана природа человека, когда человек преодолеет подлое, омерзительное «я», только тогда будет возможен скачок из царства лагеря в царство свободы. А пока принудительное равенство и лагерь без поблажек и колебаний и границ. В лагере будут побеждены бушующие, черные страсти, разрешатся страшные антиномии, выпрямится извращенная природа человека!

Обращаю внимание. Как тебе понравится! Гляди. Форма нашего ОЛПа в точности соответствует острову, который Мор описывает в «Утопии». Четырехугольник со сторонами: 1, 2, 3, 4. Случайность?

— И впрямь,— с готовностью соглашаюсь я, изумленный, взволнованный. Очень помню этот разговор, потому что геометрической соотнесенностью ОЛП-2 с островом, который в «Утопии», уловил мое сердце Краснов. Так бывает, читатель. Я с математикой не дружен, но, видать, мне передалась от отца склонность к геометрическому, символическому восприятию сумбурной картины мира. На днях перечитал «Утопию» Мора. Не обнаружил в ней рокового четырехугольника. Что, Краснов спутал?

Это говорилось накануне, свидетельствую; а на следующий день погода угодливо переменится, золотая осень, бабье лето; на следующий день Саша услышит об освобождении Ирены, увидит отрубленные, кровоточащие пальцы, произнесет самозабвенную, всесокрушающую, крамольную речь.

P. P. S.

Я стараюсь, из кожи лезу вон, чтобы раскрыть тебе, читатель, тайну, как меняется мировоззрение человека, почему великая утопия, дерзким открывателем и уточнителем которой был мой друг Краснов, полетела в бездну, в черные, захватывающие дух тартарары, а ты и не следишь за моей мыслью. Я расцвечиваю, расшифровываю, разгадываю, а тебе до фени. Знаю, читатель, что одно тебе интересно, было ли что между скромноокой прелестницей-полячкой и Красновым?

Отвечу.

— Я за ноги не держал,— так срезали фраеров у нас на комендантском. Отличное, очень уместное выражение. Вполне приличное, литературное.

Из пущей деликатности я не лез в грязных галошах в душу застенчивого, восторженного юноши, не вытряхивал из него подробности: как, мол, и что? Не спешил. Спеши, но исподволь. Символ этого выражения: дельфин. Краснов сам разговорится, оплошно обронит словечко. Куда ему деться? Так бы оно и было. Не мог же я предугадать, что Краснов, забодай его, дурня, комар, отчебучит цирковой трюк. Наломал дров! Словом, проглядел я нечто важное, серьезное. Дело в том, что в день, когда Ирене было положено выйти из лагеря, юному философу моча в голову ударила: рванул в побег. Безрассудство. Наглый, немотивированный дерзкий побег. Угораздило же удалую, безоглядную, влюбленную головушку! Спятил, что ли? Побег из рабочей зоны обычно квалифицируется как экономическая контрреволюция: 58 — 14. Умопомраченный философ бежал из лагеря, но, видать, образумился, опамятовался, объявился сам на вахте. В проходной, как паинька: вот я! Повинную голову меч не сечет. Чаще сечет. Странненько, чего только не было; Краснову сошло с рук. Не то, что совсем ничего за этакое не было, но не судили. Суда не было. Я точно знаю. Не путайте, читатель, Краснова с Красиным, подельником Кузьмы, Шмайна, Александрова и др. Красин деранул по дороге на Колыму, с этапа. Красина судили. Срок-то у Вити вырос не ахти, было 8, стало 10. А Краснова не судили, хотя форфурку в одно место вставили. В конце 1949 года Краснова этапировали с комендатского ОЛПа на штрафной, в самую Индию, где вечно пляшут и поют, туда, к Олегу.

Я осиротел.

Думаешь, как лучше, а получилось хуже. Принимал близко к сердцу, что мой друг на шпалорезке вкалывает, решил вытащить его на придурковую работу, подсуетился, замолвил словечко, устроил учетчиком погрузки. Вроде все хорошо. А чем кончилось? Штрафной ОЛП! С тех пор я зарекся вмешиваться без спроса в чужую судьбу. Если кто попросит, другое дело, помогу. Душа каждого человека пророчески знает, где ему лучше быть.

В лагере с Красновым я уже больше не пересекся.

Уже в хрущевское время, когда лагерные невзгоды были позади, я запустил крючок любопытства в интересующем тебя, читатель, направлении. Древние считали (Плавт): «каждый любопытствующий зложелателен». Никак нет. Я тихо, осторожно под сурдинку подгребся к теме, келейно спросил. Я полагал, что рана души, если и была, то затянулась. Краснов долго, беззвучно хлопает неестественно побелевшими губами, заклокотал, запыхтел, как паровоз; лапидарно отверз уста:

— Эту тему я не намерен обсуждать. Уволь.

Отбрил — правленная бритва; сам же увял, улыбнулся через силу:

— Извини.

Я проглотил досаду. Не совсем ловко вышло. Мне-то казалось, что я оставался в границах такта. Оказалось, что Краснов к своим интимным тайнам не подпускал на пушечный выстрел.

Ирена вышла из лагеря, в Коноше получила паспорт, направление куда-то под Львов, где обитала ее мать. Так или иначе, а с Красновым судьба их не свела, хотя после XX съезда Ирена делала не один яростный, бурный налет на Москву. Знаю еще, что она упорхнула в Воркуту: «выходить замуж» — злые языки трепали сплетню. Там, на Севере, она действительно вскоре выскочила за земляка (за поляка). Когда стало попроще, перебрались с мужем в Польшу. И там след ее потерялся. О ней давно уже ни слуху, ни духу. Где вы теперь? Чем сердце успокоилось и успокоилось ли?

Конец первой части

СТИХИ ПОЭТОВ ПЛОВДИВА

Петр
АНАСТАСОВ

◆◆◆

Я знаю, в чем тут дело,
Только видится упорно:
Голуби, что были белы,
Ныне — черны.

Страшно в мире, как в больнице.
Мир боится: «Вдруг исчезну?»
Ясно видят ясновидцы
Только край, предел и бездну.

Ты редка, подобно чуду,
Радость, милый дар непрочный,
Ну, а зло — внедрилось всюду.
Как наместник полномочный.

Зло внутри нас, в мысли, в слове,
В серединке, в сути сущей,
В сердце, в разуме и в крови,
В ткани раковой растущей.

Не состав ли извратился
Человеческой природы
Так, что каждый превратился
В существо иной породы?

Не пытайте, кто в ответе —
Сам я этим огорошен:
Дух людской на белом свете
Беспризорен и заброшен.

Он ли цели ставил смело,
Путь прокладывал упорно?
... Голуби, что были белы,
Ныне — черны.

Александр
БАНДЕРОВ

◆◆◆

Отравленным едва ль не с колыбели
Неумолимой логикой приказов,—
Кто нам вернет сегодня чувство цели,
От гибельных спасет нас метастазов?

Не мы ли слепо верили в «так надо»—
И стали ядрами для катапульты?
Не мы ли шли колоннами парада
Пред смерзшейся, громадной глыбой
«культа»?

Встречаясь с диктатурой повседневно,
Безличной, оживавшей год за годом,
Не мы ли все изъязвлены душевно
И обожглись, чтоб не погибнуть, йодом?

Оглядываем пройденные тропы,
Оцениваем нового приметы:
В обмен на все сердечные синкопы
Что нам досталось ныне? «Хэви метал»?

Бесшумны отблески далеких молний
Под вечереющими облаками,
И тени прошлого кричат безмолвно,
Впечатанные, вжавшиеся в камень.

Былое отшумело безвозвратно.
Кого винить, скажите, бога ради?
И многое тревожно-непонятно,
И нет ответа в ленинской тетради.

Антон
БАЕВ

Стихи о стихах

Присев за мой трехногий стол у очага родного,
Пишу стихи карандашом средь сумрака ночного.

Но лишь рассвет в окне блеснет, опять приходят сроки
Стирать рожденные во тьме мои ночные строки.

И вновь под вечер карандаш точу в моем жилище,
Невозмутимый, как богач, перед которым — нищий.

Ну, а пока — прошу в мой дом, приятели-всезнайки,
Курите, пейте у огня, рассказывайте байки!

И, чистят женщины пока вам фрукты для компота,—
Летит в огонь моя строка, бессонная работа.

Клокочет варевом в горшках, пар из-под крышек плотных —
А я картошку вам пеку на рифмах искрометных...

Марко
МАРКОВ

◆◆◆

Рисуйте море мирным и мятежным,
Пустынным и несущим корабли.
В грозу. При солнце. При луне.
Безбрежным
И — с берегом, чуть видимым вдали.

Рисуйте море — красками, словами,
Как можете! Но — так, чтоб хоть одна
За рамку, обозначенную вами,
Выплескивалась вольная волна!

Сверчок

Вечереет. Сгущается мрак
В запыленном оконном проеме.
Пей, сверчок, мой последний земляк
И хозяин в покинутом доме!

Подниму я на небо глаза —
В небе звездный горит виноградник.
И сорвется звезда, как слеза,
И слетит — прямо в наш палисадник.

Как умирает сельский дом

Как умирает сельский дом?
Я расскажу вам. Постепенно
Ветшает кровля, а потом,
Дряхлея, оседают стены.

Ни слов, ни слез. Лишь ветра вой
Звучит вблизи и в отдаленье.
... И рухнет печка на колени
Перед ворвавшейся травой.

Подстрочник

Поэт, мечтатель, полуночник,
Я понял: жизнь моя пока —
Лишь слабый перевод-подстрочник
С неведомого языка.

Там, в замысле, в оригинале,
Быть может, Истина живет,
Но страшно мне: смогу едва ли
Дать настоящий перевод...

Перевел с болгарского
Илья ФОНЯКОВ

Цветана
СЕСТРИМСКА

Сбор винограда

Спасенья нет! О, нет спасенья
от оглупляющей любви.
У входа в ад — столпотворенье,
а в рай меня ты не зови.
Сбор винограда. Дверь открою —
пора бы сборщиком прийти.
Один — как солнце предо мною,
как сердце жаркое в груди.
Вкус виноградных гроздьев сладок,
я над собою не вольна...
И я войду в ворота ада
с греховным именем — жена.

Перевел
Михаил ОКУНЬ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

«ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА», ИЛИ НЕВЕСЕЛЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ СВЕЧАХ

Комедия в двух действиях

Назвать деспота деспотом
всегда было опасно.
А в наши дни настолько же
опасно назвать рабов рабами.
Р. Аау тагава

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кирсанов Станислав Александрович, 58 лет.
Зоя Сергеевна — его жена, 54 года.
Александр — их старший сын, 30 лет.
Сергей — их младший сын, 22 года.
Пинский Александр Рувимович — старый друг, 58 лет.
Базарин Олег Кузьмич — добрый знакомый, 55 лет.
Артур — друг Сергея, 22 года.
Егорыч — сантехник, 50 лет.
Черный Человек.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвижными ящичками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок.

Посередине комнаты — овальный стол,— скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета:

хозяин дома профессор Станислав Александрович Кирсанов, рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородищей, с подчеркнуто-величавыми манерами потомственного барина, в коричневой домашней толстовке и спортивных брюках с олимпийским кантом;

супруга его, Зоя Сергеевна, маленькая, худощавая, гладко причесанная, с заметной сединой, нрава тихого и спокойного, очень аккуратная и изящная (в далекой молодости — балерина),— она в строгом темном платье, на плечах — цветастая цыганская шаль;

их сосед по лестничной площадке и приятель дома Олег Кузьмич Базарин, толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плеши — серебристый генеральский бобрик, много и охотно двигает руками, когда говорит — для убедительности, когда слушает — в знак внимания, одет совершенно по-домашнему — в затрапезной куртке с фигурными заплатами на локтях, в затрапезных же зеленых брючках и в больших войлочных туфлях.

Из телевизора доносится: «Итак, товарищи... Теперь нам надо посоветоваться... Вы хотите выступить? Пожалуйста... Третий микрофон включите...»

Кирсанов. Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу...

Базарин. Бывают и похуже... Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно...

Зоя Сергеевна *(наливая чай)*: Вам покрепче?

Базарин. Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе...

Кирсанов *(с отвращением)*: Нет, но до чего же мерзопакостная

рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!

Разговор этот идет на фоне телевизионного голоса — рявкающего, взрыкивающего, митингового: «Я говорю здесь от имени народа... Четверть миллиона избирателей... И никто здесь не позволит, чтобы бесчестные дельцы наживались, в то время как трудящиеся едва сводят концы с концами...» Голос Нишанова: «То есть я вас так понимаю, что вы предлагаете голосовать сразу? Очень хорошо. Других предложений нет? Включите режим регистрации, пожалуйста...»

Кирсанов. Сейчас ведь проголосуют, ей-богу.

Зоя Сергеевна. А это с самого начала было ясно. Неужели ты сомневался?

Кирсанов. Я не сомневался. Но когда я вижу, что они сейчас проголосуют растратить шестнадцать миллиардов только для того, чтобы неведомый нам Сортир Сортирыч получил возможность за мой счет ежемесячно ездить в Италию... и даже не сам Сортир Сортирыч, а его зять-внук-племянник... Только для этого заключается контракт века, который по сю сторону никому решительно, кроме Сортир Сортирыча, не нужен... загадят территорию величиной с Бенилюкс... отравят двадцать четыре реки... завоняют всю Среднерусскую возвышенность... Но зато племянник Сортир Сортирыча на совершенно законном основании сможет теперь поехать за бугор и купить там себе «тойоту»...

И в этот момент в квартире гаснет свет.

Кирсанов. Что за черт! Опять?

Базарин *(уверенно)*. Пробки перегорели. Говорил я вам, что не надо этот подозрительный самовар включать...

Кирсанов. Да при чем здесь самовар?.. Подождите, я сейчас пойду посмотрю... Ч-черт, понаставили стульев...

Зоя Сергеевна. Нет, это не пробки перегорели. Это опять у нас фаза пропала.

Базарин *(с недоумением)*. Куда пропала? Фаза? Какая фаза?

Слышны какие-то шумы и неясные голоса с лестницы (из-за кулис справа), голос Кирсанова: «А в том крыле? Что?.. Понятно... Ну, и что мы теперь будем делать?..» Базарин, подобравшись в темноте к окну, отдергивает штору. За окном падает крупный снег, там очень светло: отсветы уличных фонарей, низкое светлое небо, в огромном доме напротив — множество разноцветно освещенных окон.

Кирсанов *(появляется из прихожей справа)*. Поздравляю! По всей лестнице света нет. И по всему дому, кажется...

Зоя Сергеевна. Ну, по крайней мере, не так обидно. Фаза опять пропала?

Кирсанов. Она, подлая... *(Подходит к окну.)* Живут же люди, горюшка не знают! *(Зое Сергеевне.)* Лапа, а где у нас были свечки?

Зоя Сергеевна. По-моему, мы их на дачу увезли...

Кирсанов. Ну, вот! За каким же дьяволом? Это просто поразительно — никогда в доме ни черта не найдешь, когда надо!..

Базарин. Станислав, побойся бога. Зачем тебе сейчас свечи? Второй час уже, спать пора... *(Спохватывается.)* Тьфу ты, в самом деле! У меня же в холодильнике суп, на три дня сварено. И голубцы! Теперь, конечно, все прокиснет...

Зоя Сергеевна. Ничего у вас не прокиснет, Олег Кузьмич, вынесите на балкон, и все дела.

Кирсанов *(от бюро, с торжеством)*: Вот они! Видала? Вот они, голубчики... *(Передразнивает.)* «На дачу, на дачу...»

Зоя Сергеевна. Ой, а где же они были?

Кирсанов. В бюро они у меня были. В бюро! Очень хорошее место для свечей. Интересно, как бы ты без меня существовала в этом мире?.. Где спички?

Зоя Сергеевна. А в бюро их у тебя нет? Замечательное место для спичек...

Кирсанов *(укрепляет свечи в канделябрах на бюро и расставляет по столу)*. Ладно, ладно, лапа, сходи на кухню, все равно стоишь...

Базарин *(чиркает спичкой, свечи загораются одна за другой)*. Да на кой ляд вам это понадобилось, в самом деле? Спать давно пора...

Кирсанов. Ну куда тебе спать, ты же сейчас человек одинокий и даже в значительной степени холостой... Сиди, пей чай, наслаждайся беседой с умными людьми...

Из-за кулис справа появляется длинная черная фигура — рослый человек в блестящем мокром плаще до пят с мокрым блестящим капюшоном.

Черный Человек *(зычно)*. Гражданин Кирсанов?

Кирсанов *(ошеломленно)*. Да... Я...

Черный Человек. Станислав Александрович?

Кирсанов. Да! А в чем дело? Как вы сюда попали?

Черный Человек *(зычно)*. Спецкомендатура Эс А! *(Обыкновенным голосом.)* У вас дверь приоткрытая, а звонок не работает. Паспорт ваш будьте добры...

Кирсанов. Какая еще комендатура? *(Достает из бюро паспорт и протягивает Черному Человеку.)* Какая может быть сейчас комендатура? Ночь на дворе!

Черный Человек берет паспорт, и тотчас же во лбу у него загорается электрический фонарь наподобие шахтерского. Внимательно перелистав паспорт, он молча возвращает его Кирсанову, а сам распахивает большой черный «дипломат» и, держа на весу, некоторое время роется в нем.

Черный Человек. Распишитесь... Вот здесь...

Кирсанов *(расписываясь)*. А в чем, собственно, дело? Вы можете мне толком объяснить — что, куда, откуда? Войну, что ли, объявили?

Черный Человек *(вручает Кирсанову какую-то бумажку)*. Получите.

Кирсанов *(смотрит в бумажку, но ничего не видит, света не хватает)*. Я ничего здесь не вижу! В чем дело? Вы что — объяснить не можете по-человечески?

Черный Человек. Там все сказано. Будьте здоровы.

Фонарик его гаснет, а сам он как бы растворяется во тьме.

Базарин. Ну и дела!

Кирсанов *(раздраженно)*. Не вижу ни черта... Зоя! Где мои очки?

Зоя Сергеевна. Дай сюда... *(Отбирает у мужа бумажку и читает вслух.)* «Богачи города Питера!..»

Базарин и Кирсанов *(одновременно)*. Что-о-о?

Зоя Сергеевна *(после паузы)*. «Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь с собой документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель-комендант спецкомендатуры Эс А»... Подписи нет, какая-то печать. Господи, что это значит?

Базарин. Это значит, что документы надо сразу же спрашивать, вот что! Извините... *(Осторожно берет бумажку из рук Зои Сергеевны.)* Печать!.. Я вам такую печать из школьной резинки за десять минут сварганю... *(Переворачивает бумажку.)* Так... Кирсанову Станиславу Александровичу... адрес... Правильный адрес... Ну, и как прикажете это понимать?

Кирсанов *(нервно)*. Дай сюда... *(Он уже нашел и нацепил очки.)* Не понимаю, что это может означать — Эс А? Советская Армия?

Базарин. Социалистическая Антарктида... Судорожная Аккредитация... Чушь это все собачья, и больше ничего! Двери надо за собой запирать

как следует. Интересно, Зоя Сергеевна, как там ваша шубка в передней поживает? Я у вас там, помнится, шубку видел...

Зоя Сергеевна, подхватившись, выходит в прихожую.

Кирсанов *(озаренно)*. Эс А — это Штурмабтайлунг!

Базарин *(непонимающе)*. Ну?

Кирсанов. Штурмовые отряды! Эс А. Ну, помнишь — у Гитлера?

Базарин. При чем здесь Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время?

Зоя Сергеевна *(возвратившись)*. Шуба цела... И вообще все как будто цело... Нет, это был никакой не жулик...

Базарин. А кто же тогда?

Зоя Сергеевна. Откуда мне знать? А только это был не жулик и не шутник. Может быть, военный... или милиция... или органы...

Базарин. Удивительно знакомая рожа лица! Станислав, а? Тебе не показалось? По-моему, у тебя аспирант такой есть... как его... Моргунов... Моргачев... Ну, на Новый год у вас был, длинный такой, сутулый... Зоя Сергеевна!

Кирсанов, ничего не слыша, читает и перечитывает повестку, сдвинув к себе все канделябры.

Кирсанов. Какой я им богач! Что они — совсем уже с ума посходили? Нашли богача, понимаете ли. Драгоценности им подавай... Валюту... Идиоты!

Базарин. Ты что? Серьезно все это воспринимаешь?

Кирсанов. Замечательно интересное кино! А как ты мне еще прикажешь все это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает, понимаете ли, повестку... явиться, понимаете ли, со сменой белья... Послушай, дай-ка я радио включу.

Он подбегает к бюро и включает репродуктор. Комната оглашается сухим мертвенным стуком метронома.

Кирсанов. Ну вот, пожалуйста! А это как прикажете понимать?

Базарин. А что тут такого? Два часа ночи.

Кирсанов. Ну и что же, что два часа ночи? Где это ты слышал, чтобы метроном по радио передавали в мирное время?

Базарин. А что, разве не полагается? Я, честно говоря, трансляцию и не включаю никогда...

Кирсанов. Я, честно говоря, тоже никогда не включаю... Может быть, так оно и должно быть, но когда я эту хренацию слышу, я сразу же блокаду вспоминаю... Ну его к черту! *(Выключает репродуктор.)* Испортили все-таки настроение, подонки... Так хорошо сидели...

Базарин. Зоя Сергеевна, можно, я еще одну штучку выкурю?

Зоя Сергеевна *(рассеянно)*. Курите.

Кирсанов. Дай-ка и мне, пожалуй, тоже...

Базарин *(укоризненно)*. Станислав!

Кирсанов. Ничего, ничего, давай... Сегодня можно. Гляди, как руки трясутся, смех и грех, ей-богу!

Базарин. Ты бы лучше корвалола выпил, чем закуривать.

Кирсанов *(закуривает от свечи)*. Нет, но как тебе это нравится! Богача отыскали!..Только ты мне не говори, что это чьи-то шутки. За такие шутки сажать надо! За такие шутки я бы...

Зоя Сергеевна *(прерывает его)*. Позвони Сенатору.

Кирсанов. Что?

Зоя Сергеевна. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Да ты что — сдурела? Лапочка!

Зоя Сергеевна. Позвони Сенатору, я тебя прошу.

Кирсанов *(тыча пальцем в сторону телевизора)*. Он же на сессии сейчас сидит!

Зоя Сергеевна. Он должен был сегодня прилететь, мне Анюта говорила. Позвони, прошу тебя!

К и р с а н о в *(нервно)*. И не подумаю. Стану я среди ночи беспокоить человека из-за какой-то дурацкой ерунды!

Б а з а р и н. Да, Зоя Сергеевна, тут вы, знаете ли... В самом деле — неловко. Конечно, это очень удобно — иметь среди своих добрых знакомых члена Верховного Совета, но, согласитесь, что это все-таки не тот случай...

З о я С е р г е е в н а. Откуда вы знаете, какой это случай?

Б а з а р и н. Н-ну... Как вам сказать... Лично я не могу к этому серьезно относиться, как хотите. И вам не советую.

К и р с а н о в. Главное, что я ему скажу, ты подумала? *(Язвительно.)* «Богачи города Питера!». Да он пошлет меня к чертовой матушке и будет прав. Если уж звонить, то тогда в милицию. Там, по крайней мере, хоть дежурный не спит. Во всяком случае, не должен спать, раз он за это деньги получает...

Б а з а р и н *(решительно)*. Никуда звонить не надо. Совершенно очевидно, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Сегодня же старый Новый год, вот и развлекаются какие-то кретины!

З о я С е р г е е в н а *(тихо)*. Старый Новый год завтра.

К и р с а н о в *(он снова внимательно изучает повестку)*. Это рэкетиры какие-нибудь! Знаете, что у них здесь на печати написано? «Социальная ассенизация»! Идиоты! И рассчитывают на полнейших идиотов!.. Кстати, что это такое — СКК имени Ленина?

Б а з а р и н. Спортивно-концертный комплекс. Это где-то на юге, возле Парка Победы.

К и р с а н о в. Ну вот! Оставлю им все на столе, а сам поскачу с бельем на другой конец города...

Б а з а р и н *(с большим сомнением)*. М-да, это вполне возможно. Только, по-моему, он очень похож на твоего Моргачева...

К и р с а н о в. На какого Моргачева?

Б а з а р и н. Ну, на Моргунова... На аспиранта твоего, как его там...

К и р с а н о в. Ты, кажется, всерьез полагаешь, будто я уже не способен узнать собственного аспиранта?

Б а з а р и н. Извини, но я ничего не полагаю. Я только тебе говорю, что он очень похож...

К и р с а н о в. У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо жулик, черт его подери, либо идиотский шутник!

Б а з а р и н. Ну, извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я тоже считаю, что это идиотская шутка и что нам всем надо успокоиться. Зоя Сергеевна, я вас умоляю: успокойтесь и не берите в голову. Хотите, я чайник поставлю? Газ, я надеюсь, еще не выключили?..

В прихожей хлопает дверь, и в комнате появляется Александр Рувимович П и н с к и й. Это длинный, невообразимо тощий человек, долговолосый, взлохмаченный, с огромным горбатым носом и с неухоженной бороденкой. Он старый друг семьи Кирсановых, живет двумя этажами выше по той же лестнице, поэтому он в пижаме и тапочках, а поверх пижамы — в некогда роскошном восточном халате. В руке у него листок бумаги.

П и н с к и й *(возбужденно)*. Слава богу, вы не спите... Как вам это понравится? *(Он швыряет бумажку на стол.)* По-моему, это уже переходит все пределы.

К бумажке тянутся все трое, но быстрее всех оказывается З о я С е р г е е в н а.

З о я С е р г е е в н а *(читает высоким, ненатуральным голосом)*. «Жиды города Питера!..». Что это такое?

П и н с к и й. Читай, читай, дальше там еще интереснее.

К и р с а н о в. *(отбирает у жены листок)*. Позволь. Дай мне. *(Читает.)* «Жиды...» Так. «Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион „Локомотив". Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонементные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции — оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию...» Так. Тут у них что-то зачеркнуто... А, понятно. «Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны...» Но это как раз вычеркнуто. То есть в оставленные квартиры проникать можно... Ну и, конечно, председатель-комендант-ассенизатор. Подписи опять нет, а печать есть. Та же самая...

П и н с к и й *(кипя)*. Ну что — узнаёте? Что вы на меня вытаращились? Неужели не узнаёте? Олег Кузьмич, вы же у нас в некотором роде историк, вы же у нас специалист по межнациональным отношениям!.. Вижу, что ни хрена вы не узнаёте и не помните ни хрена. В сорок первом году, в Киеве немцы такое же вот расклеивали по стенам, почти слово в слово... «Жиды города Киева»... А потом — Бабий Яр! Неужели не помните?... *(Торжествующе.)* Вот они, наконец,— высунулись ослиные уши, хулиганье фашистское, доморощенное! И ведь главное — совершенно уверены, что какой-нибудь еврей обязательно с перепугу попрется к восьми часам, а они там будут на него глазеть и ржать, как жеребцы, и пальцами на него указывать...

З о я С е р г е е в н а *(Кирсанову)*. В последний раз тебя прошу. Позвони Евдокимову.

К и р с а н о в. Погоди, лапа. Дай разобраться. *(Пинскому.)* Откуда у тебя эта бумажка?

П и н с к и й. Да только что принес какой-то гад. Наглец хладнокровный, еще расписаться заставил. Откуда я мог знать, что он мне подсовывает? Я думал, это из военкомата. Он ведь, подлец, представился: «Спецкомендатура»...

К и р с а н о в. Рослый такой парень, в черном плаще?

П и н с к и й. Ну!

К и р с а н о в. И фонарь во лбу?

П и н с к и й. Да! А ты откуда...

К и р с а н о в *(сует ему в руку свою повестку)*. На, почитай.

П и н с к и й. Зачем?

К и р с а н о в. Читай, читай, увидишь.

Б а з а р и н. Так-так-так. Это уже серьезно.

К и р с а н о в *(ехидно)*. А чего тут серьезного? Ну, ходят мои аспиранты, ну, разносят шутливые повестки...

Б а з а р и н. Перестань. Может быть, и в самом деле позвонить Евдокимову?

К и р с а н о в. Но я же не знаю, что ему говорить! Как это все расскажешь? Свежему человеку... в третьем часу ночи...

П и н с к и й *(прочитав кирсановскую повестку)*. Что за чертовщина! Откуда это у тебя?

К и р с а н о в. Спецкомендатура социальной ассенизации. Здоровенный громила с кейсом и с шахтерским фонарем между глаз.

П и н с к и й. Какой же ты, к едрене фене, богач?

К и р с а н о в. Да уж какой есть, извини, если не угодил.

50 Б а з а р и н. Вот что. Надо немедленно позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица.

К и р с а н о в *(раздраженно)*. Подожди. Давай сначала разберемся. Если это хулиганские действия какого-то идиотского лица, тогда звонить совершенно незачем. Ну, дурак, ну, ходит по квартирам и разносит дурацкие повестки. Ну, напугает дюжину дураков вроде нас... Если дело обстоит таким образом, тогда звонить в милицию — сами звоните. Мне уже повестку принесли, меня уже один раз одурачили, и теперь можно спокойно ложиться спать. Вторую не принесут!

Б а з а р и н *(задумчиво)*. Логично.

К и р с а н о в. А раз логично, тогда давайте ложиться спать. Хватит. Все.

П и н с к и й *(алчно)*. Догнать бы сейчас этого жлоба и накидать бы ему пачек, чтобы кровавыми соплями умылся, падло позорное...

Кирсанов. Сиди уж, старое дреколье. Да смотри, случайно не пукни, а то развалишься. Догнал он... пачек он накидал...

Пинский. Ничего, ничего, не беспокойся, мне бы его только поймать, а там бы я с ним разобрался, не впервой... Меня ведь, главным образом, что поражает? Меня наглость эта первобытная поражает. Вот они уже по квартирам пошли. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что они адрес мой — знают. Спрашивается: откуда? Кто им дал? Зачем? Чувствуете?..

Кирсанов. Между прочим, мой адрес они тоже знают...

Пинский *(отмахивается)*. Да перестань ты! Ты-то здесь при чем? Подумаешь, богачом его обозвали! В первый раз в жизни... Меня жидом всю мою жизнь обзывают! Устно, а теперь вот и письменно начали...

Кирсанов. Знаешь, когда в нашей стране обзывают богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже.

Пинский. Ах, тебе неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом?

Кирсанов. Я бы предпочел, чтобы на меня не наклеивали ярлыков. Никаких.

Пинский. А жид — это вовсе не ярлык. Жид — это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, а жидом — нет.

Базарин. Да не о том вы говорите, не о том! Оба хуже, вот в чем беда! Так уж у нас сложилось, что миллионы людей это думают. Что еврей, что богач — плохо. Плохо, и все! И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть все основания так думать. Их так воспитали...

Кирсанов. Но позволь, в самом деле! Какой же я, к черту, богач?

Базарин. Да. Ты богач. С точки зрения тети Моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... с точки зрения этой тети Моти, ты — богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...

Кирсанов. Так у тебя, наверное, не пять тысяч, у тебя, может быть, двадцать тысяч на книжке... Я же знаю, ты на вторую квартиру копишь...

Базарин. И я богач! И Александр Рувимович богач. Хотя у него «Жигулей» и нет пока...

Кирсанов. У меня «Жигули» второй год под брезентом стоят, резину не могу купить ни за какие деньги!..

Базарин. «Жигулей» у него пока нет, но он зато дочку отправил в Америку, и она ему оттуда подбрасывает... и не трешку в месяц, уж будьте уверены!

Пинский *(рявкает)*. Я дочку в Америку не отправлял! Это ваш Госконцерт говенный ее туда выжил!

Базарин. Этого тетя Мотя ничего не знает. И знать не хочет. Она одно знает: всю жизнь вкалывала, как проклятая, а сейчас, старуха, по помойкам бутылки собирает.

Пинский. И виноват в этом, конечно, еврей Пинский.

Кирсанов. И богач Кирсанов.

Базарин. Да! Еврей Пинский и богач Кирсанов! Потому что никаких других объяснений у тети Моти нет!

Пинский. Как это — нет! А куда же смотрит работник политпросвещения товарищ Базарин Олег Кузьмич?

Базарин *(не слушая)*. Потому что сначала ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер... Да только она не дура. Сорок лет уже нет ни Гитлера, ни вредителей, а жить-то все хуже и хуже... И всю свою жизнь она видит где-нибудь то барина в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли...

Пинский. А еврея, который в говенном котле всю смену лежит и заклепки хреном выколачивает,— такого еврея она не видела? Так пусть посмотрит! *(Тычет себя большим пальцем в грудь.)*

Базарин. Представьте себе — такого еврея она не видела. Потому что, простите меня, Александр Рувимович, такой еврей и в самом деле большая редкость...

Кирсанов. Ну ладно, хватит вам, что вы опять сцепились... Не об этом же речь идет. Ей-богу, Олег, ну что ты, в самом деле... Ты что же хочешь мне сказать — сидит где-то какая-то тетя Мотя и сочиняет эти повестки?

Пинский. Не-ет, это не тетя Мотя сочиняет. Это сочиняет сытый, гладкий, вчерашний молодежный вожак, и «Жигули» у него есть, и квартира с телефоном, да только вот бездарный он, к сожалению, серый, как валенок, а потому — убежденный юдофоб... У нас же юдофобия спокон веков — бытовая болезнь вроде парши, ее в любой коммунальной кухне подхватить можно! У нас же этой пакостью каждый второй заражен, а теперь, когда гласность разразилась, вот они и заорали на весь мир о своей парше... Вы, Олег Кузьмич, всегда их, бедненьких, защищаете! Я вас понимаю, сами-то вы выше этого, сами вы все норовите с высот пролетарского интернационализма проблему обозревать, поэтому у вас всегда и получается, что все кругом бедненькие... даже богатенькие... Мне иногда кажется, Олег Кузьмич, что вы мне просто простить не можете... Это ж надо же, ведь такой был образцово-показательный еврей-котельщик, рыло чумазое, каждое второе слово — мат, подлинное воплощение пролетарского интернационализма,— так нет же, в институты полез, изобретателем заделался, начлабом, дочку в консерваторию пристроил.

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не думаю, что ничего подобного я не говорил. Я только одно хотел сказать: что в каждой шутке есть доля истины. Даже в самой дурацкой. Мы вот с вами возмущаемся по поводу этих бумажек, а нам бы не возмущаться надо, а задуматься, потому что солома показывает, куда дует ветер...

Пинский хочет ему что-то ответить, но тут Зоя Сергеевна резко поднимается и берет ближайший канделябр.

Кирсанов *(всполошившись)*. Лапа, ты куда? *(Пинскому и Базарину.)* Да заткнитесь вы, наконец! Хватит! Что вы опять сцепились, как цепные собаки! *(Зое Сергеевне.)* Лапа, не уходи, они больше не будут.

Зоя Сергеевна. Три часа уже. Я пойду вещи соберу.

Кирсанов. Какие вещи?

Зоя Сергеевна. Я еще сама толком не знаю, надо посмотреть... Что они там глупости пишут — смена белья. Зима на дворе. Носки надо обязательно взять, рейтузы теплые...

Базарин. Позвольте, Зоечка Сергеевна...

Зоя Сергеевна. Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто развлекается кто-то. Будто вы не чувствуете, что это всем нам конец, начало конца...

Кирсанов *(беспомощно)*. Ты что же — серьезно считаешь, что я должен туда идти?

Зоя Сергеевна. Я ничего не считаю. Я знаю только, что идти придется, и что ты пойдешь, и я бога молю, чтобы меня пустили с тобой, потому что без меня ты там погибнешь на третий день...

Кирсанов. Лапушка, опомнись! Ну что ты такое говоришь? Ведь это же все ерунда! Ну хочешь, я в милицию позвоню? Подожди, я сейчас же позвоню! *(Он подскакивает к телефону, торопливо набирает 02.)* Алло... Товарищ лейтенант, с вами говорят из дома шестнадцать по Беломорской улице. У нас тут по лестницам ходит какой-то деятель и вручает гражданам хулиганские повестки... *(Замолкает, слушает.)* Так почему же вы ничего не предпринимаете? *(Слушает.)* То есть как это так? А кто же, по-вашему, должен этим хулиганством заниматься? Что? *(Слушает.)* Да, получил... *(Слушает.)* В каком смысле, простите? *(Слушает.)* Позвольте, вы что же хотите мне сказать... *(Слушает, потом медленным движением опускает трубку и поворачивается к остальным.)*

Базарин. Ну?!

Кирсанов. Он говорит: получили предписание — выполняйте...

Базарин. Та-ак. Этого и следовало ожидать.

Кирсанов. Он говорит: это не только у вас в доме, это везде. Милиции это, говорит, не касается.

Зоя Сергеевна, не сказав ни слова, уходит из комнаты в спальню, налево.

Базарин. Проклятье. Я тебе тысячу раз говорил, Станислав: не распускай язык! Тебе не двадцать лет. И даже не сорок. В твоем возрасте нельзя быть таким идиотом и горлопаном!

Пинский. Золотые слова! И главное, такие знакомые... Всю жизнь я их слышу. Иногда с добавлением «жидовская морда».

Кирсанов. Какой я вам горлопан? Что вы городите?

Базарин. На митинге Народного фронта ты речи произносил или папа римский? Кто тебя туда тянул? Что они — не обошлись бы без тебя?..

Кирсанов. Так это когда было... А потом, при чем здесь Народный фронт? Ведь я же богач! Богач я! У меня же драгоценности! У меня меха!

Пинский. Э! Э! Не примазывайся! Меха — это у меня.

Базарин. Вот теперь и я считаю — хватит. Звони Сенатору.

Кирсанов молчит, выкапывает из пепельницы окурок, затягивается.

Кирсанов. Не хочу. Сам звони.

Базарин. Ну, знаешь ли! Как угодно. Только я с ним за одной партой не сидел...

И тут за окном в доме напротив разом гаснут все остававшиеся еще освещенными окна. И сейчас же гаснут фонари на улице. Остается только светлое низкое небо над крышами. В комнате делается заметно темнее.

Пинский *(подбежав к окну)*. Ого! И в доме десять тоже погасло... Так... И в доме восемь... А вы знаете, панове, во всем квартале, пожалуй, света нет! Знаешь что, Слава, кончай-ка ты выгибать грудь колесом и звони-ка ты своему Евдокимову... если, конечно, он захочет теперь с тобой разговаривать, в чем я вовсе не уверен.

Кирсанов. Нет. Я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет, что будет.

Пинский. А кто говорит, чтобы просить? Спросить надо, а не просить...

Кирсанов. А что, собственно, спрашивать? Тебе вполне определенно сказано: предписание получили? Выполняйте! Старший лейтенант милиции Ксенофонтов...

Из передней доносится стук дверей, топот, приглушенное ржание. Шипящий голос произносит: «Ш-ш-ш! Тихо ты, сундук африканский!..» Щелкает выключатель. «И здесь света нет...» Другой голос отзывается нарочитым баском: «Валэтаеть... но так — нэвысоко!..» И снова раздается сдавленное ржание. Из прихожей появляется Сергей Кирсанов, младший сын профессора, ладный, сухощавый, среднего роста молодой человек в мокрой кожаной куртке, в «варенках», на голове огромная меховая шапка. И сразу видно, что он основательно навеселе.

Сергей. О, веселые беседы при свечах! Старшему поколению!.. *(Срывает с головы шапку и отвешивает низкий поклон. Говорит через плечо в прихожую.)* Заходи смело, они, оказывается, не спят. Причем их тут навалом.

Появляется Артур — тоже ладный, тоже сухощавый, но на голову выше ростом. Одет он примерно так же, но на первый взгляд производит впечатлеяве странное: он негр, и лица его в сумеречном свете почти не видно.

Артур *(отряхивая о колено свою огромную шапку)*. Здравствуйте. Извиняюсь за вторжение. Мы почему-то думали, что вы уже спите.

Сергей *(в прежней шутовской манере)*. Олег Кузьмич! *(Кланяется.)* Дядя Шура Пинский! *(Кланяется.)* Батюшка! *(Кланяется.)* А это, позвольте вам представить, Артур Петров. Артур Петрович! Мой друг! Вернее, мой боевой соратник. А еще вернее — мой славный подельщик...

Кирсанов *(очень неприветливо)*. Так. Иди-ка ты к себе.

Сергей. Незамедлительно! Мы ведь только представиться. Акт вежливости. А где мамуля?

Кирсанов. Она занята.

Сергей *(Артуру)*. А глаза добрые-добрые!

Оба ржут — довольно неприлично. Из спальни слева появляется Зоя Сергеевна.

Сергей. О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а? Немудрящей какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, мороз, транспорт отсутствует, в такси не содют...

Зоя Сергеевна. Хорошо, хорошо, пойдемте.

Слегка подталкивая, она вытесняет обоих приятелей в прихожую и выходит за ними.

Кирсанов *(Пинскому, неприязненно)*. Вот оно, твое потакание!

Пинский. А в чем, собственно, дело? Парнишке двадцать лет. Попытайся вспомнить, каким ты сам был в двадцать лет...

Кирсанов. В двадцать лет у меня не было денег на выпивки.

Пинский. А у него есть! Потому что он работает! Ты в двадцать лет был маменькин сынок, а он работяга. И работа у него, между прочим, достаточно поганая. Ты бы в такой цех не пошел, носом бы закрутил...

Кирсанов. Цех! Ты еще мне скажи — промышленный гигант! Кооперативная, понимаешь, забегаловка на три станка...

Пинский. Ну, конечно! Ну, разумеется! Ведь наши дети могут подвизаться только на великих стройках! Все-таки ты, Станислав, иногда бываешь поразительно туп. Воистину, профессор — это всегда профессор...

Базарин. Мне другое не нравится. Что это за манера такая — водить в дом иностранцев! Нашел время...

Пинский. Э, у них — свое время. А на наше время они поплевывают. И правильно делают...

Кирсанов. Боже мой, какое счастье, что электричества нет! Ведь он, едва только приходит, как сейчас же включает этот свой громоподобный агрегат... эту свою лесопилку!.. Особенно, когда поддатый...

И тут же, словно по заказу, врывается оглушительная музыка. Словно заработала вдруг гигантская циркульная пила. Впрочем, некая милосердная рука тотчас сводит этот рев почти на нет. Все трое смеются, даже Кирсанов.

Пинский. У него же портативный есть, на батарейках!

Кирсанов *(Базарину)*. Да, Кузьмич, оставляем мы тебе команду не в добром порядке.

Базарин. Ты что, собственно, имеешь в виду?

Кирсанов. А то я имею в виду, что меня вот забирают, Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты этого или не хочешь, на тебе.

Базарин. Перестань. Никуда вас особенно не забирают... и потом, позволь напомнить тебе, у Сергея Александр же еще остается. Как-никак старший брат...

Кирсанов. Александр... Александра тоже придется тебе тянуть. Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка не пропадет — он в этом мире как рыба в воде. А вот Александра тебе придется тащить. И двух его детей. И двух его бывших жен. И третью жену, между прочим. У меня, честно говоря, такое впечатление, что там уже третья намечается...

Пинский. Да, Олег Кузьмич, вы еще сто раз пожалеете, что сами повестки не получили. Представляете? «Словоблуды города Питера!» И — никаких вам хлопот с чужими детьми...

Вбегает Сергей.

Сергей. Пардон, пардон и еще раз пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя свечки лишние найдутся. Дай парочку, не пожалей для любимого сына!

Кирсанов *(роясь в бюро)*. Обязательно надо перед приходом домой надраться...

Сергей. Да кто надрался-то? Пивка выпили, и все.

Кирсанов. Тысячу раз просил не являться домой в пьяном виде!.. Кто этот негр, откуда взялся? Зачем таскаешь в дом иностранцев?

Сергей. Да какой же он иностранец? Петров, Артур Петрович, наш простой советский человек. Мы с ним под Мурманском служили. Я ведь тебе рассказывал. Он же меня в эту фирму пристроил.

Базарин. А почему он тогда такой черный?

Сергей. А потому, что у него папан — замбийский бизнесмен. Он тут у нас учился. В Лумумбе. А потом, натурально, уехал — удалился под сень струй.

Базарин. Ах, вот оно как. То есть он, получается, замбиец...

Сергей. Ну, положим, не замбиец, а га...

Базарин. Что? В каком смысле — га? Не понимаю.

Сергей. Объясняю. Папан у него из племени га. Есть такое племя у них в Замбии. Га. Но на самом деле Артур, конечно, никакой не га, а самый обыкновенный русский.

Базарин *(глубокомысленно)*. Ну да, разумеется, поскольку мать у него русская, то вполне можно считать...

Сергей. Мать у него не русская. Мать у него вепска.

Пинский *(страшно заинтересовавшись)*. Кто, кто у него мать?

Сергей. Вепска. Ну, карелка! Ну, я не знаю, как вам ее еще объяснить. Народ у нас есть такой — вепсы...

Кирсанов. Ладно. Бери свечи и удались с глаз долой.

Сергей. Слушаюсь, ваше превосходительство! Премного благодарны, ваше высокопревосходительство! *(Уходит.)*

Базарин. Ну и поколение мы вырастили, господи ты боже мой!

Пинский. Да уж. С чистотой расы дело у них обстоит из рук вон плохо. По-моему, все они русофобы.

Базарин. Ах, перестаньте вы, Александр Рувимович! Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Нельзя жить только для себя. А они живут так, будто кроме них никого на свете нет...

Кирсанов. Жестоки они,— вот что меня пугает больше всего. Живодеры какие-то безжалостные... Во всяком случае, так мне иногда кажется... Без морали. Ногой — в голову. Лежачего. Не понимаю...

Пинский. Не понимаешь... Мало ли чего ты не понимаешь. А понимаешь ты, например, почему они при всей своей жестокости так любят детей?

Кирсанов. Не замечал.

Пинский. И напрасно. Они их любят удивительно нежно и... не знаю, как сказать... бескорыстно! Любят трогать их, тискать, возиться с ними любят. Радуются, что у них есть дети... Это совершенно естественно, но согласись, что у нашего поколения все это было не так... А то, что ты их не понимаешь... так ведь и они тебя не понимают.

Кирсанов. Не собираюсь я с тобой спорить, я только вот что хочу сказать: я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но мне становится очень неуютно, когда я не понимаю людей. Особенно своих детей.

Пауза.

Пинский *(ни с того ни с сего)*. Был бы я помоложе, взял бы сейчас ноги в руки, только бы меня здесь и видели. Вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в гараж, и хрен вам в зубы...

Кирсанов. Ну да — без паспорта, без документов. Всю жизнь скрывайся, как беглый каторжник...

Пинский. Да что ты понимаешь в документах, профессор? Тебе какой документ нужен? Давай пять сотен, завтра принесу.

Пауза.

Кирсанов. Ноги в руки тебе надо было в прошлом году брать. Сидел бы сейчас в Сан-Франциско — и кум королю!

Пинский. Нет уж, извини. Я всегда тебе это говорил, и сейчас скажу. Они меня отсюда не выдавят, это моя страна. В самом крайнем случае — наша общая, но уж никак не ихняя. У меня здесь все. Мать моя здесь лежит, Маша моя здесь лежит, отца моего здесь расстреляли, а не в Сан-Франциско... Я, дорогой мой, это кино намерен досмотреть до конца! Другое дело — голову под топор подставлять, конечно, нет охоты. Вот я и говорю: молодость бы мне. Годиков ну хотя бы пятнадцать скинуть... дюжину хотя бы...

Звонит телефон. Все вздрагивают и смотрят на аппарат. Затем Кирсанов торопливо хватает трубку.

Кирсанов. Да!.. Это я... Ну? *(Слушает.)* А что случилось? *(Слушает.)* Ты мне скажи, дети в порядке?.. Ну, спускайся, конечно... *(Вешает трубку.)* Это Санька. У него какой-то нетелефонный разговор. Посреди ночи. *(Замечает, что в дверях стоит Зоя Сергеевна.)* Это Санька звонил, лапонька. С детьми все в порядке, но есть какой-то нетелефонный разговор. Сейчас он спустится.

Зоя Сергеевна. Повестку получил.

Кирсанов *(ошеломленно)*. Откуда ты взяла?

Зоя Сергеевна, не отвечая, подходит к столу и протягивает что-то Кирсанову.

Зоя Сергеевна. На, прими нитронг.

Кирсанов. Чего это ради? Я нормально себя чувствую. *(Кладет таблетку на язык, запивает из чашки.)* Я совершенно спокоен. И тебе советую.

Входит Александр Кирсанов, старший сын. Такой же, как отец, рослый, рыхловатый, русокудрявый, но без бороды и без какого-либо апломба. Живет он на последнем этаже по этой же лестнице. Видимо, только что разбужен — лицо помятое, волосы всклочены, он в пижаме, в руке его листок бумаги.

Александр. Папа, я ничего не понимаю! Посмотри, что мне принесли. *(Протягивает отцу листок. Базарину и Пинскому.)* Здравствуйте.

Зоя Сергеевна со словами «дай сюда» перехватывает листок и склоняется у свечки. Все молчат. Зоя Сергеевна читает, потом молча возвращает листок мужу, а сама садится у стола и роняет лицо в ладони.

Кирсанов *(плачущим голосом)*. Ну что же это за мерзость, в самом деле! «Распутники города Питера...» Ну как вам это нравится?

Базарин. Распутники?!

Кирсанов. «Распутники города Питера»! Явиться к восьми утра на стадион «Красная Заря»...

Александр *(ноет)*. Я не понимаю, как я это должен понимать... Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то... Но ведь приходил настоящий посыльный в какой-то черной форме... расписаться потребовал...

Зоя Сергеевна *(не отнимая рук от лица)*. Дети проснулись?

Александр. Да нет, они спят. И потом, там у меня... В общем, там есть человек... Папа, ты что, считаешь, что это серьезно?

Пинский. Понимаешь, Саня, мы с папой тоже такие повестки получили. Во всяком случае, похожие.

Александр. Да? Ну, и что теперь надо делать? Идти туда надо, что ли? За что? Папа, ты бы позвонил кому-нибудь...

Кирсанов. Кому?

Александр. Ну, я не знаю, у тебя же полно знакомых высокопоставленных... Объясни им, что у меня двое детей, не могу же я их бросить, в самом деле... Как же это можно? Что у нас сейчас — тридцать седьмой год? Тогда — враги народа, а тут вот распутником объявили ни с того ни с сего... Какой я им распутник? У меня двое детей маленьких! Пап, ну позвони хотя бы ректору! Он же все-таки член бюро горкома?

Пинский. Саня, сядь. Вот выпей чаю. Он остыл, но это ничего, хороший чай, крепкий... Не унижайся. Не унижайся, пожалуйста. И отца не заставляй унижаться. Они ведь только этого и хотят,— чтобы мы перед ними на колени встали. Им ведь мало, чтобы мы им просто подчинялись, им еще надо, чтобы мы у них сапоги лизали...

Александр. Так ведь надо же что-то делать, дядя Шура... Может быть, это ошибка какая-нибудь вышла... Может, можно как-то договориться. В крайнем случае отсрочку какую-нибудь получить... Ну позвони, пап!

Зоя Сергеевна. У тебя там Галина сейчас?

Александр *(расстроенно)*. Да.

Зоя Сергеевна. Она завтра сможет побыть с детьми?

Александр. Откуда я знаю? Сможет, наверное...

Зоя Сергеевна *(поднимается)*. Пойдем со мной, я тебе дубленку отдам.

Александр. Зачем? Какую еще дубленку?

Зоя Сергеевна. Твою. На которой я пуговицы перешила. *(Направляется к двери в спальню.)*

Пинский. Не надо ему дубленку. Отберут у него эту дубленку в первый же день.

Александр *(безвольно следуя за матерью)*. Да кому она нужна, старая, облезлая... Папа, ты пока позвони... Ну надо же что-то делать... *(Уходит.)*

Кирсанов. Мерзость... Мерзость!!! Ну хорошо, не угодили вам, не потрафили — посадите в тюрьму, к стенке поставьте, но ведь этого вам всегда мало! Надо сначала в лицо наплевать, вымазать калом, в грязи вывалять! Перед всем честным народом — обгадить, опозорить, в парию обратить! «Богач»! «Распутник»! Это Санька-то мой — распутник! Да он же ни с какой бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте, для него же половой акт — это таинство, освященное законом, а иначе — порок, срам, грех! Нет, он, видите ли, распутник... Ну какая же все-таки подлая страна! Ведь силища же огромная, ни с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно, из целого народа может сделать мокрое пятно!.. Но почему же обязательно не просто, не прямо, а с каким-нибудь подлым вывертом?..

Базарин. Станислав, прекрати.

Кирсанов. Нет уж, я скажу. Я и тебе скажу, и завтра им все это скажу! Ведь я чего-нибудь вроде этого ждал. Мы все этого ждали. «Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!..» Прекрасно знали! Что не может у нас быть все путем, обязательно опять начнут врать, играть мускулами, ставить по стойке «смирно»! Но вот такого! Презрения этого... унижения!.. Я давно пытаюсь представить себе, как должен выглядеть человек, отдельный человек, личность, обладающий теми же свойствами, что наша страна... Вы только подумайте, какой это должен быть омерзительный тип — чванный, лживый, подлый, порочный... без единого проблеска благородства, без капли милосердия...

Базарин. Перестань сейчас же, я тебе говорю! Как тебе не стыдно? Это уже действительно чистая русофобия!

Пинский. Ах-ах! Ну конечно же — русофобия. Обязательно! Везде же русофобы! Я только теперь понимаю, почему меня в пятидесятом на физфак не приняли! Русофобы! Пронюхали подлецы, что у меня бабушка русская... Стыдитесь, Олег Кузьмич! При чем здесь русофобия? Он же слова дурного про русских не сказал! Зачем же передергивать? И так тошно.

Базарин. Нет уж, голубчики! Это уж вы не извольте передергивать, Александр Рувимович и Станислав Александрович! Я и без вас все прекрасно понимаю! Точно так же, как и вы, я полагаю, что происходящее недостойно, но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас — недостойно нашей страны. Это разные вещи, и путать их не надо. Проще простого — свалить в одну кучу и страну, и всех дураков с негодяями, которые в ней водятся... Я понимаю, мы с вами не в равном положении сейчас. Вы — под ударом, а я как бы выхожу чистенький... Но уверяю вас, если бы эта молния ударила и в меня тоже, я бы закричал, конечно, потому что больно, потому что обидно, понимаю, но я бы заставил себя задуматься: почему? Почему выбрали именно меня? Может быть, все-таки не зря выбрали? Может быть, я жил как-то неправильно?.. Ведь все наши дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились, они же из нас, из гущи нашей, они глупые, однако нутром своим они всегда выражают именно гущу, ту самую, от которой мы все оторвались, отгородились своими окладами, своей чистенькой работкой, и когда нам говорят: ну, ты, гад, выйди из строя, на колени! — может быть, не об унижении своем барском думать надо, а о том надо думать, что это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться... Не перед дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а перед строем...

Кирсанов. Да каяться-то в чем? В чем каяться? И перед каким таким строем? Перед общественным, что ли?

Базарин. Я не знаю, в чем ты должен каяться. Это тебе виднее. Я тебе уже говорил, что с определенной точки зрения и ты, и я, и он, мы все — зажравшиеся баре, которые берут много, а отдают мало. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что так и должно быть. Мы сами построили себе свой модус вивенди, мы сами построили себе удобную в употреблении мораль... Ты вот защищаешь Саньку, что он у тебя бабник не простой, а законопослушный, но ты пойми, что, с точки зрения тети Моти, он и есть самый настоящий распутник! В тридцать лет — две жены, каждой по ребенку заделал, а теперь пожалуйста — у него еще и какая-то Галина... Ну что это — не распутство?

Пинский. Ну, хорошо. Положим, Саньку можно кастрировать, в крайнем случае. А со мной что вы прикажете делать? Тетя Мотя ведь не еврей, а я — еврей, дрянь этакая...

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! При чем здесь опять евреи? Вы меня знаете, я не антисемит, но эта ваша манера сводить любую проблему к еврейскому вопросу...

Пинский. Ну да, конечно! А как насчет вашей манеры — все сводить к мнению тети Моти?..

Базарин *(проникновенно)*. Когда я говорю о тете Моте, я имею в виду мнение большинства. Того самого большинства, к которому все мы склонны относиться с таким омерзительным высокомерием... Я подчеркиваю: я тоже грешен! Но я хотя бы пытаюсь, хотя бы иногда встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы...

Пинский *(с нарочитым еврейским акцентом)*. Таки себе хорошенький пейзажик, наверное, открывается с этой вашей горы!

Базарин. Вы, Александр Рувимович, совершенно напрасно все время стараетесь меня вышутить. Остроты отпускать — самое простое дело. И самое пустое! Вы понять попытайтесь. Понять! Не до шуток сейчас, поверьте вы мне...

Пинский. А это уж позвольте мне самому решать. По мне так с петлей на шее лучше уж острить, чем каяться.. А если уж и каяться, то никак уж не перед вами и не перед загадочной вашей тетей Мотей!

Базарин *(бормочет)*. Гордыня, гордыня... Все мимо ушей...

Кирсанов *(вдруг)*. Да,гордыня. Это верно. Хватит. *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Сенатор? Ох, слава богу, что ты не спишь... Это Слава говорит. Слушай, мы здесь попали в какую-то дурацкую переделку. Представь себе: моему Саньке вдруг приносят повестку... *(Замолкает, слушает.)* Нет... Нет-нет... «Распутники города Питера»... *(Слушает.)* Понятно... Понятно... И что ты намерен делать? *(Слушает.)* Нет, Зоя не получала, а я получил... *(Слушает.)* Понятно... Ну, значит, все будет, как будет. Прощай. *(Вешает трубку.)* Он уже упаковался. Он у нас отныне «политикан города Питера»!

Освещенное небо за окном гаснет. Город погружается в непроглядную тьму.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Два часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. Кирсанов за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. Зоя Сергеевна пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом пределе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов.

Зоя Сергеевна. Что ты пишешь?

Кирсанов *(раздраженно)*. Да опись эту чертову составляю...

Зоя Сергеевна. Господи. Зачем?

Кирсанов *(раздраженно)*. Откуда я знаю? *(Перестает писать.)* Надо же чем-то заняться... *(Пауза.)* А эти молодцы все развлекаются?

Зоя Сергеевна. Надо же чем-то заняться...

Кирсанов. Надрались?

Зоя Сергеевна. Нет. Во всяком случае, в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру. На специальной доске.

Кирсанов. В нарды, что ли?

Зоя Сергеевна. Нет. Какое-то коротенькое название. То ли японское, то ли китайское...

Кирсанов. В го?

Зоя Сергеевна. Да. Правильно. В го.

Пауза.

В отдалении Гребенщиков стонуще выводит:

Этот поезд в огне — и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне — и нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе...

Кирсанов. Вождь из племени га сидит и играет в го.

Зоя Сергеевна. Сережка деньги отдал. Двести рублей.

Кирсанов. Что еще за двести рублей?

Зоя Сергеевна. Говорит, ты ему давал в долг. В прошлом году.

Кирсанов. Гм... Не помню. Но похвально. (Пауза.) Ты ему все рассказала, конечно...

Зоя Сергеевна. Конечно.

Кирсанов. Ну, и как он отреагировал?

Зоя Сергеевна. Сначала заинтересовался, стал расспрашивать, а потом ехидно спросил: «Веревку велено свою приносить или казенную там на месте дадут?»

Кирсанов. Замечательное все-таки поколение. Отца забирают черт-те знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го...

Зоя Сергеевна. Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить...

Кирсанов *(раздраженно)*. Ну да, конечно! Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники, по морде надавали... *(Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голоском.)* «Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!»

Зоя Сергеевна *(утешающе)*. Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение, будем работать в школе или в детском доме... Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабутаке в сорок девятом году. Была мазанка, печку кизяком топили... Но холодина была зимой ужасная... А вместо сортира — ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она языкастая была... вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом»... Две женщины немолодые, девчонка — и ничего, жили...

Кирсанов *(с нежностью)*. Бедная ты моя лапа... *(Слышится стук в наружную дверь.)* Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич, совесть его заела...

Он выходит в прихожую и возвращается с Пинским. Пинского не узнать: он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове — невообразимый треух, на ногах — огромные бахилы. В руке у него тощий облезлый рюкзак типа «сидор».

Пинский. Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не принесли?

Кирсанов. Еще не принесли, но могут и прислать. «Разгильдяи города Питера!»...

Пинский. Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь не предсказуема.

Кирсанов. Правильнее говорить не «тетя Мотя», а «Софья Власьевна».

Пинский. А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуха у ей — тетя Мотя.

Кирсанов. Да-а, юморок у нас с тобой, Шурик... предсмертный.

Пинский. Типун тебе на язык, старый дурень! Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония! Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги два-три года максимум...

Кирсанов. Знаешь, в наши годы — это срок.

Пинский. Зоя, что это ты делаешь?

Зоя Сергеевна. «Молнию» пришиваю.

Пинский. Ну и глупо. Завтра она у него сломается, и что тогда прикажете делать? Пуговицы надо! Самые здоровенные... И никаких «молний», никаких кнопочек... Слушай, пойдем посмотрим, что ты там ему упаковала... Пошли, пошли!

Кирсанов. Тоже мне, старый зек нашелся.

Пинский. Давай, давай, поднимайся... Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся — я с ними две стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!..

Все трое уходят в спальню налево, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя:

Мы хотели пить — не было воды,
Мы хотели света — не было звезды,
Мы шли под дождь и пили воду из луж...
Мы хотели песен — не было слов,
Мы хотели спать — не было снов...

Из прихожей справа появляется Базарин.

Базарин. Можно? У вас там опять замок заклинило...

Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает трубку. Из спальни выходит Кирсанов.

Кирсанов. А, это ты... Куда звонишь?

Базарин. Да так... Занято все время... Ну, можешь меня поздравить. «Дармоед города Питера».

Кирсанов. То есть? *(И тут до него доходит.)* Ну да?! Тоже получил?

Базарин. Пожалуйста, прошу полюбоваться... *(Вынимает из грудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку.)*

Кирсанов *(кричит)*. Шурка! Зоя! Идите сюда! Кузьмич повестку получил!

Первым выскакивает Пинский, за ним появляется Зоя Сергеевна с теплыми кальсонами в руках.

Пинский. Что такое? Что случилось? Епиходов кий сломал?

Кирсанов. Нашего полку прибыло. *(Читает с выражением.)* «Дармоеды города Питера! Все дармоеды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед городским крематорием...» Ого! Ничего себе, выбрали местечко!

Пинский. Какие все-таки подонки!

Кирсанов *(продолжает читать)*. «...иметь при себе документы, в том числе: аттестат, диплом и удостоверения об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности...» Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях — ни слова. «Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель-комендант...» Ну, и так далее. Что ж, все, как у людей.

Пинский *(глубокомысленно)*. Это они, видимо, придурков набирают.

Кирсанов *(с укоризной)*. Шура!

Пинский. Что такое? Ты не понимаешь! Придурок в лагере — фигура почтенная, дай нам бог всем стать придурками... Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?

Базарин. Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенький, немолодой уже... В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает.

Пинский. Ясно. Ну что ж, Олег Кузьмич, надо вам собираться... Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные, но самые неказистые. Никакого новья, никакой «фирмы», вообще лучше никакого импорта... Сало есть у вас дома? Возьмите сала.

Базарин. Да откуда у меня сало?

Пинский. А что — вы не любите сало? Вот странно! Глядя на вас, никогда бы не подумал...

Базарин. Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем.

Кирсанов *(мрачно усмехаясь)*. «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины...»

Зоя Сергеевна *(из спальни)*. Слава, иди сюда!

Кирсанов. Иду! *(Уходит.)*

Пинский. Прошу прощенья, Олег Кузьмич, я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят... Этот оболдуй электробритву хотел с собой взять, еле-еле я успел перехватить... *(Уходит.)*

Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято.

Базарин. Ч-черт...

Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка, и Юрий Шевчук хрипло кричит: «Предчувствие-е-е... гражданской войны!..» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настороженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер.

Базарин. Алло. Семьсот два дайте, пожалуйста... Николай Степанович? Ах, это Сергей Сергеевич... Пардон, не узнал вас... Да, богатым будете... Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому разрешите, я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые, мне бояться нечего, но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения, это оскорбительно... мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие... что это за организация такая — «Социальная Ассенизация»? И что это за должность такая — «председатель-комендант»? Это же несерьезно, это же оперетта какая-то! Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель — оскорбить человека... Что?.. Представьте себе: в крематорий! Это же просто издевательство какое-то... Что?

Входит Александр, волоча за лямку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит,— все внимание его приковано к разговору.

Базарин. Это я понимаю... Это я по... Да, все это правильно, но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что?.. Ах, вы так ставите вопрос... Ну, тогда конечно... хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. *(С расстроенным видом кладет трубку.)* Канцелярия чертова, аппаратчики...

Александр *(жадно)*. А что они вам сказали?

Базарин. Что они мне сказали? Хе! Что они мне могли сказать? *(Словно очнувшись.)* Кто это — «они»? Ты про кого спрашиваешь?

Александр. Ну эти... с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство...

Базарин *(неприязненно)*. Начальство, мочальство... Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано же еще.

Александр. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу... Так что они вам сказали?

Базарин *(язвительно)*. Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем! Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в крематорий!

Александр *(тупо)*. Мне не в крематорий назначено, мне на стадион «Красная Заря»... А может быть, еще кому-нибудь позвоните, Олег Кузьмич?

Базарин. Все. Больше некому.

Александр *(нещадно хрустя суставами пальцев)*. Я все-таки никак не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что — мобилизация какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще чего-то? Что мы там — каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно — за что? У нас же сейчас не тридцать седьмой год! Даровая рабсила понадобилась? Опять же не те времена: мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен... И вообще, как это можно — всех под одну гребенку? А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма... Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось? Зачем? Это же просто экономически невыгодно! И без того вся экономика по швам трещит, а они тут разыгрывают такие мероприятия... Я, между прочим, системный программист, какой же смысл меня на лопату ставить, на киркомотыгу какую-нибудь?

Базарин *(проникновенно)*. Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу! Ну, хорошо: евреи. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять...

Александр. А что они? Вы знаете что-нибудь?

Базарин. Подожди, не отвлекайся... Я могу понять экспроприацию. В конце концов, финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же! Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая... Пусть будет налоговая система, самая беспощадная... И даже не в этом дело! В конце концов, есть же люди, которые, так сказать, являются опорой! Так сказать, костяком! Нельзя же опору подрубать! Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю... и призываю... Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот! Усекновение головы — лучшее средство от мигреней...

Александр *(вставляет)*. Главное непонятно, чего они этим хотят добиться...

Базарин *(отмахивается от него)*. Чего они хотят добиться — это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом, неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях... Крутые меры необходимы! Ассенизация необходима! Вот оно — откуда у них это слово! Слишком далеко мы зашли — понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и поделом нам всем — по вору и мука!

Александр. Ну да... А я-то здесь при чем? Тоже мне — нашли вора... Сами напахали невесть чего, а я должен за это расплачиваться?

Базарин. Конечно, должен! Тебе, Саня, между прочим, уже тридцать годиков миновало, не маленький! Не только мы пахали, но и вы пахали!

Александр. А дети мои при чем?

Базарин. Это несерьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все — и виноватые, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан, не жди, никто не скажет: «Счет — мне, пожалуйста».

Из спальни, слева, выходят Пинский, Зоя Сергеевна и Кирсанов.

Пинский *(втолковывает)*. ...а самое правильное — взять сейчас твой «жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше...

Кирсанов. Ну что ты за глупости опять порешь! Ну, поймают же, мерзко, за ухо приволокут, как поганых щенков...

Пинский *(орет)*. Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишься у себя в Псковской — и вася-кот!

Кирсанов *(орет)*. Сам ты дурак! Я же тебе объясняю: колес нет, ни одной целой покрышки нет, ни одной!

Пинский. У тебя никогда ничего нет, когда нужно.

Кирсанов. Да! У меня никогда ничего нет! И отстань от меня! Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен! Ты второй раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю: не желаю слушать!

Пинский *(с отчаянием)*. Господи ты боже мой, ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унизительно, позорно... Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!

Кирсанов *(топает в бешенстве ногами)*. Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще посмотрим! Вот соберется нас

пятьдесят тысяч на площади, мы еще посмотрим, что из этого получится! Это тебе не прежние времена! Рабов больше нету! Я на этой площади уже один раз выступал, я и второй раз выступить могу! Они еще пожалеют, что согнали нас всех в одно место!..

Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отталкивает эту чашку и все тщится провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может.

П и н с к и й *(перепугавшись)*. Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога... *(Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки.)* Черт знает что они с нами делают.

З о я С е р г е е в н а *(сердито)*. А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать...

П и н с к и й. Ну, хорошо, ну, виноват, не буду больше... *(Базарину)* Ну, как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?

Б а з а р и н *(с изумлением)*. Я? Про рестораны?

П и н с к и й *(поспешно)*. Наверное, мне послышалось. Виноват... *(Александру)* Что, Саня, собрался уже? Это хорошо. Молодец. *(Решительно.)* Знаешь что? Пойдешь со мной.

А л е к с а н д р. У меня же «Красная Заря»...

П и н с к и й. А наплевать на «Красную Зарю». Давай мне твою повестку, сейчас я там все переправлю и напишу «исправленному верить»... *(Спохватывается.)* Нет, это я чепуху говорю. С жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить — это хорошая идея! Ты как считаешь, Станислав Александрович?

А л е к с а н д р *(тупо повторяет)*. У меня же «Красная Заря», дядя Шура. «Красная Заря»...

П и н с к и й *(нетерпеливо)*. Господи, да неважно это. Кому какое дело? Давай повестку, я тебе сейчас же все переправлю...

А л е к с а н д р *(отступая на шаг)*. Ну нет, не надо... Еще хуже будет. Зачем это мне?.. Вот если бы папа со мной пошел...

П и н с к и й *(некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке)*. Да, это замечательная идея. Там, в твоей компании, папа будет как раз на месте — самый старый распутник города Питера.

К и р с а н о в *(севшим голосом)*. Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы! Неужели непонятно, что сейчас не те времена. Настоящий террор невозможен — я утверждаю это с полной ответственностью. Все это — очередная глупость нашего начальства, и ничего больше. Сегодня же вечером все мы будем дома. *(Жадно пьет остывший чай из стакана.)* А если и не будем, то все равно не пропадем...

Г о л о с и з п р и х о ж е й. Хозяева! Есть тут кто?

В дверях появляется Е г о р ы ч, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджачке и нажеванных брюках. В руке у него мотается зажженная свечечка, на ногах он держится нетвердо.

Е г о р ы ч. Я извиняюсь, я звоню, звоню, никто не выходит, а дверь открытая... С-нислав С-саныч, я извиняюсь, конечно, я тебя спросить х-чу... Хглупость какая-то. Прихожу домой, супруга моя не спит, говорит: повестку т-бе принесли, доигрался. Фамилие мое, адрес мой. Явиться на Вторую сортировочную. Ладно. Все понятно. Одно непонятно: какие-то удивительные слова попадаются... какой-то мздоним... назаданим... Посмотри, пожалуйста. Может, это вообще не ко мне?

П и н с к и й *(берет у него повестку)*. Какой еще там бадоним... Гм... Действительно, какое-то странное слово. И еще вдобавок от руки накорябано... А-а-а! *(Хохочет.)* Ну, так все правильно, Егорыч! «Мздоимцы города Питера»!

Е г о р ы ч. Какие?

П и н с к и й. Мздоимцы! Которые мзду имут, понимаешь?

Е г о р ы ч. Ну?

П и н с к и й. Ну, вот и явишься. Куда там тебе? Вторая сортировочная?

Б а з а р и н. Перестаньте издеваться над человеком, Александр Рувимович! *(Раздраженно выхватывает повестку из руки Пинского.)* Дайте сюда... *(Читает про себя.)* Черт знает что...

П и н с к и й. Вот и именно, Олег Кузьмич! Только не черт знает что, а правильнее сказать: мать иху так. Как видите, и до тети Моти добрались.

Е г о р ы ч. Я извиняюсь...

П и н с к и й *(обнимая его за плечи)*. Не надо, Егорыч, не извиняйся. Иди ты к себе домой и собирай манатки. Теплое бери и курева дня на три... А драгоценности, которые ты стяжал, оставь на столе. Да опись не забудь приложить... в трех экземплярах.

Е г о р ы ч *(бубнит)*. Я, Александр Рувимыч, все понимаю. Я ведь насчет слова пришел... Слово какое-то непонятное. И супруга моя не знает...

Они удаляются в прихожую.

Б а з а р и н *(ни с того ни с сего)*. Сантехник — это еще не народ.

К и р с а н о в *(сморщившись)*. Я только умоляю тебя, Олег. Не надо никаких высокопарностей. Народ, не народ... Одна половина народа погонит другую половину народа рыть канал. Так у нас всегда было, так у нас и будет. Вот и все твое политпросвещение.

Б а з а р и н. Ты, кажется, призывал не паниковать.

К и р с а н о в. А я и не паникую. Я высокопарностей не люблю. Ты еще нам про родниковые ключи истоков расскажи... или про почву исконную, коренную... *(Обрывает себя и обращается к Александру.)* Александр, тебе денег дать?

А л е к с а н д р *(уныло)*. Мне уже мама дала.

К и р с а н о в *(роется в бюро)*. Хорошо, хорошо... Не помешает. Вот тебе еще сотня. Сунь ее куда-нибудь... в носок, что ли...

П и н с к и й *(вернувшись)*. Подожди, подожди... Ты что ему — одной бумажкой даешь? Совсем сдурел на старости лет! Мелкими давай! Мелкими! Есть у тебя?

К и р с а н о в. Есть тут что-то... Мало.

П и н с к и й. Ничего, ничего, зато целее будут... *(Александру.)* Возьми. Рассуй по разным карманам.

А л е к с а н д р *(уныло)*. Спасибо... Папа, так ты, может быть, действительно со мной пошел бы?

К и р с а н о в. Нет. Ты пойдешь со мной. И не спорь. И перестань ныть! Дай твою повестку... *(Берет у сына повестку и рвет ее на клочки.)*

А л е к с а н д р *(ужасным голосом)*. Что ты наделал?!

К и р с а н о в. Все! Ты свою повестку потерял! И не ныть! Взрослый мужик, стыдись!

З о я С е р г е е в н а *(Александру)*. Хорошо, хорошо, правильно. За отцом присмотришь. И вообще вдвоем вам будет легче...

А л е к с а н д р *(ноет)*. Ну, а если спросят? Что я им скажу тогда? Что?

П и н с к и й. Скажешь, что подтерся по ошибке... *(Взрывается.)* Да кто там тебя спросит, оболдуй с Покровки? Кому ты там нужен? Паспорт отберут, и весь разговор... Слушайте, панове, а может, паспорт не брать с собой? Ну, потерял я паспорт, начальник! Еще в прошлом году потерял! По пьяному делу! А?

Б а з а р и н *(неприязненно)*. По-моему, это противозаконно. Обман властей.

П и н с к и й. Ах-ах-ах! Власти обманул гадкий мальчик! Власть к нему со всей душой, а он, пакостник, взял ее — и обманул! Дед плачет, бабка плачет...

К и р с а н о в. Да нет, не в этом же дело, Шура. Противно же это, мелко... Лганье какое-то семикопеечное... У тебя получается, что если власть у нас подоночная, так и мы все должны стать подонками...

П и н с к и й. Ну, нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький, подлинненький паспортишко, где-нибудь в хорошеньком загашнике,— это вещь архиполезная, государи мои!..

Из прихожей, из коридора, ведущего в комнату Сергея, доносится топот и шарканье, слышится голос Артура: «Ничего, ничего, пошли, не упирайся...» И вот Артур появляется в гостиной, таща за собой за руку вяло сопротивляющегося Сергея.

Артур. Вот, я его вам привел. *(Сергею.)* Говори, закаканец! Ведь тебе же хочется это сказать. Ну! Говори!

Сергей *(смущенно и сердито)*. Отстань, африканец, отпусти руку! Не делай из меня попугая.

Артур *(отпускает его)*. Я тебя прошу: скажи. Думай, что хочется; делай, что хочется; и говори, что хочется!..

Кирсанов. Сергей, что ты еще натворил?

Сергей *(моментально окрысившись)*. Да ничего я не натворил! Сразу — натворил! *(Артуру.)* Говорил же я тебе, сундук кучерявый...

Артур. Станислав Александрович, я вас очень прошу: ну помолчите вы несколько минут! Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы все норовите поскорее принять меры, даже и не попытавшись узнать, в чем дело... *(Сергею.)* Будешь говорить? Нет? Тогда я скажу. Понимаете, он испытал жалость. Мы там сидели как люди, ловили кайф, и было все нормально, и вдруг он сказал: мы вот сидим здесь с тобой, а они там — одни, и помирают со страху, и у них ведь теперь ничего не осталось... Я удивился, а он сказал: у них на старости лет осталась одна погремушка — ихняя демократия и гласность, а теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и тут же отобрали. Насовсем. Он сказал: мне их жалко, мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И я увидел, что он плачет...

Сергей. Не было этого! Хватит ерундить-то!

Артур. Было это, Серый, было! Ты уже этому не веришь, я и сам-то не очень верю, хотя ведь и пяти минут не прошло, да только — было! И я тогда вдруг понял: это минута добра. Бывает момент истины, знаете? — а это была минута добра. И я опять удивился: как же так? Откуда же оно взялось, это добро? Да еще целая минута! Через какую щель оно проползло? И кто его сюда пропустил? И вообще, при чем тут я? И я сказал ему: не бери в голову, Серый! Они получили только то, что сами хотели получить — ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. А он мне сказал: ну и что же? Тем более они несчастны, и еще больше их от этого жалко... Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой выбор... неважно — почему, неважно — как... но сделали! И тогда он сказал... он согласился со мной и сказал: да, сделали, но, боже мой, до чего же это жалкий выбор! И тут жалость схватила и меня тоже. Я схватился было за бутылку, но сразу же понял: нельзя. Я подумал: вы тоже должны узнать об этом... Теперь-то я вижу, что сделал глупость, никому из вас этого не надо, но — все равно. Это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни.

Воцарится неловкое молчание. И вдруг Зоя Сергеевна подходит к Артуру и целует его, а затем целует Сергея.

Сергей. Ну... что ты, мама? Ну что ты? Ничего! Все будет нормально.

Базарин *(сварливо)*. Минуточку, минуточку...

Пинский. Олег Кузьмич, помолчите, ради бога.

Базарин. Нет уж, пардон! Я очень благодарен молодому поколению за те добрые чувства, которые вызывал у него целую минуту...

Кирсанов. Боже мой, какая зануда!.. Кузьмич!

Базарин. Нет уж, позволь. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. Оч-чень хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? «Нигилисты города Питера»!

Сергей. Но ведь не принесли же!

Базарин. Но ведь могли принести? И может быть, еще принесут!

Сергей. А вот не могли! И не принесут! Вы этого не понимаете. Приносят тем, кто сделал выбор раньше,— ему еще повестку не принесли, а он уже сделал выбор! Вот маме повестку не принесли. Почему? Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы в пятьдесят пятом, она сказала им: нет! Знаете, что она им ответила? Глядя в глаза! «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро...» И вся вербовка! И когда в партию ее загоняли в шестьдесят восьмом, она снова сказала им: нет! «Да почему же нет, Зоя Сергеевна? Что же, в конце концов, для вас дороже — Родина или семья?» А она им, ни секунды не размышляя: «Да, конечно же, семья». И все. А вот вы, Олег Кузьмич, в партию рвались, как в винный магазин, извините за выражение...

Кирсанов *(грозно)*. Сергей!

Сергей. Папа, я же извинился. И я вообще ничего плохого сказать не хочу. Ни про кого. Я только одно вам объясняю: выбор свой люди делают *до* повестки, а не *после*.

Кирсанов. Это я, спасибо, понял. Откуда только ты все это про нас знаешь, вот чего я не понял.

Сергей. Знаю. Мы вообще много о вас знаем. Может быть, даже все. Мы же всю жизнь ходим среди вас, слышим вас, наблюдаем вас, хватаем ваши подзатыльники и поэтому знаем все. Про ваши ссоры, про ваши тайны, про ваши болезни...

Артур. Про ваши развлечения...

Сергей. Про ваши неудачи, про ваши глупости...

Артур. Про ваши аборты...

Сергей. Мы только стараемся все это не брать в голову, не запоминать, но оно само собой запоминается, лучше любого школьного урока, хоть сейчас вызывай к доске...

Пинский *(вкрадчиво)*. Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла...

Сергей. Дядя Шура Пинский, я ведь извинился... Артур, пойдем отсюда. Я же говорил тебе, что все кончится скандалом...

Кирсанов. Да сиди уж ты... жалостливый. Не будет тебе никакого скандала. Не до скандалов нам сейчас.

Базарин *(отдуваясь)*. Да уж, какие тут могут быть скандалы... Я только хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток.

Пинский. Представляете, открывается вот эта дверь, и входят трое в штатском...

Артур *(мотает головой)*. Нет. Не входят.

Пинский. Почему же это?

Вместо ответа Артур молниеносным движением выхватывает из-за спины большой никелированный револьвер и становится в классическую позу: широко расставленные, согнутые в коленях ноги, обе руки, сжимающие револьвер, вытянуты вперед и направлены в зрительный зал. «Пух, пух, пух»,— произносит он, поворачиваясь корпусом слева направо и посылая воображаемые пули веером. Потом тем же неуловимым движением забрасывает револьвер за спину и выпрямляется.

Артур. Вот почему. Зачем, спрашивается, им с нами связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее взять деньгами.

Базарин *(ошеломленно)*. Позвольте, откуда у вас оружие?

Артур *(широко улыбаясь)*. Из республики Замбия. Папа прислал.

Пинский *(настороженно)*. Настоящий?

Артур. Нет, конечно. Пугач.

Пинский *(многозначительно)*. Гм... Ну, естественно... Рэкетиров отпугивать... да и вообще...

Сергей *(с чувством)*. Дядя Шура Пинский! Я вас люблю.

Пинский. Да. Я тебя тоже люблю. Лоботряс.

Сергей. Я вас всех люблю. Я даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Не ходите вы никуда утром. Повестки эти свои порвите, телефон выключите, дверь заприте... Мы с Артуром сейчас вам замок, наконец, починим. И ложитесь все спать. Не поддавайтесь вы, не давайте вы себя сломать!

Кирсанов *(горько)*. Ах, какие вы у нас смелые, какие несломленные! И ничего-то вы не понимаете! Ведь это сейчас они не нас ломают, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Сейчас они вас ломают! Это ведь они не нам повестки прислали — они вам повестки прислали, чтобы вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин...

Он замолкает. Слышны тяжелые удары в дверь.

Сергей. Спокуха! Говорить буду я. Артур, встань тут в тенечек.

В дверях возникает знакомая фигура — давешний рослый человек в блестящем мокром плаще.

Черный человек *(зычно)*. Гражданин Кирсанов?

Кирсанов *(поднимается, издает горлом сдавленный жалкий писк)*.

Черный человек. Станислав Александрович?

Кирсанов *(справившись наконец с голосом)*. В чем дело?! Кажется, наше время еще не вышло!

И тут Сергей подхватывает Черного Человека под локоток и ловко выводит его на авансцену.

Сергей. Старик. Давай по-доброму. Что мы, не люди? Давай спокойненько договоримся...

Черный человек *(обычным голосом)*. Чего договоримся? Насчет чего?

Сергей. Спокуха! Все будет нормалек. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Дверь заперта, хозяев нет, уехали... Два стольника. И все тихо.

Черный человек. А... Нет. Не получится.

Сергей. Ну почему не получится? Тихо, мирно, по-доброму... Ну, три стольника — пойдет?

Черный человек. Нет. Не хочу. Брось.

Сергей. Три стольника за минуту молчания. Соображаешь, нет?

Черный человек *(пытаясь освободиться)*. Пусти. Я же тебе сказал: нет!

Сергей *(уже другим голосом — злым и напряженным)*. Четыре!

Черный человек. Нет.

Сергей. Четыре стольника, козел!

Черный человек. Пусти! Я же тебе сказал — нет!

Сергей отпускает его, отшатывается и, как бы падая, вдруг выбрасывает ногу, сделавшуюся невероятно длинной и прямой. Тяжелый ботинок попадает Черному Человеку прямо в голову. Кейс вылетает у него из-под мышки и кувырком катится по полу, извергая кипы белых листков. Черный Человек с трудом удерживает равновесие, фонарь вдруг вспыхивает у него во лбу, и он становится похож на неуклюжего испорченного робота. И тут из тьмы вылетает Артур, и они вдвоем с Сергеем, издавая устрашающие кошачьи вопли, складываясь и раздвигаясь, как огромные циркули, принимаются избивать Черного Человека ногами. Это длится всего несколько секунд. Слышны только кошачьи вопли и екающие плотные удары. Потом Зоя Сергеевна кричит страшно, отчаянно, как будто бьют ее самое.

Зоя Сергеевна. Перестаньте! Прекратите! Не смейте!

Черный Человек мокрой блестящей кучей валяется на полу среди разбросанных листков, Артур и Сергей нависают над ним, еще напружиненные, еще готовые бить и убивать,— Зоя Сергеевна подбегает к ним и хлещет по физиономии — сначала одного, затем другого.

Зоя Сергеевна. Звери! Зверье! *(Падает на колени возле избитого, кричит.)* Свет! Свет мне дайте!

И в тот же миг вспыхивает электрический свет. Все остолбенело стоят, ошеломленные, подслеповато моргающие. Пол сплошь усеян белыми листочками, высыпавшими из распахнувшегося кейса.

Зоя Сергеевна. Сергей! Неси аптечку из ванной! Саня! Воду мне сюда холодную! Таз!..

Она поднимает избитому голову, кладет к себе на колени.

Черный человек *(жалобно и хрипло бормочет сквозь стоны)*. За что? Ну за что? Что я тебе сделал? За что?..

Базарин опускается на корточки и принимается торопливо собирать рассыпанные листки, складывает их в пачку, старательно подравнивает дрожащими пальцами, потом читает один листок, садится на пятки, читает другой...

Базарин. Слушайте! Они же все отменили! *(Падает на четвереньки, ползает, ища что-то, наконец находит и садится задом на пол. Читает срывающимся голосом.)* «Базарину... Олегу Кузьмичу... Во изменение нашего предыдущего распоряжения... предписание вам прибыть... отменяется...» Отменяется! «Впредь до специального распоряжения. Председатель-комендант...» *(Трясет перед собой пачкой мятых листков.)* Всем отменяется! Станислав! Александр Рувимович! И вам тоже отменяется!..

Черный человек *(стонет)*. За что? Ой, больно... Осторожнее!..

Базарин *(поднявшись на ноги и потрясая листками)*. Ведь я же говорил! Невозможно это! Я же сразу вам сказал! Невозможно это! Невозможно это! Невозможно!..

Начинает звонить телефон, и звонит долго, но все стоят в полном остолбенении, и никто не берет трубку.

КОНЕЦ

7 апреля 1990 г. Москва

Николай БАЖЕНОВ

◆◆◆

Мне чистой ладожской воды
не выпить никогда.
М. Дудин

Дожил до званья старика...
Все в этом мире не по-божески,
порой, как боль, не спит под ложечкой
мной не спасенная река.
Глупец! Поверил, что вода
всегда останется ликующей,
но человек, к звезде стартующий,
не знает, где его звезда.
Загубленная на века,
река в ладонях сострадания
не донесла сквозь испытания
из детства чистого глотка.

◆◆◆

На радугу ступлю (не покачнется?),
совсем как в детстве,— я вчера там был,
у зеленью обросшего колодца
на блюдечке воды свой взгляд ловил
и столько ждал неясного восторга
от возраста, которым жив сейчас,
что до безумья, нестерпимо долго
от звезд не прятал любопытных глаз.

◆◆◆

Кто я? Паромщик меж двух берегов —
Правды и Истины. Сердца не жалко,
лишь бы вода вечной жизни бежала,—
чую в крови ее ранний зов.

Время везу и усталых людей,
может, чужих — разберешь ли в тумане?
Завтра меня для кого-то не станет,
вот почему я гребу все быстрей.

◆◆◆

Я живой и уже не живой,
это зреет в сознанья подспудно,
с нераскрывшимся парашютом
я иду на свиданье с землей.

На излете, в последний момент
взвился ввысь белый купол спасенья,
и живу, вижу, чувствую землю,
без которой меня просто нет.

Наталья ФЕДОРОВА

◆◆◆

Люблю чужих домов уют,
Пристанищ временных надежность,
Московских переулков сложность
И ленинградских прямоту.

Люблю, когда часы пробьют,
Отмеривая бесконечность
И нашу детскую беспечность,
Изменчивость и красоту.

И неприкаянность свою
Приемлю, как любую малость
Того, что позади осталось
И что стремится в высоту.

◆◆◆

Натянута струна —
Играет, кто захочет.
Натянута струна —
То стонет, то поет.
В тоскливый вечер
И разгульной ночью
Струна натянута —
Покоя не дает.

Но так, как ты,
Бездумно и без правил,
Нельзя играть —
Не все она снесет.
Натянута струна,
Но ты по ней ударил —
Порвется и последним
Криком обожжет.

◆◆◆

Вдруг выскользнуло зеркало из рук
И каждой хрупкой капелькой упало.
Кому-то боль и слезы предвещало,
Кому-то — суеверия испуг.

Оно лежало, как разбитый плач,
На волю рвавшийся — в безволии упавший.
И чей-то голос, без вести пропавший,
Мне говорил: «Любимая, не плачь...»

◆◆◆

Я хочу, чтобы осень была,
Чтоб дождям за окном не кончаться,
Чтобы капли на глади стекла,
И с тобою не надо прощаться.

Чтоб на жизнь мне хватило тепла,
Чтобы даже в последнюю осень,
Когда долг мой судьба с меня спросит,
О тебе я заплакать смогла.

Владимир НАСУЩЕНКО

◆◆◆

Не сразил меня гром,
Не убило меня на войне.
Но сердце дымит, как стреляная гильза.
Друг не стучится в дом,
Не пишет письма.
Бродит он где-то один
И смотрит на ту же звезду, на которую смотрю я.
И мысли у него текут также,
Их скорость, как у экспрессов,
Что проносятся мимо.
А я загулял на узловой.
Машинисты долго меняются.
Может быть, они спят или лежат больные?

И колеса того поезда заржавели,
Над шпалами выросла бледная,
Пропахшая мазутом трава.
«Эй, машинист, отвези меня в дом,
Где друг живет!
Ему письма тоже никто не пишет.
Не знаю, где он прозябает,
Может, в штате Техас
Или в Леопольдвиле».
Мой друг, напиши мне письмо на узловую,
Где я дни канителю:
Ем, сплю, изредка пью водку.
Но в одиночестве и водку невесело пить...
Кругом только морды пустые.
Я моргаю синими глазами,
Ложусь на спину за станцией на обгорелом бугре
Подальше от сутолоки
И узаконенного беззакония дежурного в красной фуражке:
Он не отправляет мой поезд.
Лежу в бурьяне на бугре, смотрю на солнце.
От яркого света чешутся глаза,
Слеза втекает в мое ухо...
Друг, напиши мне письмо на рыжий пригорок,
Ведь ты знаешь: не убило меня на войне!..

◆◆◆

Город красный от флагов.
Даже на воротах тюрьмы — стяги.
Но мне повезло.
Гуляю за городом, среди деревьев.
Почтительно наклоняюсь, чтобы не стряхнуть капли дождя,
Нанизанные на ветки.
Трогаю корявые стволы.
Мое лицо мокро от сырого тумана.
Набухшие влагой деревья источают горечь.
Как нежные рессоры, пружинят под ногами листья.
На суку моргает синица,
Стучит отсыревшим клювом по ветке.
Тихо. Что ни говори — праздник!
Без крика, шума.
Душа отдыхает.
Теперь можно домой.

◆◆◆

На холодных камнях стоят старики,
Тихие, как падающий снег.
Бубнят:
«Лба не перекрестит!»
Шарю по карманам,
Там две монетки на самую тонкую свечку.
Зажгу ее, сгорбясь, постою.
Ставлю свечку перед ликом скорбящей матери.
Шепчу, молитвы не зная:
«Не за грешную душу мою. За невинно убиенных».
Бесприютно бреду из храма:
Я молитвы не знаю...

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Бывший глава правительства

Главный допрос Рыкова шел почти без напряжения. Начался он в сравнительно мягких тонах, и вскоре всплыл вопрос о так называемом участии Ягоды в движении правых — «участии», будто бы длившемся с 1929 года. Тут же прокурор обратился к Ягоде за подтверждением и получил одно из тех половинчатых признаний, которое любой объективный наблюдатель мог счесть отрицанием: «Факт был, но не так, как говорит Рыков».

Далее Рыков стал описывать некое правое подполье, организовавшееся якобы в 1930 году. Потом перешел к платформе Рютина и заявил, что ответствен за нее — вместе с Томским, Бухариным, Василием Шмидтом и Углановым. Рютин будто бы выполнял лишь показную роль автора платформы, а Ягода прикрывал главных виновников. Дословно Рыков заявил тогда следующее: «Платформа признавала (насколько я помню, а я помню, ибо принимал участие в редактировании) насильственные методы изменения руководства партией и страной — террор, восстания. Она давала такую широкую формулировку, которая представляла собой директиву о применении насильственных мер в тех формах, которые могут найтись в нашем распоряжении». К этому он добавил, что правые располагали крупной организацией: «речь шла не о сотне-другой людей, а речь шла о более значительных кадрах». И потому, объяснил Рыков, «у меня в памяти не сохранилась фамилия Иванова» [1]. Явная ирония: ведь Иванов был наркомом и членом ЦК!

Когда дело дошло до кулацких восстаний, вопросы стали адресоваться и к Бухарину. Оба расплывчато признали свои связи с одним из восстаний в Сибири. Место восстания было подсказано Бухарину обвинителем, но он ответил, что не помнит, то ли это место.

Бухарин упомянул о платформе Рютина: «Меня столько раз допрашивали относительно рютинской платформы...».

Рыков признал, что сформировал террористическую организацию под руководством своей бывшей секретарши Артеменко. Он «дал указание своей бывшей секретарше Артеменко о наблюдении за прохождением правительственных машин» — без каких-либо результатов. Он и Бухарин (опять опрошенный) «сознались» в организации еще одной террористической группы, возглавлявшейся будто бы бывшим эсером Семеновым, для убийства Сталина и Кагановича — но опять без результатов. Что касается деталей, то показания обоих были явно неудовлетворительными. Рыков заявил, что «решение, чтобы в таком-то году убить того или другого члена Политбюро или правительства — такого решения центр не принимал. Он принял такие меры, которые, в случае вынесения такого решения, давали бы возможность...».

В этом месте, вполне понятно, Вышинский перебил Рыкова и обратился к Бухарину с вопросом: «А с Семеновым чья была инициатива?». Бухарин: «Я не помню, может быть, моя. Я, во всяком случае, этого не отрицаю».

Рыков объявил, что правые были участниками плана захвата власти в 1934 году совместно с Енукидзе, Ягодой, Петерсоном и другими, включая, как он сказал, Тухачевского и других генералов. Но «реальная попытка не удалась».

Рыков продолжал свои показания рассказом о связях с фашизмом, с меньшевиками, буржуазными националистами и другими группировками. Но опять-таки, когда дошло до деталей, Рыков, как выяснилось, только «подозревал», но не знал, кого представлял Гринько; а когда вызвали Гринько и он дал свои показания, Рыков в ответ на вопрос о правильности пояснений Гринько сказал, что не помнит.

За этим последовал разговор троих — Вышинского, Рыкова и Бухарина — о расчленении СССР и пораженчестве. Бухарин сказал, что не занимал пораженческих позиций, но отвечает «за это дело». Рыков растерялся; он признал позицию полного пораженчества в отношении самого себя и всех правых, но взял обратно свое заявление на предварительном следствии, что главную ответственность за пораженчество нес Бухарин. В этом месте допроса Вышинский открыто выразил свою досаду.

В ходе дальнейшего допроса, после «признания» изменнических действий в Белоруссии, Рыков вновь отверг обвинения во вредительстве в области животноводства. Он сказал, что ничего не знал о связях Иванова с англичанами. Но зато, поддержанный Крестинским и Розенгольцем, он «подтвердил» участие в «блоке» Тухачевского.

Показания Рыкова не отличались последовательностью, в них не было ясной линии, однако он все же сумел отвести ряд существенных обвинений.

На следующий день первым был вызван для допроса первый секретарь ЦК КП Белоруссии Шарангович. После увертокк и недомолвок предыдущего вечернего заседания Шарангович, несомненно, произвел отличное впечатление на тех наблюдателей, которые симпатизировали режиму,— он «искренне» и полностью признал все обвинения. Он, дескать, был польским шпионом с 1921 года; он сделался видным участником белорусской «национал-фашистской» организации, в которую входили также Голодед, Червяков и большинство партийных руководителей республики. Рыков и Бухарин были прямо связаны с преступной деятельностью этой организации, в том числе с формированием трех террористических групп (две из трех групп намеревались совершить нападение на Ворошилова во время маневров 1936 года).

Велось якобы широкое вредительство, направленное на то, чтобы расстроить хозяйство и вызвать недовольство. Шарангович также распространял будто бы болезни среди скота.

Шарангович: Я должен также сказать, что в 1932 году была нами распространена чума среди свиней, в результате чего был большой падеж свиней, причем это делалось таким образом, что прививку чумы свиньям делали вредительски.

...Дальше по сельскому хозяйству я хочу сказать относительно нашей диверсии в области коневодства. В 1936 году в Белоруссии была нами широко распространена анемия. Это проводилось нами с целью, так как конь в Белоруссии играет огромное оборонное значение. Мы стремились подорвать эту сильную базу в случае, если она понадобится в связи с войной...

Вследствие этой меры пало, насколько я помню сейчас, около тридцати тысяч лошадей.

Знаменательно, что Шарангович принял на себя ответственность за эксцессы первого периода коллективизации. Эти эксцессы, оказывается, совершались в антипартийных целях.

Шарангович: В Белоруссии к этому периоду еще насчитывалось около ста тысяч единоличников. Нами была дана установка, что раз единоличник не идет в колхоз, то он является врагом Советской власти. Это было нами сделано в провокационных целях. К единоличникам, сопротивляющимся коллективизации, мы, исходя из своих провокационных установок, применяли такие налоговые мероприятия, которые создавали среди единоличников недовольство и повстанческие настроения.

По счастью, однако, Москва разобралась, в чем дело.

Шарангович: ...Потом ЦК ВКП(б) принял соответствующие меры для исправления того, что было нами проделано, и положение изменилось. Настроение у единоличников, у той части, которая была спровоцировна, резко улучшилось [1].

Такое толкование событий 1929—1930 годов поистине поразительно и показывает, насколько сильно и постоянно Сталин был озабочен ситуацией в деревне. Но и в промышленности «национал-фашисты» развернули деятельность в крупном масштабе.

Шарангович: Энергетика. Здесь, главным образом, внимание концентрировалось в отношении Белграса, который снабжает промышленность Витебска, Орши, Могилева. Здесь топливо не подвозилось своевременно. Тормозилось строительство. Конкретно беру Кричевский цементный завод, Оршанский льнокомбинат, Могилевский труболитейный завод...

Восточные мотивы

За Шаранговичем последовал узбекский руководитель Ходжаев. Удобно рассматривать его показания вместе с «признаниями» его коллеги Икрамова, хотя последний допрашивался днем позже.

До сих пор «буржуазный национализм» представляли на процессе Шарангович и, в меньшей степени, Гринько. Теперь, в показаниях двух узбеков, он был выпячен открыто и ясно. Ибо Ходжаев и Икрамов не были подвижными аппаратчиками вроде Шаранговича и Гринько, которые могли посылаться на любую работу в любую республику. Вся их работа прошла в Средней Азии.

Ходжаев и Икрамов представляли также — подобно другим обвиняемым в других сферах — гораздо более широкий слой партийных и советских работников, павших жертвами или намеченных в качестве жертв. Так, например, они оговорили на процессе первого секретаря ЦК и председателя Совнаркома соседнего Таджикистана, возвели обвинения на «уклонистов» в своей собственной республике.

Похоже, что Ходжаев в какой-то степени действительно противился в прошлом централизаторским и денационализаторским тенденциям сталинизма. Но Икрамов никогда не сопротивлялся им. В компартии Узбекистана эти двое возглавили противостоящие друг другу группировки, но теперь, на суде, они говорили о своем единении в борьбе против режима и объясняли это единение тем, что «центр правых» оказывал на них давление. Икрамов показал, что они «под нажимом Буха-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—8.

[1] «Дело Бухарина», с. 151 — 152.

[1] «Дело Бухарина», с. 189.

рина и под непосредственным руководством Антипова сконтактировали работу двух националистических организаций».

Ходжаев, несомненно, был наиболее выдающимся и способным узбекским деятелем из всех, кто сразу после революции принял сторону коммунистов в их борьбе против эмира Бухарского. С 1925 года, с первого съезда компартии Узбекистана, Ходжаев стал членом Бюро ЦК КП(б) Узбекистана и в течение долгого времени занимал пост председателя Совнаркома республики.

Но на VII съезд компартии Узбекистана (закончившийся 17 июня 1937 года) Ходжаева даже не выбрали делегатом. 27 июня 1937 года было объявлено о его снятии с должности председателя Совнаркома и исключении из ЦИК Узбекистана. В тот же день «Правда Востока» обрушилась с нападками на «контрреволюционные», «националистические» позиции Ходжаева. Совершенно очевидно, что к этому времени Ходжаев был уже под арестом. Его брат, тоже видный местный партийный работник, покончил самоубийством.

В сентябре 1937 года в Ташкент был послан А. А. Андреев. Он должен был проследить, чтобы террор в Узбекистане принял надлежащий размах. 8 сентября «Правда» объявила, что Ходжаев и еще семь человек, в том числе четыре члена Бюро ЦК КП(б) Узбекистана, были разоблачены как «враги народа», а «первый секретарь ЦК товарищ Икрамов» и все остальные члены Бюро получили порицание за недостаточную бдительность, а два дня спустя, 10 сентября, все та же центральная московская «Правда» уже резко напала и на Икрамова (на сей раз не называя его «товарищем») за то, что он защищал «троцкиста» — одного из секретарей ЦК.

10, 11 и 12 сентября «Правда Востока» печатала нападки на Икрамова, упрекая его в том, что он не противостоял «буржуазному национализму» и поддерживал Ходжаева. Вероятно, он, в согласии с Ходжаевым, «в разгар необоснованных репрессий в 1937 году протестовал против них», чем и вызвал неудовольствие Сталина. (Поскольку во всем остальном Икрамов был верным сталинцем, его первого среди жертв открытых процессов реабилитировали после XX съезда КПСС.)

27 сентября в «Правде» появилось сообщение о том, что Икрамов «изобличен», исключен из партии и что дело его передано в следственные органы. Тем не менее он все еще не был арестован. Еще до ареста, сделанного «по личному указанию Сталина» [1], ему были предъявлены показания оговоривших его лиц. Икрамов начисто отрицал все возведенные против него обвинения, невзирая на то, что с ним четыре раза беседовал сам Ежов [1]. Это, по-видимому, означает, что Икрамов прибыл в Москву, все еще не находясь под арестом,— факт странный, но отнюдь не единственный.

В тюрьме Икрамову была устроена очная ставка с Бухариным [2], который его оговорил. Тем не менее Икрамов стал давать показания лишь на шестой или седьмой день допроса [3].

В тот же период террор охватил всю Среднюю Азию. Председатель Совнаркома Киргизской ССР пал 12 сентября, после чего прозвучал призыв к беспощадным мерам против всего ЦК компартии Киргизии [4]. Два секретаря ЦК Таджикской компартии и ряд других работников в республике были «разоблачены» как буржуазные националисты и шпионы. (О председателе Совнаркома Таджикской ССР Рахимбаеве было сказано, что он держал гарем с тремя женами.) Волна террора охватила все национальные окраины Советского Союза.

Под холодным светом люстр Октябрьского зала Дома союзов Ходжаев «признавался», что вел антисоветскую деятельность с 1920 года. Он и Икрамов были, дескать, в контакте с правыми через Антипова и получали инструкции работать с англичанами для отделения Узбекистана от Советского Союза и превращения его в британский протекторат. Оба занимались вредительством в промышленности, причем действовали якобы примерно так же, как Шарангович в Белоруссии. «Ошибки» планирования делались преднамеренно и так далее:

«Эстакаду для подвоза угля и переброски построили исходя из расчета 75 000 киловатт, здание для электростанции построено на 48 000, а запроектированная мощность станции составляет 70 000, как видите, в основе проекта уже были элементы вредительства».

Сельскохозяйственная политика в Узбекистане была катастрофически скверной — оказывается, эта политика тоже проводилась намеренно, чтобы вызвать недовольство Москвой.

Ходжаев: ...это означало вызвать колоссальное недовольство народа, потому что мы представили дело так: план московский, мы, якобы, московские приказчики, мы осуществляем директивы Москвы. «Недовольны? Так вот, жалуйтесь на Москву». Эту задачу мы поставили.

Вышинский: Провокационную задачу?

Ходжаев: Провокационную задачу, поставили ее сознательно и осуществляли в течение ряда лет.

К чему это привело? Это привело действительно к уничтожению севооборота, это привело к снижению поголовья скота, это привело к снижению шелководства, потому что и тут навредили. Это привело, в конце концов, и к снижению самой урожайности хлопка. И поэтому Узбекистан годами не выполнял планы по хлопку... Если у крестьянина 10 га земли, он должен на 8 га или на 9 га посеять хлопок. Сами понимаете, если один гектар остается на все остальное, то это хозяйство начинает гибнуть.

Согласно Ходжаеву, у них была и более важная экономическая задача — развить в Узбекистане независимую экономику. Это (в противоречии с вышеприведенными указаниями) осуществлялось такими плановыми методами, «чтобы меньше иметь хлопка, как культуру техническую, которая больше всего связывает Узбекистан с Союзом, во-вторых, развернуть таким образом сельское хозяйство Узбекистана, чтобы иметь в большей мере не только на богарных, но и на поливных землях зерновое хозяйство, чтобы не зависеть от привозного русского хлеба, и, наконец, запланировать таким образом развитие промышленности, строительство дорог и прочее, чтобы мы в результате осуществления этой первой пятилетки оказались бы в экономическом отношении более независимыми от Советской России, от Советского Союза, чем когда бы то ни было».

Таким образом была на процессе представлена экономическая сторона «буржуазного национализма». Ходжаев постарался обрисовать ее как можно яснее.

Ходжаев: Я не знаю, известно ли суду, что у буржуазных националистов, особенно в Средней Азии, существовала такая теория — организовать замкнутое хозяйство, то есть сделать так, чтобы хозяйство Республики развивалось независимо от других частей Союза, чтобы по возможности Республика жила бы без нужды в остальном Союзе, на случай каких-либо возможностей для активной непосредственной борьбы.

Сходные показания дал и Икрамов. Упомянув о контактах с Зеленским, Антиповым и А. П. Смирновым, он рассказал о визите Бухарина, который в 1933 году прожил несколько дней у него в доме. Допрошенный по этому поводу Бухарин признал, что обсуждал с Икрамовым платформу Рютина и что «там было глухо и о терроре», но отрицал, что велись какие бы то ни было разговоры о вредительстве. Что касается последующей их встречи, в 1935 году, то на ней (зловещая подробность) якобы присутствовали и жены Бухарина и Икрамова, но заговорщицкие беседы велись, мол, в отсутствие жен. Бухарин, однако, отрицал, что во время этой встречи велись какие-либо политические разговоры. Произошел обмен резкими репликами между ним и Вышинским.

Вышинский: И вы, руководитель подпольной организации, встретивши через два года члена вашей организации, вами завербованного, не проверили — остается ли он на позициях вашей контрреволюционной организации, не интересовались этим, а стали говорить о погоде в Узбекистане. Так это было или не так?

Бухарин: Нет, не так. Вы мне задаете вопрос, который содержит в себе иронический ответ. А на самом деле я рассчитывал на следующую встречу с Икрамовым, которая случайно не состоялась, потому что он меня не застал.

Вышинский: Вы замечательно хорошо помните как раз те встречи, которые не состоялись.

Бухарин: Я помню не те встречи, которые не состоялись, потому что они — фантом, а помню те, которые реализовались.

Затем Икрамов дал пространные показания о важной роли Антипова в организации среднеазиатских подрывных групп. Антипов делал ставку на террор и якобы лично хвастался, что «кого наметили убить правые, тот до Средней Азии не доедет». Наконец, Икрамов оговорил «многоженца» Рахимбаева и его таджикскую группу.

Дела хозяйственные

Допросы Розенгольца и Крестинского вечером 4 марта удовлетворили обвинителя. Оба показали, что они вместе с Рудзутаком и Гамарником стали руководящим центром всего заговора после ареста Рыкова и Бухарина в феврале 1937 года. Они будто бы связывали все свои надежды с предстоявшим военным переворотом.

Оба заявили, что с 1922—1923 года были связаны через Троцкого с немецкими органами шпионажа. Крестинский «признал» личную встречу с Троцким — ту самую, которую он 2 марта отрицал. Троцкий, сказал он, дал полные инструкции по всем видам изменнической деятельности, шпионажа, вредительства, террора.

Некоторая неловкость произошла лишь тогда, когда Крестинский объявил, что он, Розенгольц и Гамарник обсуждали необходимость террористического акта против Молотова, и потом, когда Рыков, коротко опрошенный для подтверждения разговоров с Тухачевским и о Тухачевском, отказался их подтвердить [1].

Между прочим, вина Рыкова и Бухарина в какой-либо заговорщицкой деятель-

---

[1] См. «Правду», 9 апр. 1964 г. (К 65-летию со дня рождения Икрамова.)

[1] См. «Дело Бухарина», с. 668.
[2] См. там же, с. 313.
[3] См. там же, с. 668.
[4] См. «Правду», 20 сент. 1937 г.

[1] См. «Дело Бухарина», с. 259.

ности в последний период была практически сведена на нет замечанием Крестинского, согласно которому Троцкий считал, «что не надо ограничиваться Рыковым, Бухариным и Томским, так как хотя они и признанные вожди правых, но они в достаточной степени уже скомпрометированы и под надзором и что надо использовать для связи Рудзутака», который вне подозрений. Но ведь то, что Рыков и Бухарин были под надзором, что это обстоятельство делало их неподходящими участниками заговора — это фактически снимает любую возможность их вины с самого 1933 года, то есть со времени, предшествовавшего убийству Кирова и всем другим «злодейским убийствам».

Розенгольц дал показания о различных хищениях, о вредительском экспорте чугуна. Но, поскольку дело касается экспорта чугуна в чушках, оно проводилось по директиве за подписью лично Сталина, а за поставками металла наблюдал... Ежов![1]

Следующим допрашивали Раковского. Его отец был помещиком в южной Добрудже, которая в свое время входила в состав Болгарии, но отошла к Румынии, когда Раковский был ребенком. В двадцатилетнем возрасте Раковский был уже видным лицом в болгарском социалистическом движении и представлял свою партию на конгрессе Второго интернационала. Он получил медицинское образование в Монпелье и вернулся на Балканы, где много раз арестовывался за участие в революционном движении — уже румынском. Последний раз румынские власти арестовали его в Яссах в 1916 году, а в мае 1917 года его из ясской тюрьмы освободили русские. Раковский поехал в Петроград и в 1919 стал членом ЦК РКП (б) и председателем Совнаркома Украины. Перейдя на троцкистские позиции, он потерял свой высокий пост и с 1924-го по 1927 год был сперва поверенным в делах советского посольства в Лондоне, а потом послом в Париже. В ноябре 1927 года Раковского отозвали в Москву и в том же месяце вывели из состава ЦК за поддержку «левой оппозиции». На XV съезде партии он защищал взгляды этой оппозиции и в январе 1928 года был исключен из партии, выслан в Астрахань, затем в Барнаул. Раковский «раскаялся в своих ошибках» одним из последних, в феврале 1934 года, и был восстановлен в партии. Его арестовали под самый конец 1936 года в связи с подготовлявшимся процессом Пятакова — кто-то из тогдашних подсудимых дал против него показания[2].

За исключением врачей, Раковский был старшим по возрасту среди подсудимых. И даже среди них, ветеранов, его революционная работа выделялась своей продолжительностью и яркостью. Раковский был легендарной личностью.

Восемь месяцев после ареста шестидесятипятилетний революционер отказывался давать показания в НКВД — это один из наиболее долгих известных сроков сопротивления. Теперь, на суде, он «признавался», что был английским шпионом с 1924 года. А его разрыв с троцкизмом в 194 году был предназначен для того, чтобы ввести партию в заблуждение.

После реабилитации 1934 года Раковский был послан в Японию в качестве руководителя делегации советского Красного Креста. Это обстоятельство было использовано для того, чтобы он в показаниях оговорил советских послов на Дальнем Востоке, Юренева и Богомолова. Сам он якобы сделался, помимо английского, еще и японским шпионом.

В ходе допроса Вышинский сделал одну особенно низкую попытку очернить Раковского, использовав тот факт, что отец Раковского был помещиком.

Вышинский: Значит, я не ошибаюсь, когда говорю, что вы были помещиком.

Раковский: Не ошибаетесь.

Вышинский: Вот мне важно было выяснить, откуда шли ваши доходы.

Раковский: Но мне важно сказать, на что шли эти доходы.

Вышинский: Это другой разговор.

Любой старый большевик знал, что Раковский отдавал все свои средства на революционное движение. Он финансировал созданную им румынскую социалистическую партию и газету этой партии, которую сам редактировал. Он субсидировал русских и других революционеров. Провокационные вопросы Вышинского довели Раковского до того, что он упомянул об этих фактах, и прокурор мгновенно заставил его сменить тему.

Когда Раковский заговорил об «оппозиции», Вышинский проворно перебил: «Вы в своих объяснениях сегодня вообще допускали целый ряд таких выражений, как будто вы забываете, что дело идет о вас, как о члене контреволюционной, бандитской, шпионской, диверсионной организации изменников. Я считаю себя обязанным вам об этом напомнить, ведя ваш допрос, и просить вас держаться ближе к существу совершенных вами изменнических преступлений, говорить без философии и тому подобных вещей, которые здесь совершенно не к месту».

Раковский закончил объяснением того, почему после восьми месяцев допросов он все-таки начал давать показания. По его словам, летом 1937 года он получил информацию о нападении Японии на Китай и о масштабе германо-итальянской интервенции в Испании. «Это на меня подействовало потрясающим образом... Озлобление и честолюбие — все это отошло. Я считал, что отныне моя обязанность — помочь в этой борьбе против агрессора, что я пойду и разоблачу себя полностью и целиком, и я заявил следователю, что с завтрашнего дня я начну давать полные и исчерпывающие показания».

Сегодняшнему западному читателю этот мотив знаком по книге Артура Кёстлера «Тьма в полдень». Таковы же были на фоне допросов и морального истощения мотивы героя книги Рубашова. Фактически поведение Раковского ближе к поведению знаменитого кестлеровского героя, чем неохотные и частичные показания Бухарина, послужившего прообразом Рубашова[1].

Допрос Раковского был отложен в конце вечернего заседания 4 марта и продолжался 5-го утром. Потом суд взялся за Зеленского — фигуру гораздо менее колоритную. Тем не менее, Зеленский в свое время находился в высших партийных кругах, будучи в 1923—1925 годах секретарем ЦК и МК партии. Сняли его с этих должностей за недостаточно враждебное отношение к Зиновьеву и Каменеву. Его, собственно, перевели в секретари среднеазиатского бюро ЦК, где он работал до 1931 года, не теряя своего места в составе Центрального Комитета. В показаниях Ходжаева и Икрамова это обстоятельство было уже использовано, и Зеленский назван агентом Троцкого. Однако главная роль Зеленского на процессе заключалась в том, чтобы объяснить, как заговорщики «вызывали» народное недовольство. Дело в том, что с 1931-го по 1937 год Зеленский работал председателем Центросоюза и фактически полностью держал в своих руках торговлю на селе и, таким образом, имел несравненные возможности вызывать это недовольство.

Начав с истории о том, как он был агентом царской охранки с 1911 года, Зеленский затем «признал» соучастие в действиях Каменева в 1924 году и сказал, что в 1928—1929 годах А. П. Смирнов завербовал его в «организацию правых». После «разоблачения» Смирнова (то есть с 1933 года) Зеленский будто бы держал связь с Антиповым, по чьим инструкциям глубоко расстроил всю сельскую торговую сеть.

Зеленский: ...Правые организовали перебои в торговле товарами повседневного спроса. Так, например, такие перебои были организованы в Курской области. В первом квартале 1936 года в торговле сахаром, многие лавки в течение недели-двух не имели сахара. Такого же рода вредительские перебои были организованы в Ленинградской области в торговле махоркой. Такого же рода перебои были летом 1936 года в торговле печеным хлебом в ряде сельских местностей БССР, расположенных в пограничных районах.

Чтобы дать некоторое представление о том, какого характера были эти перебои, я укажу на следующее: из тридцати тысяч лавок, которые были обследованы торгово-кооперативными секциями советов и торговой инспекцией, в первом квартале 1936 года не было соли в 3700 лавках. Из 42 тысяч лавок в 2 тысячах лавок отсутствовала продажа сахара. В третьем квартале 1936 года отсутствовала продажа махорки в 1600 лавках из 36 тысяч лавок. Так что это были не единичные явления, а довольно распространенные.

Дальше — снова в том же роде.

Вышинский: В 1936 году был такой случай, что Москва сидела без яиц по вашей вине, по вине не вашей персонально, а одного из активных участников этого заговорщического блока?

Зеленский: Был.

Вышинский: Не припомните ли, когда особенно резко это выявилось?

Зеленский: Я сейчас месяц не могу назвать, но могу сообщить о следующем факте. В 1936 году была допущена вредительская порча 50 вагонов яиц.

Зеленский также говорил об обмане покупателей.

Зеленский: Мне кажется, что вопросы обсчета, обмера и обвеса ясны для каждого, это очень ясно. Дело заключается в том, что, когда человек приходит за покупкой в лавку, его обсчитывают, обмеривают и обвешивают, то есть ему назначают цену больше, чем та, по которой продается товар, либо ему дают вес меньший, чем это следует, либо отпускается товар не того качества.

Вышинский: Для чего это делается?

Зеленский: Для того, чтобы вызвать недовольство населения.

Вышинский: То есть с провокационными целями?

Зеленский: Понятно... Цены назначаются торгующими организациями или продавцами лавки очень часто по своему усмотрению, то есть бесконтрольно. Таким образом, поймать человека, обсчитывающего потребителя, почти невозможно. Это явление приняло серьезный характер и большое распространение. Чтобы дать характеристику размеров этого вредительства, я укажу на то, что из 135 000 ла-

---

[1] A. Barmine. «One Who Survived», p. 228 — 229.

[2] См. «Дело Пятакова», с. 91 (русск. изд.).

[1] В книге Артура Кёстлера «Тьма в полдень» выведен арестованный без конкретной вины крупный коммунист — Рубашов. В результате длительного психологического воздействия следователи внушают Рубашову, что он обязан признаться в несуществующих преступлениях, «чтобы помочь партии». И Рубашов, сам в свое время предавший и спровоцировавший немало революционеров-идеалистов «во имя высших интересов партии», дает нужные показания, а потом его расстреливают как «врага народа».

вок, которые были проверены инспекцией торгово-кооперативной сети, установлены случаи обсчета и обмана покупателей в 13 000 лавок. Фактически же количество их значительно больше.

Очень важный вид вредительства, также в целях вызова недовольства населения, заключается в замораживании товарооборота, достигаемом путем неправильной или несвоевременной засылки товаров. Так, например, были случаи, когда летние товары засылались зимой и, наоборот, зимние товары прибывали в лавки летом.

Вышинский: То есть летом населению предлагали валенки, а зимой тапочки?

Зеленский: Да.

Все это, по Зеленскому, выполнялось подобранными им людьми.

Зеленский: ...Я имел задание и преследовал цель засорять этот аппарат чуждыми, враждебными, антисоветскими, повстанческими элементами. Засоренность аппарата Центросоюза видна из того, что в аппарате Центросоюза было при мне около 15 процентов бывших меньшевиков, эсеров, анархистов, троцкистов и так далее. В некоторых областях количество чуждых, выходцев из других партий, колчаковских офицеров и так далее, например, в Красноярском крае, Иркутске, Западной Сибири, было значительно выше.

Любопытная перебранка между Зеленским и прокурором произошла по другому поводу.

Вышинский: А как было дело с маслом?

Зеленский: Маслом мы в деревне не торгуем.

Вышинский: Я не спрашиваю, чем вы торгуете. Вы торговали раньше всего основным — родиной. А я говорю о том, какие меры предпринимала ваша организация для того, чтобы сорвать товарооборот и лишить население необходимейших первых предметов потребления. Кроме сахара и соли, известно ли вам что-нибудь относительно масла?

Зеленский: Я сказал вам, что кооперация в деревне маслом не торгует...

Вышинский: Я спрашиваю вас: известны ли вам преступные операции в отношении снабжения населения маслом, в частности дешевыми сортами масла, или нет? Операции, которые были проделаны по указанию вашего «право-троцкистского блока», известны вам или нет?

Зеленский: Да, известны.

Вышинский: В чем они заключались?

Зеленский: Они заключались в следующем: все заготовительные организации при выработке масла пользовались мировыми стандартами, определяющими сортность масла.

Вышинский: Это не то.

Зеленский: Вот это и есть.

Вышинский: Нет.

Зеленский: Как нет? Это производилось...

Председательствующий: Подсудимый Зеленский, не пререкайтесь и отвечайте по существу.

Вышинский: А то масло, которое выпускалось, всегда было доброкачественным или вы тоже старались сделать его недоброкачественным?

Зеленский: Да.

Вышинский: Были ли случаи, что члены вашей организации, имеющие отношение к масляному делу, в масло подбрасывали стекло?

Зеленский: Были случаи, когда в масле оказывалось стекло.

Вышинский: Не «оказывалось», а подбрасывалось стекло. Вы понимаете разницу: подбрасывалось стекло? Были случаи такие или нет?

Зеленский: Были случаи, когда в масло подбрасывалось стекло.

Вышинский: Были ли случаи, когда ваши соучастники, сообщники преступного заговора против Советской власти и советского народа, подбрасывали в масло гвозди?

Зеленский: Были случаи.

Вышинский: С какой целью? Чтобы было «вкуснее»?

Зеленский: Это ясно.

Вышинский: Вот это и есть организация вредительской, диверсионной работы. В этом вы себя признаете виновным?

Зеленский: Признаю.

Помимо этих туманных, неудовлетворительных для прокурора ответов, Зеленский заартачился и в ответе на важный вопрос.

Вышинский: Вы участвовали во вредительской, диверсионной, террористической, шпионской работе этого блока?

Зеленский: Во вредительской, диверсионной работе участвовал.

Вышинский: О шпионской работе вы пока умалчиваете?

(Зеленский молчит.)

Вышинский: Вы отвечаете за всю преступную деятельность блока?

Зеленский: Отвечаю.

Последний вопрос Вышинского был явно слабым ходом. Впрочем, под конец допроса Зеленский «признал» свою связь с А. В. Александером, лидером английской кооперативной партии. Они якобы обсуждали возможность прихода правых к власти в СССР.

За Зеленским последовал допрос Икрамова, нами уже описанный. В конце допроса Икрамова был снова вызван Бессонов. Он дал показания о связях, якобы поддерживавшихся с эмигрантами-эсерами, с Троцким и нацистами.

Номер один

Только после этого начался допрос главного действующего лица процесса. Вышинский приступил к своей дуэли с Бухариным.

В ходе следствия Бухарина не пытали [1]. После ареста 27 февраля 1937 года Бухарину дали очную ставку с Радеком, который, однако, выдвинул против Бухарина лишь ограниченные свидетельства, заявил, что Бухарин в известной степени противился союзу Троцкого с немцами [2], и отказался подтвердить некоторые из наиболее зловещих обвинений [3]. После трехмесячных допросов, после угроз его молодой жене и ребенку, Бухарин в долгом разговоре с Ежовым и Ворошиловым согласился — как «представитель Политбюро» — признать все обвинения, в том числе замысел убить Ленина. Но когда два дня спустя Бухарину принесли на подпись его «показания», отредактированные и выправленные лично Сталиным, он был настолько потрясен, что взял все свои «признания» обратно.

Следствие началось заново, теперь его вела удвоенная бригада следователей. В конце концов Бухарин согласился дать показания, но отказался говорить о том, что будто бы планировал убийство Ленина [4]. А одно из обвинений, выдвинутое против него теперь в зале суда, вообще не упоминалось в ходе следствия. Это обвинение — шпионаж. Несомненно, следователи понимали, что признания в шпионаже Бухарин ни за что не подписал бы, и вот это обвинение было брошено ему впервые прямо в зале суда.

Перед тем, как Вышинский начал задавать вопросы, Бухарин обратился к суду с просьбой разрешить ему излагать свои показания свободно, то есть без наводящих вопросов прокурора, и остановиться на описании идейных позиций «блока». Вышинский немедленно потребовал, чтобы ходатайство Бухарина было отклонено, как ограничивающее законные права обвинителя. После этого Бухарин объявил, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Свою вину он признал в следующих осторожно подобранных фразах:

«Я признаю себя виновным в том, что я был одним из крупнейших лидеров этого „право-троцкистского блока“. Я признаю себя, следовательно, виновным в том, что вытекает непосредственно отсюда, виновным за всю совокупность преступлений, совершенных этой контрреволюционной организацией независимо от того, знал ли я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в этом или ином акте, потому что я отвечаю, как один из лидеров, а не как стрелочник этой контрреволюционной организации».

Бухарин признал, что планировал насильственное свержение советской власти «...при помощи использования войны, которая прогностически стояла в перспективе», он якобы рассчитывал на поддержку иностранных государств, которым предполагалось сделать территориальные уступки.

Вышинский: А также путем ослабления обороноспособности?

Бухарин: Видите ли, этот вопрос не обсуждался, по крайней мере в моем присутствии.

Что касается вредительства, то Бухарин показал, что «была принята ориентация на вредительство», но на конкретные вопросы по этой теме отвечал так.

Вышинский: Как вы видите из процесса, обстановка была достаточно конкретной. Вы с Ходжаевым разговаривали о том, что мало вредят, что плохо вредят?

Бухарин: Насчет того, чтобы форсировать вредительство, разговоров не было.

После этого прозвучало «признание» Бухарина в том, что «блок» стоял за террор против высшего руководства. Вышинский немедленно спросил, было ли убийство Кирова совершено также с ведома и по указанию «право-троцкистского блока»?

Бухарин: Это мне не было известно.

Вышинский: Я спрашиваю: с ведома и по указаниям «право-троцкистского блока» совершенно было это убийство?

Бухарин: А я повторяю, что это мне не известно, гражданин Прокурор.

Вышинский: Специально об убийстве Сергея Мироновича Кирова вам не было известно?

Бухарин: Не специально, а...

Вышинский: Обвиняемого Рыкова разрешите спросить?

Председательствующий: Пожалуйста.

Вышинский: Подсудимый Рыков, что вам известно по поводу убийства Сергея Мироновича Кирова?

Рыков: Я ни о каком участии правых и правой части блока в убийстве Кирова не знаю.

Вышинский: Вообще о подготовке террористических актов — убийств членов партии и правительства — об этом вам известно?

Рыков: Я, как один из руководителей правой части этого блока, участвовал в организации целого ряда террористических групп и в подготовке террористических актов. Как я сказал в своих показаниях, я не знаю ни одного решения правого центра, через который я имел отношение

[1] На этом настаивал Микоян в беседе с Луи Фишером (см. L o u i s F i s c h e r. «Russia Revisited». London, 1957, p. 64), и это согласуется со сведениями из других источников.

[2] См. «Дело Бухарина», с. 383.

[3] См. O r l o v, p. 283.

[4] См. там же, p. 284 — 285.

к «право-троцкистскому Блоку», *о* фактическом выполнении убийств...

Вышинский: О фактическом выполнении. Так. Известно ли вам, что «право-троцкистский блок» ставил одной из своих задач организацию и совершение террористических актов против руководителей партии и правительства?

Рыков: Я сказал больше того, что я лично организовал террористические группы, а вы меня спрашиваете, знал ли я через какое-то третье лицо об этих задачах.

Вышинский: Я спрашиваю, имел ли «право-троцкистский блок» отношение к убийству товарища Кирова?

Рыков: В отношении правой части к этому убийству у меня никаких сведений нет, и поэтому я до настоящего времени убежден, что убийство Кирова произведено троцкистами, без ведома правых. Конечно, я об этом мог и не знать.

Сбитый с толку Вышинский обратился к Ягоде. Тот сказал, что Рыков и Бухарин говорят неправду: Рыков и Енукидзе, дескать, присутствовали на заседании, где обсуждался этот вопрос. Однако Ягода стал тут же по собственной инициативе делать странные намеки.

Вышинский: Вы лично после этого приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось?

Ягода: Я лично?

Вышинский: Да, как член блока.

Ягода: Я дал распоряжение...

Вышинский: Кому?

Ягода: В Ленинграде Запорожцу. Это было немного не так...

Вышинский: А вы дали потом указания не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?

Ягода: Да, дал... Не так.

Вышинский: В несколько иной редакции?

Ягода: Это было не так, но это неважно.

Вышинский поспешно оставил эту тему и начал допрашивать Бухарина по обвинению в намерении убить Ленина. Бухарин «признал», что в 1918 году имелся план ареста Ленина, но, когда Вышинский предположил, что это означало убийство, Бухарин привел пример с арестом Дзержинского. Как известно, Дзержинский был однажды арестован эсерами, но не убит. Допустив, что Сталин и Свердлов тоже могли быть арестованы вместе с Лениным, Бухарин добавил, что «ни в коем случае» они не были бы убиты. Дальнейшее разбирательство этого вопроса Вышинский отложил до вызова свидетелей.

После этого Бухарину разрешили высказаться подробнее. Ульрих предложил ему держаться темы о его «преступной антисоветской деятельности», но прошло десять, пятнадцать минут, а Бухарин все еще излагал теорию, согласно которой движение правых должно было прийти к восстановлению капитализма. Ульрих прервал Бухарина, сказав, что тот не должен сейчас произносить свою защитительную речь.

Бухарин ответил: «Это у меня не моя защита, это у меня самообвинение. Я ни одного слова в свою защиту не сказал...». Строго говоря, он и не сказал. Продолжил Бухарин тем, что признал: его программа означала сначала «сползание к буржуазно-демократической свободе», которая, в свою очередь (как уточнил Вышинский, и уточнение было принято Бухариным), означала... «прямой оголтелый фашизм»!

Затем Вышинский обратился к шпионажу.

Вышинский: Тогда почему так легко вы пришли к блоку, который занимался шпионской работой?

Бухарин: Я относительно шпионской работы совершенно ничего не знаю.

Вышинский: Как не знаете?

Бухарин: Так.

Вышинский: А блок чем занимался?

Бухарин: Здесь прошло два показания относительно шпионажа — Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов.

Здесь Бухарин хитро обернул всю тактику процесса против авторов его сценария. Ведь Иванов, по его собственным словам, был агентом царской охранки в революционном движении. Для партийной аудитории ничего не могло быть презреннее этого, никто не мог заслуживать меньшего доверия, чем подобная личность. Так свидетельство Иванова автоматически подрывалось. В то же время Бухарин ясно дал понять, что Иванов на процессе действует в том же качестве провокатора, только по приказу других хозяев.

Тут Вышинский сумел «выиграть очко», обратившись к Рыкову. Тот снова подтвердил, что знал о шпионаже, проводившемся белорусскими «национал-фашистами», и заявил, что, «по-моему, знал и Бухарин». Бухарин отпарировал, что не знал. Его связь с австрийской полицией, о которой заговорил Вышинский, «заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии».

Вышинский: Обвиняемый Шарангович, вы были польским шпионом, хотя и сидели в тюрьме?

Шарангович: Был, хотя и сидел.

Бухарин: Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме [1].

Бухарин принялся затем излагать переговоры о создании «блока» и описывать его структуру, основываясь на своих разговорах с Каменевым в 1928 году и позже. При этом особое внимание Бухарин уделял платформе Рютина. Ульрих снова вмешался: «Пока еще вы ходите вокруг да около, ничего не говорите о преступлениях».

[1] «Дело Бухарина», с. 343—344.

Бухарин заговорил о планах переворота в 1935 году, якобы составленных Енукидзе и Петерсоном, которые не воплотились ни во что реальное. Продолжая давать показания на следующее утро, 7 марта, он развил эту тему, включив в число предполагаемых участников и группу Тухачевского. (Вышинский возражал против употребления Бухариным термина «дворцовый переворот».) Бухарин также «признал», что рассылал по областям организаторов беспорядков, но отрицал, что знал о связях этих организаторов с белогвардейцами и немецко-фашистскими кругами. И снова произошла долгая перепалка: Вышинский пытался вынудить у Бухарина признание, что об этих связях ему было известно. Прокурор хотел также добиться, чтобы осведомленность Бухарина подтвердил Рыков. Но Рыков на сей раз собрался с силами и поддержал Бухарина.

Рыков пошел даже дальше, отрицая свою осведомленность о том, что Карахан был шпионом. По всей теме о переговорах с Германией Бухарин признал лишь, что Троцкий говорил об отделении Украины от СССР, но сам он, дескать, «не считал для себя обязательными» указания Троцкого. Вот какой диалог состоялся по поводу переговоров, которые Карахан будто бы вел с немцами:

Вышинский: Вы эти переговоры одобрили?

Бухарин: Или дезавуировал? Не дезавуировал, следовательно — одобрил.

Вышинский: Я вас спрашиваю, одобрили или нет?

Бухарин: Я повторяю, гражданин Прокурор: так как не дезавуировал, то, следовательно, одобрил.

Вышинский: Следовательно — одобрили?

Бухарин: Если не дезавуировал, то, следовательно, одобрил.

Вышинский: Вот я и спрашиваю: значит, одобрили?

Бухарин: Значит, «следовательно» — все равно, что «значит».

Вышинский: Что значит?

Бухарин: Значит, одобрил.

Вышинский: А вы говорите, что вы об этом узнали постфактум.

Бухарин: Да, это ни капли не противоречит одно другому.

Вышинский затем снова нацелился на тему о шпионаже, подняв вопрос с Рыковым о белорусах. И тут, на протяжении получаса, развернулся один из наиболее поразительных диалогов, известных в истории судебных процессов.

Вышинский: Это не шпионская связь?

Рыков: Нет.

Вышинский: Какая это связь?

Рыков: Там была и шпионская связь.

Вышинский: Шпионская связь в части вашей организации имелась с поляками по вашей директиве?

Рыков: Конечно.

Вышинский: Шпионская?

Рыков: Конечно.

Вышинский: В том числе и Бухарина?

Рыков: Конечно.

Вышинский: Вы и Бухарин были связаны?

Рыков: Безусловно.

Вышинский: Значит, вы были шпионами?

(Рыков молчит.)

Вышинский: И организаторами шпионажа?

Рыков: Я ничем не лучше шпиона.

Вышинский: Вы были организатором шпионажа, были шпионом?

Рыков: Можно сказать, да.

Вышинский: Можно сказать, что шпион. Я спрашиваю, вы организовали связь с польской разведкой и соответствующими шпионскими кругами? Вы признаете себя виновным в шпионаже?

Рыков: Если речь идет об организации, то в данном случае, конечно, признаю себя виновным.

Вышинский: Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?

Бухарин: Я не признаю.

Вышинский: А Рыков что говорит, а Шарангович что говорит?

Бухарин: Я не признаю.

Вышинский: Когда организовалась в Белоруссии организация правых, вы возглавляли ее, вы это признаете?

Бухарин: Я вам сказал.

Вышинский: Я вас спрашиваю, признаете вы или нет?

Бухарин: Я белорусскими делами не интересовался.

Вышинский: Вы интересовались шпионскими делами?

Бухарин: Нет.

Вышинский: А кто интересовался?

Бухарин: Я об этого рода деятельности не получал никаких информаций.

Вышинский: Обвиняемый Рыков, получал ли Бухарин какую-нибудь информацию об этого рода деятельности?

Рыков: У меня с ним разговоров об этом не было.

Повторив весь круг своих вопросов, Вышинский добился только того, что Рыков вернулся на свои прежние позиции.

Рыков: То есть первходом этим мы непосредственно не руководили, но вопрос не в непосредственном руководстве, а касается общего руководства. Мы за это отвечаем совершенно определенно.

Вышинский: Вам незачем делать постное лицо, подсудимый Бухарин, и нужно признаться в том, что есть. А есть вот что: у вас имелась группа ваших сообщников, заговорщиков в Белоруссии, воз-

главляемая Голодедом, Червяковым, Шаранговичем. Правильно, Шарангович?

Шарангович: Правильно.

Вышинский: И по директиве Бухарина и Рыкова, под их руководством вы связались с польской разведкой и польским генштабом. Правильно, Шарангович?

Шарангович: Совершенно правильно.

Вышинский: И относительно шпионской связи — под вашим руководством. Правильно, Шарангович?

Шарангович: Совершенно правильно.

Вышинский: Следовательно, кто был организатором шпионажа, которым вы занимались?

Шарангович: Рыков, Бухарин.

Вышинский: Значит, они были шпионами?

Шарангович: Совершенно правильно.

Вышинский: Так же, как...

Шарангович: Как и я сам.

Вышинский: Садитесь. (К Рыкову): Подсудимый Рыков, в 1932 году Голодед вам рассказывал, что все сколько-нибудь крупные назначения людей на руководящие посты в Белоруссии предварительно согласовывались с польской разведкой?

Рыков: Да.

Вышинский: Бухарин об этом знал?

Рыков: Этого я не могу сказать.

Вышинский: Не знаете? Не хотите выдавать дружка?

Рыков: То есть в том, что я знаю, что он неправильно говорит, я его уличаю, а в том, что я не знаю,— я этого делать не могу и не буду.

Вышинский: Я спрашиваю вас о том, что поляки давали согласие на различные должностные назначения в Белоруссии. Об этом известно было вашему руководящему центру?

Рыков: Мне было известно. С Бухариным я об этом не говорил. Мне было известно также, что Червяков и Голодед имели связь, кроме меня, с Бухариным и Томским. Говорили они об этом с Бухариным или не говорили, я об этом сказать не могу, потому что при этих разговорах я не присутствовал.

Вышинский: Считаете ли вы, что было бы естественно тому же Голодеду иметь разговор с Бухариным по этому вопросу или же они должны были конспирировать это от Бухарина?

Рыков: Я думаю, что, естественно, он говорил с Бухариным, но о чем они говорили, мне неизвестно.

Вышинский: Я теперь в порядке предположения вас спрошу. Вы предполагаете, что Бухарин об этом был осведомлен?

Рыков: Это обстоятельство... Я предпочитаю говорить только о том, что я знаю. А чего я не знаю — мое положение вовсе не таково в этом зале, чтобы я еще высказывал предположения.

О своих разговорах с Бухариным Рыков показал, что «об этой специально шпионской работе я не помню разговоров. Я не исключаю, чтобы они были, но я не помню».

После длительного обмена репликами с Рыковым по поводу значения некоторых мест из его показаний на предварительном следствии — причем Рыков утверждал, что его слова на следствии носили характер не констатации фактов, а лишь предположений,— Вышинский обратился к Бухарину, который немедленно заявил: «Меня на предварительном следствии об этом не спрашивали ни единого слова и вы, гражданин Прокурор, в течение трех месяцев не допросили меня ни одного слова».

При этих словах Вышинский потерял самообладание и закричал, что не Бухарину его учить, как вести следствие. Он снова взялся за Рыкова, но нисколько не продвинулся в своих попытках доказать шпионаж.

Заключение прокурора прозвучало слабо.

Вышинский: Позвольте считать установленным, что Рыков и Бухарин знали о существе изменнической связи, в состав которой входил и шпионаж. Правильно, Рыков?

Рыков: То есть вытекал шпионаж.

Бухарин: Таким образом, получается, что я знал что-то, из чего что-то вытекало.

Ульрих вернул подсудимых к теме предполагавшегося «переворота». Вслед за тем Бухарин отверг обвинение в том, что он якобы говорил Ходжаеву о соглашении с Германией. В споре по этому поводу Вышинский снова вышел из себя, дав повод Бухарину заметить: «Напрасно вы машете рукой!» Ульрих призвал Бухарина к порядку, а Вышинский набросился на него: «Я вынужден буду тогда прекратить допрос, потому что вы, очевидно, придерживаетесь определенной тактики и не хотите говорить правду, прикрываясь потоком слов, крючкотворствуя, отступая в область политики, философии, теории и так далее». Бухарин спокойно возразил: «Я отвечаю на ваши вопросы», и продолжал отрицать, что говорил Ходжаеву о связях с английскими разведчиками. В припадке ярости Вышинский заявил, что «вы являетесь, очевидно, по всем данным следствия, шпионом одной из разведок». Бухарин поймал его на этом пункте.

Бухарин: За год моего сидения в тюрьме меня об этом ни разу не спрашивали.

Вышинский: Мы вас спрашиваем здесь, на гласном пролетарском суде, мы спрашиваем здесь на этом суде перед всем миром.

Бухарин: Но раньше вы не спрашивали об этом.

Вышинский: Я еще раз спрашиваю на основании того, что здесь было показано против вас, не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы — английской, германской или японской?

Бухарин: Никакой.

Вышинский: Я к Бухарину пока не имею вопросов.

Суд объявил перерыв. Прокурор потерпел явное поражение.

Когда заседание возобновилось, Бухарин перечислил свои контакты с эмигрантами — меньшевиками и эсерами — и упомянул об уступках, которые должны были быть сделаны в пользу Германии. Он снова категорически отрицал свою причастность к шпионажу. Далее Бухарин сказал, что военные заговорщики будто бы говорили с Томским об «открытии фронта» в случае войны, но что он, Бухарин, с этим не соглашался.

Вышинский: А с Караханом вы говорили об открытии фронта?

Бухарин: Карахан сказал, что немцы требовали военного союза с Германией.

Вышинский: А для союзника ворота закрыты?

Бухарин: На это Карахан мне ответил.

Вышинский: Для союзника ворота закрыты?

Бухарин: Нет.

Вышинский: Значит, открыть ворота?

Бухарин: Простите, но союза еще никакого не было.

Вышинский: Предположение, планы были.

Бухарин: Вот сейчас Советский Союз находится в союзе с Францией, но это не значит, что он открывает советские границы.

Вслед за этим Вышинский обратился к преступлению, в котором из всех подсудимых обвинялся только Бухарин,— к плану убийства Ленина в 1918 году. Обвинение представило трех свидетелей, трех известных «левых коммунистов» того периода — Яковлеву, Манцева и Осинского. Последний (урожденный князь Оболенский) был все еще кандидатом в члены ЦК партии после своего избрания в 1934 году.

Из всех троих наиболее выдающейся была в то время Варвара Яковлева — кандидат в члены малочисленного ЦК 1917 года. Вместе с Бухариным, Пятаковым и В. М. Смирновым она подала в отставку после того, как было принято решение о Брестском мире.

Теперь она полностью подтвердила версию Вышинского. Бухарину, однако, было нетрудно показать, что так называемая «нелегальная деятельность» в начале 1918 года отнюдь не была нелегальной. На деле левые и более или менее объединенные с ними троцкисты располагали тогда большинством и надеялись навязать остальным свою позицию по обычным партийным каналам. Бухарин признал, что после того, как это большинство было потеряно, состоялись разговоры, в ходе которых высказывалось мнение об аресте Ленина и формировании нового правительства. (Бухарин вообще думал лишь об аресте Ленина на двадцать четыре часа с целью облегчить смену правительства, и он полностью рассказал об этом плане уже в 1924 году)[1].

Переговоры шли также с левыми эсерами, вышедшими из правительства в результате расхождений по вопросу о мире. Но Бухарин категорически отрицал, что существовал какой-либо план убить Ленина. Он также отрицал участие эсеров в заговоре.

Бухарин указал далее, что многие из тех, кто в 1918 году были левыми коммунистами — в том числе Куйбышев и Менжинский,— не считались впоследствии из-за этого врагами. Здесь суд оборвал Бухарина: это, дескать, не относилось к делу. Таким образом были пресечены попытки Бухарина отметить еще ряд обстоятельств — например, то, что он сам был ранен при взрыве бомбы, брошенной левыми эсерами, в конспирации с которыми его теперь обвиняли.

Свидетельские показания Манцева мало отличались от показаний Яковлевой, они шли по той же линии. Осинский же дал более сдержанное свидетельство, не обвинив Бухарина по некоторым пунктам. Продолжая отрицать все свидетельства о плане убийства Ленина, Бухарин дважды ясно намекнул на истинную причину поведения «свидетелей».

Вышинский: Вы утверждаете, следовательно, что показания Манцева в этой части и показания свидетельницы Яковлевой неправильны?

Бухарин: Да, я утверждаю.

Вышинский: Чем вы объясняете, что они говорят неправду?

Бухарин: Вы уж их об этом спросите. И позже опять.

Вышинский: Вы должны чем-то объяснить то, что против вас говорят три человека ваших бывших сообщников.

Бухарин: Видите ли, у меня нет ни достаточных материальных, ни психологических данных, чтобы выяснить этот вопрос.

Вышинский: Не можете объяснить?

Бухарин: Не не могу, а просто отказываюсь объяснить.

Дальше в этом направлении Вышинский не пошел. Он назвал новых двух свидетелей — старых эсеров Бориса Камкова и Владимира Карелина. Согласно описанию Маклина, оба они были «в опрятных синих костюмах», а лица у них были «серыми, как у трупов»[2]. Камков

---

[1] В «Правде», 3 январи 1924 г.

[2] Maclean F. «Eastern Approaches». London, 1941, p. 99.

и Карелин уже годы и годы находились в заключении. В ходе допроса было упомянуто имя еще более знаменитой эсеровской руководительницы Марии Спиридоновой[1], но она, по-видимому, отказалась сотрудничать с властями на суде. В статье польской коммунистки Ядвиги Сикорской, сидевшей с ней в 1937 году в одной камере, утверждается, что в результате зимой того же года Спиридонову расстреляли[2]. (Небезынтересно, что статья Сикорской подверглась суровой критике на страницах журнала «Коммунист» за то, что она написана с позиций так называемого «абстрактного гуманизма».)

Камков — его вызвали первым из двоих — был, очевидно, в двадцатых годах освобожден из заключения, но не позднее 1933 года попал в тюрьму опять[3]. На суде он показал, что слышал от других об осведомленности Бухарина насчет намерений эсеров, но добавил, что прямо свидетельствовать об этом не может. Он отрицал принятие каких-либо объединенных решений совместно левыми эсерами и левыми коммунистами. Твердость старого революционера опять привела в волнение Вышинского, и когда Бухарин попытался задать вопрос, прокурор взорвался: «*Я прошу предложить обвиняемому Бухарину не вмешиваться в мой допрос. Я веду себя достаточно сдержанно, требую, чтобы и мой противник вел себя сдержанно*». Камков снова отклонил возможность совместных действий, и Вышинский прекратил допрос свидетеля, даже не упомянув о планах покушения на Ленина.

Карелин оказался более сговорчивым и подтвердил, что план убийства Ленина существовал. Он заговорил также о совершенно другом деле, о действительном покушении на Ленина 30 августа 1918 года. Это покушение было выполнено правой эсеркой Фанни Каплан. Карелин объявил, что на этом террористическом акте настаивал Бухарин и что его мнение было передано через левых эсеров.

Для подтверждения этого был вновь вызван Осинский. Он сказал, что слышал какие-то неопределенные слухи насчет того, что покушение Каплан вдохновлялось антиправительственной позицией левых, но заявил: «...персонально насчет Бухарина сказать ничего не могу».

Бухарин же все начисто отрицал.

Вышинский: Осинский дал объяснения.

Бухарин: Осинский сказал, что обо мне он ничего не может сказать.

Опять Вышинский прямо взялся за Бухарина, пытаясь вынудить у него признание, что в 1918 году атмосфера в партии была так накалена, что убийство выглядело бы разумным. Бухарин это отрицал, а заодно повторно отверг свидетельские показания.

Вышинский: А почему говорят об этом и «левые» коммунисты, и «левые» эсеры — все?

Бухарин: Нет, это говорят не все: из двух «левых» эсеров только один.

По другому обвинению Бухарин тоже заявил, что «абсолютно не согласен, я это категорически отрицаю», и на этом «категорическом отрицании» допрос Бухарина закончился.

В обвинительном заключении по делу «право-троцкистского блока» Яковлева, Манцев, Осинский, Камков и Карелин перечислены среди тех, чьи дела выделены в особое производство. Теперь даты смерти четырех из них стали известны официально. Камков умер в 1938 году, в год процесса[1]. Тем же 1938 годом датируется смерть Карелина[2]. Год смерти Осинского все тот же 1938, даже дата есть — 1 сентября[3]. Можно предполагать, что они были казнены после процесса за участие в том же гипотетическом плане убийства Ленина, по которому Карелин и Осинский оговаривали Бухарина. Яковлева, показания которой на суде были наиболее удовлетворительными, дожила почти до конца войны, до 1944 года[4].

Дела медицинские

Утром 8 марта 1938 года процесс дошел до самого ужасного и самого темного обвинения из всех, выдвинутых против «блока». На протяжении последующих двух дней главной темой допросов была система «медицинских убийств», якобы выполнявшихся по прямым распоряжениям Ягоды.

Выдвинуть обвинение в «медицинских убийствах» против участников оппозиции решено было, видимо, после того, как наркомом внутренних дел стал Ежов. Планы НКВД впутать в дело профессора Плетнева восходят к декабрю 1936 года, но арестован он был, по-видимому, не раньше первой половины июня следующего года. По крайней мере, «Правда» от 8 июня 1937 года пишет и настоящем времени, что «Плетнев занимает выборную должность» в обществе врачей. Доктора Ле-

[1] См. там же, р. 437.

[2] Jadwiga Sikierska в журнале «Swiat», Варшава, 24 марта 1957 г.

[3] Ciliga Anton. «The Russian Enigma». London, 1940, р. 292.

[1] См. XI съезд РКП(б), стенограф. отчет. М., 1961, с. 823 (биографическая справка).

[2] См. Ленин. Собр. соч., т. 50, с. 532 (биографическая справка).

[3] См. «Советскую историческую энциклопедию». М., 1967, т. 10 (статья «Осинский»).

[4] См. «Вопросы истории», 1967, № 6 («В. Н. Яковлева — борец за победу идей Великого Октября»).

вина арестовали в промежутке между смертью Орджоникидзе (тогда, в феврале 1937 года, его имя появилось в последний раз в списке кремлевских врачей) и 12 июня 1937 года (когда в подобном же списке его имя уже не появилось). Секретарь покойного Горького Крючков подвергся нападкам в «Правде» от 17 мая вместе с другими литераторами, якобы связанными с Ягодой. Можно считать, что его арест состоялся около этой даты.

Помимо врачей, обвинявшихся на процессе, были названы еще двое «убийц» — доктор А. И. Виноградов из санчасти ОГПУ (см. «Дело Бухарина», стр. 458), в отношении которого следствие было прекращено за смертью обвиняемого (см. там же, стр. 37), и начальник Лечсанупра Кремля до 1938 года Ходоровский, которого, видимо, не успели «подготовить» к суду. Годом его смерти назван 1940-й (см. XI съезд РКП(б), биогр. справка).

На суде разбиралось четыре так называемых убийства. Первым, в мае 1934 года, был будто бы умерщвлен предшественник Ягоды на посту начальника ОГПУ Менжинский. Согласно официальной версии, Менжинского умертвил его любимый врач Казаков — по инструкциям, исходившим от доктора Левина. Потом, в том же месяце, был якобы уничтожен сын Горького Максим Пешков. Это убийство приписывалось Левину и профессору Плетневу. Следующей жертвой этих двоих стал, по обвинительному заключению, Куйбышев, и, наконец, они же погубили самого Горького.

Первым давал показания 68-летний доктор Левин. Он, дескать, вместе с Ягодой был организатором медицинских убийств. Роль Левина — его действительная роль — самое темное место во всем процессе. Ягода вряд ли стал бы вербовать постороннего врача на такое дело, как убийство по приказу,— но это соображение не относится к человеку, который с 1920 года «работал в штатной должности и в качестве консультанта санитарной части НКВД»[1]. Левин работал с Дзержинским, Менжинским и Ягодой, так что можно определенно сказать, что он пользовался и ОГПУ-НКВД не только медицинским авторитетом. По его собственным словам, «это было внимание со стороны руководителя такого органа, как ОГПУ. Я видел в этом определенное признание и доверие ко мне со стороны руководителя такого учреждения». Он также чувствовал, что погибнет вместе с Ягодой[2]. Можно фактически считать Левина до известной степени членом того круга сотрудников Ягоды в НКВД, который в полном составе последовал за наркомом в камеры смертников.

Кроме того, Левин обронил на суде, что он стал говорить правду с «самого первого дня, как я вступил в тюрьму». Если принять это на веру, то такое поведение настолько резко отличается от образа действий остальных беспартийных обвиняемых, что свидетельствует либо о высочайшей «дисциплинированности» Левина перед лицом НКВД, либо о некоей достоверности его признаний (опять-таки в отличие от большинства подсудимых).

В коротком перекрестном допросе Левина Бухарин спросил, не являлся ли доктор контрреволюционером и вредителем уже в 1918 году, после того как большевики захватили власть,— спросил так, как будто речь шла о широко известном факте. Вопрос Бухарина представляется не имеющим отношения к делу и даже могущим повредить делу всех подсудимых. Но если искать в нем особого намека, то намек может быть в том, что Левин из-за своего прошлого мог быть легко завербован ОГПУ и под угрозой разоблачений использован на любой работе.

Как мы знаем (см. стр. 353) [1], Левин в каком-то смысле замешан в смерти Орджоникидзе. Его подпись, в числе других, стоит под фальсифицированным медицинским заключением о смерти Орджоникидзе в то время. Но если Левин и был вовлечен во все эти злодейские дела, то надо по справедливости отметить, что об этом очень мало кто знал. Видный советский дипломат Бармин полагал, что Левин был просто врачом, преданным своей профессии и ни в чем не замешанным.

Левин дал образцовые показания о планировании и проведении так называемых медицинских убийств. Согласно его рассказу и показаниям других, было выполнено следующее:

1. Казакову, доктору-шарлатану и любимцу Менжинского, приказали убить Менжинского чрезмерной дозой одного из «лизатов» собственного, казаковского, изготовления, дабы освободить пост начальника ОГПУ для Ягоды.

2. Убили Максима Пешкова в два этапа: сперва приказали секретарю Горького Крючкову напоить Пешкова пьяным и оставить в таком состоянии на садовой скамейке, «на холоде» (хотя был май); а затем, когда Пешков простудился, напустили на него Левина, Виноградова и Плетнева.

3. На прогулках с Горьким для него разжигали костры, которые он очень любил, хотя у писателя были слабые легкие, и костры плохо действовали на его здо-

[1] «Дело Бухарина», с. 480.

[2] См. «Дело Бухарина», с. 482.

ровье [1]; возили Горького к его внучкам, когда те лежали с простудой, и тем самым заразили писателя, а потом отдали его в руки Левина и Плетнева.

4. Куйбышева просто неправильно лечили от болезни сердца — но скончался-то он в конце концов потому, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь, хотя следовало бы полагать при таких обстоятельствах, что отсутствие «преступной» врачебной помощи не ухудшило его состояния перед смертью!

Левин очень правдоподобно объяснил, каким образом его завербовал Ягода; и так правдоподобно, что вызвал вздох даже у видавшей виды аудитории Октябрьского зала.

Левин: Он сказал: «Учтите, что не повиноваться мне вы не можете, вы от меня не уйдете. Раз я вам оказал в этом доверие, раз вам оказывается доверие в этом деле — вы это и должны ценить и вы должны это выполнить. Вы никому не сможете об этом рассказать. Вам никто не поверит. Не вам, а мне поверят. Вы в этом не сомневайтесь. Вы это сделайте. Вы обдумайте, как можете сделать, кого можете привлечь к этому. Через несколько дней я вызову вас». Он еще раз повторил, что невыполнение этого грозит гибелью и мне, и моей семье. Я считал, что у меня нет другого выхода, я должен ему покориться. Опять-таки, когда смотришь с перспективы, с сегодняшнего дня на 1932 год, когда видишь, насколько мне, как беспартийному человеку, казался всемогущим Ягода, то, конечно, очень трудно было отвертеться от его угроз, от приказов его.

Для подтверждения показаний Левина о Менжинском с места вызвали Казакова. В отличие от Левина и Плетнева, Казаков не пользовался высокой медицинской репутацией, но в своих эксцентричных идеях о новых средствах лечения был, очевидно, искренен. Он применял (как в дальнейшем заметил Буланов) «такие мудреные лекарства, которые не только неизвестны медицине, но слабо известны самому Казакову».

Это, к слову сказать, один из примеров того, как советские руководители хватались за идеи, отвергнутые специалистами в соответствующей области науки. То же было с лингвистикой Марра и биологией Лысенко. Последний пример из области медицины относится к началу шестидесятых годов, когда ленинградское партийное руководство с энтузиазмом проталкивало метод лечения рака, изобретенный неким Качугиным и отвергнутый профессиональными врачами.

Менжинский безгранично верил казаковскому методу лечения «лизатами». В показаниях доктора Левина есть ироническое упоминание всяких толков о чудотворных лекарствах, разработанных профессором Шварцманом, который в свое время произвел хорошее впечатление на Менжинского. Затем наступило разочарование. А «затем была другая реклама, начали шуметь вокруг Игнатия Николаевича Казакова, и тогда он (Менжинский) обратился к Казакову... он был одним из небольшой группы крупных людей в то время, которым казалось, что он чрезвычайно им помогает» [1]. Было даже специальное заседание Совнаркома, обсуждавшее казаковские методы лечения.

Казаков подтвердил показания Левина и сказал, что был вызван лично к Ягоде. Он, дескать, подчинился, испугавшись таких слов Ягоды: «Имейте в виду, что если вы попытаетесь не подчиниться мне, то я сумею вас быстро уничтожить».

Вызвали Ягоду. По Маклину, он выглядел совсем иначе, чем в дни своей власти. Волосы поседели, недавнее самодовольство исчезло [2]. Но он все-таки излучал определенную мрачную энергию. Его показания были необычны, и их следует считать многозначительными, несмотря на то, что позднее в тот же день Ягода взял их обратно.

Вышинский: Подсудимый Ягода, давали вы поручение Левину о вызове к вам Казакова для разговора?

Ягода: Я этого человека вижу первый раз здесь.

Вышинский: Значит, такого поручения вы Левину не давали?

Ягода: Я давал поручение Левину переговорить...

Вышинский: С кем?

Ягода: С Казаковым, но сам лично его не принимал.

Вышинский: Я вас не спрашиваю, принимали вы его или нет, а я спрашиваю, давали вы поручение Левину переговорить с Казаковым?

Ягода: Поручения переговорить с Казаковым я не давал.

Вышинский: Вы только что сказали, что давали Левину такое поручение.

Ягода: Я давал Левину поручение об умерщвлении Алексея Максимовича Горького и Куйбышева, и только.

Вышинский: А насчет Менжинского?

Ягода: Ни Менжинского, ни Макса Пешкова я не умерщвлял.

Вышинский поднял с места Крючкова, и тот подтвердил свою роль в убийстве Пешкова по приказам Ягоды. Прокурор снова обратился к Ягоде и прочел то место из его показаний на предварительном следствии, где Ягода признавался в умерщвлении Менжинского и Максима Пешкова.

Вышинский: Вы это показывали, обвиняемый Ягода?

Ягода: Я сказал, что показывал, но это неверно.

Вышинский: Почему вы это показывали, если это неверно?

Ягода: Не знаю, почему.

Вышинский: Садитесь. «Я вызвал Казакова к себе, подтвердил ему мое распоряжение... Он сделал свое дело, Менжинский умер». Показывали это, обвиняемый Ягода?

Ягода: Показывал.

Вышинский: Значит, вы встречали Казакова?

Ягода: Нет.

Вышинский: Почему вы показывали неправду?

Ягода: Разрешите на этот вопрос не ответить.

Вышинский: Вы отрицаете, что вы организовали убийство Менжинского?

Ягода: Отрицаю.

Вышинский: В этом показании вы это признали?

Ягода: Да.

Вышинский: Когда вас допрашивал Прокурор Союза, то вы как ответили на этот вопрос о своем отношении к убийству Менжинского?

Ягода: Тоже подтвердил.

Вышинский: Подтвердили. Почему вы подтвердили?

Ягода: Разрешите на этот вопрос не ответить.

Вышинский: Тогда ответьте на мой последний вопрос. Вы заявляли какие-нибудь претензии или жалобы по поводу предварительного следствия?

Ягода: Никаких.

Вышинский: Сейчас тоже не заявляете?

Ягода: Нет.

Вышинский перешел затем к умерщвлению Максима Пешкова и продолжал допрос так:

Вышинский: Так что все, что говорит Крючков...

Ягода: Все ложь.

Вышинский: Вы ему такого поручения о Максиме Пешкове не давали?

Ягода: Я заявлял, гражданин Прокурор, что в отношении Максима Пешкова никаких поручений не давал, никакого смысла в его убийстве не вижу.

Вышинский: Так что Левин врет?

Ягода: Врет.

Вышинский: Казаков говорит ложь?

Ягода: Ложь.

Вышинский: Крючков?

Ягода: Ложь.

Вышинский: Крючкову по поводу смерти Максима Пешкова поручений не давали? Вы на предварительном следствии...

Ягода: Лгал.

Вышинский: А сейчас?

Ягода: Говорю правду.

Вышинский: Почему вы врали на предварительном следствии?

Ягода: Я вам сказал. Разрешите на этот вопрос вам не ответить [1].

Американский наблюдатель на процессе отмечал, что Ягода говорил «с такой концентрированной злобой и яростью», что все присутствующие затаили дыхание «в тревоге и ужасе». Когда в допрос вмешался Ульрих, Ягода повернулся к нему и сказал (эта фраза не вошла ни в один официальный отчет): «Вы на меня можете давить, но не заходите слишком далеко. Я скажу все, что хочу сказать... Но... слишком далеко не заходите» [2]. Все были вновь потрясены. Маклин пишет, что на процессе тайно присутствовал Сталин, сидя в помещении на хорах и наблюдая через окно. По его словам, был момент, когда многие ясно увидели Сталина при переключении света [3]. Если это так, то, вероятно, при этой фразе Ягоды Сталин подумал, не проваливается ли весь его план.

Ягода имел больше причин сопротивляться процессу, чем кто-либо другой из подсудимых. Он помогал Сталину вернее всех, он сослужил ему незаменимую службу. Арест так подействовал на Ягоду, что он долго не мог ни спать, ни есть, и Ежов опасался за его психику. К нему послали для переговоров начальника иностранного отдела НКВД, вкрадчивого и льстивого Слуцкого. В ходе их разговора Ягода горько жаловался, что разрушен аппарат безопасности, который он создавал пятнадцать лет. А однажды сказал Слуцкому, что Бог, наверно, все-таки есть: от Сталина он, дескать, получал только благодарности, а от Бога получил то, что его теперь постигло [4].

Но на процессе демонический взрыв Ягоды повис в воздухе. Вышинский перестал задавать ему вопросы и вновь обратился к Левину. Тот рассказал детали умерщвления Куйбышева и Горького, после чего Ягода эти детали подтвердил.

К концу утреннего заседания, когда Левин излагал подробности умерщвления Горького, Ягода вдруг спросил, может ли он задать Левину вопрос. Хотя подобные вопросы одного подсудимого другому были обычной практикой в предыдущие дни процесса, Ульрих поспешно ответил, что

---

[1] Дословно Левин сказал так: «Горький любил огонь, пламя, и это было нами использовано. Для него разжигался костер, как раз после утомления Горького работой, собиралось все в кучу, срубленные сучья, разжигалось пламя. Горький стоял около этого костра, было жарко, и все это вредно действовало на его здоровье» (см. «Дело Бухарина», с. 475).

[1] «Дело Бухарина», с. 459.
[2] F. Maclean, p. 102.

[1] «Дело Бухарина», с. 468—469.
[2] Walter Duranty. «The Kremlin and the People». London, 1942, p. 84—85.
[3] F. Maclean, p. 119—120 (см. прим. [2]).
[4] A. Orlov, p. 264.

только после того как Левин закончит показания. Ягода, желая подчеркнуть неотложность вопроса, сказал тогда, что он касается смерти Максима Горького.

Ульрих, явно опасаясь худшего, обрезал его, повторив, что Ягода сможет задать свой вопрос после дачи показаний Левина. Вскоре он объявил тридцатиминутный перерыв. После перерыва Вышинский объявил, что подсудимый Ягода хотел задать вопрос подсудимому Левину.

Председательствующий: Подсудимый Ягода, можете задать вопросы.

Ягода: Я прошу ответить Левина, в каком году постановлением лечебной комиссии Кремля он, Левин, был прикомандирован ко мне как лечащий врач, и к кому еще он был прикомандирован?

Когда ответ на этот вопрос был дан — без каких-либо ссылок на смерть Горького или на другие преступления — Ягода сказал, что больше у него вопросов нет. Как легко видеть, до перерыва в судебном заседании он хотел спросить совсем не о том, о чем фактически спросил после перерыва.

Потом задавать вопросы Левину стал его «защитник» Брауде. Были отмечены два момента. Во-первых, Левин подчеркнул то, что, очевидно, в том или ином смысле, было мощной причиной его повиновения сильным людям, способным на жесткие меры: «Меня больше всего страшило то, что он пригрозил разгромить мою семью. А семья моя — хорошая, трудовая советская семья». Затем, о «директивной организации», принявшей решение об убийствах, Левин сказал следующее: «Я об этом ничего не знал. Я узнал об этом на самом процессе».

Еще раньше суд объявил состав экспертной комиссии из пяти врачей. Утреннее заседание 8 марта закончилось следующим обменом репликами:

Председательствующий: У экспертизы есть какие-нибудь вопросы к подсудимому Левину?

Шервшевский и *Виноградов:* У экспертизы никаких вопросов нет, все ясно [1].

На вечернем заседании 8 марта были заслушаны основные показания Буланова (личного помощника Ягоды) и самого Ягоды.

Буланов был ветераном НКВД — еще в январе 1929 года он руководил высылкой Троцкого из страны. На суде он изложил свою особую версию якобы запланированного государственного переворота с захватом Кремля. По этой версии в деле участвовали Енукидзе и Ягода, причем поддерживалась будто бы связь с группой Тухачевского и с Караханом, проводившим переговоры с немцами. Затем Буланов сказал, что Ягода покрывал Угланова и Ивана Смирнова в ходе их допросов, а также распорядился не делать обысков при арестах Зиновьева и Каменева. Он оговорил всех бывших руководителей НКВД, назвав их участниками заговора; он описал, как Ягода приказал Запорожцу «облегчить» убийство Кирова, как Запорожец выпустил убийцу Николаева после его первой попытки проникнуть в Смольный, как после убийства Кирова уничтожил его личного телохранителя Борисова.

По Буланову, сотрудники Ягоды Паукер и Волович, ответственные за личную безопасность Сталина, тоже были участниками заговора. В таком случае любопытно, почему Ягода, организовавший с помощью Запорожца доступ убийцы к Кирову в Ленинграде, не мог организовать чего-либо в том же роде в Москве.

Потом на сцене появилось новое «преступление» — попытка Ягоды убить Ежова после того как Ежов возглавил НКВД в сентябре 1936 года. Буланов и другой сотрудник НКВД Саволайнен (чье дело было выделено в особое производство) будто бы шесть или семь раз опрыскивали кабинет Ежова ртутным раствором, нанося ртуть в смеси с каким-то неизвестным ядом на ковры и занавеси.

Возможно, таким путем и можно добиться нужных результатов. Когда Клара Люс была послом США в Риме, у нее случилось отравление токсичной краской, отслаивавшейся с потолка кабинета. Если яд в кабинете Ежова вообще существовал в природе, он мог быть того же типа. В случае с Кларой Люс ни у кого не было по отношению к ней преступных намерений — в случае Ежова такие намерения якобы существовали.

После этого Буланов стал описывать специальную лабораторию по ядам, основанную будто бы Ягодой под его личным наблюдением. Буланов заявил, что Ягода «исключительно» интересовался ядами. Сейчас распространено мнение, что подобная лаборатория могла существовать на деле (до революции Ягода был фармацевтом). В свете того, каковы были действующие лица и их мотивы, можно предположить, что это единственное преступление из всех упомянутых на процессе, могло быть настоящим. Тем более, что здоровью Ежова, как говорилось в зале суда, «был причинен значительный ущерб». Тем не менее в Советском Союзе именно эта история всегда рассматривалась как чистейшая фантазия.

Касаясь «медицинских убийств», Буланов довольно правдоподобно заметил: «Насколько мне известно, Левина Ягода привлек, завербовал к этому делу и вообще к случаям отравления, используя какой-то компрометирующий против него материал...».

Буланов объявил, что Казаков действительно приходил к Ягоде, вопреки отрицаниям последнего. Казаков тут же подтвердил это вновь. И тогда Вышинский опять обратился к Ягоде.

Вышинский: После этих показаний, которыми устанавливается ваше участие в отравлении, вы будете продолжать отрицать это участие?

Ягода: Нет, я подтверждаю свое участие.

И затем, сразу после этого — новый нажим:

Вышинский: Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Ягоды?

Буланов: Конечно.

Вышинский: Подсудимый Ягода, что вы скажете на этот счет?

Ягода: Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание.

Иностранные наблюдатели сообщали, что на утреннем заседании Ягода выглядел загнанным и отчаявшимся, но теперь, во время этого обмена репликами, он был абсолютно сломлен и давал показания почти беззвучно.

Вслед за тем Вышинский попробовал связать Рыкова с убийством Горького — на том основании, что Енукидзе однажды якобы сообщил Рыкову о необходимости ликвидировать политическую активность писателя. Рыков ответил, что Енукидзе, несомненно, имел в виду убийство, но он, Рыков, дескать, понял его тогда не в том смысле. Тут же Рыков поставил вопрос Буланову, который незадолго до того говорил о заговорщицком «архиве Рыкова», будто бы хранившемся у Ягоды: что же было в этом «архиве»? Буланов сказал, что не знает. Однако своим вопросом Рыков хитроумно подчеркнул странное обстоятельство: если была на хранении у Ягоды такая масса документальных свидетельств, то почему ни одно из них не предъявлено суду?

За Булановым вышел на главный допрос сам Ягода. Голос его был изможденным и еле слышным. Запинаясь, читал он свое заявление по бумажке. Маклин пишет: «читал так, словно видел текст в первый раз». Ягода подтвердил свою длительную связь с «правыми заговорщиками», датировав ее начало 1928 годом. В первый период этой связи он, дескать, снабжал Рыкова и Бухарина тенденциозными материалами из секретных архивов НКВД, материалами, которые-де использовались в целях антипартийной борьбы. Затем он покрывал заговорщиков: это он, мол, Ягода, действовал так, что правые и «право-троцкистский блок» не были раскрыты и ликвидированы до самого 1937—38 года. Он назначал конспираторов на руководящие посты в органах безопасности: Молчанова (по срочному указанию Томского), Прокофьева, Миронова, Шанина, Паукера, Гая и других. Он вошел в заговор с Енукидзе по захвату Кремля, и сотрудничество Запорожца в убийстве Кирова он тоже организовал по приказу Енукидзе.

Однако, когда начался перекрестный допрос, Ягода еще выказал некоторые остаточные симптомы сопротивления. Показания Буланова о попытках убить Ежова, сказал он, не верны в деталях, а лишь в существе.

Затем Вышинский обвинил его в шпионаже. Ягода ответил, что в этой деятельности он себя виновным не признает. Но признал, что покрывал в НКВД шпионов.

Вышинский: Я считаю, что раз вы покрывали их шпионскую деятельность, значит, вы им помогали, содействовали?

Ягода: Нет, в этом я не признаю себя виновным. Если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки.

Это разумное замечание не удержало советских лидеров в дальнейшем от той же практики: обвинять руководителей органов безопасности в «сотрудничестве с империализмом». Даже теперь существует официальная версия (впервые обнародованная в 1953 году), якобы Берия долгое время состоял агентом британской разведки.

Рыков снова поднял вопрос о его «архиве». Ягода сказал: «Никакого архива Рыкова у меня не было». Буланов под-

[1] Дальнейшая участь профессоров Шерешевского и В. Н. Виноградова не безынтересна. Они пережили Левина на много лет. В 1952—53 гг. им самим предстояло пройти через такой же процесс. Виноградов, которому 3 ноября 1952 года исполнилось 70 лет, был арестован через несколько дней после этого и объявлен агентом британской разведки. 13 января 1953 г. пресса сообщила, что он — один из убийц Жданова (заключение о смерти которого от 31 августа он подписал). По личному приказу Сталина Виноградов был закован в кандалы (см. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 44). Имя Шерешевского не значилось в списке арестованных, но появилось в более длинном списке тех, кого Берия освободил 4 апреля 1953 года, когда «Дело врачей-вредителей» было разоблачено как провокация. Вообще вся группа «врачей-вредителей» 1953 года, выживших лишь по счастливой случайности — из-за смерти Сталина — подверглась после ареста исключительно жестокому обращению. Это именно к ним относилось распоряжение Сталина «бить, бить и еще раз бить» (см. там же), адресованное генералу госбезопасности М. Д. Рюмину. Рюмин, в то время зам. министра госбезопасности и начальник следственного отдела по особо важным делам, был расстрелян в июле 1954 года.

твердил свое прежнее свидетельство об «архивах», но когда Ягода предложил ему назвать хоть какой-нибудь документ из них, Буланов ответил, что не может. В конце концов Ягода презрительно, но многозначительно прокомментировал: «Во всяком случае, если архив и был бы, то по сравнению с другими преступлениями архив Рыкова — это пустяки».

Тут же вслед Ягода отказался признать, что покрывал меньшевиков.

Вышинский: Но вы-то, по крайней мере, эту даже самую незначительную роль меньшевиков покрывали?

Ягода: Я не смогу вам ответить на этот вопрос.

Вышинский: Позвольте мне предъявить Ягоде его показания в томе 2, лист дела 135. «Вопрос: вам предъявляется документ из материалов НКВД, в котором сообщается о меньшевистском центре за границей и об активной его работе в СССР». Вы припоминаете этот факт?

Ягода: Да, я знаю, я только не смогу на это ответить здесь.

В отношении «медицинских убийств» Ягода продолжал давать ответы, не вполне удовлетворявшие обвинение. Сперва он признал свое «участие в заболевании Макса» (Пешкова), но, когда Вышинский стал нажимать, чтобы Ягода признал себя виновным «как вы сами выражаетесь, в заболевании Пешкова», он просто ответил, что даст объяснения на закрытом заседании. Вышинский спрашивал Ягоду об этом дважды — с тем же результатом. Окончательный обмен репликами выглядел так:

Вышинский: Признаете вы себя виновным или не признаете?

Ягода: Разрешите на этот вопрос не отвечать.

Единственная разница между тем, что признавал Ягода, и формулировкой Вышинского заключалась в том, что первый просто говорил о своем «участии в заболевании», а второй — о виновности Ягоды в смерти Пешкова. Ягода либо намекал на то, что причинил смертельное заболевание ненамеренно, либо, более вероятно, что не признает главную вину вообще. Верна ли хоть одна из этих версий — вопрос особый.

Вслед за этим Ягода принял на себя убийство Менжинского и объявил, что неохотно, только по настоянию Енукидзе, стал участником убийства Горького. Когда в конце заседания Вышинский принялся перечислять все преступления Ягоды, поочередно спрашивая, виновен ли подсудимый в убийствах Кирова, Куйбышева, Менжинского и Горького, он не упомянул о Пешкове. Это было маленькой победой обвиняемого.

Затем задавал вопросы защитник Левина Брауде.

Брауде: Позвольте спросить, какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов?

Ягода: Во всяком случае не такими, какими он здесь рассказывал.

Брауде: Вы подробно сами говорили об этом на предварительном следствии. В этой части вы подтверждаете ваши показания?

Ягода: Они утрированы, но это не имеет значения.

В ходе допроса Ягоды Вышинский предпринял попытку сделать Бухарина соучастником убийства Горького. Бухарин успешно защищался. Все свидетельство против него, даже если принять его за чистую монету, состояло лишь в том, что однажды в разговоре с Бухариным Томский рассказал о враждебности троцкистов к Горькому и об их намерении устроить против Горького враждебный акт. Враждебным актом могло быть что угодно — начиная с газетной статьи,— и, как указал Бухарин, такой разговор с Томским ни в коем случае не служил доказательством причастности к убийству писателя.

За Ягодой наступила очередь Крючкова — секретаря Горького. Это он будто бы оставлял Максима Пешкова лежать в снегу дважды — в марте и апреле — без результатов, пока, наконец, в мае, Пешков не подхватил простуду. После этого Левин и А. И. Виноградов уговорили якобы остальных врачей и сестер дать больному слабительное, вызвавшее смерть. Когда, в свою очередь, простудили Горького, Плетнев и Левин настояли на введении пациенту излишних доз наперстянки.

9 марта утром допрашивался профессор Дмитрий Плетнев — самая трагическая фигура всех трех процессов. Плетнев, шестидесятишестилетний специалист-кардиолог, долгое время пользовался репутацией ведущего врача России, им гордилась вся медицинская профессия. Теперь, впервые в практике процессов (если исключить мелкого мошенника Арнольда, прошедшего по делу Пятакова и других), совершенно чуждый государственному механизму человек, не замешанный ни в какие политические противоречия, стоял перед судом и «признавался»! Профессор Плетнев как бы представлял на суде безмолвную массу беспартийных, чьи страдания во время террора прошли бы иначе совершенно незамеченными.

Когда Ежов решил, что показания одного Левина окажутся явно недостаточными, он обратил внимание на другого главного медика, лечившего Горького. До революции Плетнев был членом конституционно-демократической (кадетской) партии, так что не могло быть и речи о воздействии на его «сознательность

коммуниста». После же революции профессор совершенно отошел от политики, и против него, таким образом, был равно невозможен какой-либо политический шантаж. Он был известен в советских сановных кругах, лечил Орджоникидзе [1], и есть даже сообщение, исходящее из кругов НКВД, что в момент «самоубийства» Орджоникидзе он был у него на дому [2].

Решение, принятое Ежовым о воздействии на профессора, было мерзким даже по ежовским стандартам. По тому, как развивались события, можно заключить, что решение состряпать историю о «медицинских убийствах» было принято вскоре после того как Ежов занял пост Ягоды. Молодая женщина-провокатор, обычно используемая НКВД для компрометации иностранцев, была послана к Плетневу в качестве «пациентки». После двух визитов она вдруг обвинила профессора в том, что два года назад он якобы к ней «приставал» [3]. В декабре 1936 года эта женщина стала ходить на квартиру к Плетневу, стала систематически досаждать его дочери и домработнице. Профессор пожаловался в милицию [4].

Вначале милиция как будто приняла жалобу, но вскоре оказалось, что ход дан контржалобе, принесенной шантажисткой на Плетнева.

8 июня 1937 года «Правда», нарушив свой обычный принцип не выступать по поводу индивидуальных преступлений, опубликовала огромный трехколонник под сенсационным заголовком: «Профессор — насильник, садист». В статье говорилось, что профессор Плетнев 17 июля 1934 года набросился на пациентку Б. и сильно укусил ее за грудь. Это, дескать, причинило ей хроническую травму, которую Плетнев, не будучи специалистом по грудным заболеваниям, пытался лечить. Увидев, что лечение его безуспешно, он обратился в милицию, чтобы его оградили от приставаний женщины. Милиция стала разбираться, а тем временем, 7 января, Б. написала Плетневу письмо, которое «Правда» характеризует как «потрясающий человеческий документ»:

«Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом! Будьте прокляты, садист, применивший на мне свои гнусные извращения. Будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобразившей мое тело! Пусть позор и унижения падут на вас, пусть ужас и скорбь, плач и стенания станут вашим уделом, как они стали моим с тех пор, как вы, профессор-преступник, сделали меня жертвой вашей половой распущенности и преступных извращений. Я проклинаю вас. Б.»

На следующий день «Правда» от 9 июня напечатала короткое сообщение, подписанное Вышинским. Согласно этому сообщению, все материалы по делу Плетнева переданы в следственный отдел по особо важным делам Прокуратуры СССР.

Того же 9 июня все газеты были уже полны отчетами о митингах в различных медицинских учреждениях. Московское объединение врачей-терапевтов, профсоюз медработников и прочие единодушно поносили преступника. Еще через сутки прислали подобные осуждения врачебные организации Киева, Тулы, Свердловска и других частей страны. Все, конечно, сурово клеймили врача-злодея, позор советской медицины. Среди видных врачей, выступавших тогда против Плетнева и подписывавших яростные резолюции с нападками на него, находим имена М. Вовси, Б. Когана и В. Зеленина — тех, кто (подобно Шерешевскому и В. Н. Виноградову) в 1952—53 годах сами пошли под пытки в МГБ по «Делу врачей-вредителей».

На суде, состоявшемся 17—18 июля 1937 года, Плетнев был приговорен к двум годам заключения. В печати было сказано, что он «признался» в своем преступлении. Вот в таком-то виде, разбитый и обесчещенный, преданный своими коллегами, осужденный за позорное преступление, он был доставлен в следственные камеры Лубянки, где его ожидало нечто еще худшее.

Теперь, на суде, Плетнев говорил о «сильных угрозах (Ягоды) по отношению ко мне и по отношению к моей семье» и, под градом вопросов Вышинского, «признавался» в своей роли в убийстве Куйбышева и Горького.

Плетнев упомянул о своих связях с доктором Никитиным, любимым врачом Толстого. Никитин, в числе других врачей, был выслан за несколько лет до того, но Плетнев заявил, что не верит в какую-либо политическую настроенность Никитина. Это был достойный отпор фальшивым политическим обвинениям, в свое время выдвинутым против выдающегося коллеги Плетнева.

Защитник Плетнева Коммодов установил своими вопросами, что путь профессора в медицине был блестящим. Вслед за ним о том же стал спрашивать Вышинский, напомнив о «насилии» Плетнева. Врач сделал попытку отрицать тогдашнее обвинение, но Вышинский набро-

---

[1] См. Дубивский-Мухадзе. Орджоникидзе. М., 1963, с. 5.

[2] См. N. Magnus. «Est et Quest», n. 83, 1953 («La suppression de G. Ordjonikidze et du Professeur D. D. Pletnev»); см. также Armstrong Zohn A. «The Politics of Totalitarianism». New York, 1961, p. 71.

[3] A. Orlov, p. 267—268.

[4] См. «Правду», 8 июня 1937 г. («Профессор — насильник, садист»).

понята так, что определенное имя опускается или нарочно заменяется другим.

Или, опять-таки, Ягода не признал себя виновным в шпионаже — и нет сомнения, что это была правда. Так что, когда мы подходим к его странному признанию вины в двух убийствах и непризнанию вины в двух других в ходе того же первого допроса — у нас есть, по крайней мере, основания более внимательно рассматривать то, что он тогда говорил.

Что касается Менжинского, то есть и дополнительный штрих: «самоопровержение» Казакова в последнюю минуту его допроса. Это выглядит решающим обстоятельством. Почти наверняка Менжинский не был умерщвлен врачами (хотя, конечно, мог быть устранен каким-нибудь другим способом).

Если же говорить о сыне Горького Пешкове, то весь замысел его убийства выглядит практически бессмысленным. Ягода справедливо заметил: «никакого смысла в его убийстве не вижу». Тот факт, что жена Пешкова была любовницей Ягоды, мало добавляет к этой мотивировке. Он ведь никогда не обещал на ней жениться; он был женатым человеком и в последующие три года не делал никаких попыток убить свою жену или развестись с нею. Кроме того, сам метод убийства Пешкова — даже в том виде, в каком он был изложен на суде — выглядит, мягко говоря, не очень убедительным. Недаром же он послужил основой для одного из эпизодов блистательной сатиры английского писателя Джорджа Орвелла «Скотский хутор» (1944). У Орвелла описано, как сельскохозяйственные животные захватили однажды власть на хуторе и изгнали оттуда людей. Постепенно править хутором стали исключительно свиньи, а один боров — Наполеон — сделался вождем. С помощью преданных ему псов он стал чинить суд и расправу. И вот, пишет Орвелл, две овцы «повинились в убийстве старого барана, особенно преданного сторонника Наполеона, которого они загнали насмерть, гоняя вокруг костра, когда у него был кашель. Их тут же казнили».

Совсем по-иному обстояло дело с Куйбышевым и Горьким. Ягода признался в убийстве этих двоих — и у Сталина были определенные и настоятельные причины желать как раз их убийства.

Это еще не подтверждает, конечно, что Сталин их убил. В отношении Куйбышева мы можем только отметить, что его называют теперь как одного из троих главных противников сталинского террора в составе Политбюро. Смерть двух других — Кирова и Орджоникидзе,— как мы знаем, была делом рук Сталина. Он покончил с ними разными, но одинаково коварными путями, причем в случае Орджоникидзе это был фальсифицированный сердечный приступ. Стало быть, «сердечный приступ» Куйбышева ни в коем случае не может быть просто принят на веру. Более того, живой Куйбышев мог на протяжении 1935 года представлять особо трудное препятствие на пути Сталина к осуществлению его планов — и он умер точно в тот момент, когда Сталин начал нападение на других главных противников расправы с Зиновьевым и Каменевым.

Однако, как бы вопреки сказанному, у нас нет никаких позитивных свидетельств об убийстве. Мы можем, во всяком случае, исключить здесь виновность врачей. Ведь, согласно обвинениям на процессе, они якобы постепенно подрывали здоровье Куйбышева, оставляли его без медицинского наблюдения и позволили в день смерти выйти на работу как обычно. Это слишком уж окольный и неубедительный метод убийства! Наиболее вероятно, что если Куйбышев и был уничтожен, то сделали это не врачи.

Наиболее интересна и важна смерть Горького. Ибо, проживи больной писатель еще несколько месяцев, он серьезно помешал бы планам Сталина начать процесс Зиновьева—Каменева в августе 1936 года, в период отпусков. Отсрочка начала процесса до того времени, когда члены Политбюро вернулись бы с летнего отдыха, грозила Сталину эффективным сопротивлением в Политбюро и ЦК. Но как было заставить Горького замолчать без его ареста и неизбежного международного скандала? Неплохо сказал — с другими намерениями — Вышинский в своей обвинительной речи: «Как же можно было в нашей стране, в условиях Советского государства, как они могли лишить Горького возможности проявлять политическую активность, иначе как остановив его жизнь?».

Но опять-таки, какая-либо вина профессора Плетнева представляется исключительно маловероятной. Против этого вопиет вся его репутация. Метод шантажа, примененный органами НКВД к Плетневу в 1936—37 году, ясно показывает, что имелось в виду сокрушить и скомпрометировать ни в чем не повинного человека. И, по крайней мере в этом случае, трудно предположить, чтобы Левин мог применять неправильное лечение, инкриминированное ему на суде, без ведома и согласия Плетнева. Стало быть, не виноват и он.

Американский журналист Уолтер Дюранти, присутствовавший на процессе, поверил почти всему, что там говорилось, и поведал миру о своей «поддержке» процесса, но даже он сильно сомневался в виновности врачей!

Что касается смерти Горького, то, возможно, он и был убит, но только не Плетневым и не Левиным.

Социал-демократка, журналистка Бригитта Герланд, сидевшая в лагере на Воркуте с 1948 по 1953 год, описывает свое знакомство с доктором Плетневым, которому было уже за восемьдесят. По словам Герланд, он продолжал работать лагерным врачом. Журналистка пишет, что двадцатипятилетний срок заключения Плетневу был снижен до десяти лет, но по окончании этих десяти лет он так и не был освобожден [1].

Герланд пишет, что Плетнев сообщил ей о Горьком следующее. Писатель хорошо оправился после сердечного заболевания, но он терзался морально, желая покинуть СССР и вернуться в Италию. Смерть писателя была обставлена самым грубым образом. Ему дали коробку явно отравленных засахаренных фруктов. Из этой коробки он угостил двух ухаживавших за ним мужчин-санитаров, и оба они быстро умерли. Немедленное вскрытие этих двоих показало, что они погибли от яда. Врачи сохранили это происшествие в полной тайне. (В пользу этого свидетельства есть такое соображение: было явно легче принудить беспартийных врачей — будто бы в интересах покойного или в государственных интересах — подписать фальшивое заключение о смерти, чем заставить их совершить убийство.)

Бригитта Герланд обсуждает в своей статье, почему метод убийства Горького был таким грубым. Она задает вопрос: неужели в НКВД не нашлось врачей, способных выполнить более тонкое «медицинское» убийство. И объясняет только тем, что методы НКВД были вообще грубыми.

О Плетневе она говорит, что он умер летом 1953 года, перед ее освобождением.

Проверить этот рассказ пока нет возможности 3). Но, что касается его правдоподобия, то можно отметить, что, расправляясь с Орджоникидзе, Сталин совершенно не принимал в расчет возможную реакцию врачей, подписавших заключение о «смерти от паралича сердца». Кроме того, внутри НКВД известны случаи прямого отравления людей цианистым калием с последующим медицинским заключением о смерти от сердечного припадка. Так поступили, например, со Слуцким. И Ягода был скорее отравителем, нежели специалистом по медицине. Однако, разумеется, свидетельство Б. Герланд может быть правдоподобным, но неверным. Мы можем лишь привести его, добавив, что если оно достоверно, то снимает вину со всех врачей, а следовательно бросает сомнение на участие медиков-обвиняемых в каких-либо других «медицинских убийствах». Стоит также отметить, что недавние советские статьи к семидесятилетию со дня рождения Куйбышева ничего не сообщают об обстоятельствах его смерти.

Однако, по крайней мере в отношении смерти Горького, теперь появилось гораздо более убедительное свидетельство. Старый знакомый Горького, американский журналист Дон Левин посетил в 1963 году в Москве 86-летнюю вдову писателя Екатерину Пешкову. Она спокойно сказала американцу, что не сомневается: смерть ее сына Макса была естественной. Гость заметил на это, что, мол, теперь говорят, что и смерть Максима Горького была естественной. Тут старая женщина пришла в волнение и воскликнула: «Это не совсем так, но не просите меня об этом рассказывать! Если я стану говорить об этом, я три ночи не сомкну глаз» [1].

Это выглядит достаточно категорично — тем более, что в упоминавшейся книге Дубинского-Мухадзе Плетнев и Левин упомянуты в благоприятном контексте. Стало быть, наиболее вероятным остается предположение, что Сталин организовал убийство Горького через Ягоду, но без участия врачей, что если Сталин применил не тот метод, какой описан Бригиттой Герланд, то он использовал какой-нибудь другой в том же роде. Тот факт, что в послесталинские годы советские источники ничего не говорят о причинах смерти Горького, лишь добавляет многозначительности к их упорному нежеланию раскрыть обстоятельства убийства Кирова — убийства более политического, а потому, быть может, менее позорного, чем уничтожение старого писателя.

И последнее замечание. Очевидная убежденность вдовы Горького, что смерть Максима Пешкова была естественной, а смерть Горького — нет, полностью совпадает с первыми показаниями Ягоды на процессе. Обращаясь к ответам Ягоды по обстоятельствам убийства Кирова, мы тоже, по иронии судьбы, приходим к заключению, что бывший глава НКВД, единственный из обвиняемых, дал в основном правдивые показания! А если так, то его свидетельство об убийстве Куйбышева служит хорошим указанием, что из трех других умерших, помимо Горького (Куйбышев, Менжинский, Максим Пешков), один Куйбышев был действительно убит. Но это, конечно, скорее логическая догадка, нежели доказательство: мы пока не можем исключить возможности того, что в этом единственном случае своевременная смерть человека, которого Сталин хотел убрать с дороги, оказалась все же естественной. Нет больших надежд и на то, что очень многое

[1] «Социалистический вестник», 1954, № 6.

[1] Isaac Don Levine. «I Rediscovered Russia». New York, 1964, p. 175.

в этом деле дополнительно выйдет наружу, когда откроются секретные советские архивы. Ибо довольно маловероятно, чтобы планы убийств такого рода излагались на бумаге.

На этом мы и вынуждены оставить темный и ужасающий эпизод с «медицинскими убийствами».

Когда с допросами врачей, их «подстрекателей» и «пособников» было покончено, профессор Бурмин огласил ответы медицинской экспертизы на вопросы, поставленные государственным обвинителем. Эти ответы подтвердили виновность врачей и «установили» ущерб, причиненный здоровью Ежова, основываясь на анализе его мочи. Если не считать короткого закрытого заседания, где Ягода, как было объявлено, «полностью признал организацию им умерщвления товарища М. А. Пешкова», слушание дела было окончено. Но перед самым закрытием судебного следствия Вышинский еще раз вызвал Розенгольца — для мелкого оскорбления.

Обвинитель дал описание талисмана, обнаруженного в кармане обвиняемого, и попросил у суда разрешения прочесть его. Презрительным тоном, под хихиканье зала, Вышинский прочел из Псалмов: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его...» и т. д. Потом спросил Розенгольца: «Как это попало вам в карман?».

Розенгольц: Однажды этот небольшой пакетик, перед уходом моим на работу, жена положила мне в карман. Она сказала, что это на счастье.

Вышинский продолжал юмористическим тоном: «И вы несколько месяцев носили это „счастье" в заднем кармане?».

Розенгольц: Я даже не обращал внимания...

Вышинский: Все-таки вы видели, что ваша супруга делает?

Розенгольц: Я торопился.

Вышинский: Но вам было сказано, что это семейный талисман на счастье?

Он подмигнул публике, раздался громкий хохот, и слушание дела закончилось.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] В настоящей публикации соответственно: «Нева», 1990, № 2, с. 149, левый столбец.

[2] Об этом упоминает и А. И. Солженицын («Архипелаг ГУЛаг», ч. 1, гл. 10): «Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво попросил пощады прямо у него: „Я обращаюсь к Вам! Я для Вас построил два великих канала!.." И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки.— Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? — в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами — неосвещенная галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении».

[3] В анализируемой Р. Конквестом статье Бригитты Герланд есть много фактических неточностей. См. об этом: «Литературная газета», № 28, 12.07.1989, с. 5.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Александр
ЯНОВ

РУССКАЯ ИДЕЯ и 2000-й год

Главы из книги

РОССИИ АНДРЕЯ САХАРОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТА КНИГА

Многие нации гибнут прежде, чем осознают свои ошибки
Алексис де Токвиль

«РУССКАЯ ИДЕЯ»: МЕЖДУ ДВУХ НЕНАВИСТЕЙ

«Русская идея», как я называю вслед за Бердяевым теоретическое ядро идеологии «русской новой правой», возникла примерно в то же время, что и марксизм — теоретическое ядро большевистской идеологии, то есть в 1830—1850-е гг. У нее не было своего Маркса, однако создана она была группой московских литераторов и философов (К. Аксаков, А. Хомяков, И. Киреевский, Ю. Самарин, П. Кошелев, П. Киреевский и другие), которых их противники назвали славянофилами (они, впрочем, против такого названия не возражали). Философские, историографические и религиозные аспекты славянофильства были достаточно хорошо изучены в дореволюционной России и на Западе. Этого нельзя сказать, к сожалению, о его политической доктрине (отчасти потому, что славянофилы презирали политику, отводя ей третьестепенное место в своих работах). Еще менее изучены сложные метаморфозы, пережитые этой доктриной в 1860—1880-е годы. Совсем мало известно о дальнейшей ее трансформации в 1890—1910-х годах. И вообще ничего не написано о связи славянофильской политической доктрины с неожиданным, никем не предсказанным и никак не объясненным воскрешением «русской идеи» в коммунистической России в 1960-х годах.

В отличие от марксизма, о котором написаны библиотеки, политическая доктрина «русской идеи» остается, таким образом, предметом сравнительно темным даже в том, что касается ее первоначального, славянофильского катехизиса. Историческое же ее развитие от 1830-х до 1980-х годов не было прослежено — никогда и никем. Может быть, поэтому речи ее самого знаменитого современного идеолога Александра Солженицына так потрясли Америку и Западную Европу в 1975—1978 годах. Они казались свежим ветром с Востока, чем-то совершенно неслыханным, криком души угнетенной коммунизмом России.

Мало кто подозревал, что Солженицын лишь повторяет, часто буквально, постулаты и формулы «русской идеи» стопятидесятилетней давности. Следует сказать, что сам Солженицын не особенно старался обратить внимание своих слушателей и читателей на источник своего вдохновения. По какой-то причине он не желал прямо ссылаться на своих духовных прародителей, поведать миру свою политическую родословную. Не сделал этого за него и ни один из многочисленных его биографов. Происхождение взглядов Солженицына остается поэтому загадочным, во всяком случае, для массового читателя, хотя можно подозревать, что не только для него.

Александр Львович Янов родился в 1930 году. В 1953-м окончил исторический факультет Московского университета. В 1970 году Янов защитил диссертацию «Славянофилы и Константин Леонтьев». В СССР был известен как литературный критик и публицист. Его статьи печатались в «Вопросах литературы», «Новом мире», «Вопросах философии», в «Литературной газете». В 1974 году Александр Янов, преследуемый КГБ, вынужден был покинуть СССР. В настоящее время Янов — профессор политических наук в Нью-Йоркском университете. По характеристике профессора Берлинского университета Ричарда Лоуэнталя, А. Янов — «ученый замечательной интеллектуальной одаренности».

Книга А. Янова «Русская идея и 2000-й год» увидела свет в нью-йоркском издательстве «Liberty Publishing House» в 1988 году и вызвала огромный читательский интерес. Он был обусловлен несколькими причинами: глубоким анализом генезиса «русской идеи» со времени ее зарождения (1830—1850-е гг.) по наши дни, исследованием «русской идеи» как определенной идеологии, определенной политической доктрины и, наконец, что немаловажно, лаконизмом, стройностью и ясностью изложения.

В предлагаемых читателям «Невы» главах из книги автор пытается описать историческую драму «русской идеи», акцентируя свое внимание на ее политической трансформации в 60—80-е годы нашего века.

Начало

Славянофильство возникло полтора столетия назад из благородного стремления освободить Россию от «душевредного деспотизма» и «полицейского государства», а Европу — от «парламентаризма, анархизма, безверия и динамита».

Именно из двойственности этого мессианского задания и возникла изначальная двойственность философской доктрины «русской идеи». Если правда, что «проблема дьявола» (или, если угодно, отрицательного героя), есть своего рода теодицея любой идеологической конструкции, оправдание ее Бога, то двойственность «русской идеи», своеобразная ловушка, содержавшаяся в ней с самого начала, заключалась в том, что у нее было два дьявола. Она обречена была метаться между двух ненавистей, ибо зло, от которого следовало спасать Россию, совершенно не походило на зло, от которого намеревалась она спасать Европу. Россию предстояло спасать от недостатка свободы, а Европу — от ее избытка.

Обратимся сначала к «дьяволу № 2». «Посмотрите на Запад. Народы увлеклись тщеславными побуждениями, поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций — и обеднели душою, готовы рухнуть каждую минуту». «Мессианистическое значение России относительно Запада не подлежит сомнению... одно только славянофильство еще может избавить Запад от парламентаризма, анархизма, безверия и динамита». «Сегодня — западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности... на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и сниженной душой... бессильны перед кучкою сопливых террористов». Происходит это потому, что Запад «не догадывается, что свобода коренится в религиозной глубине, а не лежит на политической поверхности», «в религии, а не в политических институтах». «У нас часто толкуют о гарантиях и усматривают их именно в западно-европейском правовом порядке. Но если последний служит основанием гарантии, то чем же гарантируется самый правовой порядок, иначе: чем же гарантируется гарантия?» Европа наивно верит в способность хороших конституций защитить ее от катастрофы, верит в политическое многообразие, в плюрализм. «Демагогия о плюрализме вырастает из политического понимания свободы. Мы в России оцениваем свободу прежде всего как явление глубоко духовное. Человек должен быть внутренне свободен для того, чтобы затем стать свободным политически. И это опять-таки выходит из евангельского изречения: „Познайте истину, и истина сделает вас свободными". Так что, если мы найдем свободу в собственной душе, уверяю вас, общество будет свободным и политически. Если же мы начнем с политической свободы, обязательно придем к духовному закрепощению. И это на каждом шагу происходит на Западе».

Я процитировал славянофилов четырех поколений — от И. Аксакова до А. Солженицына — от 1850-х до 1970-х годов. И все они понимают зло, ведущее Запад к катастрофе, одинаково. Для всех них оно — в подмене религиозного дела политическим, в роковом смешении свободы внутренней (духовной) с внешней (политической) и в вытекающей из нее вере в парламенты, в конституции и в республики. Так выглядел «дьявол», от которого «русская идея» намеревалась — и все еще намеревается — спасти Запад. Парламентаризм, если выразить все это одним словом, был ее «европейской» ненавистью.

«Дьявол», с которым она конфронтировала в России, ее — главная — «русская» ненависть, выглядел совсем иначе. «Откуда происходит внутренний разврат, взяточничество, грабительство и ложь, переполняющие Россию?» — спрашивал Константин Аксаков, самый замечательный идеолог славянофильства. Почему «современное состояние России представляет внутренний разврат, прикрываемый бессовестной ложью... (почему) все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут?» Почему на этом «внутреннем разладе выросла бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии»? Потому что,— отвечает он с мужеством, достойным Солженицына,— «правительство вмешалось в нравственную жизнь народа... перешло таким образом в душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа и, наконец, обозначившийся упадком нравственных сил в России — с общественным развращением». Вот отчего «правительство» не может при всей своей неограниченности добиться правды и честности... всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошли до огромных размеров... это сделалось уже не личным грехом, а общественным, здесь является безнравственность целого общественного устройства».

Вот откуда — от «душевредного деспотизма» (от тоталитаризма, судя по тому, как описывает его Аксаков) — грозит России катастрофа: «Чем долее будет продолжаться петровская правительственная система, делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые ей начала... тем грозней будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией».

Это письмо Аксакова царю отличается, конечно, от письма Солженицына вождям Советского Союза. Солженицын не назвал бы русский деспотизм «петровской правительственной системой». Он не сказал бы «душевредный деспотизм», он сказал бы «черный вихрь с Запада» или «идеология». Хронология тоже, разумеется, не совпадает. Аксаков говорит, например, что «народ желает... чтобы государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь его духа, в которую вмешивалось и которую гнело правительство полтораста лет». Разумеется, нужно принять во внимание, что Аксаков писал свое письмо за сто двадцать лет до Солженицына. А поскольку «душевредный деспотизм» возник, по его мнению, в России по крайней мере за столетие до его, Аксакова, рождения, он никак не мог быть занесен «черным вихрем» с Запада в 1917 году. Аксаков, однако, едва ли стал бы возражать против «черного вихря» в принципе. Так же, как Солженицын, был он искренне убежден в западном происхождении русского зла — он ведь тоже был пророком «русской идеи». Только поразил этот вихрь Россию, по его подсчетам, где-то около 1700 года.

Впрочем, все это частности. Важным в обоих письмах было нечто другое — что деспотизм (царский — в одном случае, коммунистический — в другом) действительно ведет Россию к катастрофе. И в обоих случаях «русская идея» устами своих наиболее выдающихся пророков обещала спасти страну от злой ужасной судьбы.

Не потому ли умалчивает сегодня Солженицын о своих духовных прародителях, что торжественные обещания, содержавшиеся в «русской идее» и данные народу и миру полтора столетия назад, оказались невыполненными?

Испытание историей

Американский мыслитель Гораций Уайт заметил однажды, что конституция Соединенных Штатов «основана на философии Гоббса и религии Кальвина». Она предполагает, что «естественное состояние человечества есть состояние войны и что земной ум находится во вражде с Богом». Хорошо это или плохо — другой вопрос. Невозможно отрицать, однако, что на основе этого религиозно-философского мироощущения была создана достаточно практичная политическая доктрина («парламентаризм»), ухитрившаяся пережить все великие кризисы XX века — политические, военные и экономические — и избежавшая, следовательно, катастрофы, предсказанной ей славянофилами полтора столетия назад. Люди, набрасывавшие конституцию летом 1787 года в Филадельфии, «не верили в человека,— как замечает историк Ричард Хофштадтер,— но верили в силу хорошей политической конституции, способной его контролировать». Они не ожидали от этого человека духовного возрождения или нравственной революции, одним словом, чудесного превращения в кладезь добродетели. Они не верили, что добродетель способна когда-либо нейтрализовать порок, «вместо этого отцы конституции полагались на способность порока нейтрализовать порок».

Американской конституции не существовало бы, если бы они хоть на минуту предположили, что нравственная революция должна предшествовать политической. Даже дискуссии на эту тему, которыми уже второе столетие поглощены проповедники «русской идеи», показались бы им пустой тратой времени. Ни одной демократии не существовало бы в мире сегодня — и, следовательно, сегодняшним пророкам «русской идеи» негде было бы спасаться от отечественного деспотизма, если бы западные лидеры последовали в свое время совету их духовных прародителей и сочли парламентаризм мировым злом.

Я не берусь быть судьей в споре между философией Кальвина и Гоббса и философией отцов православной церкви. Может быть, последняя была несопоставимо благочестивее и духовнее первой. Однако идея нейтрализовать порок пороком оказалась практичной в политике, а идея возрождения добродетели, способной впоследствии нейтрализовать порок, оказалась бесплодной мечтой, способной лишь увековечить деспотизм.

При всем естественном человеческом уважении к духовным поискам отцов «русской идеи», приходится констатировать, что изначальное презрение к политике и ненависть к парламентаризму наказали их политическим банкротством. Именно парламентаризм, от которого намеревались они спасать Европу, в действительности спас Европу. Он оказался единственным известным человечеству способом обеспечить свободу. История показала, что «русская идея» была не практической альтернативой парламентаризму, но лишь утопией. Причем, как мы увидим дальше, утопией опасной.

Представим себе на минуту соседей, каждый из которых вел хозяйство, руководствуясь собственным принципом. Для одного этим принципом являлся, допустим, парламентаризм, для другого — «русская идея». Первый, хорошо ли, дурно ли, пережил сотрясавшие его хозяйство кризисы и пошел вперед, а другой — вылетел в трубу. Есть ли основания у наследников банкрота высокомерно третировать хозяйство соседа как «гниющее»,

как «готовое рухнуть каждую минуту», как «духовное закрепощение»?

Конечно, наследники банкрота могут возразить — и возражают — что Россия была бы сейчас во главе мировой культуры, если бы только не завоевал ее в 1917 году западный коммунизм, если бы только православие получило возможность свершить предначертанное ему Богом, если бы только у пророков «русской идеи» были развязаны руки.

Но в распоряжении их политических предшественников было достаточно времени — с 1830-х годов до начала двадцатого века. Все эти годы Россия была лидером мирового антикоммунизма, православие было ее государственной религией, и, следовательно, у сторонников «русской идеи» были развязаны руки. У них были десятилетия для того, чтобы поставить исторический эксперимент, и они действительно попытались его поставить.

Чем он закончился? Тем, что сегодняшним их идейным наследникам приходится повторять все те же обанкротившиеся призывы и несостоявшиеся прогнозы.

Мы еще вернемся к этим вопросам. Сейчас суммируем лишь главные положения первоначального катехизиса славянофильства, выработанного отцами «русской идеи» и повторяемого сегодня их наследниками.

Миссия России

Катехизис этот исходил, как мы уже знаем, из того, что современный мир переживает глобальный духовный кризис.

«Русская идея» указывала на неспособность секуляризованного, материалистического и космополитического Запада справиться с этим духовным кризисом, устоять перед «анархией, безверием и динамитом» (в старой антидеспотической редакции), или перед «кучкою сопливых террористов» и глобальным коммунистическим натиском (в новой редакции, антикоммунистической).

«Русская идея» видела исторический источник этого кризиса в секулярном Просвещении — в отказе Запада от религии как духовной основы политики, в его, Запада, неспособности осознать, что не индивид, а нация является фундаментом задуманного Богом миропорядка, что «человечество квантуется нациями» (опять-таки говоря словами сегодняшнего пророка).

«Русская идея» указывала на провиденциальную роль православия, единственно способного спасти мир на краю бездны, и на Россию как на носительницу этой великой миссии.

Она отрицала «вмешательство правительства в нравственную жизнь народа» (полицейское государство). Но в равной степени отрицала она и «вмешательство народа в государственную власть» (парламентаризм). Обоим противопоставлялся «принцип власти *авторитарной*». Власть,— учили пророки русской идеи,— должна быть неограниченной, потому что «только при неограниченной власти монархической народ может отделить от себя государство, предоставить себе жизнь нравственно-общественную, стремление к духовной свободе».

«Русская идея» не признавала центрального постулата западной политической мысли о разделении властей (как институциональном воплощении нейтрализации порока пороком). Она противопоставила ему принцип *разделения функций* между светской и духовной властями — государством, охраняющим страну от внешнего врага, и православной церковью, улаживающей внутренние конфликты нации. Мизантропической философии Гоббса противопоставила она пусть наивную, но чистую веру в отношении любви и добра во всей иерархии человеческих коллективов, составляющих общество — в семье, в крестьянской общине, в монастыре, в церкви и в нации. Нация-семья, не нуждающаяся в парламентах, ни в политических партиях, ни в разделении властей, стала ее идеалом. Как и семье, нации не нужны правовые гарантии или институциональные ограничения власти. Как и в семье, на первом месте у нации должны быть не права, но обязанности ее членов. Как и в семье, конфликты нации должны улаживаться духовным авторитетом, а не конституцией.

Идеал нации-семьи предполагал необходимость избавления от порочных влияний «улицы» (Запада) и, следовательно, духовное возрождение, нравственную революцию, в ходе которой Россия вернется «домой», к своим чистым сельским истокам, в царскую, то есть допетербургскую (в старой редакции) или докоммунистическую (в новой) Русь, предположительно не ведавшую ни деспотизма, ни полицейского террора, ни официальной государственной лжи.

Формула свободы

Можно соглашаться или не соглашаться с этим первоначальным катехизисом «русской идеи», который, на первый взгляд, столь неожиданно возродился совершенно неизменившимся столетие спустя в коммунистической России, но нельзи отказать ему в благородстве замысла и чистоте намерений. Славянофильство было движением оппозиционным. Хотя первые его пророки были националистами, они ненавидели *официальный* национализм, идеологию николаевской диктатуры. Они страстно сопротивлялись человеческому угнетению во всех его формах, будь то крепостное право, цензура или официальная ложь. Они призывали «жить не по лжи». И хотя они, естественно, не могли удержаться от констатации духовного, культурного и потенциального политического превосходства России над Западом, они не желали употребить это превосходстао во вред Западу. Они желали лишь открыть ему глаза на то, что есть истина, и тем самым великодушно протягивали ему руку помощи.

Это правда, что славянофильство было «ретроспективной утопией» (Петр Чаадаев). Это правда, что оно было реакционно и реактивно (то есть в одно и то же время представляло романтическую реакцию на банкротство европейского рационализма восемнадцатого века и политическую реакцию на начавшийся в 1830—1850-е годы новый упадок русской империи). Это правда, наконец, что оно было неспособно исполнить ни одного из своих торжественных обещаний, то есть ни спасти Россию от действительно надвигавшейся на нее катастрофы (которую оно — и это грех забывать — первое почувствовало и отразило в своих пламенных писаниях), ни спасти Европу от парламентаризма (к счастью). И при всем том было бы крайне несправедливо забывать, что исходным пунктом политического поиска славянофильства была свобода (пусть лишь духовная, а не политическая).

Ее катехизис был удручающе беден.

Деспотизм и парламентаризм — на отрицательном полюсе; «принцип авторитарной власти» (то есть неограниченная власть, каким-то образом обеспечивающая духовную свободу) — на положительном.

Рационализм — на отрицательном полюсе; вера — на положительном.

Индивидуализм — на отрицательном; коллективизм — на положительном.

Космополитизм — на отрицательном; национализм — на положительном.

Поскольку одна формула: «свобода равна рационализму плюс индивидуализм, плюс космополитизм» к началу девятнадцатого столетия оказалась несостоятельной, отцы «русской идеи», перетасовав элементы, получили новую формулу свободы: свобода равна религиозной вере плюс коллективизм, плюс национализм.

Либеральная оппозиция

Современники славянофилов — и либералы-западники, как А. Герцен, и народники, как Н. Чернышевский, прекрасно понимая реакционность ретроспективной утопии, ценили тем не менее движущее ею стремление к свободе (подобно тому, как академические попутчики сегодняшней антикоммунистической «русской идеи» на Западе понимают и ценят А. Солженицына и его соратников).

Герцен признавался: «Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви». И продолжал: «Да, мы были противниками их, но очень странными: у нас была одна любовь, но не одинакая... мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». Менее метафорично, но не менее твердо повторял ту же мысль Чернышевский: «Мало сказать в оправдание славянофильства, что оно приносит относительную или отрицательную пользу. Есть в нем некоторые стороны и безусловно хорошие... Что же касается до его стремлений, нельзя не отдать ему полной справедливости».

Ничего похожего не найдем мы, однако, в отношении современных либеральных московских мыслителей к сегодняшней антикоммунистической «русской идее». Андрей Сахаров, Леонид Пинский, Григорий Померанц, Андрей Синявский, Валерий Чалидзе, Борис Шрагин, Андрей Амальрик единодушно отнеслись к возродившейся «русской идее» с подозрением, чтоб не сказать, с откровенной враждебностью. Во всяком случае, никто из них не сказал бы, подобно Герцену, что у него была «одна любовь» с русофилами (как тотчас окрещены были в Москве современные поклонники «русской идеи»). Зато «новая цепь, налагаемая на мысль», была замечена ими мгновенно, и против «нового подчинения совести раболепной византийской церкви» возникли страстные протесты. Почему? Откуда эта разница?

Никто из этих людей не испытывал ни малейшей симпатии к коммунизму. Напротив, многие из них стали известны благодаря диссидентской борьбе, и все они — против «душевредного деспотизма». Соблазнительно было бы объяснить их враждебность к возродившейся «русской идее» нетерпимостью, отличающей советскую либеральную интеллигенцию от дореволюционной. Однако, если мы попробуем сравнить то, что говорили о ней лучшие из лучших русских либеральных мыслителей такие, как С. Н. Трубецкой, М. М. Стасюлевич, А. Л. Градовский, П. Н. Милюков или В. С. Соловьев, в 1880—1890-е годы, мы должны будем с удивлением констатировать, что сегодняшние русские либералы несопоставимо более толерантны к русофилам, нежели их дореволюционные предшественники.

Что же такое узнали о «русской идее» ее критики 1880—1980-х годов, чего не могли знать люди поколения Герцена и Чернышевского и чего до сих пор не

знают ее западные попутчики? Почему так немедленно и без колебаний подняли они против нее меч? Что случилось с благородной ретроспективной утопией после Константина Аксакова?

Мы никогда не поймем этого, если не обратимся к ее генезису и к процессу ее идеологического развития.

«РУССКАЯ ИДЕЯ»: ГЕНЕЗИС И ВЫРОЖДЕНИЕ

«Русская идея» возникла в разгар диктатуры Николая Первого (в моих терминах, режима русской контрреформы). Разумеется, политический террор был, как всегда, одним из средств утверждения этого режима. Другим — не менее, а быть может, и более важным — была его идеология. Именно идеологией контрреформа не только обезоружила, но даже на время привлекла на свою сторону почти всю интеллектуальную элиту страны. Славянофилы вовсе не были такими уж еретиками, когда они называли николаевскую диктатуру деспотизмом. Сам диктатор и не думал этого скрывать. Да, говорил он с трогательной прямотой, «деспотизм еще существует в России, ибо он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации».

Вот эта мысль о «согласии гения нации» с деспотизмом и составляла ядро идеологии «официальной народности», правившей Россией четверть века. Она была по сути родом могущественной светской религии, навязанной обществу, оцепеневшему после разгрома отчаянной реформистской попытки декабристов в 1825 году. Смысл ее сводился к обожествлению государства — к культу политического идолопоклонства. Лучшие из лучших русских умов того времени — Пушкин, Тютчев, Белинский, Гоголь, Вяземский, Жуковский, Надеждин — оказались неспособны ему сопротивляться. Это тогда Пушкин написал «Клеветникам России» и «Стансы», а Гоголь — «Выбранные места из переписки с друзьями». Это тогда писал Белинский, что «в царе наша *свобода*, потому что от него наша новая цивилизация, наше просвещение так же, как от него наша жизнь... безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость, но и высшая поэзия нашей жизни, наша *народность*». Добавим к этому тираду Надеждина о том, что «у нас одна вечная неизменная стихия: царь! Одно начало всей народной жизни: *святая любовь к царю!* Наша история была доселе великою поэмою, в которой *один* герой, *одно* действующее лицо. Вот отличительный самобытный характер нашего прошедшего. Он показывает нам и наше *будущее* великое назначение».

Как видим, идеология политического идолопоклонства (культ личности, говоря современным языком) была не менее реальным фактом русской культурной жизни в 1830-е годы, нежели в 1930-е.

Власть — мысль народа, его духовный пастырь, его совесть — гласила первая заповедь этой новой религии. Власть все ведает, все видит, всех любит, все может. Главная гражданская добродетель россиянина есть вера в непогрешимость власти. Это языческое обожествление власти было беспрецедентно опасно для русской культуры; оно грозило ей политической деградацией.

Механизм официального национализма был устроен коварно. Триада «православие, самодержавие и народность» искусно переплетало деспотизм с религией, реакцию с патриотизмом, крепостное право с национальным чувством. Каждый, кто подимал руку на деспотизм, рисковал ударить по национальному чувству, восставая против реакции, он бросал вызов религии и патриотизму. Это была изобретательно придуманная конструкция, идеологическая ловушка огромной мощи, неуязвимая для либеральной критики. Только приняв ее, можно было оторвать «гений нации» от деспотизма, «народность» от крепостного права, православие от политического идолопоклонства.

Именно эта функция и выпала на долю славянофилов в русской политической истории. Именно с позиции защиты православия атаковали они официальную религию — как ересь. Именно с позиции защиты неограниченной власти атаковали они обожествление государства — как кощунство. Именно с позиции оскорбленного национального чувства атаковали они «официальную народность» — как извращение. Короче говоря, они выступили борцами за секуляризацию власти. Славянофилы бесстрашно провозгласили, что «образовалось иго государства над землею, и русская земля стала как бы завоеванною, а государство завоевательным. Русский монарх получил значение деспота». Если прав был Маркс, что «критика религии есть предпосылка всякой другой критики», то славянофильство выполнило свою историческую задачу. Заслуга его перед русской культурой не должна быть забыта.

Как ни парадоксально, однако именно с этого и начинается драма «русской идеи». Пока она боролась против языческого обожествления государства, она была жизнеспособна. Когда политическое идолопоклонство рухнуло вместе с режимом контрреформы в 1855 году, ее позитивная историческая функция оказалась исчерпанной. От нее осталась лишь ретроспективная утопия.

Пророки «русской идеи» не знали фундаментального стереотипа политического

изменения в России, согласно которому режим контрреформы кончался со смертью диктатора. В русской истории не было случая, когда бы одному деспоту пришел на смену другой. После Николая не могло быть другого диктатора (так же, как не могло быть другого диктатора после Сталина). После каждого из них должна была наступить эра реформы и политического кризиса, эра «денnetworkколаизации» (или «десталинизации»). В этом состоял второй стереотип политического изменения в России, о котором тоже не знали пророки «русской идеи» и который оказался для них роковым.

«Середины нет»

Славянофильство, превосходно усвоившее тактику идейной борьбы в эпоху диктатуры, оказалось совершенно не готово к реальности политической борьбы в эпоху реформы. Как все утописты, славянофилы точно знали, что именно они отрицают и лишь приблизительно — что утверждают. Их ненависть была предельно конкретна, а любовь расплывчата и абстрактна. Возможно ли было «земское государство», которое, согласно их замыслу, должно было сменить деспотизм, то есть возможна ли была неограниченная власть, не вмешивающаяся в дела «земли»-общества? Постдиктаториальную Россию, Россию реформы эти вопросы не интересовали. Она раскололась на глазах славянофилов на два непримиримых лагеря. Один из них — либеральный — добивался увенчания социальных реформ 1860-х годов конституцией (означавшей ненавистный славянофилам парламентаризм). Другой лагерь — консервативный — боролся за сохранение автократии, все более и более откровенно стремясь к реставрации не менее ненавистного славянофилам «душевредного деспотизма». Что касается утопического «принципа авторитаризма», в котором состояло ядро политической доктрины «русской идеи», у него, кроме самих славянофилов, сторонников не оказалось.

Политический кризис требовал от великодушного, наивного, презиравшего политику идейного течения жесткого политического выбора. Самого банального «за» или «против». Реальность кризиса не позволяла метаться между двумя ненавистями. Надо было выбрать одну. И славянофильство сделало свой выбор: «Теперь положение таково, что середины нет — или с нигилистами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно». Таков был выбор Ивана Аксакова, младшего брата Константина, возглавившего славянофильство после того, как его отцы-основатели (К. Аксаков, И. Киреевский, А. Хомяков) отошли в вечность. Живому осколку старого славянофильства, хранителю его догматических древностей переход на сторону защитников деспотизма был еще грустен. Он с трудом отрывал от сердца «земское государство», он еще строил тактические планы — сначала вместе с защитниками реставрации деспотизма отбиться от парламентаризма, а потом... Но никакого «потом» быть уже не могло. Если власть не желала «земского государства», когда была слаба, то, окрепнув, она и слышать о нем не захочет. И пойдя на временную уступку «дьяволу № 1», окунувшись в купель деспотизма с отдаленной мечтой о «земском государстве», вынырнуло из нее славянофильство с совсем новыми представлениями о мире.

Близнецы

Вырождение «русской идеи», начавшееся этим роковым выбором, поразительно напоминает аналогичный процесс, происходивший в то же самое время в другом идейном течении (тоже романтической реакции на банкротство рационалистических доктрин восемнадцатого века), в течении, которое подобно славянофильству можно было назвать «тевтонофильством». У истоков «тевтонофильства», воодушевленного чистейшей идеей национального возрождения, стоял Фихте с его пламенными «Речами к немецкой нации» и Якоб Гримм — воскреситель германского народного эпоса. Первого можно поставить рядом с нашим К. Аксаковым, второго — с П. Киреевским. Среди поклонников «германской идеи» были и Ф. Шлейермахер с «речами о религии», и Новалис с «Фрагментами о христианстве»; обоих можно сравнить с И. Киреевским и А. Хомяковым. Славянофилы гордились походами Олега на Константинополь, а их немецкие коллеги битвами Арминия с римлянами. В обожествлении нации, в то, что Вл. Соловьев назовет впоследствии «идолопоклонством перед народом», они были похожи, как братья. И точно так же поджидали «тевтонофилов» коварные объятия пангерманизма. И точно так же предстояла им в конечном счете трагическая метаморфоза, воплотившаяся в фашистском мессианстве.

В 1880-е годы проповедникам выродившегося «тевтонофильства» предстояло экспортировать в Россию антисемитизм. Как заметил немецкий историк Уолтер Лакер, «идея антисемитизма обнаружила полную меру своей ядовитости только в России... Берлинские антисемитские лидеры снабдили русских хулиганов необходимой (идеологической) амуницией. Штекер, Алвардт стали подлинными отцами русских погромов».

А «тевтонофилы» поздравляли себя с тем, что «с оружием из нашего идеологического арсенала русский народ может теперь освободиться от своего смертельного врага».

В 1920-е годы идеологам выродившегося славянофильства предстояло с лихвой вернуть долг своим немецким близнецам, экспортировав в Германию «Протоколы сионских мудрецов» и идею тождественности большевизма с мировым еврейством.

В 1830-е годы классики славянофильства зачитывались Гегелем и Шеллингом. В 1880-е их деградировавшие потомки зачитывались Теодором Фритшем и Германом Гедше, прародителями немецкого антисемитизма.

Другими словами, если в первой половине девятнадцатого века славянофильство и «тевтонофильство» только напоминали друг друга, но шли своими отдельными дорогами, то уже во второй его половине их потомки нашли друг друга. А еще полвека спустя их сотрудничество привело мир на грань той самой катастрофы, от которой отцы-основатели славянофильства намеревались его спасти.

Метаморфоза

Защитникам реставрации деспотизма, в лагерь которых перешло в 1870-е годы славянофильство, совершенно неинтересны были ни его «формула свободы», ни его призыв к спасению Европы от парламентаризма. В конкретной ситуации политического кризиса от второго поколения славянофилов требовалось нечто совсем другое: апология неограниченной власти — независимо от того, вмешивается или не вмешивается она в «нравственную жизнь народа» — и оправдание имперской экспансии. Славянофилы второго поколения храбро ответили на политический заказ автократии. Они довели свою доктрину до требуемых кондиций.

Главный идейный вклад здесь, по справедливости, принадлежал Н. Данилевскому, который, по словам его младшего современника К. Леонтьева, «объяснил сущность учения славянофилов лучше и яснее родоначальников этого учения». И сущность эта, по мнению Данилевского, состояла в том, что исполнить свою историческую миссию Россия сможет, только преобразовавшись в гигантскую сверхдержаву. Более того, смысл и содержание всей русской истории, оказывается, провиденциально вели Россию... к обладанию Константинополем. «Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия — какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок вопреки всей Европе!» Данилевский цитирует в подтверждение своей мысли великолепные стихи Тютчева:

И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь!
Пади пред ним, о царь России,
И встань как всеславянский царь!

И действительно, захватив Константинополь, Россия «явилась бы восстановительницею Восточной Римской империи».

Поэтому главное для России — это не продолжение реформ и тем более не конституция, главное — военная мощь. Главное — быть сильнее Европы. Впрочем, это не так уж и трудно, поскольку парламентарная Европа, назови ее хоть «двухосновным романо-германским историческим типом», как Данилевский, все-таки уже в силу своего парламентаризма — «гниет». Эту истину второе поколение славянофилов точно знало еще из первоначального катехизиса «русской идеи». И значение ее для имперской стратегии русской автократии оказалось бесценно: убежденность в «духовном гниении» Запада сообщала моральную правоту ее вожделениям. Чтобы стать сильнее «гниющей Европы», нам и нужна-то, по Данилевскому, самая малость — внутренняя монолитность, единство Царя и Народа, сплочение вокруг государственной власти под знаменем великой русской исторической миссии. И старая «формула свободы» нам для этого совершенно ни к чему, ибо «для всякого славянина после Бога и святой церкви идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага». Отсюда был уже только один шаг до основополагающего вывода, сделанного десятилетие спустя Константином Леонтьевым: «Русская нация специально не создана для свободы».

Этот вывод будет сделан, однако, только в 1880-е годы, когда новая контрреформа попытается вернуть страну в сумерки николаевской диктатуры. Вряд ли могут быть сомнения, что идеи второго поколения славянофилов способствовали постепенному скольжению режима реформы 1860-х годов в режим политической стагнации 1870-х. И все же жив еще был тогда Иван Аксаков и отдаленные воспоминания о древней «формуле свободы» еще сохраняли власть над наследниками первоначального катехизиса. Сам Данилевский, как мы увидим дальше, был «либеральным империалистом», то есть готов был благословить либерализацию внутреннего режима, коль скоро Россия будет изолирована от зловредного западного влияния, и великая «Славянская федерация» наглухо захлопнет «окно в Европу». Данилевский был по сути первым представителем той странной амальгамы изоляционизма с экспансионизмом, которая станет главной характеристикой «русской идеи» после него.

Только приход новой контрреформы Александра Третьего в 1881 году — после крушения робких реформистских попыток начала десятилетия — обнажит истинный предел, до которого дошла ревизия первоначального катехизиса «русской идеи» во втором поколении славянофилов. Только тогда будет сам И. Аксаков заподозрен в крамольном либерализме, а К. Леонтьев заявит о себе, что он славянофил лишь «в собственно культурном смысле», который, впрочем, ближе к истинному славянофильству, «чем полулиберальные славянофилы неподвижного аксаковского стиля». Тогда и провозгласят славянофилы, что не с грустью надо мириться с деспотизмом, как патриарх Аксаков, а видеть в нем высшую силу и мудрость нации. Либеральные положения первоначального катехизиса будут окончательно отброшены как подрывные, мешающие автократии вести Россию к великой цели. Совсем, как в печальной памяти николаевской идеологии «официальной народности», наращивание мощи государства будет провозглашено целью нации.

Теперь, однако, будут говорить это не государственные чиновники и не сбитые с толку интеллектуалы, которых первые пророки «русской идеи» уличали в официальной лжи. Теперь будут это говорить ее новые поборники.

Долой все, что подрывает государственную мощь! Долой интеллигенцию («образованщину», как назовет ее столетие спустя А. Солженицын): «Гнилой Запад — да, гнилой, так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только интеллигенция наша пробовала воцаряться»,— восклицает Леонтьев.

Долой просвещение! «Обязательная грамотность только тогда принесет хорошие плоды, когда помещики, чиновники, учителя сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятожа и европейской злобы».

Долой Европу! «Разрушение западной культуры сразу облегчит нам дело культуры в Константинополе».

И да здравствует государство, которое «обязано быть грозным, иногда жестоким и безжалостным, должно быть сурово, иногда и до свирепости». Да здравствует социализм, ибо «социализм есть феодализм будущего... то, что теперь крайняя революция, станет охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством». «То, что на Западе значит разрушение, у славян будет творческим созиданием».

Никогда еще рабство не проповедывалось в России так квалифицированно, с таким бесстрашием, с такой замечательной мощью предвидения. Силлогизм замкнулся, ловушка захлопнулась. Царь и Народ влились в апофеозе «славянского культурно-исторического типа». «Русская идея», так страстно отрицавшая политику всего лишь одно поколение назад, наконец-то обрела свою политику. И это была политика деспотизма и имперской экспансии.

Крестовый поход

Однако исторический цикл эволюции «русской идеи» на этом, увы, не закончился. Этому циклу предстояло завершиться еще более мрачно. И. Данилевского, чья теория как бы воплотила в себе историческое возмездие славянофильству за его романтическую утопию, ждало свое возмездие. Он, впрочем, и сам мог бы об этом догадаться, если бы доверял политической реальности больше, чем славянофильской догме. Ибо вопреки этой догме Европа вовсе не «гнила». И ей не было дела ни до «русской идеи», ни до теории Данилевского о превосходстве «славянского культурно - исторического типа» над «романо-германским». Она додумалась до расистских концепций и без помощи славянофилов: судя по антропологическим изысканиям тех же «тевтонофилов», славяне отнюдь не являлись избранным народом Божиим, то бишь самым передовым культурно-историческим типом. Как раз напротив, страдали они, если верить «тевтонофилам», совершенно очевидной арийской недостаточностью. Стало быть, в области теории нашла коса на камень.

Что же до практики, то разве Европа уступила бы Константинополь без боя? Более того, были все основания полагать, что предварительным условием захвата Константинополя должно быть всего-навсего завоевание Европы. Если для проверки этой гипотезы мы обратимся к реальному историческому опыту «тевтонофильства», то увидим, что аншлюс, то есть воссоединение германцев путем захвата всех территорий, где они проживают, оказался практически возможен лишь в рамках нацистского «нового порядка» в Европе. Иными словами, ее действительно пришлось сначала завоевать.

Так разве не такую же перспективу сулил и славянский аншлюс, проповедуемый Данилевским? И разве такая перспектива была реальна для России в период ее исторического упадка — даже если бы все пожелания вырождающейся «русской идеи» исполнились буквально, то есть весь народ, как один человек, сплотился вокруг царя на предмет этого

самого аншлюса, а еретики-интеллигенты были истреблены до последнего? Ведь даже на высшей точке нового исторического подъема России, в эпоху сталинского режима контрреформы 1940-х годов, панславистская утопия Данилевского не смогла быть осуществлена полностью: Югославия отпала от империи, а Константинополь, центральный пункт утопии, оказался недосягаем. Тем более наивны были эти планы в 1880-е годы. Нет, славянофилы третьего поколения не могли принять завет Данилевского. Новый панславистский катехизис «русской идеи» тоже требовал ревизии.

Совершенно абстрактной и нереалистичной оказалась, в частности, традиционная догма о «гниющей» Европе. И она исчезла из третьего славянофильского катехизиса. Если для Данилевского «и Франция, и Германия, в сущности, наши недоброжелатели и наши враги», то для славянофилов третьего поколения существовала уже только прекрасная Франция и мрачная, злобно оскалившая волчью пасть Германия.

Чтобы понять всю кардинальность этой ревизии, надо вспомнить, что именно Франция была, по Леонтьеву, «худшей из Европ» и именно Париж надлежало разрушить наряду с воцарением России в Константинополе: для второго поколения славянофилов Париж был мировым центром «либерально-эгалитарного разложения». Вспомним, как говорил Леонтьев, что «наше счастье в том, что мы стоим im Werden, а не у вершин, как немцы, и тем более не начали еще спускаться вниз, как французы». Вспомним, наконец, как сказал Данилевский: «Россия — глава мира возникающего, Франция — представительница мира отходящего». Ничего не осталось от этого в новом катехизисе «русской идеи». И если первый «белый» генерал Скобелев с генеральской прямотой призывает внушить Франции «сознание связи, существующей ныне между законным возрождением славянства (читай: захватом Константинополя) и возвращением Франции Меца, Страсбурга, а может быть, и всего течения Рейна», то идеологический лидер нового поколения, редактор журнала «Русское дело» Сергей Шарапов, ревизует катехизис Данилевского глубже и интереснее.

Оказывается, что просто «французы уже пережили свою латино-германскую цивилизацию». Для них она в прошлом. А поскольку «блестит луч с Востока, греет сердце, и это сердце доверчиво отворнется», то «зла к нам во Франции мы не встретим». А вот «Германия — другое дело. Позднее дитя латино-германского мира, не имеющее никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства, не может не ненавидеть новую культуру, новый свет мира». «Русская идея» — благородная романтическая утопия, создавшая свою формулу свободы и мечтавшая о сокрушении деспотизма, оказалась достаточно гибка, чтобы приспособиться и к прагматическим расчетам имперского экспансионизма. Теоретическая база была создана. Дело оставалось за практиками, которые вообще считали, что «штатские теории здесь неуместны», ибо «следует раз и навсегда покончить со всякой сентиментальностью (читай: славянофильским утопизмом) и помнить только свои интересы». В устах Скобелева такая тирада могла означать только войну. Войну с большой буквы. Войну — крестовый поход. Войну с Германией. Ибо «путь в Константинополь должен быть избран не только через Вену, но и через Берлин» — таков катехизис третьего поколения славянофилов. «Есть одна война, которую я считаю священной. Необходимо, чтобы пожиратели славян были в свою очередь поглощены».

Россия против еврейства

«Русская идея» начала XX века, как ни странно может это показаться теперь, смотрела в будущее уверенно. Ее пророки все еще называли себя славянофилами, но от первой — и главной — ненависти славянофилов, от ненависти к отечественному деспотизму, не осталось уже и следа. Иван Аксаков еще с грустью шел на союз с деспотизмом — только чтобы защитить «русскую самобытность», «оригинальную культуру» от посягательств русских западников. Третье поколение уже смеялось над этой робкой защитной тактикой: «За самобытность приходилось еще недавно бороться Аксакову. Какая там самобытность, когда весь Запад уже успел понять, что не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе все, новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада». Третье поколение, милитаристское и прагматическое, уже и думать забыло о ретроспективной утопии, оно целиком поглощено великой грезой о будущем, в которой виделась им Россия, простершаяся на пол-Европы и контролирующая ее остаток, который находится покуда «в совершенном подчинении евреям».

Уже и от второй ненависти славянофилов, от ненависти к парламентаризму не осталось ничего в этой выродившейся «русской идее». Ее «дьяволом» стали «Протоколы сионских мудрецов». Ее призванием — сокрушение всемирного еврейского заговора. Основная конфронтация современного мира, еще во втором поколении видевшаяся Данилевскому как «Россия против Запада», казалась новым пророкам безнадежно устаревшей. «Не в прошлом, свершенном, а в грядущем, чаемом, Россия — по общей мысли славянофилов — призвана раскрыть христианскую правду о земле». И правда эта состояла в том, что основная конфронтация в современном мире могла быть определена как «Россия против еврейства».

Евангелие от Сергея

В нашем распоряжении есть удивительный документ, не оставляющий никаких сомнений в том, как видели идеологи славянофильства последнего дореволюционного поколения «христианскую правду о земле». Самый яркий и экспансивный из них Сергей Шарапов написал об этом роман, который вышел в 1901 году и называется «Через полвека».

«Я хотел в фантастической форме,— объясняет автор,— дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, показать, что могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе». Вот как видит Москву в 1951 году Шарапов.

Москвич 1950-х годов встречается с человеком из прошлого и отвечает на его удивленные расспросы:

— Разве Константинополь наш?

— Да, это четвертая наша столица.

— Простите, а первые три?

— Правительство в Киеве. Вторая столица — Москва, третья — Петербург».

Каковы же границы этой новой России?

«Персия представляет нашу провинцию такую же, как Хива, Бухара и Афганистан. Западная граница у Данцига. Вся Восточная Пруссия, далее Австрия, Чехия с Моравией, мимо Зальцбурга и Боварии (граница) спускается к Адриатическому морю, окружая и включая Триест. В этой Русской империи было Царство Польское с Варшавой, Червонная Русь со Львовом, Чехия с Веной, Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и Адрианополем, Греция с Афинами».

Не возникает ли из этого удивительного предсказания парадоксальное ощущение, что истинным наследником выродившейся «русской идеи» оказался коммунистический император Иосиф Сталин? Сейчас скажем лишь, что в деталях Шарапов, конечно, ошибся. С Австрией и Грецией вышла осечка. С Сербо-Хорватией и с Триестом тоже. Иран не вошел в советско-славянофильскую империю (насчет Афганистана меры были приняты позже). И все же общее предвидение Империи, простершейся на Восточную и Центральную Европу, так же как и на Центральную Азию, оказалось точным. Как, однако, сопрягается оно со Славянской федерацией Данилевского?

«— А мы мечтали,— говорит славянофил из прошлого,— что образуется Славянский Союз и в нем растворится Российская империя.

— Послушайте, это смешно. Вы посмотрите, какая необъятная величина Россия и какой к ней маленький привесок западное славянство. Неужели было бы справедливо нам, победителям и первому в славянстве, а теперь в мире народу садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами?»

Так легко оказалось сбросить не только славянофильскую, но и панславистскую маску «первому в мире народу». А под маской оказалось обнаженное стремление к мировому господству.

Нечего и говорить, что «самодержавие не только сохранилось, но необыкновенно укрепилось и приобрело окончательно облик самой свободолюбивой и самой желанной формы правления». Последнее смутное воспоминание о древнем славянофильском предании: «историческая дорога наша гармоническое сочетание самодержавия и самоуправления» — это все, что осталось от былой формулы свободы. Зато в Москве в 1951 году в разгаре борьба вокруг самой насущной проблемы современного мира, которой Шарапов посвящает большую часть романа. «Речь шла о непомерном размножении в Москве еврейского и иностранного элемента, сделавшем старую русскую столицу совершенно международным еврейским городом». Дело дошло до того, что «была уничтожена процентная норма для учащихся евреев во всех высших и средних учебных заведениях». Даже в фантастическом будущем такой либеральный разврат ужасает автора. Как мы знаем сейчас, ужасался он зря. В соответствии с первой заповедью выродившейся «русской идеи» процентная норма была при Сталине благочестиво восстановлена.

Еще важнее (если вспомнить действительно потрясавшие Россию в 1951 году кампании против «безродных космополитов» и еврейских врачей-«отравителей») то, что в главном пророчество Шарапова сбылось точно: коммунистический император через полвека действительно превратил еврейский вопрос в самую насущную проблему Москвы. Как известно, лишь его смерть помешала ее «окончательному решению» в России.

Существенно, однако, что и для Шарапова, и для Сталина решение еврейского вопроса в России оказалось оборотной стороной глобальной борьбы с мировым злом. Для обоих европеизация России, о которой целый век толковали русские западники, была на самом деле ее евреизацией.

Фундаментальный постулат «русской идеи» был, таким образом, сохранен: Россия по-прежнему противостояла гнилому

Западу. Только в новой переформулированной доктрине мирового зла гнилость Запада коренилась не в его парламентаризме, как думали наивные славянофилы первого поколения, и даже не в его буржуазности, как думали наивные большевики, но в еврействе, навязавшем ему и этот парламентаризм, и эту буржуазность.

Согласно Шарапову, окончательное решение еврейского вопроса в России достигнуто было просто: гигантским, государственного масштаба бойкотом всего еврейского со стороны «коренных русских людей, которые наконец почувствовали себя хозяевами земли своей». Евреев просто не брали ни на какую работу, кроме черной. Вырождение дореволюционной «русской идеи» завершилось. Она слилась с черносотенством.

Наставники Гитлера

Как должны были эти люди воспринять свое оглушительное поражение в 1917 году? Ведь они предвкушали близкую и окончательную победу империи над последним препятствием на пути к мировому господству — еврейством. Конечно, они восприняли свое поражение как апокалипсическую катастрофу и предвестие конца света. Но главное, это поражение означало для них триумф всемирного еврейского заговора. Они и не могли воспринять его иначе, не отказавшись от своей доктрины. А из этой доктрины логически проистекало, что Россия завоевана еврейством. «Сейчас Россия,— уверял В. Михайлов в 1921 году,— в полном и буквальном смысле этого слова Иудея, где правящим и господствующим народом являются евреи и где русским отведена жалкая и унизительная роль завоеванной нации, утратившей свою национальную независимость... Резюмируя все вышеизложенное, можно смело сказать, что еврейская кабала над русским народом — совершившийся факт, который могут отрицать и не замечать или совершенные кретины, или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны... Месть, жестокость, человеческие жертвоприношения, потоки крови — вот как можно характеризовать приемы управления евреев над русским народом. Никаких надежд на гуманность, сострадание и человеческое милосердие для жертвы еврейского деспотизма быть не может, ибо эти чувства недоступны еврейскому народу, который веками питает непобедимую ненависть к другим нациям, народу, все существо которого жаждет крови и разрушения».

Что русская революция есть «действие Антихриста в лице Израиля, не подлежит ни малейшему сомнению,— писал Ю. Одинзгоев (Одинзгоев явно означает: один из гоев— *А. Я.*),— как не подлежит сомнению и грядущее жесточайшее отрезвление, после воцарения Антихриста, в лице Всемирного Деспота из Дома Давидова, предсказанного нам Апокалипсисом и ныне подготавливаемого к выступлению на сцену иудо-масонами, при всемерной поддержке и пособничестве „христианских" правительств, на 3/4 состоящих из представителей „избранного народа" и его наймитов-христиан, ставленников антихристианского франкмасонско-жидовского тайного союза!»

Как видим, после почти столетия трансформаций первоначального катехизиса «русской идеи» в трех поколениях славянофилов ее поборники оставались политически девственны. Даже в 1920-е годы они все еще не поняли ни того, что решение земельного вопроса было несопоставимо важнее в крестьянской России, нежели решение еврейского вопроса, пусть даже «окончательное»; ни того, что страна жаждала мира после трехлетней бойни, а не осуществления их имперских амбиций. Великий соперник «русской идеи», русский марксизм это понял. Молодая, динамичная, гибкая утопия левого экстремизма, не связанная предрассудками и реакционной политической базой, обещала России то, чего не могла обещать старая, выдохшаяся, неспособная оторваться от имперской грезы утопия правого экстремизма. «Русская идея» не могла предложить ни землю крестьянам (этому мешала ее помещичья политическая база), ни мира народам (это противоречило ее «патриотизму» и мечте о Константинополе), ни национального самоопределения меньшинствам (из-за догмы о «единой и неделимой» империи), ни даже однопартийной диктатуры (из-за своей традиционной ненависти к политическим партиям и привязанности к абсолютной монархии). И потому, как только лидеры русского марксизма выдвинули эти требования и ненадолго, правда (кроме диктатуры), но и осуществили их, «русская идея» была обречена.

Пророков «русской идеи» в эмиграции сокрушительное и, как казалось тогда, окончательное поражение повергло в шок. Они не были теперь способны даже к элементарному политическому анализу и искали эсхатологические, метафизические объяснения постигшего их бедствия. Для них победа большевиков «с неоспоримостью свидетельствует, что в мире действует сила... стремящаяся неуклонно к осуществлению своей мечты — утверждению всемирного господства „избранного народа", ныне возглавляющего уже официально Россию и прикровенно все прочие государства, так как буквально нет ни одного государства в мире, где за спиной официальных представителей власти не скрывались бы жиды, истинные руководители международной политики и вдохновители интернационального социалистического войска, в лице представителей всех без исключения социалистических партий и рабочего класса — слепых исполнителей воли „Интернационалов" — орудия франкмасонско-жидовских властителей» (Одинзгоев).

В книге «Россия и Германия», в главе, которая так и называется «Менторы Гитлера», Уолтер Лакер с документами в руках доказывает, что сама «идея антибольшевизма, ставшая центральным тезисом нацистской идеологии и пропаганды и отождествившая большевизм с мировым еврейством», внушена была Гитлеру русскими эмигрантами, жившими одной надеждой, что «придет день, когда и Россия сможет похвалиться своим гитлеровским движением». Целые состояния, вывезенные из России, тратились обитателями «русского Кобленца» на поддержку правого экстремизма в Германии. Все это, по мнению Лакера, дает основание говорить о «русских источниках национал-социализма». Проповедники «русской идеи», потерпевшие эпохальное поражение в своей стране, рассеянные по свету и обреченные, казалось, на полное исчезновение, нашли себе все-таки подобие отечества — в идущей к фашизму Германии. В той самой Германии, которую совсем еще недавно, как помнит читатель, рисовали они «не имеющей никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства». Марков 2-й, знаменитый своими погромными речами депутат русской Думы и один из апостолов выродившейся «русской идеи», закончил свои дни консультантом гестапо по русским делам.

В этом есть, конечно, своя жестокая ирония. Тем более, что в известном смысле эмигрантские проповедники «русской идеи» были правы, оплакивая Россию. Ничего хорошего не ожидало ее под властью сторонников левой экстремистской утопии, которой, как всякой утопии, тоже предстояло вырождение. Она тоже одряхлеет и тоже трансформируется в идеологию политического идолопоклонства. Не случайно Москва 1951 года — в разгаре режима контрреформы — напоминала скорее видение Шарапова, нежели видение Ленина. И все-таки, в отличие от теоретиков «русской идеи», русские марксисты найдут в себе силы для жестокой самокритики, для разрушения своего собственного культа политического идолопоклонства, для новой отчаянной попытки реформы в 1960-е годы. (В 80-е их самокритика достигнет беспрецедентной остроты. Но это уже другая история, и о ней я написал другую книгу.)

Сейчас скажем лишь, что для всякого, кто согласится с историческим подходом к России, лежащим в основе моего анализа эволюции «русской идеи», ошибка ее эмигрантских проповедников очевидна: эсхатология была ни при чем в том, что началось в России в 1917 году. Что же касается Антихриста, то я могу лишь перефразировать ответ Лапласа Наполеону: «Кант принимает гипотезу Бога»,— сказал ему Бонапарт. «Мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе»,— ответил ученый. Историческое объяснение русской трагедии не требует этой гипотезы. В самом деле, ни в одном из исторических циклов России, начиная с середины шестнадцатого века, ее реформистский потенциал не был способен совершить более двух попыток реформ. И когда обе они кончались поражением, на очереди неизменно стояла брутальная террористическая контрреформа, трансформировавшая Россию в гарнизонную диктатуру. К октябрю 1917 года — после поражения обеих реформистских попыток (в 1905—1908 годах и в феврале — сентябре 1917 года) — контрреформа была по сути предрешена. Единственное, что не было ясно — и чему предстояло решиться в ходе кровавой гражданской войны,— это какая из двух экстремистских утопий, левая или правая, коммунистическая или фашистская, выиграет титаническую битву за право стать идеологией новой русской контрреформы и, соответственно, определит судьбу России в XX веке. Выиграла левая, коммунистическая утопия. Но это ровно ничего общего не имело с метафизикой или с кознями грядущего «Всемирного Деспота из Дома Давидова».

Мы знаем теперь, что победа коммунистического правительства Ленина — Троцкого действительно была большим несчастьем для России. Но меньшим или большим несчастьем для нее была бы победа фашистского правительства Маркова 2-го — Пуришкевича, мы не знаем. Это правительство реставрировало бы гарнизонную империю под знаменем всемирной борьбы с франкмасонско-жидовским заговором. И все же какое-то представление о возможной программе такого правительства мы можем извлечь хотя бы из следующего пророчества Ю. Одинзгоева: «Европе уготован тот же путь... Час расплаты за безумную податливость извергам рода человеческого приближается, и обманутые своими собственными вождями народы Европы на собственном опыте не замедлят убедиться в уготованном им кошмарном грядущем, в социалистически-большевистском эдеме, под властью еврейского Совнаркома, не замедлящего, без сомнения, выявить свою истинную сущность — человеконенавистнического и антихристианского сверхправительства, стремящегося всех привести к одному знаменателю, обратив в ра-

бов „избранного народа“ и его царя-деспота сионской крови. Катастрофа близка, при дверях...»

Запомним это пророчество.

Однако поскольку «русской идее» не суждено было спасти Европу от грозившего ей в 1920—1930-е годы «деспота сионской крови», единственная практическая функция, которую могла она еще исполнить, заключалась в том, чтобы помочь нацизму добиться победы Германии и натравить его на Россию и на Европу.

Так завершилось первое столетие благородной ретроспективной утопии русского имперского национализма, возникшей из мечты о спасении России и Европы от исторической катастрофы и закончившейся ее превращением в орудие этой катастрофы.

ВСХСОН — НАЧАЛО ДИССИДЕНТСКОЙ ПРАВОЙ

Судьба «русской идеи» прошлого века была моей специальностью. В конце 1960-х годов я готовил к защите диссертацию, которая так и называлась: «Славянофилы и Константин Леонтьев: вырождение русского национализма: 1856—1891 гг.». Я не стану, однако, уверять, будто мною руководил только научный интерес (хотя и с чисто академической точки зрения тема была взрывчатой: Леонтьев был табу в советской историографии с 1930-х годов, а изучение славянофильства — на мертвой точке). Самый замечательный аспект моей темы заключался вовсе не в ее академическом потенциале. Он был в самой русской действительности конца 1960-х годов, когда история словно бы оживала перед нашими глазами. Из-под глыб замшелой официальной идеологии вдруг стали пробиваться свежие удивительные голоса, толковавшие о необходимости национального возрождения, о возвращении к национальным корням и спасении России. Новое настроение, как вихрь, закружило Москву. Оно возникло стихийно, снизу, не только не по указанию властей, но порою было направлено прямо против них. В домах интеллигентов, в клубах и университетах появились люди самого разного возраста — и старики, и юноши,— призывавшие вернуться «домой», к «святыням национального духа», торжественно декламировавшие о «земле» и «почве»,— словно ожили славянофилы 1830-х годов. Один из самых популярных московских журналов «Молодая гвардия» присоединился к этому хору, опубликовав серию громовых статей. Модной темой дискуссии стало вдруг вымирание русской деревни, ужасающее запустение колыбели нации — северо-восточной Руси (то есть то самое, чему ужаснулся я, объездив пол-России и написав об этом в 1966—1967 годах самые горькие свои статьи).

Интеллигенция вдруг устремилась проводить отпуска в деревнях, у могил далеких предков — вместо модных еще недавно Крыма, Кавказа и Прибалтики. Молодежь бродила по вымирающим деревням, собирая иконы, и очень скоро не осталось почти ни одного интеллигентного дома в Москве, не украшенного символами православия. Писатель Владимир Солоухин появился в Доме литераторов с перстнем, на котором был изображен расстрелянный император Николай Второй. На черном рынке возник бешеный спрос па книги «контрреволюционеров» и «белогвардейцев», умерших в эмиграции.

Впоследствии Солженицын так сформулирует это настроение: «Бездумное заблуждение — считать русских в СССР „правящей нацией“... Русские — главная масса рабов этого государства. Русский народ изможден, биологически вырождается, его национальное сознание принижено, подавлено».

Эта естественная забота о своем страдающем народе не вызвала бы ничего, кроме сочувствия, если бы в общем националистическом хоре не пробились вдруг странно знакомые и зловещие голоса. Ходила по рукам вышедшая из недр Московского горкома комсомола — одна из первых ласточек самиздата — листовка «Устав нравов», написанная видным комсомольским функционером Валерием Скурлатовым. Автор утверждал, что «нет более подлого занятия, чем быть мыслителем, интеллигентом». Он призывал «настраивать молодежь на смертельную борьбу», связанную «с космической миссией нашего народа» и попутно «ввести телесные наказания для женщин, отдающихся иностранцам, клеймить их и стерилизовать». Поначалу это показалось курьезом, хоть и зловещим. Но когда весною 1968 года стало известно об аресте националистической группы А. Фетисова, идеи которой представляли собою критику советской системы с позиций крайнего тоталитаризма и шовинизма, сомнений в том, что возрождающаяся «русская идея» отбрасывает мрачную шовинистическую тень, больше не оставалось. Оказалось, что в работах этих диссидентов-националистов «историческое развитие человечества представлялось как борьба порядка с хаосом, воплощенном в еврейском народе, создававшем беспорядок в Европе на протяжении двух тысяч лет, покуда Германские и Славянские принципы — тоталитарные режимы Гитлера и Сталина — не положили этому конец». Оказалось даже, что единомышленники А. Фетисова рассматривали «эти режимы как исторически неизбежные и позитивные явления». (Стоит ли уточнять, что люди эти — точно так же, как и их вдохновители Н. Марков или Ю. Одинзгоев,— были православными, то есть по сегодняшней терминологии Дэнлопа «возрожденцами», «хорошими националистами»?)

Логическая ошибка?

Итак, уже в конце 1960-х годов, в самом своем зачатке возрождающаяся «русская идея» очевидно демонстрировала два направления. Одно уходило корнями в освободительную антидеспотическую утопию К. Аксакова, другое — в имперскую милитаристскую грезу С. Шарапова. При всем их различии, однако, обоим этим направлениям предстояло найти общего «дьявола». Во всяком случае, происхождение солженицынского дьявола, как вскоре показали события, совершенно не отличалось от происхождения фетисовского. Оба винили в бедах русского народа не русскую империю, а Запад. Одни винили западную идеологию марксизма и конспираторов-большевиков, завоевавших с ее помощью Россию, другие — западную «евреизацию», грозившую всемирным хаосом. Ни те, ни другие, однако, не замечали явной нелогичности своего главного постулата.

Винить в бедствиях русского крестьянства Запад или евреев у них было ровно столько же оснований, сколько, скажем, у турецких националистов начала века винить в бедственном положении коренного населения Оттоманской империи — армян. Разве не оказалось турецкое крестьянство, точно так же как русское, «главной массой рабов этого государства»? Его положение было, безусловно, бедственным. Оно жило хуже и было беднее других народов империи, в особенности предприимчивых армян. Турецкие националисты начала века имели все основания сказать, предваряя Солженицына, что турецкий народ в Оттоманской империи «изможден, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, подавлено». Вряд ли, однако, стали бы они утверждать на этом основании, что «бездумное заблуждение — считать турок в Оттоманской империи правящей нацией».

В том-то и заключается коварство традиционных континентальных империй Восточной Европы, что, в то время как элита имперской нации контролирует империю, крестьянство ее несет на себе «бремя империи». В этом ровно ничего загадочного нет. И одинаково нелепо винить в этом западные идеологии, евреев или армян: они не создали ни Оттоманскую, ни Российскую империю. Их создали турки и русские. Действительная

загадка заключается совсем в другом: Оттоманская империя распалась в результате первой мировой войны, в то время как русская воспроизвела себя на обломках царизма.

Потому-то и говорю я о политической системе автократии как об «исторической ловушке». И опять-таки непонятно, почему виноваты в этом Запад или евреи. Разве они создали русскую политическую традицию? Разве они создали автократию? Искусственность этого перекладывания вины за русские беды на других поражала воображение. На первый взгляд, оно может показаться просто логической ошибкой, если не безумием. Но приглядевшись к нему внимательней, наблюдатель обнаруживает в этом безумии систему. Состоит она в том, что русская империя и русская политическая традиция *освобождаются таким образом от ответственности* за то, что случилось с Россией. Только при помощи этого логического трюка становится возможным оправдать идеологическое ядро «русской идеи», то, что объединяет «хороших националистов» и «плохих националистов», Солженицына и Фетисова — возвращение нации «домой», то есть к исконной изоляционистской и имперской политической традиции, представленной как идеал истинно русской цивилизации.

Таким образом, никакой логической ошибки в обвинении Запада или евреев в бедах России нет. Без этого русский национализм существовать просто не может. Он может быть только антизападным и антиеврейским. Он должен быть уверен в золотом веке России, в ее благословенном утопическом «доме», который был разрушен неким чуждым иностранным элементом, но в который Россия может вернуться, сбросив иностранное иго.

Вот почему русский национализм не способен бороться с русской автократией. Вот почему при всей своей освободительной риторике он всегда в конечном счете оборачивается оправданием этой автократии и апологией империи. Вот почему был он с самого начала «новой цепью, налагаемой на мысль». В 1960-е годы перед нами была та самая «двойственность» «русской идеи», о которой толковала в свое время ее классическая критика.

Посмотрим теперь, как предстояло ей развиваться в конце второго христианского тысячелетия — накануне двухтысячного года.

Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа (ВСХСОН) был первой в постсталинский период и пока единственной (если не считать эмигрантского Народно-Трудового Союза (НТС) относительно крупной (в феврале 1961 году, накануне разгрома, он насчитывал 28 членов и 30 кандидатов) подпольной организацией. ставив-

шей себе целью вооруженное свержение существующего государственного строя в СССР. Как и положено конспиративной организации, ВСХСОН имел Устав и Программу, соответствующие методы агитации и вербовки новых членов. Однако я не буду останавливаться на деталях его повседневной деятельности, иа профессиях и образовании его членов, тем более, что все зто подробно описано Дэнлопом в его книге, посвященной истории ВСХСОНа. Поговорим о его программе.

Разумеется, она исполнена непримиримости к коммунизму и советской власти и исходит из того, что «коммунистический мир разлагается. Народы на тяжелом опыте познали, что он несет нищету и угнетение, ложь и моральное вырождение». Но это была не только программа конфронтации с режимом, это была программа «народно-освободительной революции, направленной на свержение диктатуры коммунистической олигархии».

Поскольку коммунизм рассматривался в программе как феномен по природе своей антинациональный, нерусский, то, естественно, предполагалось, что режим в некотором роде «висит в воздухе», не имея серьезных корней в русском обществе. «Догматическая группировка коммунистического класса не имеет в народе широкой социальной базы, на которую она могла бы опереться, чтобы организовать серьезное сопротивление. Ее разгром предрешен».

Поэтому революция, замышлявшаяся ВСХСОНом, по сути должна была носить характер военного переворота: «Для полной победы народу необходима своя подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру и разгромит охранные отряды олигархии».

Поскольку коммунизм представляет собою главную угрозу христианской цивилизации, а сердце коммунизма находится в России, то очевидно, что и спасение может прийти только из нее. В ней определится будущее человечества, ибо «судьба мирового коммунистического движения будет решаться в России».

После победы «непосредственное участие общества в жизни страны должно осуществляться путем самоуправления на местах и представительства крестьянских общин и национальных корпораций — крупных союзов работников физического и умственного труда — в высшем законодательном органе страны». «Государство должно конструироваться как теократическое, социальное, представительное и народное».

Теократический характер нового государства будет обеспечен организацией специального «блюстительного» органа — Верховного Собора, который «должен состоить на одну треть из лиц высшей иерархии церкви и на две трети из выдающихся представителей народа, избираемых пожизненно». Верховному Собору будет принадлежать «право вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которое не соответствует основным принципам социал-христианского строя». Кроме того, Верховный Собор в качестве «духовного авторитета народа» будет избирать главу государства — «представителя народного единства».

Организованное таким образом теократическое социал-христианское государство должно будет обеспечить «основные права человека и гражданина». Эти права перечислены во множестве пунктов. Вот некоторые из них.

Пункт 53. Жизнь и достоинство человека неприкосновенны.

Пункт 56. Все граждане равны перед законом.

Пункт 58. Сaобода труда обеспечивается для всех правом каждого гражданина на землю и кредит для приобретения средств производства.

Пункт 62. Никакие виды принудительного труда не могут допускаться по отношению к свободным граждаиам.

Пункт 63. Личная свобода ненарушима.

Пункт 64. Все средства распространения мысли свободны.

Пункт 67. Собрания и демонстрации свободны.

Пункт 79. Тайпая политическая полиция должна быть распущена.

Кажется все, что было достигпуто политической мыслью России, на протяжении полутора столетий пытавшейся сконструировать специально русский и принципиально неевропейский путь государственного строительства, как бы сфокусировано в зтом по-своему замечательном документе. Здесь и романтическое убеждение Павла Пестеля, что «свободу труда» и — главное — свободу от безработицы — можно обеспечить, дав каждому гражданину право на землю; и страстная проповедь Ивана Аксакова, что парламентаризм есть способ узурпации власти профессиональными политиканами; и постулат Петра Ткачева, согласно которому русское государство не имеет социальных корней в русском обществе и освобождение народа может быть достигнуто поэтому посредством военного путча; и мысль Владимира Соловьеаа о теократическом устройстве общественной системы как о политическом воплощении библейских заветов; и декларация Николая Бердяева, что западный капитализм и советский коммунизм в равной степени представляют собой роковые тупики истории человечества, путь к торжеству Антихриста; и глубокая вера Федора Достоевского в то, что спасение мира придет из России. Столь же индикативпо для зcharacterого знциклопедического свода русского либерального «антиевропеизма» было не только то, что нашло в нем отражение, но и то, что не нашло.

В частности, не упомянут в нем национальный вопрос (что особенно удивляет в программе государственного устройства многонациональной империи). Хуже того, ие упомянута необходимость *рабочего механизма,* способного обеспечить реальное осуществление всех перечисленных выше гражданских свобод.

В конце концов, основные свободы перечислены и в советской Конституции. Однако без рабочего механизма их осуществления, которым, как свидетельствует история, может служить только институционализированная политическая оппозиция, все они оказались фикцией, пустым обещанием. Где гарантия, что то же не случится с обещаниями «новых русских революционеров»? Где, другими словами, гарантия их либерализма? Я подчеркиваю, что не сомневаюсь в либеральных намерениях авторов программы — лишь в их осуществимости. Впрочем, поскольку ВСХСОН уже имеет па Западе в некотором роде официального интерпретатора, посмотрим сначала, что думает по этому поводу он.

«Чего народ в России хочет?»

Вкратце точка зрения Дэнлопа сводится к тому, что ВСХСОН был наиболее перспективным крылом советского диссидентства, несущим в себе зерно и прообраз будущей антикоммунистической революции в СССР. «Хотя ВСХСОН, подобно декабристам,— пишет он,— не был серьезной военной угрозой существующему режиму, идеи, которые он проповедовал — и продолжает проповедовать, представляют собой несомненно огромную опасность» для режима. Поэтому Дэнлоп уверен, что дальнейшее развитие диссидентского движения в СССР будет руководиться образцом ВСХСОНа. Он даже предсказывает это. В доказательство он ссылается на «огромное сходство взглядов ВСХСОНа со взглядами Солженицына и его друзей». Кроме того, Дэнлоп испытывает к ВСХСОНу огромную личную симпатию, которая служит ему основанием для еще одного предсказания: хотя «общество, созданное по проекту ВСХСОНа, было бы более „авторитарным“, чем западные демократии», оно тем не менее «представляло бы *резкое улучшение по сравнению с советской системой*», поскольку именно такое общество «могло бы вполне соответствовать тому, *чего народ (в России) хочет*».

Я не имею ни малейшего представления, откуда мистеру Дэнлопу известно, «чего народ в России хочет». По моим личным наблюдениям, разные люди хотят в ней разного. Но меня интересует сейчас — чего хотели авторы программы ВСХСОНа. А они, судя по статьям своей конституции, хотели именно свободы, *не* авторитаризма. Они-то были уверены, что «общество, построенное по их проекту», будет гораздо *более* свободным, нежели западная демократия, которую они, как мы скоро увидим, считают «безусловным злом». Вопрос, следовательно, в том, не ошибались ли «новые русские революционеры» так же, как ошиблись их предшественники, большевики, и не обрекала ли их программа Россию на новое авторитарное рабство вместо свобод, которые они ей обещали? К сожалению, мистер Дэнлоп ничего по этому решающе важному вопросу не сообщает.

«Русский путь»

Программа ВСХСОНа разбита на две части: критическую и позитивную. Критическая часть, составляющая основную массу документа (30 страниц из 48), особого интереса не представяет, ибо в главных чертах лишь пересказывает книгу М. Джиласа «Новый класс». А вот в связи с позитивной ее частью возникает фундаментальный вопрос: *во имя чего* должна быть свергнута в СССР «коммунистическая олигархия»?

Как явствует из программы — во имя спасения человечества от коммунизма и от капитализма, *являющегося его непосредственным источником:* «Будучи болезненным детищем материалистического капитализма, коммунизм развил и завершил все вредные тенденции, которые имелись в буржуазной экономике, политике и идеологии... Составные части марксистско-ленинского учения ваимствованы из западных буржуазных теорий... Коммунизм довел до предела начатую капитализмом пролетаризацию масс». Одним словом, перефразируя классическое выражение Ленина, коммунизм есть высшая стадия капитализма.

Сейчас, однако, нас интересует не столько зто знаменательное сходство с большевистской догмой, сколько то, что в основе русского зла, конечно же, оказывается западное буржуазное начало. Эта фундаментальная черта программы ВСХСОНа обуславливает все ее дальнейшее развитие. Не только зкономическая структура капитализма, его «базис», употребляя марксистский жаргон, оказывается для ВСХСОНа неприемлема, но и его «надстройка»: «Социал-христианская государственная доктрина рассматривает как *безусловное зло* такую организацию власти, при которой она является призом для соперничающих партий или монополизируется одной партией. Вообще партийная организация власти непри-

емлема с точки зрения социал-христианства». Почему же многопартийная система, которая при всех ее прегрешениях все-таки является пока что единственной известной человечеству гарантией свободы личности, почему она «безусловное зло»? Очевидно, потому что *все* порождения западного капитализма имманентно содержат в себе опасность коммунизма. Именно поэтому «новые русские революционеры» чувствуют себя призванными повести человечество по принципиально иному — русскому — пути. И русская сущность этого пути заключается в том, что, вопреки утверждениям западных теоретиков, центр тяжести мирового противостояния сил лежит вовсе не в сфере борьбы авторитаризма и демократии, но в сфере борьбы сил метафизических: Бога и Сатаны. «Причина... опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер... идет духовная борьба за личность. Перед человечеством два пути: свободное обращение к Богу... или отказ от Бога, и тогда сатанократия».

Здесь — ядро миросозерцания «русской идеи» на протяжении полутора столетий. И в этом самом глубоком своем мировоззренческом смысле ВСХСОН оказывается в русле «русской идеи», а вовсе не диссидентского демократического движения, борющегося за гражданские права и экономические реформы. По сути ВСХСОН был противоположен этому движению, для которого духовное возрождение есть производное от борьбы в «экономической и политической сфере». Демократическое движение борется не с духами, а с вполне реальным авторитаризмом, именовавшим себя «реальным социализмом». Поэтому, в отличие от ВСХСОНа, не «русский путь» противопоставляло оно советской системе, а права человека и гражданские свободы.

Корпоративное государство

Философские предпосылки программы ВСХСОНа неизбежно должны были вести ее направо и в области социально-политического проектирования. Так, предлагая заменить «партийную организацию власти» «представительством корпораций», авторы программы, конечно, всего лишь пересказывают центральную идею книги своего учителя Николая Бердяева «Новое средневековье». Если Джилас вдохновил критическую часть их программы, Бердяев вдохновил позитивную. Это он еще в 1923 году противопоставил западным парламентам «с их фиктивной вампирической жизнью наростов на народном теле, неспособным уже выполнять никакой органической функции», этим «выродившимся говорильням», «правительство реальных корпораций, которые будут бороться не за политическую власть, а решать, например, вопросы сельского хозяйства, народного образования и тому подобного по существу, а не для политики».

Дело несколько осложняется лишь тем, что жестокое презрение Бердяева к западным парламентам содержало сильнейший привкус спекуляций Муссолини о корпоративном государстве. «Никто более не верит ни в какие юридические и политические формы, никто ни в грош не ставит никаких конституций... мы, особенно Россия, идем к своеобразному типу, который можно назвать «советской монархией», синдикалистской монархией... власть будет сильной, часто диктаторской. Народная стихия наделит избранных личностей священными атрибутами власти... в них будут преобладать черты цезаризма». Право, если бы Бердяев даже не ссылался на Муссолини, все равно было бы очевидно, кто его вдохновитель, но ведь он ссылается: «Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы». И словно бы этого еще недостаточно, он продолжает: «Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы».

Допустим, проектируя будущую Россию, «новые русские революционеры» могли не понимать, что они, если не прямо повторяют фашистскую риторику Муссолини (хотя ссылки на нее, как мы видели, даны открытым текстом в самом их учебнике), то, по крайней мере, зловещую бердяевскую их интерпретацию. Но уж Дэнлоп-то должен был знать, какую роковую роль в формировании оппозиционного сознания ВСХСОНа сыграла именно эта, самая неудачная и самая реакционная книга Бердяева. Судя по всему, он превосходно это знает: «„Новое средневековье“»,— пишет Дэнлоп,— стимулирующая работа, которая загадочным образом никогда не была переведена на английский... содержит бердяевскую программу возрождения России из-под большевистского ига... часть бердяевских идей была включена в позитивную секцию программы ВСХСОНа». Должен признаться, что из всех комментариев Дэнлопа именно этот вызывает наибольшее недоумение.

Во-первых, следует ли из этого, что не только «новые русские революционеры», но и сам Дэнлоп серьезно рассматривает фашизм как «программу возрождения России из-под большевистского ига»?

Во-вторых, мог ли не заметить Дэнлоп, что в своей «стимулирующей» книге Бердяев прямо заявляет нечто, полностью перечеркивающее все либеральные обещания гражданских прав, содержащиеся в программе ВСХСОНа? «Я утверждаю,— говорит Бердяев,— русский народ... *не хочет правового государства* в европейском смысле этого слова. (Россия) скорее родит Антихриста, чем гуманистическую демократию». Хорошо это или плохо, но человечеству не известен никакой другой смысл словосочетания «правовое государство», кроме европейского. И если категорическое отрицание правового государства есть, по мнению Дэнлопа, лишь «авторитаризм» (в кавычках), то что же тогда фашизм?

Наконец, в-третьих, поскольку «Новое средневековье» было опубликовано по-английски (причем трижды!), то непонятно лишь, почему Дэнлоп «загадочным образом» этот факт отрицает.

Как бы то ни было, то обстоятельство, что «новые русские революционеры» предпочли в своей программе «безусловному злу» западной демократии принципы фашистского корпоративного государства, представляет проектируемую ими революцию в несколько неожиданном свете.

«Великая Россия»

Допустим, что спасти русских от угрожающей им «сатанократии» действительно может только православная корпоративная теократия, которой намерен был облагодетельствовать их ВСХСОН. Но ведь русские составляют лишь половину населения СССР. И среди десятков наций, входящих в состав империи есть и неправославные, даже не христиане. Никаким референдумом никогда не было установлено, что какие-либо из этих наций питают особую склонность к православной теократии. Какая судьба ожидает их в обществе, построенном по проекту ВСХСОНа, которое так нравится Дэнлопу? Увы, программа вообще не дает никакого ответа на этот вопрос. В ней не содержится даже формального обещания, что нерусским нациям империи будет предоставлено право, если они пожелают, не следовать по «русскому пути». Пункт 73 указывает лишь, что ВСХСОН «сознает себя патриотической организацией самоотверженных представителей всех национальностей Великой России».

В каких, однако, границах мыслится «Великая Россия»? В границах нынешней советской империи? Но что будет, если мусульмане, католики, протестанты, иудаисты, буддисты, живущие на ее территории, не пожелают признать православие всеспасающей идеологией, а теократию обязательной формой политической организации? В пункте 83 сказано: «Странам, в которых временно находятся советские войска, может быть оказана помощь в национальном самоопределении на основе социал-христианства». Но что будет, если эти страны пожелают самоопределиться на какой-нибудь другой основе?

Поскольку программа не дает ответа на все эти вопросы, приходится искать другие свидетельства, способные пролить хоть косвенный свет на то, о чем она умалчивает. В частности, на отношение некоторых руководителей «патриотической организации» к некоторым национальным меньшинствам. В воспоминаниях попутчика ВСХСОНа Б. Караватского есть пассаж, посвященный взглядам «начальника личного состава» Михаила Садо: «Мне трудно примириться с тем, что в разговорах этого человека проскальзывали антисемитские нотки. Вероятно, этот глубоко укоренившийся недостаток этой необычайно интересной личности впитан им с молоком матери».

Другое свидетельство находим в воспоминаниях А. Петрова-Агатова, человека весьма противоречивого, большую часть своей сознательной жизни проведшего в советских лагерях. Там и встретился он с членами ВСХСОНа, которых, так же как Караватский, считает «солью русской нации» и «цветом русской молодежи». Но прежде, чем рассказать о его беседе с «директором идеологического отдела» ВСХСОНа Евгением Вагиным, я хотел бы привести цитату из воспоминаний Петрова-Агатова, рисующую атмосферу лагеря.

«Еврейский вопрос стоял остро... Познакомившись с сионистом Соломоном Борисовичем Дольником... я как-то предложил Андрею Донатовичу (Синявскому) зайти к нему в гости. „Я не против, Соломон Борисович — милый человек. Но я вас прошу иметь в виду, что здесь к евреям относятся особенно нетерпимо“. В лагере даже ходил слух, что Андрей Донатович — еврей. Впрочем, евреем считали не только Синявского. Увидев мои добрые отношения с Дольником, тоже стали говорить: „Жид! Какой он Петров? Какой-нибудь Фраерман или Зильберштейн. Все, сволочи, русские фамилии приобрели!“ Ненависть к коммунистам тоже отождествляется с евреями. Ленин, Хрущев, Брежнев, Косыгин — все это жиды — слышалось то там, то тут».

Ситуация, согласитесь, крайне своеобразная, в которой даже ненависть к режиму находит себе основание в глубокой, инстинктивной, чтоб не сказать, звериной, национальной ненависти. В то время как члены ВСХСОНа видят корни коммунизма в «материалистическом капитализме», масса заключенных видит их, оказывается, в «еврейском засилье», в «жидах».

Какой позиции было бы логично ожидать от руководителей «патриотической организации», претендовавшей на пред-

ставительство «всех национальностей Великой России», в этой отравленной атмосфере? По-видимому, самое меньшее, что могли бы они сделать, это хотя бы отмежеваться от площадного антисемитизма. Ведь они хотели стать руководителями государства. Здесь, в лагере, они столкнулись со своего рода микрокоемом общества, которое намеревались вести по «русскому пути». И если даже здесь ненависть к коммунизму так тесно переплелась с черносотенным, погромным шовинизмом, они легко могли себе представить, каковы были бы потенции антисемитского взрыва при попытке насильственно ввести теократическое православное государство. Поэтому их реакции здесь особенно интересны.

Судя по свидетельствам, которые были в моем распоряжении, они не только не встали на защиту «униженных и оскорбленных», что было лишь долгом христианина, не только не отмежевались от их гонителей — нет, «директор идеологического отдела» Вагин сам убеждал Петрова-Агатова, что «все несчастье России от евреев».

Аналогичный, только еще более зловещий эпизод рассказал мне Андрей Синявский, тоже отбывавший свой каторжный срок вместе с членами ВСХСОНа и «близкими им по духу». Как-то он задал одному из них вопрос: «Что стали бы вы делать с евреями, если бы победили?» Ответ был однозначен: выслали бы в Израиль. «Ну а с теми, кто не пожелал бы ехать?» Ответ снова был однозначен: истребили бы. «Как? Вместе с детьми?» — ахнул Синявский. «Ну, Андрей Донатович, кто же, истребляя крыс, думает о крысенятах?»

«Резкое улучшение по сравнению с советской системой»?

Программа ВСХСОНа — в числе других либеральных обещаний — декларирует: «Средства информации... не должны находиться в монополии государства. Цензура должна быть отменена». И далее: «Все известные религии должны пользоваться правом беспрепятственной проповеди и отправления культа». Культурное и религиозное разномыслие, таким образом, обещано в программе. А что же сказано по поводу разномыслия политического? В самом деле, что стало бы делать правительство ВСХСОНа с такими людьми, как, допустим, Синявский или я? Что стало бы оно делать с традиционно «инакомыслящей» и, увы, столь же традиционно «западнической» русской интеллигенцией? Понятно, что этот вопрос не менее болезнен для конструкторов «Великой России», нежели национальный. По сути, это проблема положения интеллектуальной элиты в общественной системе. И следовательно, речь идет о генерации новых идей и исправления ошибок государства, короче говоря, о политической оппозиции, без которой нормальное развитие общества, как свидетельствует история, немыслимо. Нет, авторы программы еще не называют эту интеллектуальную элиту ни «просвещенным мещанством», ни «образованщиной», ни «люмпенством», ни «цивилизованными дикарями», как станут делать их преемники. Они лишь обещают «не относиться враждебно к близким по духу, но имеющим своеобразие программам, считая, что окончательный выбор должен свершиться после свержения коммунистической диктатуры». Только к близким по духу?

Но ведь мы, по-видимому, не оказались бы близкими ВСХСОНу по духу, а вместе с нами могли не оказаться «близкими» еще тысячи и тысячи, если не миллионы людей. Что стало бы делать новое «народно-революционное» правительство в этом совсем не невероятном случае? Извинилось бы за беспокойство и разошлось по домам! Не было бы для него более естественно, однако, посадить некоторых «далеких по духу» в те же лагеря или выслать за границу, как делают в таких случаях все военные правительства?

Не забудем, что «права человека и гражданина», обещанные в программе, вовсе не предполагалось вводить тотчас после победы ВСХСОНа. В пункте 74 сказано, что «государственная власть после свержения коммунистической диктатуры должна перейти к временному народно-революционному правительству, которое немедленно проведет в жизнь все назревшие радикальные реформы». И лишь после этого «должен вступить в силу нормальный государственный порядок». Вот я и интересуюсь, что случилось бы с нами в этом роковом промежутке, в период диктатуры «народно-революционного правительства»?

Некоторый, хотя и косвенный, ответ на этот вопрос можно почерпнуть из беседы на радио «Свобода» Кирилла Хенкина и Евгения Вагина, в которой Вагин объяснил свое политическое кредо. Хенкин привел цитату из Достоевского и спросил Вагина, разделяет ли он точку зрения писателя. Вот ответ Вагина: «В отношении той цитаты, которую вы привели, а именно: может ли русский быть атеистом и насколько русская сущность с этим совместима,— да, я исповедую веру Достоевского, что русский — это православный, что религия является, конечно, глубинной сущностью русского человека».

Достоевскому, скажем прямо, было легче. Он не писал проектов государственного устройства будущей России и не намеревался стать одним из ее политических лидеров. Но Вагин-то намеревался. И поэтому нас должен интересовать политический смысл его определения «глубинной сущности русского человека». И для меня, в отличие от Дэнлопа, это вовсе не академический интерес, это вопрос судьбы.

Что стало бы делать вагиновское правительство со мною и близкими мне по духу, не православными, а следовательно, не русскими (имеется в виду не этническая, а гражданская сторона дела) и вдобавок еще политически инакомыслящими? Не естественно ли было бы для него, в лучшем случае, изгнать меня за границу? Но ведь я уже и без того за границей?

Сознаюсь, что я лишь слегка изменил эпизод, рассказанный мне тем же Синявским. На замечание, что он будет протестовать против политики геноцида, Синявский услышал от «близкого по духу» к ВСХСОНу солагерника: «А мы вас посадим, Андрей Донатович». Учитывая, что Синявский уже сидел в лагере, в чем оставалось бы ему искать то «резкое улучшение по сравнению с советской системой», которое обещает ему мистер Дэнлоп?

Утопия либерального национализма

Я надеюсь, читатель имел достаточно оснований убедиться, что идеология ВСХСОНа была пронизана антиевропеизмом, средневековыми мечтами о теократии и фашистскими принципами корпоративного государства. В этом смысле я и утверждаю, что ВСХСОН был началом и составной частью диссидентской «новой правой». Как объяснить в таком случае либеральные обещания его программы? Как объяснить ее декларации об отмене цензуры и свободе религиозной проповеди, о том, что «судьи должны быть несменяемы и ответственны только перед законом», что «культурная политика социал-христианства исходит из признания, что живая культура... может процветать только в условиях свободы»? Одним словом, как объяснить все то, что заставило Дэнлопа поверить в «новых русских революционеров»? Неужели все это лицемерие и политическая демагогия? А если нет, то как иначе понять совмещение в одной идейной концепции свободы и теократии, либерализма и антиевропеизма, современных терминов и средневековых идей?

Те же вопросы можно задать и по поводу доктрины классической «русской идеи», которая еще сто тридцать лет тому назад тоже совмещала искреннюю и самоотверженную борьбу против «душевредного деспотизма» с не менее искренним отвращением к «западным конституциям» и «партийной организации власти». Мое убеждение состоит в том, что объяснить необъяснимое и примирить непримиримое можно. Но только в рамках *утопии*, то есть идеологической конструкции, которая реально не осуществима. Вот почему наш спор с Дэнлопом вовсе не о том, что было бы, если бы программа ВСХСОНа осуществилась (ибо осуществиться в том виде, как она была задумана, она не могла), но о том, какова была реальная общественная *функция* этой националистической утопии в идейной борьбе в современном СССР. Функция эта была очевидно двояка. С одной стороны, программа ВСХСОНа была искренне задумана как антикоммунистический манифест, как страстный призыв к «возрождению России из-под большевистского ига». ВСХСОН был открытым и непримиримым противником советской системы. В этом смысле он должен был стимулировать оппозиционное диссидентское движение в СССР. Но с другой стороны, пронизанная антиевропеизмом и средневековьем программа объективно должна была стимулировать именно «правую оппозицию», ту самую, которой посвящена эта книга.

Пять политических событий обусловили возникновения этой утопии:

1) разоблачение Хрущевым на XX съезде тоталитарной природы сталинского режима;

2) поражение хрущевской реформы, приведшее к мысли, что «возрождение сверху» невозможно;

3) уроки венгерского восстания 1956 года, которое как будто бы продемонстрировало, что коммунистическая система есть форма латентной гражданской войны между правительством и народом (из чего вытекало, что коммунистические правительства «висят в воздухе» и достаточно легкого «революционного» толчка, чтобы их сбросить);

4) книга Милована Джиласа «Новый класс», которая подводила теоретическую базу под практические уроки венгерского восстания;

5) хрущевская либерализация, создавшая условия, при которых молодежь впервые познакомилась с книгами Бердяева, в том числе с «Новым средневековьем», так же как и со всей традицией классической «русской идеи», противопоставившей западному пути борьбы с «душевредным деспотизмом» принципиально другой «русский путь».

На самом деле, как продемонстрировала история, никакого «русского пути» не существует. Но кучка молодых людей, собравшихся вокруг знамени ВСХСОНа, искренне в него верила. И поэтому были они не «новыми русскими революционерами», как рекомендует их Дэнлоп, но

лишь знамением возрождения либерального имперского национализма в XX веке, если угодно, «новыми славянофилами».

Идейные итоги ВСХСОНа

Нам осталось лишь суммировать идейное наследство этого первого всплеска «нового славянофильства». Конечно, оно дало новые имена старым врагам «русской идеи». То, что Аксаковы называли «душевредным деспотизмом», оно, в соответствии со стандартным словарем XX века, переименует в «тоталитаризм». То, что они называли «парламентаризмом», оно назовет «партийной организацией власти». То, что для них было «Европой», станет в словаре ВСХСОНа «капитализмом», а то, что было «революцией», окажется «коммунизмом». Но под новыми именами фигурируют в доктрине ВСХСОНа все те же старые «дьяволы».

1. При всех естественных различиях между помещиками-националистами прошлого века и студентами-революционерами нынешнего, ВСХСОН, подобно старым славянофилам, оказался с самого начала зажатым в тисках двойного отрицания.

2. Подобно своим духовным прародителям, ВСХСОН противопоставил двуединому злу капитализма и коммунизма «русский путь» спасения человечества от грозящей ему катастрофы.

3. Как и славянофилы прошлого века, ВСХСОН исходил из того, что возможно создание идеального государственного устройства, не требующего ни политической борьбы, ни политических гарантий, ни политической оппозиции.

4. Подобно им, ВСХСОН перенес задачу «действительного освобождения» из сферы борьбы за культурные и институциональные ограничения власти в сферу борьбы абсолютного Добра с абсолютным Злом.

5. Как и старое славянофильство, ВСХСОН отказался от ревизии имперской структуры «Великой России», что было равносильно признанию в имперском национализме.

6. Подобно ему, ВСХСОН допускал толерантность только к «близким по духу» идеологическим программам, что было равносильно признанию в политической нетерпимости.

7. Нет сомнения, что доктрина ВСХСОНа, так же как и доктрина старого славянофильства, была утопической идейной конструкцией. История показала, однако, что в контексте русской политики утопия либерального имперского национализма чревата серьезными практическими последствиями. Ибо на смену либеральным утопистам приходят прагматические идеологи и политики, которые, оперируя тем же исходным набором идей и приспосабливая его к меняющейся реальности, преобразуют благородную утопию в идеологию фашизма. Читатель еще увидит, как наших «новых славянофилов» сменят под знаменами «русской идеи» современные Данилевские, Леонтьевы и Шараповы.

Продолжение следует

ПРОВОКАТОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Феликс
ЛУРЬЕ

АЗЕФ И ЛОПУХИН

Корреспондент из Карлсруэ

Азеф являет собой уникальный пример политического предательства. В течение нескольких лет он одновременно занимал самое высокое положение в противоправительственном сообществе и не менее высокое в царской охранке. Он руководил убийствами высших сановников империи и предавал полиции революционеров. В глубинах созданной им вязкой трясины погребены сотни человеческих жизней. Все, что связано с Азефом, потрясает размерами предательства, лжи, алчности и цинизма.

Е. Ф. Азеф родился в 1869 году в семье портного. Окончив ростовскую гимназию, он работал мелким газетным репортером, секретарем фабричного инспектора. В 1892 году его разыскивала полиция для привлечения к делу о распространении воззваний противоправительственного содержания. По чужому паспорту Азеф бежал в Германию в Карлсруэ и там поступил в Политехнический институт.

В 1893 году Азеф направил из Карлсруэ в Петербург директору Департамента полиции письмо с предложением своих услуг в качестве осведомителя: нуждавшемуся студенту требовались деньги. Ответ пришел не сразу — в Петербурге размышляли, наводили справки, советовались с коллегами из Ростова-на-Дону и, наконец, предложили место «корреспондента» Особого отдела Департамента полиции с окладом 50 рублей в месяц. Так Азеф шагнул на первую ступеньку лестницы, ведущей в преисподнюю полицейской провокации.

Из Карлсруэ в Петербург шли «корреспонденции» со сведениями о русских студентах и всех, на кого можно было хоть что-нибудь донести. Получив диплом инженера-электрика, осенью 1899 года по требованию Департамента полиции Азеф приехал в Москву, где поступил в распоряжение начальника Охранного отделения С. В. Зубатова. Учитель познакомил «корреспондента» с тайнами политического сыска, тонкостями внутреннего наблюдения и секретнейшими инструкциями, по которым действовала политическая полиция. Ближайший сотрудник Зубатова, начальник филерского отряда Е. П. Медников обучил Азефа практике наружного наблюдения. Зубатовская школа позволила Азефу прослыть среди революционеров знатоком полицейских приемов, а охранке, не бросая тени на своего агента, «раскрывать» замыслы эсеров.

Благодаря обширным знакомствам в среде русской эмиграции, Азеф беспрепятственно вступил в Северный союз социалистов-революционеров. Выезжая за границу, он одновременно выполнял задания Департамента полиции и революционеров по установлению связей между различными противоправительственными группами и Северным Союзом. Зубатов радовался успехам талантливого ученика. Тандем Азеф-Зубатов оказался в высшей степени удачным. За период безупречной службы в Московском охранном отделении Азеф из «корреспондента» превратился в первоклассного секретного агента. Недавний ученик помог охранке разгромить московских социалистов-революционеров, создать и ликвидировать их Томскую типографию.

История с Томской типографией типична для зубатовской тактики борьбы с революционерами. Азеф узнал о существовании печатного станка, принадлежавшего эсерам, и спрятанного ими в Финляндии. Зубатова интересовал станок в работе, «как груз, при помощи которого можно втянуть в топкое болото жандармских дознаний возможно большее число людей». По настоянию Азефа эсеры решили продолжить издание журнала «Революционная Россия» и перевезли станок в Томск. Когда типография приступила к печатанию журнала, офицер Московского охранного отделения А. И. Спиридович произвел ее «ликвидацию», причем обнаружил все, что требовалось для охранки — типография в «действии» и обвиняемые с полным комплектом неопровержимых улик.

В октябре 1901 года оставленные Зубатовым на свободе для «разводки» члены московского и других эсеровских кружков, эмигрировали в Западную Европу. Несколько известных революционеров, в их числе А. А. Аргунов, М. Р. Гоц, М. Ф. Селюк, Е. К. Брешко-Брешковская, Г. А. Гершуни, В. М. Чернов и Азеф объединили многочисленные кружки социалистов-революционеров в партию. Так провокатор превратился в одного из основателей и лидеров нового революционного сообщества.

Почти одновременно с образованием партии Гершуни создал Боевую организацию для совершения убийств крупных царских администраторов. Первой жерт-

вой боевиков стал министр внутренних дел Д. С. Сипягин. Азеф знал о готовившемся покушении и не донес. Именно тогда он начал двойную игру с охранкой.

В 1902 году по заданию Департамента полиции Азеф отправился в Петербург на самостоятельную работу. Там он организовал столичный комитет партии социалистов-революционеров, доставку нелегальной литературы из Европы и кружок, в котором пропагандистом был студент-эсер Н. Крестьянинов, а слушателями штатные сотрудники охранки.

В мае 1903 года полиция арестовала главу Боевой организации партии социалистов-революционеров Гершуни. К этому времени Азеф пользовался особым доверием лидеров партии, и ему предложили занять освободившееся место.

В конце 1903 года главные силы боевиков под руководством Азефа приступили к подготовке покушения на министра внутренних дел В. К. Плеве. После длительной и опасной слежки, эсеры определили маршруты и точное время передвижения Плеве по городу, количество охраны, посты переодетых полицейских и состав группы филеров, наблюдавших за толпой во время следования кареты министра. Когда были выявлены наиболее удобные места расстановки метальщиков-«бомбистов», изготовлены бомбы и намечена дата покушения, Азеф явился к директору Департамента полиции А. А. Лопухину и заявил ему, что эсерами готовится его, Лопухина, убийство. Лопухин решил увеличить количество филеров и усилить охрану собственной персоны. 18 марта 1904 года «бомбисты» ожидали проезда Плеве по набережной Фонтанки у здания Департамента полиции, то есть там, где охранка, желая предотвратить покушение на Лопухина, предупредила филеров об особом внимании к подозрительным лицам. Боевики почувствовали что-то неладное, нарушилась согласованность в их действии, взрыв произвести не удалось, и они срочно покинули столицу.

Хорошо осведомленный о приемах политического сыска, Азеф не мог исключить предположения, что в партии социалистов-революционеров действовали полицейские агенты, доносившие о его роли в подготовке убийства Плеве. Поэтому он предупредил о лжепокушении на Лопухина. Если бы убийство Плеве 18 марта все же состоялось, полицейские вряд ли могли обвинить провокатора в двурушничестве — эсеры сгоряча не того убили, а охранники не сумели уберечь своего министра. Деятельность Азефа всегда требовала иметь два алиби — дли полиции и эсеров.

15 июля 1904 года Е. С. Сазонов, руководимый главой Боевой организации партии социалистов-революционеров, взорвал карету, в которой ехал министр внутренних дел. В этот день Азеф с нетерпением ожидал в Варшаве известий из Петербурга. За исключением одного случая из готовившихся им двадцати восьми убийств, в момент покушения Азеф всегда находился далеко от места его совершения. Это давало провокатору дополнительное двойное алиби и исключало возможный арест неосведомленными службами политической полиции, подобное в практике сыска случалось. Нам известны два полицейских агента, доносивших о действительном положении Азефа в партии социалистов-революционеров — Н. Ю. Татаров и З. Ф. Жученко. Следовательно, в Департаменте полиции превосходно знали, что их агент — руководитель Боевой организации — не доносил им всего известного ему о террористических намерениях эсеров. Провокатор сообщал лишь о том, что никак не могло бросить на него и тени подозрения со стороны партийных соратников. Охранники мирились с его нечистой игрой, он был для них незаменим.

Удавшимися покушениями Азеф «аккредитовал» себя в среде революционеров, а доносами на них зарабатывал в политическом сыске личную безопасность и щедрые вознаграждения. Но ему удалось не просто «аккредитовать» себя, он сумел взрастить в душах эсеров любовь, уважение и абсолютное доверие к своим действиям. Особенно помогло ему в этом убийство Плеве. Оно превратило его в героя, вождя партии, перед ним преклонялись, его ставили выше Желябова и других легендарных народовольцев.

Можно предположить, что при совершении убийства Плеве, Азеф действовал в интересах своего прежнего начальника — Рачковского. После унизительного скандального увольнения Рачковского в 1902 году, Плеве упорно не желал возвращать его обратно на службу. Бывший глава заграничной охранки понимал, что только устранение министра внутренних дел позволит ему возобновить полицейскую карьеру. Именно это обстоятельство связывает Рачковского с убийством Плеве, но неопровержимых документов, подтверждающих выдвинутую версию, не имеется. В этой загадочной кровавой истории есть такая деталь: за несколько дней до покушения 15 июля, Азеф отправился в Варшаву, где, находясь в отставке, постоянно проживал Рачковский. Что это? Совпадение? Служивший в это же время в Варшавском охранном отделении, М. Е. Бакай вспоминал: «Рачковский несомненно подтолкнул Азефа допустить убийство Плеве, знал о времени совершения этого убийства, и впоследствии покровительствовал Азефу». Почему Азефу позже требовалось отрицать знакомство с Рачковским до убийства Плеве? Эсер В. К. Агафонов, разбиравший в 1917 году архив русской полицейской агентуры в Европе, на основании прочитанных им документов свидетельствовал о встречах Азефа с Рачковским задолго до 15 июля 1904 года.

Можно выдвинуть несколько версий убийства Плеве. Однако не следует исключать и самой простой: видя, что оба его полицейских начальника — Рачковский и Зубатов — не у дел, Азеф решил порвать с полицией. Он уже достиг высот в партии и мог обойтись без охранки. Тогда участие Азефа в убийстве Плеве следует рассматривать как выполнение им решения ЦК партии социалистов-революционеров и только. Удавшееся покушение позволяло надеяться на укрепление положения в партии и открывало доступ к безотчетной трате денег из кассы Боевой организации, доход провокатора мог даже возрасти в сравнении с тем, что платила охранка. Не исключено, что в этом убийстве скрывались какие-то иные мотивы, например, его личная неприязнь к Плеве, о чем имеется несколько свидетельств.

В 1904—1908 годах Азеф руководил подготовкой убийств царя, членов его семьи, крупных администраторов и в то же время регулярно доносил, но не обо всем. Часть покушений провокатор доводил до кровавого конца, часть в сговоре с охранкой предотвращал. При этом, опасаясь откровенных показаний арестованных, он своих боевиков не выдавал. Особенно старательно Азеф доносил на своих противников по партии и конкурентов — членов летучих боевых отрядов, действовавших независимо от него.

Бывший начальник Особого отдела Департамента полиции и руководитель заграничной полицейской агентуры Л. А. Ратаев написал об Азефе записку, в которой имеется следующее заключение: «На основании совокупности всех данных, я нахожу возможным всю службу Азефа разделить на три периода: 1) безусловно, верный с 1892 года по лето 1902 года; 2) сомнительный — с 1902 года по осень 1903 года и 3) преступный — с этого времени и до конца службы».

Классификация Ратаева нуждается в уточнении. Намек на то, что Азеф содействовал делу революции, неверен. Да, он принимал участие в 28 покушениях на высших военных и штатских чиновников, но никогда не был сторонником революции. Революции он боялся, революция несла ему разоблачение.

В 1917 году журнал «Былое» опубликовал тридцать два письма-доноса Азефа к Ратаеву. Письма знакомят нас со способами общения провокатора с руководителем из Департамента полиции и подтверждают полное отсутствие у этого человека нравственных начал в отношении кого бы то ни было. Они читаются как потрясающий документ человеческой низости.

Бывшая народоволка, впоследствии член Боевой организации эсеров П. С. Ивановская, хорошо знавшая Азефа, писала: «Многие считали этого ловкого предателя необычайным честолюбцем, адски самолюбивым чудовищем, с душой всеми дьяволами наполненной, хотевшим совместить в своих руках всю власть, все могущество, быть наибольшим и тут и там, никого не щадя, никого не любя. Быть может, историки, отодвинутые дальше от современности, правильнее понимают мотивы каждого деятеля, каждого политического работника, но нам, вместе работавшим с Азефом, кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость, ну, и... корысть. Первая, конечно, играла крупнейшую, преимущественную роль,— ведь ни одна страсть не доводит до той степени падения, как трусость».

В августе 1905 года эсер Е. П. Ростковский получил письмо чиновника Особого отдела Департамента полиции Л. П. Меньщикова, сообщавшее о провокаторской деятельности членов ЦК партии социалистов-революционеров Татарова и Азефа. «Вопреки своему правилу — полагаться лишь на самого себя,— вспоминал Меньщиков,— обратился я к вождям партии социалистов-революционеров с письмом, в котором указал, с приведением ряда фактов, на предательство Татарова и Азефа и предложил, при условии точного соблюдения выставленных мной требований, вступить в сношения со мною, обещая продолжать разоблачения».

Именно из Меньщикова мог получиться второй Клеточников, но эсеры ему не поверили. Лидеры партии социалистов-революционеров приняли письмо Меньщикова за начало развития полицейской интриги, направленной против них. Они не желали верить в предательство члена ЦК и главы Боевой организации. Татарова допросили, он путался, изворачивался, указывая на Азефа как на провокатора. По решению ЦК 22 марта 1906 года эсер Ф. Назаров стрелял в Татарова, а затем добил его кинжалом на глазах у родителей. Азеф вздохнул с облегчением.

Все революционные партии изобиловали провокаторами, но ни об одном из них не поступало такого количества сообщений, как об Азефе. На протяжении нескольких лет многие сообщали о службе Азефа в Департаменте полиции, но поколебать веру лидеров партии в непогрешимость Азефа не удавалось даже тем фактом, что почти все, кто предупреждал о предательстве Азефа, вскоре оказывались за решеткой. Никто из них за исключением В. Л. Бурцева и М. Е. Бакая не настаивал на расследовании.

Бакай

В мае 1902 года охранники арестовали участника екатеринославского революционного кружка фельдшера М. Е. Бакая, через несколько месяцев он вышел из тюрьмы и дал согласие служить в полиции. В открытом письме, опубликованном лишь после Октябрьской революции, Бакай описал ужасы застенков Варшавской охранки. Он рассказал, как был свидетелем подготовки полицейскими покушений на неугодных начальников, как руководитель охранки Шевякин «при помощи провокаторов изготовлял бомбы, производил аресты по анонимным доносам, перлюстрированным письмам, заявлениям воров, альфонсов и проституток. ⟨...⟩ По приказанию [варшавского] генерал-губернатора Скалона и обер-полицмейстера Меера при сыскном отделении была устроена пытка над политическими, которых сыщик Грин подвергал невероятным истязаниям и вынуждал говорить то, что он приказывал. Крики и стоны этих несчастных целыми днями стояли в стенах ратуши. В декабре того же года в застенки было брошено более 20 юношей и девушек от 16 до 18 лет, которые были впоследствии расстреляны в административном порядке для устрашения революционеров. ⟨...⟩

Уже с 1906 года я был всецело на стороне революционеров. 20 мая 1906 года после долгой внутренней борьбы я пошел к В. Л. Бурцеву, познакомил его со всеми тайнами застенков, указал, что почти все неудачи революционных предприятий зависят от глубоко внедрившейся провокации и здесь же указал, что в партии социалистов-революционеров есть провокатор «Раскин» (псевдоним Азефа.— *Ф. Л.*). Еще о многом я с ним говорил и просил указать путь к раскрытию всех ужасов».

В январе 1907 года Бакай вышел в отставку, получил солидную пенсию и поселился в Петербурге. За время работы в охранке он собрал значительное количество служебных документов (циркуляры Департамента полиции, «Обзоры важнейших дознаний» со списками разыскиваемых революционеров и другие секретнейшие материалы). В мартовском номере журнала «Былое» появились первые публикации из его личного архива. Убедившись в искренности бывшего полицейского, редакторы «Былого» В. Я. Богучарский, В. Л. Бурцев и П. Е. Щеголев сочли необходимым сообщить эсерам об орудовавшем в их партии «Раскине». Щеголев отправился в Гельсингфорс (Хельсинки) и все рассказал члену Боевой организации Б. В. Савинкову, а тот... Азефу.

Разумеется, охранка установила наблюдение за редакторами «Былого» и редакцией. Произошло неминуемое — 1 апреля 1907 года Бакая остановили на улице, обыскали и обнаружили рукопись статьи о пытках в Варшавской охранке.

В Петропавловской крепости от Бакая не добились даже намека на раскаяние в содеянном — «выдаче государственных тайн» — и, без суда, на основании постановления Особого совещания в административном порядке отправили на три года в Восточную Сибирь. Мягкость, проявленная правительством, непонятна. Возможно, полицейские надеялись увидеть его в своих рядах. По дороге в ссылку в Тюмени жандармы оставили его без надзора, и он благополучно совершил побег, а через неделю, в январе 1908 года в Финляндии встретился с Бурцевым. Оттуда они отправились во Францию, где Бакай сделался постоянным сотрудником исторических сборников «Былое», издававшихся Бурцевым в Париже. В них Бакай поместил статьи о провокаторах и их месте в правительственном аппарате, опубликовал в нелегальной газете «Революционная мысль» списки провокаторов.

Джинн провокации

Покровитель Азефа председатель Совета министров и министр внутренних дел П. А. Столыпин утвердил инструкции по организации наблюдений за оппозиционными и революционными партиями: наружного — филерского и внутреннего — агентурного. Эти инструкции обобщили опыт, накопленный Охранными отделениями и Жандармскими управлениями, придали негласную законность существованию провокаторов. Агентурное наблюдение могло осуществляться только провокаторами — людьми, проникшими (или завербованными после вступления) в противоправительственные сообщества. Инструкция по организации внутреннего наблюдения поставила в основе политического сыска провокацию и регламентировала способы вербовки секретных сотрудников (провокаторов), их поведение внутри «преступных сообществ», методы страховки от разоблачения.

Последний руководитель Азефа начальник Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов писал: «Самой главной моей задачей было хорошо наладить аппарат так называемой секретной агентуры в рядах революционных организаций. Без такой агентуры руководить политической полицией все равно как без глаз. Внутренняя жизнь революционных организаций, действующих в подполье, это совсем особый мир, абсолютно недоступный для тех, кто не входит в состав этих организаций. Они там в глубокой тайне вырабатывали планы своих нападений на нас. Мне ничего не оставалось, как на их заговорщицкую конспирацию

ответить своей контрразведкой,— завести в их ряды своих доверенных агентов, которые прикидывались революционерами, разузнавали об их планах и передавали бы о них мне».

Подосланные в революционные партии агенты занимались созданием типографий, лабораторий и мастерских для печатания нелегальной литературы, изготовления бомб и фальшивых документов. Когда денег у революционеров не было, раскошеливалась полиция. Так агенты Герасимова «прикидывались революционерами».

Упомянутые инструкции требовали от секретного сотрудника «уклониться от активной работы, возлагаемой на него данным сообществом», но это положение входило в противоречие с жизнью и его никто не мог выполнить, не вызвав подозрений. Секретный агент, «уклоняющийся от активной работы» в революционной партии, не располагал информацией и, стало быть, не представлял для охранки интереса. Эффективность агента зависела от его лояльности в рядах партии, а лояльность — от активности провокатора при совершении противоправительственных выступлений. Следовательно, эффективность секретного агента зависела от его активности при совершении им противоправительственных выступлений. Таков основной закон провокации, толкавший Азефа делать то, для предотвращения чего существовала политическая полиция.

Жандармерия и охранка хорошо усвоили, что пока в Отечестве есть враги императорской власти, им обеспечена безбедная жизнь и почет в Зимнем дворце. Врагов же монархического образа правления легче создавать, чем ловить. Основную свою задачу чины политической полиции видели в самозагружении, а решать ее можно лишь с помощью провокации.

В подразделениях политической полиции провокация достигла такого размаха, что бывший директор Департамента полиции А. А. Лопухин в открытом письме Столыпину пытался объяснить и обосновать аморальность провокации. Чего стоит только один пример из письма Лопухина — факт существования в здании Петербургского губернского жандармского управления тайной типографии, в которой жандармские офицеры под руководством ротмистра М. С. Комиссарова печатали прокламации погромного содержания.

8 июня 1906 года на двадцать третьем заседании I Государственной Думы министр внутренних дел Столыпин отвечал на депутатский запрос о тайной типографии Департамента полиции, печатавшей «возмутительные воззвания». Объяснения министра оказались путаными и неубедительными. Его несколько раз прерывали. Первым Столыпину возражал князь С. Д. Урусов, выразивший уверенность, что более министр внутренних дел не допустит, чтобы в здании, принадлежащем его ведомству, устраивали «подпольную» типографию и за казенный счет печатали «кровавые воззвания», призывающие к межнациональной розни. В заключение он сказал: «Здесь, господа, скрывается большая опасность, все ее чувствуют; эта опасность, смею сказать, не исчезнет, пока на дела управления, а следовательно на судьбы страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики».

Обсуждение полицейской провокации длилось два дня. Впервые в царской России правительство вынудили публично признать факт ее существования. Депутаты с возмущением говорили о провокации и требовали от Столыпина отказа от ее применения. Он и не возражал, а провокация продолжала крепнуть и набирать силу. Под фанфары Столыпина, призывавшего сохранить монархию любым путем, стекались ратники провокации. К весне 1917 года армия секретных агентов сравнялась с количеством членов РСДРП — около сорока тысяч человек.

В системе Министерства внутренних дел в отношении поощрения провокации царило завидное единство. Лишь немногие оказывали ей сопротивление. Начальник Особого отдела Департамента полиции Н. А. Макаров 6 февраля 1906 года подал в отставку, мотивируя ее разгулом провокации, и вскоре неожиданно умер. Бывший подчиненный Макарова, старший помощник делопроизводителя Особого отдела Л. П. Меньщиков, отправленный в отставку в 1906 году, выехал во Францию и опубликовал ряд документов, разоблачающих полицейскую провокацию. В. Ф. Джункоаский, товарищ министра внутренних дел, подписал несколько документов, затруднявших провокаторскую деятельность политического сыска. Так циркуляром от 1 мая 1913 года Джунковский запретил пользоваться услугами гимназистов и учащихся средних учебных заведений в качестве секретных сотрудников полиции. В мае 1914 года по его распоряжению из полицейских агентов был отчислен известный провокатор, член ЦК социал-демократической партии Р. В. Малиновский. Джунковский добился изгнания Малиновского из IV Государственной Думы.

Но сопротивление провокации отдельных должностных лиц и обсуждение ее в Думе ничего не изменили. Полицейская провокация продолжала внедряться в систему политического сыска. За ее применение полицейские щедро поощрялись, о чем свидетельствует бывший сотрудник охранки М. Е. Бакай: «Чины политичес-

кой полиции, не зависящей, как известно, ни от Сената, ни от местных властей, ни от прокурорского надзора, в подавляющем большинстве смотрят на свою служебную деятельность исключительно с точки зрения материальных и служебных выгод. Такой взгляд поддерживается и поощряется в самых широких размерах Министерством внутренних дел. Упомянутые чины глубоко восприняли ту мысль, что свое место они занимают только для заполнения утвержденных штатов; всякое же проявление деятельности, сопряженное с раскрытием того или иного рода преступления, по их мнению, должно награждаться особо и считаться „выдающимися заслугами". И действительно, ни в одном ведомстве нет такого обилия наград и производства в чины „за особые заслуги" и вне очереди, как по Министерству внутренних дел и Отдельному корпусу жандармов».

Джинн провокации, зревший на дрожжах трусости, корысти, тщеславия, холуйства и верноподданничества, взращиваемый и пестуемый деспотической властью, стараниями Судейкина, Зубатова и Рачковского вырвался наружу. Он захватил учреждения Министерства внутренних дел и поселился в душах опричников охранительного ведомства.

Полицейская политическая провокация лишь иногда, временно, помогала удовлетворить мелкие карьеристические страсти, но за ее использование исполнителей и вдохновителей ожидала беспощадная расплата. Дегаев сорок лет прятался от людей, Судейкин убит, Окладский не избежал суда и возмездия, Плеве убит при участии собственного агента, Гапона повесили, Зубатов застрелился, Татаров убит, Курицына застрелили, Столыпина убил агент Киевской охранки, Сипягина убили, Рачковского дважды прогоняли со службы, отправили в небытие, он умер, не дожив до шестидесяти, масса мелких, безвестных провокаторов убиты... А что же Азеф? Его ожидала участь ему подобных...

Контрразведка

Революционеры понимали, что с полицией и провокацией необходимо бороться. Одна из первых попыток противостоять полиции принадлежит Николаю Васильевичу Клеточникову. В 1879 году ему удалось поступить на службу в III Отделение. Он получил скромную должность помощника делопроизводителя. Через его руки проходили все секретные документы политического сыска. Многих революционеров он спас от ареста и каторги, многих полицейских агентов обезвредил. Два года Клеточников успешно оберегал «Народную волю» от разгрома.

Следующую попытку обезвредить политическую полицию сделал в 1881 году в Москве член Исполнительного комитета «Народной воли» П. А. Теллалов. Под его руководством группа молодых людей установила наблюдательные посты около зданий полицейских служб Москвы. Конспиративными квартирами для свиданий с агентами полицейские тогда почти не пользовались. Через очень короткое время народовольцам удалось выявить большинство секретных сотрудников.

Действенную помощь революционерам в борьбе с полицией и главным образом с полицейской провокацией оказал бывший народоволец, историк и литератор В. Л. Бурцев. Руководитель русской агентуры в Европе Л. А. Ратаев, сменивший в 1902 году Рачковского, доносил директору Департамента полиции М. И. Трусевичу: «Несомненно, что образование в Париже подобного революционного полицейского учреждения, поставившего себе целью разоблачение заграничной агентуры и ее секретных сотрудников, не только чрезвычайно мешает делу заграничного розыска, но и может даже лишить агентуру содействия наиболее ценных ее сотрудников, опасающихся возможности своего провала, так как руководимая Бурцевым и Бакаем партийная полиция занялась подробным обследованием образа жизни каждого члена партии социалистов-революционеров».

За Бурцевым закрепилась слава разоблачителя провокаторов, санитара революционных рядов. Следует признать, что на этой ниве он сделал много полезного. Бурцева считали болезненно подозрительным, его высмеивали, с ним прерывали отношения. Но вот что пишет В. Я. Гликман, один из первых исследователей архива Департамента полиции: «Кто из нас не слышал или сам не произносил фразы о том, что В. Л. Бурцев, грозный разоблачитель провокаторов, маньяк, в каждом революционере видел предателя! Но когда вникнешь во все эти обстоятельно написанные „доклады Отделения по охранению общественной безопасности", начинаешь понимать Бурцева и его неустанную подозрительность. Предательство подстерегало нас на каждом шагу. Ни в ком и ни в чем мы не могли быть уверенными. Мы были мухами, которые судорожно бились в хитро расставленных сетях, а незримый паук заливался издали сатанинским смехом». Когда Гликман писал эти строки, он не подозревал о существовании большинства секретных полицейских агентов, внедренных в революционные партии.

Конечно, «обследования образа жизни каждого члена партии социалистов-революционеров» революционная контрразведка не производила, но разоблачением Азефа Бакай и Бурцев занялись. И сразу же на Бакая обрушился поток клеветы, распространявшейся Азефом и сотрудниками политического сыска: Бакай — агент русской полиции, получивший задание дискредитировать и уничтожить все революционные организации. Азеф выпустил даже гектографированную прокламацию. Клевету подхватили поверившие в нее честные революционеры. В Париж наезжали полицейские дипломаты и просто убийцы, чтобы любым путем заставить Бакая замолчать, но из этого ничего не вышло.

До мая 1908 года Бурцев, со слов Бакая, знал, что в руководстве партии социалистов-революционеров действует секретный полицейский агент-провокатор, известный в Министерстве внутренних дел под кличкой Раскин. Чем больше Бурцев анализировал провалы рядовых членов партии, тем больше подозрений вызывал у него Азеф. Но как только добровольный охотник за провокаторами заговаривал с кем-нибудь из эсеровских лидеров, от него отмахивались и требовали, чтобы он прекратил бездоказательное и совершенно недопустимое преследование одного из основателей партии, члена ее ЦК, руководителя Боевой организации, учинившей справедливую расправу над Плеве и вел. кн. Сергеем Александровичем. Не правительственный же агент все это сделал... Не видя другого выхода, Бурцев обратился к бывшему директору Департамента полиции Лопухину.

Лопухин

Алексей Александрович Лопухин (1864—1928) происходил из старинного дворянского рода. Он окончил Орловскую гимназию, затем в Московском университете получил юридическое образование. Его продвижению по службе содействовали родственные связи со многими знатными дворянскими фамилиями, в том числе, со Столыпиным. Служебную карьеру Лопухин начал в качестве товарища прокурора Московского окружного суда. В 1902 году он принял приглашение Плеве занять освободившийся после увольнения С. Э. Зволянского пост директора Департамента полиции. Это назначение рассматривалось как заигрывание реакционера Плеве с левыми силами, как поиск к примирению с ними.

6 декабря 1904 года Лопухин передал в Комитет министров записку о развитии революционного движения в России, в которой доказывал, что «борьба с крамолой одними полицейскими методами была бессильной». В феврале 1905 года после убийства вел. кн. Сергея Александровича Лопухина перевели на должность эстляндского губернатора, что считалось оскорбительным понижением. Он попросил заступничества Столыпина, но тот не ответил. 15 октября 1905 года в Ревеле (Таллинн) вспыхнул еврейский погром. Лопухин, не надеясь на войска и полицию, решился на отчаянный поступок: он создал народную милицию из рабочих. Погрому не дали разрастись. Возмущенный Столыпин потребовал от Лопухина прошение об отставке. Лопухин отказался. Тогда по высочайшему повелению в конце октября его отстранили от должности без прошения.

Ключ к объяснению противоправительственных поступков Лопухина не лежит в плоскости идейных соображений. Ему претила провокация и другие противозаконные методы, применяемые Министерством внутренних дел в борьбе с революционной опасностью. Моральные соображения и уязвленное отставкой самолюбие толкнули Лопухина в объятия противников монархии. Таковы, надо полагать, причины появления отставного действительного статского советника в редакции журнала «Былое» и его приезд ранней весной 1908 года в Териоки (Зеленогорск) для встречи с Бурцевым.

Бурцева интересовал провокатор Раскин, но ни в Петербурге, ни в Териоках Лопухин Азефа не назвал. В начале сентября 1908 года в поезде Кёльн—Берлин Бурцев вновь встретился с Лопухиным. Разговор длился шесть часов, и мы знаем определенно, что Лопухин идентифицировал Раскина с Азефом, а Бурцев дал честное слово держать в строжайшей тайне источник информации. Вернулись в Париж, Владимир Львович поспешил к Б. В. Савинкову, ближайшему другу и правой руке Азефа по Боевой организации эсеров, и выложил ему содержание разговора с Лопухиным. Савинков заявил, что подосланным Департаментом полиции является не только Бакай, но и Лопухин, а Азеф вне подозрений. Тогда Бурцев решил опубликовать в печати обвинение Азефа в провокаторской деятельности.

Следствие

Обсудив сложившуюся ситуацию ЦК партии социалистов-революционеров дал согласие на проведение третейского суда. Члены ЦК полагали, что таким образом удастся прекратить несправедливые нападки Бурцева на Азефа. Видя, что суд под всевозможными предлогами несколько раз откладывался, Бурцев заказал в типографии набор своего письма в ЦК с обвинением Азефа и гранки текста отдал эсерам. Письмо кончалось следующими словами: «О деятельности Азефа и его руководителей мы много и часто будем говорить на страницах [исторического сборника] „Былое"». Только после этого в ЦК поняли, что отделаться от Бурцева не

удастся. Суд укомплектовали в следующем составе: Г. А. Лопатин (председатель), В. Н. Фигнер и П. А. Кропоткин. Более авторитетного состава представить невозможно. Суд заседал с перерывами в октябре— ноябре 1908 года в Париже сначала на квартире эсера И. А. Рубановича и в библиотеке им. П. Л. Лаврова, затем на квартире Савинкова. За работой суда наблюдали представители ЦК В. М. Чернов, М. А. Натансон и Б. В. Савинков. Поскольку судили Бурцева за клевету, а не Азефа за предательство, то последний жил с семьей на курорте в Пиренеях и поддерживал с Савинковым почтовую связь.

Допрос, учиненный Бурцеву и Бакаю, не убедил судей в справедливости обвинений. Тогда, потребовав от присутствующих обещания не разглашать источника информации, Бурцев объявил о свидетельстве Лопухина. Но и после этого судьи не пришли к единому мнению. Высказывались даже предположения, что бывший глава полиции, изгнанный из бюрократической среды, добивается своего возвращения на службу путем провокации против революционеров. Оставалось одно — допросить самого Лопухина, или хотя бы собрать о нем сведения, которые позволят оценить правдивость его показаний, если они не плод «болезненной фантазии» Бурцева. С этой целью в Россию выехал член ЦК партии социалистов-революционеров А. А. Аргунов. Перед отъездом он сообщил о своей сложной миссии Азефу.

В начале ноября 1908 года встревоженный Азеф появился в Петербурге на Мытнинской набережной, 1, в квартире начальника Охранного отделения А. В. Герасимова. С годами между ними установились теплые, дружественные отношения. Долгими часами Герасимов и Азеф просиживали за самоваром на конспиративных квартирах, известных только начальнику охранки и его личному агенту. Но на сей раз Азеф пришел к Герасимову прямо домой и попросил у него совета — как выйти из положения, в которое привели его показания Лопухина. «Рассказ Азефа,— вспоминал Герасимов,— звучал чудовищно, невероятно. Я знал Лопухина уже семь лет, раньше в Харькове, потом в Петербурге, знал его как человека, понимающего ответственность своих поступков, и как человека, ставящего исполнение долга всегда на первом плане».

11 ноября Азеф явился к Лопухину в его пятнадцатикомнатную квартиру на Таврической, 7. Лопухин, хотя и отрицал факт разговора о нем с Бурцевым, но не ответил, как будет себя вести, если эсеры силой потребуют от него показаний. Герасимов писал: «Мы совершили очень серьезный промах,— сказал он (Азеф.— *Ф. Л.*), я не должен был туда идти. Лопухин несомненно находится в связи с революционерами, и он передаст им о моем сегодняшнем посещении. Сейчас я окончательно пропал». Азеф не ошибся, визит к Лопухину послужил для эсеров главнейшим доказательством его предательства.

18 ноября Лопухин встретился с Аргуновым и произвел на него крайне благоприятное впечатление. Лопухин рассказал о визите Азефа и обещал Аргунову дать письменные показания.

21 ноября Герасимов побывал у Лопухина. На сей раз Лопухин не отрицал, что имел с Бурцевым заграничное свидание, но сказал, что разговор касался лишь исторических сборников «Былого». Он сказал также, что на суд, организованный эсерами, не поедет, но если ему приставят к виску браунинг, то, конечно же, скажет правду об Азефе. Герасимов напомнил Лопухину о долге присяги и предупредил, что «его роль в этом деле будет обнаружена и тайною не покроется».

После ухода Герасимова встревоженный Лопухин написал письма председателю Совета министров П. А. Столыпину, товарищу министра внутренних дел А. А. Макарову и директору Департамента полиции М. И. Трусевичу. Копии этих писем он передал друзьям, чтобы в случае его неожиданной смерти, их переслали судебным властям. Лопухин описал появление у него Азефа и Герасимова, их просьбу не раскрывать Азефа и угрозы в случае невыполнения этой просьбы. Он просил высокопоставленных адресатов данной им властью оградить его от дальнейших визитов сотрудников охранки.

23 ноября состоялось второе свидание Аргунова с Лопухиным. Лопухин рассказал о посещении Герасимова. Он не принес письменных показаний, но передал Аргунову для отправки по почте три упомянутых письма в открытых конвертах. После этого у Аргунова никаких сомнений остаться не могло. Но его подробный отчет о поездке в Петербург не убедил судей и членов ЦК в безусловной виновности Азефа, поэтому было решено допросить бывшего директора Департамента полиции.

10 декабря в Лондоне к Лопухину в гостиницу Уолдорф-отель явились А. А. Аргунов, В. М. Чернов и Б. В. Савинков и условились о встрече на лондонской квартире Аргунова. Где Лопухин и подтвердил знакомство с Азефом очное и по документам, его службу в политической полиции, подтвердил столь неопровержимо, что у Азефа не осталось никаких надежд на оправдание.

И вновь не все эсеры поверили в виновность руководителя Боевой организации. Из показаний Лопухина проверке подлежал лишь визит к нему Азефа 11 ноября

1908 года. По утверждению Азефа, он в ноябре ездил в Мюнхен и Берлин, а не в Петербург. 23 декабря 1908 года из Берлина от эсера В. О. Фабриканта, специально посланного проверить слова Азефа, в Париж пришла телеграмма, сообщавшая, что Азеф в указанном им отеле в Берлине не останавливался.

Поздно вечером 23 декабря в парижскую квартиру Азефа без предупреждения пришли В. М. Чернов, Б. В. Савинков и Ян Бердо (Савинков в воспоминаниях назвал его Николаем, позже выяснилось, что он провокатор). Они предложили Азефу условие — если он расскажет все о сношениях с охранкой, его с семьей отпустят на все четыре стороны. Ему напомнили, что Дегаев и сейчас живет где-то в Америке. На обдумывание дали 12 часов.

После ухода посетителей Азеф убедил жену, Менкину, что его оклеветали и если он ночью не скроется, то утром будет убит. Менкина, привыкшая гордиться выдающимися революционными заслугами мужа и его авторитетом в партии, поверила. 24 декабря рано утром она проводила Азефа на Северный вокзал и усадила в курьерский поезд. Он ехал в Берлин к своей любовнице. Через несколько лет, когда Азеф пробрался в Париж, чтобы тайком повидать семью, Менкина пыталась застрелить бывшего мужа. Больше они не виделись.

26 декабря в эмигрантской прессе появилось извещение:

«Партия социалистов-революционеров доводит до сведения партийных товарищей, что инженер Евгений Филиппович Азеф, 38 лет (партийные клички Толстый, Иван Николаевич, Валентин Кузьмич), состоявший членом партии С. Р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом Б[оевой] О[рганизации] и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокатором».

На заседании ЦК с приглашением активных членов партии и боевиков было принято решение о предъявлении Азефу формальных обвинений и устройстве суда над ним. Некоторые члены Боевой организации продолжали верить разоблаченному провокатору, один из них угрожал обещанием предупредить Азефа, если члены ЦК откажутся гарантировать, что не допустят самосуда со стороны тех эсеров, которые требовали немедленной казни их недавнего руководителя.

В мае 1909 года в Париже состоялся Совет партии социалистов-революционеров. В его решении имелась следующая запись: «Совет Партии считает необходимым: 1) Образовать Судебно-Следственную Комиссию из партийных лиц. 2) Поручить ей полную ликвидацию всех последствий раскрытия провокаций Азефа. 3) Предоставить ей право по мере необходимости привлекать к следствию и дознанию, в качестве ли обвиняемых или свидетелей, всех без исключения членов Партии или ее коллективы. 4) Уполномочить на вынесение приговоров, подлежащих обжалованию только перед Советом или Съездом Партии. 5) Предложить новому ЦК приведение в исполнение приговоров Комиссии».

Судебно-следственная комиссия состояла исключительно из членов партии социалистов-революционеров, вполне послушных составу ЦК, в который входил и Азеф. Конечно же, после его разоблачения всем им следовало выйти из ЦК, но этого не произошло. Председателем комиссии был избран известный в прошлом народоволец А. Н. Бах, в состав комиссии вошли Санжарский, Берг и Араратский. Первое организационное заседание состоялось 8 сентября 1909 года, регулярная работа комиссии началась лишь в ноябре,— лидеры эсеров не спешили. На семидесяти трех ее заседаниях был допрошен тридцать один свидетель. Треть показаний послушные следователи отбросили, в отчет попали лишь угодные членам ЦК. Важнейшим свидетелем следователи считали В. М. Чернова, одного из лидеров партии, бок о бок проработавшего с Азефом около восьми лет. Он внушил следователям, что все сведения о провокаторской деятельности Азефа исходили из Департамента полиции, который, по мнению ЦК, поставил перед собой цель — развалить партию путем дискредитации ее выдающихся деятелей. Чернов умолчал о том, что информация об Азефе поступала не только из Департамента полиции. Не смог он объяснить, откуда охранке стало известно о «выдающейся» роли Азефа в революционном движении. Но если Азеф не провокатор и полиция знала о его выдающейся роли в партии социалистов-революционеров, то отчего бы ей не арестовать «революционера», часто наезжавшего в Россию? Уж не из-за того ли, чтобы было кого оклеветать. Чернов объяснил неуловимость Азефа его феноменальной ловкостью. Такие весьма уязвимые показания члена ЦК удовлетворили следователей. Комиссия даже не сочла нужным допросить бывшего чиновника Особого отдела Департамента полиции Меньщикова и Рутенберга, связанного с Азефом по делу Гапона, не проанализировала причин, благодаря которым так долго в руководстве партии мог орудовать полицейский агент.

Столь лояльное отношение Комиссии к провокатору вполне объяснимо. Члены ЦК были кровно заинтересованы принизить размах провокаторской деятельности Азефа, ибо чем больший вред нанес Азеф партии, тем большая вина ложилась на них, ее лидеров, не реагиро-

вавших на многочисленные предупреждения, не разглядевших в соратнике полицейского агента. Руководство партии абсолютно доверяло Азефу, всегда вставало на его защиту и поэтому вполне устраивало провокатора. Именно поэтому, он, как бы в благодарность за доверие, почти никого из верхушки партии не выдал. Не потому ли в Париже (услуга за услугу) они его отпустили? По мнению членов ЦК, Азеф выполнял очень нужную для их партии работу и делал ее хорошо, а что гибнет много рядовых революционеров, так без этого не обойтись. «Лес рубят — щепки летят». Как же это нам знакомо! Такой подход к человеческим жизням был присущ всем, кто руководил нашей державой, стоя во главе политических партий. Они, подобно шахматистам, готовы передвигать и разменивать фигуры, пока на доске не останется одна, но их фигура.

Позже Азеф отстаивал версию, будто он «выдавал» рядовых революционеров, чтобы успешнее убивать высших царских администраторов, приносил их в жертву ради высших целей. Лидеры эсеров также считали допустимым жертвовать рядовыми членами партии и посторонними ни в чем не повинными людьми ради каких-то высших целей.

Первенство в использовании преступных средств, основанных на произволе, принадлежит полицейским властям. Но и террор, внедренный народниками, подхваченный эсерами и примененный ими как главное орудие политической борьбы, был столь же преступным. Убийство превращалось в подвиг, в самоцель, убийца становился героем. В этой атмосфере тотальной преступности, преступности полицейского самодержавия и членов партии социалистов-революционеров «счастливо» созрел политый кровью тех и других альянс великого провокатора и эсеровских лидеров...

5 февраля 1880 года С. Н. Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце, от которого погибло одиннадцать и ранено пятьдесят шесть человек. Пострадали в основном нижние чины лейб-гвардии Финляндского полка. В чем и перед кем были повинны убитые солдаты? На этот вопрос ответила прокламация народовольцев: «С глубоким прискорбием смотрим мы на погибель несчастных солдат царского караула, этих подневольных хранителей венчанного злодея. Но пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны». Произвол пытались уничтожить произволом.

Что же могло улучшиться в империи, если бы взрыв уничтожил несколько членов царской фамилии? К власти пришли бы народовольцы и было бы лучше? Чуть раньше оказался бы на троне Александр III или кто-то другой из уцелевших, чуть раньше распростерлись бы над Россией черные крылья реакционных сил. Каждое покушение на Александра II влекло за собой разрушение того немногого прогрессивного, что достигалось длительным эволюционным процессом.

Взрывом на Аптекарском острове в Петербурге на даче П. А. Столыпина 12 августа 1906 года было убито тридцать два человека и около тридцати ранено, в том числе дети... Те же вопросы, те же объяснения... Кроме жестоких полицейских мер против террора правительство располагало лишь одним средством защиты — стремлением к его предотвращению. А это, как мы знаем, невозможно без применения провокации. Революционеры и сами использовали провокацию. Так после разоблачения Дегаева, народовольцы три месяца продолжали с ним сотрудничать и за оказанные услуги отпустили, не наказав за содеянное. Эсеры поступали на службу в полицию и, заслужив доверие сотрудников политического сыска путем выдачи соратников и иными средствами, совершали убийства... Не без оснований бывший товарищ министра внутренних дел С. П. Белецкий заявил во время допроса в 1917 году: «...правительство боролось теми же путями, какими шла революция». Шел процесс взаимного обучения и «кровосмешения». Трудно сказать, кто внес большую лепту в формирование Азефа-провокатора и убийцы. Нива, на которой он расцвел, возделывалась и теми, и другими.

Конец провокатора

III Государственная Дума 11 и 13 февраля 1909 года рассматривала депутатские запросы о провокаторской деятельности Азефа. В ходе дебатов анализировались и другие случаи использования правительством полицейской провокации, вспомнили о былых баталиях на заседаниях I Государственной Думы по поводу подпольной полицейской типографии жандармского ротмистра Комиссарова, разыгравшихся в том же зале Таврического дворца. Как и два с половиной года назад, депутатам отвечал Столыпин. Ему пришлось признать факт использования провокации политической полицией, однако он категорически отрицал, что правительству известно, какое положение занимал Азеф в партии социалистов-революционеров. Думские дебаты превратились в суд над правительством, нанявшим Азефа на службу в полицейские агенты. Депутаты не были единодушны — правые не признавали очевидного и защищали Столыпина, умеренные утверждали, что не следует пустяшными запросами мешать правительству проводить прогрессивные реформы, левые протестовали против провокации. Большинство все же осуждало действия правительства и требовало прекращения использования провокации.

Думские дебаты никак не отразились на деятельности политического сыска империи, но избежать неприятностей некоторым его руководителям все же не удалось. Последний прямой начальник Азефа, А. В. Герасимов, покинувший пост руководителя Петербургского охранного отделения, продолжал поддерживать связь с бывшим агентом. Азефу выслали русский паспорт на имя А. А. Неймайера и помогли устроиться на работу в Берлине. Политический сыск считал необходимым держать бывшего суперагента на прицеле с тем, чтобы в нужный момент тихо убрать. Так из статьи А. М. Горького «К ответу Азефа?», опубликованной В. Л. Бурцевым в газете «Будущее», мы узнаем, что кто-то из сотрудников русского посольства в Брюсселе предложил «одному видному террористу» указать местопребывание Азефа. «Надо ли говорить,— писал Горький,— для чего столыпинцы дали террористам адрес Азефа. Террористы отказались войти в переговоры с представителем посольства, и Азеф благополучно уехал из Бельгии». Чье задание выполняли «дипломаты», понятно. Департамент полиции пожелал покончить с бывшим сотрудником руками его «товарищей» — эсеров. Отказ эсеров убрать провокатора мог быть продиктован рядом соображений: либо они, не желая поднимать шума вокруг Азефа, хотели скорее предать забвению его имя, либо опасались очередной полицейской провокации.

А в это время Азеф устраивал свою новую жизнь. Он снял в Берлине шестикомнатную квартиру и поселился в ней со своей любовницей, певицей одного из петербургских кафе-шантанов. Бывший провокатор легко превратился в сытого мещанина, обеспеченного капиталом до конца своих дней. Его благополучие объясняется очень просто — «тридцать сребреников» Азефа равнялись жалованию царского министра. Его энергия и темперамент находили теперь разрядку в азартной карточной игре и биржевых операциях. Все выигранное на бирже, Азеф просаживал за ломберным столом. Жажда риска, расчетливость и трусость странным образом уживались в нем.

Летом 1912 года Бурцеву стал известен берлинский адрес Азефа. Владимир Львович послал ему письмо с предложением встретиться, гарантируя при этом сохранение тайны. Встревоженный Азеф тотчас съехал с квартиры, сдал обстановку на хранение в мебельное депо и спрятал в провинции любовницу. Эти его действия свидетельствуют о желании принять доступные ему меры предосторожности. По собственному опыту зная цену обещаний Бурцева, он мог предположить, что тот не сохранит в тайне от эсеров его адрес. Азеф не предполагал, что боевики давно могли найти его с помощью «дипломатов» из русского политического сыска. Отказ от свидания с Бурцевым никак не улучшал его положения — за ним могли уже следить. Поэтому Азеф решил не уклоняться от встречи. На всякий случай он написал на имя любовницы завещание, датированное 14 августа 1912 года. На другой день во Франкфурте-на-Майне состоялось свидание Бурцева с Азефом. «Три дня подряд,— вспоминал Владимир Львович много лет спустя,— Азеф рассказывал мне, как из идейного, честного революционера и главы Боевой организации он превратился в провокатора. Его основная мысль была та, что, хотя он действительно выдавал революционеров, он в то же время продолжал служить революции. Организовал убийство Плеве, в. к. Сергея Александровича, покушение на Николая II... Эти заслуги перед партией, по его мнению, искупили предательство».

Вернувшись из Франкфурта в Париж, Бурцев поспешил через газеты сообщить миру об историческом свидании. В нью-йоркской газете «Русское слово» И. К. Окунцов опубликовал «Беседу с Бурцевым». Из нее мы узнаем, что «Бурцев о своей находке (Азефа.— *Ф. Л.*) сообщил заправилам партии социалистов-революционеров и даже открыл им адрес провокатора». Наверное, после этого случая мы вправе сделать вывод о том, что лидеры эсеров вовсе не желали расправы над Азефом. Они не испытывали к нему чувства мести, быть может, даже сожалели о разоблачении — такого талантливого руководителя Боевой организации лишились...

После франкфуртского свидания Азеф из предосторожности скитался по немецкой провинции, менял пансионаты, отели, снимал холостяцкие квартиры в отдаленных районах Берлина — около года заметал следы. Лишь летом 1913 года он возобновил оседлую жизнь в Берлине.

Германская контрразведка выслеживала Азефа с начала войны. 12 июня 1915 года у него на квартире произвели обыск и отправили в тюрьму Моабит как русского анархиста. Испанское посольство в Берлине, защищавшее интересы российских подданных на территории Германии во время войны, пыталось вызволить его из тюрьмы, но тщетно. Просидев два с половиной года в одиночной камере, лишь после Октябрьской революции он вышел на свободу. За годы войны Азеф катастрофически разорился, в тюрьме обострилась болезнь почек. Он умер в берлинской больнице 24 апреля 1918 года. Через

два дня его похоронили по второму разряду на кладбище в Вильмерсдорфе, юго-западном пригороде Берлипа. Ни памятника, ни креста на могиле не установили, место обозначили кладбищенской табличкой с номером 446.

Возмездие

Отставного действительного статского советника А. А. Лопухина судили 28—30 апреля 1909 года в Особом присутствии Правительствующего Сената. Бывшего директора Департамента полиции обвинили в связи с «преступным сообществом» и выдаче его лидерам служебной тайны. Лопухина сослали в Минусинск. В 1912 году его помиловали и восстановили в правах. В Петербург он возвращаться не захотел и жил в Москве, служа вице-директором Сибирского торгового банка.

Как уже говорилось выше, не прошло безнаказанным дело Азефа и для Герасимова. В конце октября 1909 года его отправили в длительный отпуск с обещанием кресла товарища министра внутренних дел. Но обещанное кресло Герасимов не получил. Пятидесяти трех лет от роду он вышел в отставку и более уже не служил. В первые дни Февральской революции Герасимова арестовали, десять дней продержали в «Министерском павильоне» Таврического дворца, куда свозили представителей высшей царской администрации, затем перевели в «Кресты», оттуда на Заячий остров в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. «Хуже всего было то,— вспоминал Герасимов,— что солдаты крепостной команды, охранявшие нас, время от времени начинали в коридорах тюрьмы митинговать, громко обсуждая вопросы о том, не проще ли было бы нас не караулить, а просто расстрелять и пустить в Неву».

Солдаты, сторожившие Герасимова, искренне считали, что вправе перестрелять всех, кто служил царской власти. В этом проявлялось их революционное сознание, не имеющее ничего общего с сознанием правовым. Между ними, как нам теперь хорошо известно, лежит непреодолимая пропасть.

Истоки отсутствия общественного правосознания следует искать в глубинах нашей трагической истории. Народ умышленно веками держали в бесправном положении и тщательно оберегали от самих понятий — правосознание и законность. Убийство, разбой, насилие, провокация как средства борьбы за власть, за торжество политических идей, достигли такого распространения, столь глубоко внедрились в сознание людей, что приняли силу некоего неписаного, но весьма распространенного закона — закона вседозволенности, закона произвола. Даже в выдающихся умах нашла отклик мысль о необходимости жертвовать чужими жизнями во имя торжества непроверенных идей. Столь же страшно звучат сегодня слова А. М. Горького, написанные им вечером 9 января 1905 года: «Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новый цвет только кровью».

Когда правительство молодой Советской республики создавало правоохранительные органы, оно с революционных позиций классового сознания видело их гуманными и справедливыми. Командный состав ВЧК формировался из бывших политкаторжан. Казалось бы, люди, испытавшие на себе ужасы полицейского произвола, не должны были использовать те же методы насилия, которые применялись к ним. Но случилось обратное, они наполнили арсенал ВЧК именно тем, против чего боролись. Произошла преемственность беззакония. По уровню произвола и жестокости, по количеству жертв, преемники оставили своих предшественников далеко позади.

Пытаясь объяснить превращение советских правоохранительных органов в машину произвола и насилия, некоторые исследователи связывают его с работой в них бывших царских охранников. Приведу свидетельство жандармского генерала А. И. Спиридовича: «В рядах большевистского правительства нет ни одного жандармского имени. Их нет там, хотя там находятся представители всех сословий, служб, профессий, степеней, рангов и чинов прежней России. Бывший жандармский полковник Комиссаров, покинувший ряды Корпуса еще при царском режиме — единственное исключение». Спиридович допустил неточность — в ВЧК помощником Ф. Э. Дзержинского служил Джунковский, но Джунковский, честный, порядочный человек, был одним из лучших представителей царской политической полиции. Что касается Комиссарова, то его без преувеличения можно поставить рядом с Рачковским и ему подобными. Но не в бывших жандармах дело. Дело в преемственности жандармского произвола.

Мы не разрушили произвол, мы разрушили то немногое, чего добились прогрессивные силы во второй половине XIX века. Неразборчивость в выборе средств для достижения непроверенных целей, непростительные ошибки наших предшественников обернулись для нас возмездием. Мы позволили людям, увлеченным построением социализма, перекрашивать историю чужой кровью, нашей кровью.

ДНЕВНИК
ЛИТЕРАТОРА

Владимир
ЛАВРОВ

«У НАС В ГОСТЯХ ЛИТЕРАТУРА»

Автор настоящих заметок — читатель, занимающийся критикой, литературоведением, преподаватель истории литературы в институте. Отнюдь не ради анкеты привожу эти данные. Просто, как тысячи современных читателей, пытаюсь уследить за периодикой, а теперь еще и ширящимся потоком книг; как критик стремлюсь по мере разумения дать оценку прочитанному; наконец, при чтении курса отечественной литературы нашего столетия по ходу дела ввожу имена и произведения, бывшие еще недавно в опале и ныне возвращаемые из-под глыб запрета.

Уследить за всеми новыми публикациями нелегко. То и дело упускаешь что-то интересное, важное. Например, давно не открывал журнал «Театральная жизнь» — нельзя же объять необъятное — но вот случаем попался один из весенних номеров 1989 года. А там, помимо «цеховых» содержательных и своевременных статей, диалог А. Битова и критика А. Караулова, раздумья о культуре В. Толстых, публикация статьи С. Франка «Религиозность Пушкина», воспоминаний А. Галича...

Правда, в одном из последующих номеров тот же Караулов беседует с бывшим руководителем Комсомола, потом — КГБ В. Семичастным, который, кстати, стал постоянным гостем в периодике — то в «Аргументах и фактах», то в «Огоньке».

Конечно, опытный читатель уловит и иронический подтекст вопросов, и саморазоблачительный характер исповеди генерала-отставника. Но только опытный, и я боюсь, что какая-то часть массовой читательской аудитории воспримет всерьез идиллические картины недавнего прошлого, которые рисует человек, шельмовавший Пастернака, нанесший значительный урон нашей культуре. А от этого — только вред, как и от других сентиментально-идиллических вздохов находящихся на пенсии когда-то высокопоставленных лиц, будь то Г. Воронов, Н. Егорычев или В. Конотоп... Впрочем, не все еще обеспамятовали и без особого напряжения могут припомнить, как тот же Егорычев громил московских литераторов, а Конотоп душил крестьянскую инициативу.

Однако отнесем такие публикации к издержкам плюрализма и обратимся к произведениям, не просто обогатившим нашу духовную жизнь, но и качественно изменившим ее.

Подчас можно услышать мнение, что все это не ново — и «Доктор Живаго» был в свое время читан, и известны были книги И. Бунина, Е. Замятина, В. Набокова, А. Солженицына... Отсюда — вопросы, которые не раз задавал в периодике критик и прозаик Вл. Гусев: «Какие наши достижения в сфере культуры? Это „Котлован“ — произведение 29-го года? Булгаков? „Реквием“ Ахматовой?»

Да,— отвечу скептику,— сегодняшние публикации этих и других произведений есть достижения современной духовной культуры. Согласен: многое из того, что нынче публикуется в периодике, было известно, но кому? Узкому кругу специалистов, допущенных в спецхраны, приобщенных в порядке исключения, под расписку, без права цитирования.

Разговоры о прочитанном с близкими друзьями, да и то с оглядкой. Ощущение чуть ли не гражданского подвига, если где-нибудь удавалось в сноске, при множестве оговорок, упомянуть опальное имя. Обвести вокруг пальца зоркоглазого редактора, не сумевшего приобщиться к первоисточнику. Дать цитату без кавычек в расчете на таких же приобщенных и — соответственно — гражданский возбужденных.

Главный урон от всех запретов состоял в том, что культура существовала в усеченном виде, с большими купюрами, а попытка восполнить ее нередко кончалась крайне плачевным образом.

Помню страдания Вл. Орлова, главного редактора «Библиотеки поэта», так и не сумевшего выпустить однотомник русских поэтов начала XX века из-за имен Д. Мережковского, Н. Гумилева, В. Ходасевича. Кстати, видел уникальную и показательную для наших нравов книгу: переплетенную верстку этого однотомника с грифом «Для служебного пользования». А сколько терзали книги того же Орлова «Перепутья», «Гамаюн. Жизнь Александра Блока» из-за упоминания в них опальных имен!

Помню, как была прервана публикация в «Литературной Грузии» большой работы Г. Маргвелашвили о Пастернаке. Изъята эта работа была и из уже готового к печати сборника избранных произведений критика и литературоведа. Гия рассказывал мне, что команда о запрете шла прямо из ведомства Суслова.

Могу привести пример из своей практики. Для сборника «В конце семидесятых» мне была заказана статья о молодом герое современной литературы. Для того, чтобы

подтвердить мысль: молодой герой перестал быть ведущей фигурой в литературе семидесятых, нужно было — для сравнения — обратиться к опыту тех, кто дебютировал в конце пятидесятых — начале шестидесятых, к авторам катаевской «Юности».

Кого я мог тогда назвать? А. Кузнецова с его «Продолжением легенды», положившим начало молодежной прозе? А. Гладилина? А после постыдного эпизода с «Метрополем» в список опальных попали В. Аксенов, Ф. Искандер, А. Битов, Е. Попов, В. Ерофеев...

Да и какой более или менее серьезный разговор мог вестись, если нельзя было обратиться к «Пушкинскому дому» Битова, самому значительному и во многом итоговому для темы молодого человека роману?!

Мне довелось прочитать роман в рукописи — тем более досадна зона немоты, существовавшая вокруг этого произведения. Поэтому, в отличие от Гусева, считаю сам факт публикации «Пушкинского дома» в «Новом мире» не только отрадным, но и духовно действенным.

В своем скептическом отношении к значимости таких публикаций критик и прозаик вольно или невольно смыкается с теми, кто обвиняет нашу периодику в «некрофильстве», кто до сих пор не может смириться с нынешней журнальной практикой. Их-то понять можно, тут срабатывает безотказное чутье, подсказывающее, что творческий свет лучших публикаций затмит «ложную мудрость» многосерийных эпопей, популярность которых, по свидетельству социологов книжного дела, резко пала.

Да и в самом деле трудно существовать литературным поделкам рядом с «Котлованом», «Красным деревом», «Факультетом ненужных вещей», «Пушкинским домом»... Вот и новые поколения читателей имеют возможность познакомиться с прозой Солженицына, которую они воспринимают как литературную новинку, как художественное событие наших дней.

Это уже спустя какое-то время, когда улягутся первые впечатления, читательские эмоции, начинаешь думать о том, какое место вернувшиеся в духовный обиход произведения занимают в истории отечественной словесности XX века.

Поначалу процесс этот мы назвали ликвидацией «белых пятен». На первых порах такое определение казалось вполне приемлемым. Однако, по-моему, недостаточным.

В самом деле, в нашем сознании возникает некая картина, на которой все нарисовано в целом верно: определены масштабы изображения, перспектива, намечены мизансцены. Только вот там оставлено пустое место, а там вместо лица — букет или нога.

Кстати, ногу не я выдумал. Есть книга Б. Ростоцкого «Маяковский театр», выпущенная в начале пятидесятых. На одной из фотографий — Маяковский на репетиции «Бани» — изображен поэт и драматург, ассистенты режиссера. Нет только режиссера Мейерхольда. Вместо него грубо подрисованная нога поэта и широкой штанине. Оруэлл в чистом виде!

Вернемся к картине, где все выверено раз и навсегда. Крупным планом обозначены основоположники, лидеры, помельче — верные соратники, продолжатели, ученики, а вдали — по углам — писательская масса.

Словом, групповой портрет с классиками или, как было сказано, «колонновожатыми». Одна только беда: у людей поживших, с нелегким опытом эти «колонновожатые» вызовут совсем не нужные ассоциации. Вид таких колонн, из которых шаг влево, шаг вправо считался побегом.

И сколько таких беглецов знала наша многострадальная литература! Напомню один из эпизодов. 1929 год. Оголтелая кампания, вызванная публикацией за границей романа Е. Замятина «Мы» (увидит свет на родине только в конце восьмидесятых) и повести Б. Пильняка «Красное дерево» (напечатана в «Дружбе народов», 1989, № 1).

Рассказывая об этой кампании в одном из писем, М. Зощенко сетовал: «Замятина жалко. Некрасивое зрелище, когда „европейца", „англомана" волокут мордой по мостовой. Грубое зрелище».

Догадывался ли сам Зощенко, что эта проработка — пролог к событиям тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, что ему в будущем не раз предстоит взойти на эшафот?!

Вообще мне наши «истории советской литературы», разного рода учебные пособия подчас напоминают подробную хронику преступлений и наказаний, непослушных и заблудших.

Поэтому, чтобы не забыть, держу все время под рукой по-своему уникальную книгу Л. Плоткина «Партия и литература» (Л.: Учпедгиз, 1963). Я знал ее автора, профессора Ленинградского университета, слушал его лекции, сдавал ему экзамены. Был он человеком образованным, написал диссертацию и книгу о Д. Писареве, несколько книг о советских писателях. Лекции по современной литературе читал увлекательно.

Упомянутая же книга поражает реестром ошибающихся, уклоняющихся, заблуждающихся. И кого только в этом реестре нет! Целые организации, группировки: Пролеткульт, Леф, «Серапионовы братья», конечно, РАПП; поименный же список кажется бесконечным: А. Воронский, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Ахматова, М. Зощенко, Б. Пастернак, А. Яшин, Ф. Абрамов, В. Померанцев, М. Щеглов, В. Дудинцев...

Книга вышла уже после XX и XXII съездов партии, еще до снятия Н. Хрущева, после чего начнется неуклонная реабилитация сталинщины — а прокурорские формулировки буквально пронизывают ее! Сегодня они не в ходу, но это не означает, что уже кардинально пересмотрена концепция истории нашей литературы.

По сути дела, если обратиться к школьному учебнику, пособиям для вузов, схема развития литературы остается неизменной. Любая же попытка задуматься, усомниться в правомерности такой схемы, желание внести в нее коррективы встречается в штыки.

Стоило, например, критику и литературоведу из Одессы Е. Добренко выступить со статьей «И, падая стремглав, я пробуждался» («Вопросы литературы», 1988, № 9), как появляется разносный отклик О. Александровича в «Нашем современнике» (1989, № 3), где Добренко обвиняется во всех смертных грехах: в покушении на кумиров (а они, по Александровичу, неприкосновенны), в геростратских амбициях. И так — вплоть до обвинений в том, что подобные статьи урезают сроки жизни известных исследователей истории советской литературы!

Господи, как перо-то такое могло вывести, не запнулось! И какая выборочность в сочувствии. Ахматову, Зощенко, Пастернака шельмовали — только во благо, только польза для здоровья. Овечкин в отчаянной попытке самоубийства выбил глаз, стал инвалидом — молчок. Твардовский после того, как у него отняли «Новый мир», сгорел за год — заурядный эпизод из жизни нашей литературы. Яшин надорвался в борьбе с критикой, с организованными письмами земляков, в борьбе с самим собой — не помним. Абрамова не критиковали: били наотмашь,— и сколько лет! — нормальный процесс. А тут «некий» Добренко и подобные ему критиканы — почти убийцы, авторы «пасквилей» (как пишет Александрович о прекрасной статье М. Щеглова, посвященной «Русскому лесу»).

А ведь тот же Добренко просто непредвзято прочитал некоторые произведения, которые раз и навсегда причислены к классике социалистического реализма, не принял их трактовки в многотиражных учебниках и пособиях, вступил в спор.

Не без полемических заносов, но, скажите, какой спор без этого? Ну и надо спорить, но не шельмовать, не впадать в наигранный пафос, рождающий, например, такие пассажи: «Цапли и аисты перестройки, стоящие на одной ноге, упорно пытаются бросить тень на всех, кто стоит на двух ногах, им нетрудно с левой ноги переступить на правую и наоборот. Но как бы они ни пытались идти вперед, стоя на одной ноге, они не смогут этого сделать».

Вы разобрались в этой сентенции, в этой сюрреалистической картине про цапель и аистов перестройки (ну как лишний раз не лягнуть ее!), которые пытаются «идти вперед, стоя»?!

Вместо этого нашему прокаазнику-стилисту было бы неплохо вдуматься в драмы, трагедии тех, кого мы поспешно назвали «колонновожатыми». Вспомнить о том, что один из них в последние годы жизни был буквально отгорожен от внешнего мира заставой из сотрудников Ягоды, перестав ощущать, с его-то отзывчивым сердцем, что происходит в реальной действительности. Не забыть, что другой поставил «точку пули в конце пути», что третий после пылких, шумных и искренних пьес о революции и гражданской войне написал псевдодраму про незабываемый 1919-й, что четвертый, сумевший, по словам Пастернака, «пронести виноватую улыбку через все хитросплетения политики», сорвался на крутом повороте времени, испытал крах с замыслом романа «Черная металлургия», что произведения пятого стали свидетельством оскудения творческого дара, например, бесконечно-унылый «Костер», что шестой молчал десятилетия...

Думаю о судьбе В. Катаева, мастера незаурядного художественного дара, который причудливо соединялся с нравственным релятивизмом. Не идет из памяти интервью, которое он дал программе «Время».

Было это в конце 1984 года, когда отмечалось пятидесятилетие образования Союза писателей СССР. Отчет о юбилейном пленуме.

Интервьюер:

— Валентин Петрович, ваши впечатления от речи Константина Устиновича?

Катаев:

— Считаю эту речь выдающейся!

Самое печальное, что собеседники все видели, всему знали цену, но сочли почему-то своим долгом лукавить перед миллионной аудиторией. А ведь это было одно из последних публичных выступлений прозаика. Так сказать, его завещание, его «Памятник», «Выбранные места из переписки с друзьями».

Нет, не ради того, чтобы выискивать темные пятна на наших солнцах-классиках, пишу обо всем этом. Просто сегодня становится все более насущным восприятие пути нашей литературы как живого, развивающегося и драматического процесса. Надо снять хрестоматийный глянец, налет благостности с портретов больших художников, знавших и взлеты, и падения, находившихся в сложнейших отношениях со временем.

Главное же, думаю, надо отдать себе отчет в том, что нынешние «истории со-

ветской литературы», как правило, представляют собой политико-воспитательную дисциплину, в которой прозе, поэзии, драматургии отводится роль живых картин, иллюстраций к истории общества и партии (на уровне трудно изживаемой схемы «Краткого курса»). Отсюда — главенство тематического принципа: тема гражданской войны, социалистического строительства, первых пятилеток, Великой Отечественной, послевоенного возрождения...

Абсурдно было бы утверждать, что литература не откликалась на эти события, не осмысляла их. Дело в другом: *как* откликалась, *как* осмысляла, пока тут царит схема, причем довольно простая: правильно или неправильно.

Утверждаются эталоны «правильности». Если говорить о событиях гражданской войны, то они правильно отражены в «Железном потоке», «Чапаеве», «Разгроме». С трудом к этой канонической триаде будет присоединен «Тихий Дон».

А вот Б. Пильняк — до сих пор сомнителен, хотя его «Голый год» — одно из первых прозаических произведений о гражданской войне, и воздействие этого произведения, его духа, стилистики, скажем, на «Железный поток» А. Серафимовича очевидно. Но Пильняк слишком многогрешен, чтобы попасть в святцы: воспевал стихийность, написал «Повесть непогашенной луны», в которой покусился на вождя, напечатал за границей «Красное дерево», был репрессирован — нет дыма без огня.

В итоге большой и сложный художник так и остается, если судить по «историям», изгоем. А ведь его судьба и творчество требуют (и давно) монографического очерка, портрета в наших «историях».

Представления об отечественной литературе XX века будут явно неполными, нерачительно адаптированными, если не вберут в себя «Несвоевременные мысли» М. Горького, письма В. Короленко А. Луначарскому, «Усобицу» М. Волошина, «Окаянные дни» И. Бунина, если не расслышим в этих произведениях гуманистическое предупреждение, серьезность которого стала очевидна в наши дни, когда задумались мы о ходе истории, его драматических, дальнего действия последствиях и результатах.

Нынче, в пору выдвижения на первый план критерия общечеловеческих ценностей, литература первого послеоктябрьского десятилетия уже не может восприниматься однозначно как некий целостный идейно-художественный монолит. Контрастно высвечиваются как сильные стороны поэзии, прозы, драматургии, так и негативные тенденции, которые в дальнейшем получат свое развитие.

О тревожных симптомах романтизации жестокости в поэзии писал еще в 1968 году критик и переводчик А. Якобсон (статью опубликовал «Новый мир» в 1989 году), эти же опасные симптомы ощутимы были и в драматургии, и в прозе.

Их сразу же расслышал Горький, о чем свидетельствуют не только «Несвоевременные мысли», но и, например, его рецензия 1923 года на рукопись повести начинающего литератора Свешникова «Тринадцать»: «Мотивы классовой борьбы у Вас вызывают чувство человеконенавистничества. Это — несправедливое чувство. „Буржуй" — раб одной идеи, Вы — раб другой, а гимназист, которого проткнули штыком в Вашей повести,— цыпленок, невинно пострадавший в драке больших зверей. В этих вещах писателю необходимо точно разбираться. Очень советую — читайте, учитесь».

«Неистовые ревнители» из РАППа не замедлили откликнуться на горьковскую рецензию: «Итак, революция и ее наиболее острое проявление — гражданская война — для Горького — драка больших зверей. Писать об этой драме, по мнению Горького, не следует... Да, плохо сел бывший Глав-Сокол. Лучше бы нам не видеть его, плетущимся в сырую и теплую расщелину вслед за Ужом».

Так не было расслышано серьезное гуманистическое предупреждение Горького. И не только догматиками РАППа, но и теми, кто считался если не соратниками или ученичками писателя, то людьми, близкими по мироощущению.

Исторически, наверное, это объяснимо: само время было чревато кровавыми драмами, разломами, расколами, распадом — на классовой почве — человеческих, семейных связей. Хотя надо видеть разницу между трагическим ощущением времени, скажем, в «Тихом Доне», в романе Артема Веселого «Россия, кровью умытая», в повестях и рассказах Вс. Иванова, с одной стороны, и литературщиной (пусть и мастерской, изощренной) прозы и драматургии Б. Лавренева («Сорок первый», «Разлом»), пьесы К. Тренева «Любовь Яровая», романа К. Федина «Города и годы», с другой.

С высоты обретенного духовного опыта хорошо проглядывается то, как переносились методы гражданской войны в мирное время (особенно на примере книг о коллективизации), как литературная романтика жестокости, которую воспевали, по остроумному выражению А. Синявского, «растолстевшие кавалеристы», подогревала сталинскую идею обострения классовой борьбы в пору строительства социализма.

Именно поэтому нам нынче так важны «противоядия» столь опасной тенденции, которые существовали в литературе. Невольно задумываешься о беспрецедентной популярности книг М. Булгакова, драматургии, его романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».

Что привлекает нас в «Белой гвардии» (и в пьесе «Дни Турбиных», созданной по ее мотивам)? История краха белого движения? Такая тема в романе существует, но его содержание ею не ограничивается и тем более не объяснит нашу тягу к этому замечательному произведению.

Есть в книге нечто более существенное для нынешнего нашего мирочувствования — образ дома, который устоял в усобице гражданской войны. Дом этот очень конкретен, у него есть адрес по Андреевскому спуску в городе Киеве (не случайно он стал местом паломничества многочисленных поклонников булгаковского творчества, ему посвящен проникновенный очерк В. Некрасова «Дом Турбиных»). Мы хорошо знаем топографию дома, облик квартиры, «семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных», изразцовую печку, у которой читался «Саардамский Плотник», часы, которые били башенным боем: «К ним так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский образец». Бессмертен этот дом, где «лучшие на свете шкапы с книгами, пахнувшими старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золочёные чашки, серебро, портреты, портьеры..., все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

— Дружно... живите».

Читая эти строки, понимаем, что речь идет не о вещах самих по себе, а о той атмосфере устойчивой человечности, сердечности, которой эти вещи словно окутаны, отражают их. И благодаря этому человеческому отсвету они и бессмертны.

Так понятие дома приобретает символическое, метафорическое наполнение — дом с конкретным адресом, дом-образ, дом-Город, дом-Родина.

Не случайно главный антагонист Турбиных, муж Елены Тальберг, бросает дом в минуту кризисных грозных испытаний, что рождает очень важное для прояснения смысла «Белой гвардии» лирическое отступление: «Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей пробежкой на неизвестность от опасности».

Именно мотив дома, сохранившегося в круговерти грозных событий, и вызвал особую ярость у критиков спектакля Художественного театра «Дни Турбиных». Один из них (этот факт приведен в книге А. Смелянского о Булгакове в Художественном театре) злорадно доносил, что во время представления раздавались возгласы «Все люди братья!».

И это можно понять, если учесть атмосферу тех лет, когда рушилось тысячелетнее «прежде», в том числе и то, что не должно было подвергаться разрушению, потому что оно, вспомним слова Булгакова, вечно. Это мы сейчас осознали, но творчество выдающегося писателя (а издается он нынче огромными тиражами) еще не нашло своего должного и достойного места в курсах истории литературы. В лучшем случае — упоминание, сдержанная добавка к устойчивой схеме.

Да, в свое время Булгаков был еретичен, шел поперек времени. И столько таких еретиков было у нас! Замятин с его романом «Мы», послереволюционными рассказами, публицистикой, знаменитой, ошельмованной, пророческой статьей «Я боюсь». «Несвоевременные мысли» Горького, «Котлован», «Доктор Живаго»...

Эти и многие другие произведения, входящие сейчас в читательский обиход, утверждают в догадке, что литература не только отражает жизнь и даже не только осмысляет ее, но и нередко вступает с ней в спор, отстаивая достоинство человека, личности, ее способность противостоять страшному давлению времени, ее право на свой путь, свой пример.

Л. Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» привела такое высказывание поэта: «Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам: они надеялись, что на этот раз, наконец, у меня окажется про колхозы».

А она писала не про колхозы, а про свое, давая массу поводов для историков литературы упрекнуть ее в «камерности», «мелкотемье». Оказалось же, что Ахматова писала о главном, насущном для всех нас, а книги «про колхозы» держат в памяти те же литературоведы, больше их никто не вспоминает.

На одном из последних выступлений Абрамова собравшиеся услышали такой совет начинающим: «Если можно, не связывайтесь с литературой. Но уж если увидите, что без пера нельзя, не можете, то страдайте. Вам надо заранее приготовиться к схиме, самоограничению. Талант — всегда самоограничение, это всегда аномалия, талант всегда в споре с современностью».

В споре с современностью... Учитывается ли это в работах по истории отечественной литературы? Думаю, что пока — нет. Более того, сама постановка такой темы долгое время могла казаться крамольной. Впрочем, если учесть, что история советской литературы расценивалась как дисциплина, близкая к обществоведческим, ни о каком диалоге, споре со временем не могло быть и речи.

Но вот парадокс: ныне само обществоведение подвергается кардинальному пересмотру, значительным коррективам. Тем более это насущно для истории литературы.

Тут не надо начинать с нуля. Отличным подспорьем в работе станут монографические исследования о крупных художниках нашего века. Есть обширная новая литература о Блоке, есть хорошие книги об Ахматовой, Белом, Тынянове, Форш, Пришвине, Твардовском, Заболоцком. Недавно опубликованы новаторское по своим творческим принципам «Жизнеописание Михаила Булгакова» М. Чудаковой, монография В. Альфонсова о Пастернаке, на подходе — книги о Клюеве, Платонове...

Только в последние годы мы прочитали несколько монографий о М. Цветаевой, книги А. Саакянц, А. Павловского, большой силы и достоверности мемуарно-документальное повествование М. Белкиной «Скрещение судеб», статьи И. Кудровой о самых драматических страницах жизни поэта и ее семьи.

Много бездомствовавшая в своей жизни Цветаева наконец нашла своего читателя на родине: сегодня ее наследие доступно каждому, а книги и статьи о поэте — надежные и честные путеводители в этот творческий мир.

Продолжает бездомствовать Цветаева в наших «историях». Не размещается в отвердевшей схеме. Да и понятно, ведь с наибольшей силой трагическая ее муза проявила себя в двадцатые, тридцатые годы, в эмигрантскую пору. Если следовать паспортному принципу и учитывать сложность политических, общественных взглядов поэта, то для канонической истории советской литературы она явно не ко двору.

Тут-то и возникают ножницы между той историей отечественной литературы XX века, которая сложилась в умах ревностных читателей, и утвержденным, окаменевшим каноном.

И сколько таких пока бездомных для нашей литературы судеб? Кажется, более благополучна в этом смысле судьба И. Бунина, однако до сих пор его творчество втискивается в узкие рамки начала века и лишь скороговоркой отмечается его творчество в годы эмиграции. Между тем это ведь более тридцати лет работы над «Жизнью Арсеньева», «Темными аллеями», «Освобождением Толстого», «Чеховым»: над последней книгой писатель работал вплоть до смерти в 1953 году.

Какое-то время в ходу была успокоительная версия, что в эмиграции Бунин стал писать хуже, повторяться. Этой версии отдал дань даже Твардовский в предисловии к бунинскому девятитомнику. Впрочем, читатель, с большим интересом встретивший это издание, смог убедиться, что талант художника не оскудел до самых последних дней.

Как-то в середине семидесятых годов разговаривали мы с В. Конецким, кажется, о Солженицыне, и он вдруг заметил: «Представьте себе, что когда-то эти две русские литературы сольются. Произойдет настоящий духовный взрыв».

Сейчас такое слияние происходит, причем крайне интенсивно. Увидели свет на родине книги В. Набокова, работавшего, кстати, до 1977 года, Бориса Зайцева (умер в 1972 году), М. Алданова, И. Шмелева. Вышли или выйдут стихи и проза В. Ходасевича, Д. Мережковского, произведения русских философов. Налаживаются творческие контакты с теми, кто вынужден был покинуть родину или был изгнан из Советского Союза в шестидесятые и семидесятые годы.

Далеко не всем этот процесс соединения двух миров отечественной литературы, художественной культуры по душе. Предпринимаются попытки навесить, правда, довольно потертые политические ярлыки, представить дело таким образом, что ныне живущие и работающие за рубежом русские писатели, к примеру, А. Синявский, в свое время, с жиру бесясь, взяли да и уехали в Париж. Естественно, о позорном процессе, уголовном судилище над литературой (дело Синявского и Даниэля) — ни слова, о лагерных годах писателей не упоминается. Таково свойство девичьей памяти Н. Федя и А. Казинцева, авторов статей в майской книжке «Нашего современника» за 1989 год.

Впрочем, тенденциозность таких публикаций очевидна и бесплодна. Лучше бы задуматься над печальным феноменом столь длительного, наверное, небывалого в истории мировой культуры бытования двух литератур. И быть благодарным новому времени, восстанавливающему норму, единую кровеносную систему русской литературы.

Норму потому, что влияние, скажем, творческой манеры Цветаевой на целый ряд поэтов, особенно формировавшихся после XX съезда партии, очевидно, что есть художническая, психологическая близость прозы В. Набокова и А. Битова. Очевидно, например, что рассказ Солженицына «Матренин двор» находится у истоков такого значительного явления нашей литературы шестидесятых и семидесятых годов, как «деревенская» проза с ее кардинальной темой праведничества («Привычное дело» В. Белова, «Две зимы и три лета», «Пелагея» Ф. Абрамова, повести В. Распутина) и что «Архипелаг ГУЛАГ» оказал влияние на документалистику последних десятилетий («Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина).

Словом, в нынешней литературной жизни назревает качественно новая ситуация, требующая осмысления, освоения. Затормозить этот процесс — невозможно, сделать вид, что ничего нового не происходит,— либо лукавство, либо легкомыслие.

В записках Ф. Абрамова об А. Твардовском есть такой фрагмент. Идет обсуждение рукописи романа «Две зимы и три лета»:

«Заседание открыл Твардовский. Коротко.

— Роман вы читали. Мое письмо вы тоже читали. Так что много говорить не приходится.

— Есть сомнение в проходимости...

Александр Трифонович отрезал:

— Сегодня у нас в гостях литература, а это не часто бывает. И давайте говорить о литературе, а что касается всяких практических соображений, не имеющих отношения к литературе... попрошу их оставить».

Ныне есть все основания повторить слова поэта и редактора: «Сегодня у нас в гостях литература». В своем небывалом богатстве и многообразии. И надо отрешиться от «соображений, не имеющих отношения к литературе», сделать так, чтобы была она не «в гостях», а стала фактом непреложного бытования.

Работы тут предстоит немало. И прежде всего потребуется смелость теоретического и исторического мышления, способность отказаться от догматики, сколь бы привычной и уютной она ни была.

Вот одно из самых существенных и, понимаю, дискуссионных соображений: нынче становится все более очевидным, что понятие «советская литература» не может вобрать в себя все богатство отечественной словесности XX века, тех произведений, которые в последнее время в таком невиданном количестве возвращены читателю.

С такой проблемой столкнулись авторы анкеты «Иностранной литературы» (1989, № 1, 2), адресованной писателям русского зарубежья. В самом деле, к какой литературе причислить бывших наших соотечественников, живущих и работающих ныне в Европе и в Америке? К литературе страны проживания? Американский писатель Солженицын?! Немецкие писатели В. Войнович, Г. Владимов?! Почти абсурд! Советские писатели? Или они были советскими, пока жили на родине, а потом?

Кстати, и сами анкетируемые (о чем свидетельствуют их ответы) были в смятении, но при этом говорили о чести быть причастными к традициям русской литературы. Так, может, и не мудрствовать лукаво, а подумать о том, как создать историю русской литературы XX века, отражающую ее путь во всей сложности, во всем драматизме и многообразии, в контрастах, спорах, неожиданных сближениях и отталкиваниях?

Тем более, что все тут не сводимо лишь к писателям русского зарубежья, что эту отчетливо выраженную, обнаженную связь именно с традициями отечественной классики XIX века видишь в творчестве Е. Замятина, А. Ахматовой, М. Булгакова, М. Зощенко. Эту преемственность и родство с заветами классики остро ощутил Б. Пастернак в тридцатые годы, в пору кардинального, напряженного пересмотра творческих взглядов, когда, по его признанию, «стал сильно уклоняться вправо из собственного побуждения, а не под давлением борьбы с формализмом, из предпосылок скорее общерусских, чем революционных, скорее толстовских, чем горьковских» (Из письма Л. Воронцовой, приведенного к книге В. Огнева «Свидетельства». М.: 1982).

Подтверждением этого поворота станет послевоенная лирика поэта и — особенно — его «Доктор Живаго», на что, кстати, сразу же указал В. Шаламов, прочитав в рукописи первые главы романа (см. переписку Б. Пастернака и В. Шаламова, опубликованную в октябрьском номере «Юности» за 1988 год).

Именно ориентацией на общерусские предпосылки отмечено творчество А. Твардовского, его эстетические взгляды, отразившиеся не только в статьях, заметках, письмах о литературе, но и в практике редактирования «Нового мира». Без учета этих же предпосылок до конца не осознаем суть феномена «деревенской прозы» от «Матренина двора» до «Прощания с Матерой» и «Дома». Впрочем, не только «деревенской прозы», но и такого произведения, как «Пушкинский дом».

Вот один из самых острых фрагментов диалога А. Битова и А. Караулова в упоминавшейся «Театральной жизни» (1989, № 9):

А. К. Как вы думаете, что такое антисоветчина? Существует ли она?

А. Б. Существует «советчина», то есть то, что вырабатывалось на протяжении десятков лет продажными идеологическими мозгами. Еще два года назад у нас было много «антисоветчиков»: Сахаров, Солженицын, Рой Медведев, Галич, Любимов. И еще сотни имен. Я, было время, особенно после «Метрополя», тоже считался «антисоветчиком», антиобщественным элементом, хотя я, по сути дела, воспитывал себя как внеобщественного человека.

Если снять полемическую резкость суждения прозаика или несколько смягчить ее, то можно выразиться следующим образом: действительно, понятие «советская литература» излишне идеологизировано, политизировано, причем десятилетиями именно политический, идеологический момент столь сильно акцентировался, что о самой литературе, ее законах просто забывалось.

Исторически это объяснимо. Понятие «советская литература» возникло в первые годы после революции, сменив и в определенной мере расширив понятие «пролетарская литература», «пролетарская культура», но при этом сохранив, если можно так сказать, его обособляющий принцип. Возникло оно в эпоху романтической надежды, что можно начать жизнь с чистого листа, ощущения всего предшествующего духовного, культурного развития как пролога к будущему небывалому расцвету, к созданию качественно новой литературы, своего «Дон Кихота», превосходящего произведение Сервантеса.

Отсюда — столь настойчивое стремление отгородиться от классики, утверждение ее недостаточности, а нередко и ущербности. В лучшем случае классической литературе отводилась роль критика существовавшего государственного строя (так возник термин «критический реализм», никак не способный вобрать в себя богатство русской литературы XIX века).

Если такое размежевание в первое послеоктябрьское десятилетие было рождено и объяснимо исторической ситуацией, то есть было живым, творческим, хотя и временным процессом, то уже в тридцатые годы романтический и заносчивый романтизм превращается в холодные инструкции административно-командной системы, в неколебимые, казалось, представления о советской литературе «как самой передовой в мире» с четко определенным кругом задач: «Показать... новые высокие качества советских людей, показать наш народ не только в его сегодняшний день, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперед».

Цитирую доклад А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», документ почти полувековой давности, однако разве не встречаем мы такие определения, такие формулировки и сегодня в учебниках и справочниках по советской литературе?!

К чему это приводило? Прежде всего к изоляции от мирового художественного процесса, а суть этого процесса (если наша литература «самая передовая») неминуемо искажалась путем всяческого подчеркивания противоречивости, мировоззренческой ограниченности, скажем, западной литературы XX века.

Утвержденный на государственном уровне литературный устав давал почти законодательное право для борьбы с инакомыслием, еретиками. Мы только сейчас начинаем осознавать, каким духовным обеднением, каким варварством это откликнулось.

Создавалась богатая питательная почва для процветания псевдолитературы, которая внешне отвечала всем уставным требованиям, а по сути выполняла разрушительную, антикультурную миссию.

И последнее, может быть, самое печальное: нам еще предстоит осознать тот урон, который понесло творчество одареннейших мастеров, подчинивших — часто искренне, убежденно! — свой талант догматам и эстетическим инструкциям.

Итак, сегодня каждый, задумавшийся об истории отечественной литературы (а нынешняя журнальная практика, как мы убедились, невольно заставляет об этом думать), сталкивается с дилеммой: или держаться раз и навсегда установленного, отвердевшей догматической схемы, лишь местами подлатав прорехи, подновив ее; или же попытаться кардинально переосмыслить многое, стремясь воссоздать картину жизни русской литературы в XX столетии во всей ее полноте, драматизме, сложности.

Второй путь труден, но и плодотворен.

ВСПОМИНАЕМ...

Наталья
БАНК

ДЫМ ОТ КОСТРА

Горько от того, как на глазах ветшает Ленинград. Он все больше напоминает теперь своих старожилов, существующих за чертой бедности, но из последних сил старающихся сохранить и достоинство, и былую стать. Наверно, больно тротуарам и мостовым, переломанным, в колдобинах и ямах, кое-где грубо, наскоро и, значит, ненадолго залатанных. Краска стыда проступает на серых, изъеденных трещинами лицах петербургских зданий: неловко им за собственную неприбранность, ошарпанность, утраченные детали архитектуры. Впрочем, сами по себе прекрасные декорации — уцелевшие стены — можно еще и поддержать, и подновить. Можно, в конце концов, привыкнуть к «Англетеру», аккуратно восстановленному финнами на месте снесенного, точь в точь такому же, что прежний, и все-таки чужому (последней обителью Есенина этот «Англетер» не был!). Можно убедить себя, что псевдопортик между Гостиным двором и Думой мало чем отличается от уничтоженного оригинала. Но вот как смириться с исчезновением лиц, одухотворенных, особенных, ленинградских, в людском потоке, текущем по тому же Невскому?..

Кажется, еще совсем недавно, приезжая в Ленинград, где начинался его путь, Ираклий Андроников исполнял очередной, новый устный рассказ — про Невский проспект, лаконично и точно рисовал портреты тех, кого встречал здесь в разные годы. И мы их тотчас узнавали тоже — поэтов, художников, редакторов (в Доме книги с 30-х годов располагались издательства), работников Радиокомитета, музыкантов, спешащих на репетицию концерта. в Большой или в Малый залы Филармонии, сотрудников Публичной библиотеки... Это она, ленинградская интеллигенция, прежде всего гуманитарная, во многом определяла до поры облик города. Она была и видна, и слышна здесь повсюду, на многих улицах, но Невский издавна был ее цитаделью.

Среди многих других известных, уважаемых людей и Владимир Николаевич Орлов присутствовал в рассказе И. Л. Андроникова, «Ирашки», как иногда Орлов его называл за глаза, выказывая тем и давность знакомства, и немного пренебрежения или покровительства. В пестром многолюдье Невского нельзя было не заметить его импозантную, барственную фигуру. «Володя Орлов с перстнями и с палками»,— острила Ольга Берггольц, знавшая Орлова с юности, с Института истории искусств, где оба учились (в язвительности, светском злоязычии они вполне могли бы соревноваться!).

Зимой ли, в дождливую погоду или в жару он шел, вернее сказать, шествоал не спеша, степенно, вальяжно откидывая трость вперед и чуть вправо. Он был близорук, мог вас разглядеть не сразу, задержаться с приветствием, сильные, выпуклые очки добавляли его облику высокомерия, надменности.

Он жил на улице Желябова в доме № 1, квартире № 5 — отдельной, выкроенной внутри большой коммуналки. От этого дома через Конюшенную площадь — минуты ходьбы до угла Мойки и Марсова поля, где в добрые времена ничем не омраченной дружбы бывал у Рахмановых. И дом № 9 по каналу Грибоедова совсем близко, а там, в «писательской надстройке», и Слонимские, и Рождественские, и Бурсовы; там Владимир Николаевич и сам жил перед войной с матерью, потом привез из Грузии молодую жену, а блокадной зимой 1942 года из этого дома свезли на кладбище сначала мать, следом — крошечного, несколько недель от роду, сына Колю...

От улицы Желябова по Шведскому переулку и улице Софьи Перовской рукой подать до Дома книги, где много лет Владимир Николаевич работал в редакции «Библиотеки поэта». Невский, вообще, соединял все главные необходимости его жизни — издательство «Советский писатель», Публичную библиотеку, Книжную лавку, которую он ритуально посещал и возвращался, все так же степенно, с аккуратной пачкой новых книг, Театр комедии, где не пропустил ни одной премьеры с участием Е. В. Юнгер — и «Опасный поворот», и «Милый обманщик», и «Деревья умирают стоя»...

На Невском был в левом крыле Дома искусств, две ступеньки вниз, *его* фирменный магазин коньяков, в которых он знал настоящий толк и любил зайти сюда, не спеша, смакуя, выпить рюмочку-другую грузинского «Варцихе».

Он не менял привычек — ходил, например, к одному и тому же парикмахеру в «Европейскую» гостиницу. Его ярости не было границ, когда однажды выяснилось, что отныне войти в гостиницу можно только по пропуску. Но к тому злополуч-

ному времени швейцары стали принимать его за иностранца. Смеясь, он рассказывал, как летом, оставшись на несколько дней без домоправительницы, после прогулки по Александро-Невской лавре (один из его любимых ритуальных маршрутов), забрел пообедать в ресторан новой тогда гостиницы «Москва», оказался чуть ли не один в огромном зале и, к вящему изумлению обслуги,— свой, русский, ленинградец («как же Вы сюда попали?!»).

Что ж, у швейцаров и метрдотелей специфические представления о соотечественниках. Между тем, трудно назвать другого человека, который бы более органично вписывался в ленинградский пейзаж, нежели В. Н. Орлов. Он был городу сродни осанкой, манерами, речью — велеречивостью (он говорил о домоправительнице — «раритет», о ком-то из друзей, что знает этого человека «с младых ногтей», о П. Г. Антокольском, который появился в обществе не достойной его особы женского пола, что это «компрометантно»; в очереди на почте женщина, к которой он обратился «сударыня», готова была привлечь его к ответу за оскорбление!).

Город, с которым была связана вся сознательная жизнь В. Н. Орлова,— главное — стоял у истока его трудов, осенял, озарял, давал вдохновение. Не могу не отнести к самому Владимиру Николаевичу его же слова из книги «Поэт и город», посвященной Александру Блоку: «Из поколения в поколение рождались люди, которым было дано понимать язык этого волшебного Города. Он внятно говорил с ними своими зорями и закатами, туманами и метелями, легендами и преданиями, чертогами и памятниками. Для таких людей Петербург-Ленинград был и остается не только местом жительства, но и миром души».

Среди стихотворений П. Г. Антокольского, посвященных В. Н. Орлову, была «Петербургская повесть» (1976). В ней причудливо сплелись поэтические вымыслы и были города, возвышенное и неприглядное в его повседневности. Из судьбы города, из судеб его поэтов и литературных героев Антокольский извлекал некий общий знак, и все же чудится мне в первых строчках стихотворения портретное сходство с человеком, о котором я вспоминаю на этих страницах:

Состарился в эпохе переломной
Надменный денди, демон домовой...

Впервые близко я увидела его, еще не состарившегося, в полном блеске («с перстнями и с палками»!), в мае 1955 года, на защите докторской диссертации Г. П. Макогоненко, в 31-ой аудитории — актовом зале филологического факультета Университета. Рядом с Владимиром Николаевичем была прелестная женщина, красавица грузинка Элико Семеновна Кашна. Вскоре их союз, длившийся двадцать лет, распался. Под стихотворением В. Н. Орлова «Прощание» дата: 1955.

Так кончается все. Так приходит пора расставанья.
Мы на росстани. Дымное солнце. И Ветер в лицо.
Неужели конец? И остались лишь воспоминанья?
А не лучше ль забыть? И забыться. И дело с концом!..

На филологическом факультете ЛГУ Владимир Николаевич и сам прежде работал (в 1939—1941 и в 1945—1950 годы), преподавал, читал спецкурсы, вел спецсеминары. Его ученицей перед войной была Минна Исаевна Дикман, в дальнейшем редактор всех его книг, вышедших в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Она рассказывала мне о семинаре по поэзии XX века, который вел В. Н. Орлов в 1939 году. Он ставил обычно исследовательские (а не студенческие) темы, требовавшие изучения архивных материалов, текстологических разысканий. Тогда, под руководством В. Н. Орлова, она занялась поэзией Федора Сологуба. Владимир Николаевич буквально «бился за Сологуба», бился и за то, чтобы студенческая талантливая работа была напечатана, для начала — в Ученых записках ЛГУ. Помешали сперва война, потом постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба с космополитизмом. Эпоха громоздила и громоздила всяческие преграды на пути изучения замечательного русского искусства начала XX века, которым занимались В. Н. Орлов и его молодые последователи. Только в 1975 году многолетний труд М. И. Дикман увенчался выходом в Большой серии «Библиотеки поэта» тома стихотворений Ф. Сологуба, подготовленного, откомментированного ею, с ее же вступительной статьей. Это был и праздник В. Н. Орлова тоже.

Ученых степеней Владимир Николаевич не имел (принципиально!). Помню, как он рассвирепел, когда в афише его «обозвали» кандидатом филологических наук,— он даже не пришел по этому поводу на вечер, в котором предполагалось его участие, его вступительное слово.

У него было литературное имя, которое он нес высоко, горделиво. Он подписывался Вл. Орлов и очень сердился, если, по незнанию, работник какого-нибудь журнала или издательства изменял Вл. на более привычное В. Он не хотел путаницы ни с какими другими Владимирами Орловыми — ни с поэтами, ни с беллетристами. Когда в «Новом мире» началась публикация романа «Альтист Данилов», пошли домыслы, предположения: может быть, автор скрылся за псевдонимом, а может быть, это Владимир Николаевич Орлов? Сама возможность такого допущения выводила его из себя.

Подхожу к полке, на которой стоят его книги: литературные очерки «Пути и судьбы», «Перепутья», двухтомная антология «Декабристы», составленная им, «Поэт и город», «Гамаюн». Вот «Грибоедов», на титуле его рукой пренебрежительно: «... не книжка, а книжонка, к которой я, в сущности, не имею отношения» (дело, наверное, в неказистости «фирмы»: «библиотека словесника», издательство «Просвещение», насилие над первоначальным текстом, чтобы, по замыслу редактора, работа послужила на пользу учителю литературы). А вот и «Поэма Александра Блока „Двенадцать“. Страница из истории советской литературы» (М.: Гослитиздат, 1962) — первая его книга, которую Владимир Николаевич подарил мне. По надписи можно точно восстановить в памяти число, когда, вместе с П. Г. Антокольским, впервые была у Владимира Николаевича дома на улице Желябова: *1962 Декабря 9-го* — торжественно сформулирована дата. Да и вся надпись сделана высоким слогом. Антокольский читал новые стихи, навеянные посещением Ленинграда, и В. Н. Орлов (Вл. Орлов!) надписывал книгу «... в день, когда я видел рождение стихов в присутствии родившей их. И да здравствует поэзия — поскольку Вы хорошо знаете, что это такое!»

Сам Владимир Николаевич Орлов был Рыцарем Поэзии, рыцарски служил ей, к каким бы ни обращался видам и жанрам литературной деятельности, равно важным для него, литературоведа-исследователя, текстолога, издателя, романиста-документалиста, поэта-лирика. Он писал о русской дореволюционной и советской поэзии, писал о поэтах-декабристах, Павле Катенине и Денисе Давыдове, Языкове и Полонском, Радищеве и Грибоедове. Но самой главной, верной, всепоглощающей его любовью был Александр Блок, «огненный ангел средь тьмы мировой» — я цитирую стихотворение В. Н. Орлова, посвященное Блоку. В другом стихотворении он обращается к поэту — в пору безверия, безвременья: «... Помоги, если можешь, напои животворной водой!..»

Блок был для Владимира Николаевича Орлова идеалом не только поэта, но и человека, которому он вольно или невольно подражал. Он исповедовал культ Прекрасной Дамы и Кармен в лице одной женщины. Это ей посвящены «Пути и судьбы», «Перепутья», «Поэт и город»...

У меня нет права судить о том, было ли для Владимира Николаевича в частной жизни это подражание счастливым (он оказался совсем одинок в болезни, в старости). Не знаю, испытывал ли он счастье от своей работы. Гордился ею, знал ей цену — безусловно, а вот счастье...

Очевидно, однако: всем, что он сделал для Александра Блока,— он сделал безмерно много для отечестаенной культуры, для всех нас и тем оставил по себе благодарную память надолго.

О Блоке вышло теперь столько исследований, монографий, существуют разные направления в блоковедении, многократно изданы сочинения самого поэта. Кажется, все это само собой разумеется. Владимир Николаевич Орлов был первым сеятелем на этой ниве. Он начал заниматься Блоком в «года глухие», когда чернили символизм, когда предавали анафеме многое в русской культуре, объявлявшееся реакционным, ненужным народу. Один из сыновей «страшных лет России», В. Н. Орлов утверждал Блока как поэта-классика,— он вершил святое дело. В 1946 году, незадолго до черного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», вышел знаменитый синий однотомник Александра Блока, включавший стихотворения, поэмы, театр, статьи и речи, письма. На титульном листе значилось: редакция, вступительная статья и примечания Вл. Орлова. Держу в руках эту книгу, очень дорогую еще и потому, что ее одной из первых принес домой в тяжелый послевоенный год мой отец. В частности, с нее начиналось восстановление домашней библиотеки, разоренной во время блокады. У нас дома имя Владимира Николаевича Орлова было хорошо известно тете Алисе Владимировне: во второй половине двадцатых годов они оба начинали путь с экскурсионной работы, оба считали своими наставниками Н. П. Анциферова, И. В. Гревса. Могла ли я предположить, школьницей открывая для себя по орловскому однотомнику поэзию Александра Блока, что спустя два десятилетия, решусь попросить у Владимира Николаевича Орлова рекомендацию в Союз писателей?..

В. Н. Орлов был блестящим знатоком и интерпретатором всей русской художественной культуры начала XX века. Знаменательна высокая оценка его работ «действующими лицами» литературной эпохи, о которой он писал. В автобиографии Нины Берберовой «Курсив мой» есть ссылка на книгу «превосходного „блоковеда“ и автора статей о символизме Влад. Ник. Орлова — „Пути и судьбы“». «Пораженная его глубоким пониманием и чувством эпохи,— продолжает Н. Берберова,— я решила весной 1964 г. написать ему письмо в Ленинград и спросить его, не могла бы я ему сообщить некоторые дополнительные сведения о Белом — уже не на адрес типографии „Советского писателя“, куда я писала, а на его домашний адрес. Орлов ответил

мне, и я послал ему заказное письмо на семи страницах. Орлов дал мне знать, что мое письмо было получено» («Вопросы литературы», 1988, № 9, с. 220).

Как известно, нет пророка в своем отечестве. Н. Берберова — в эмиграции — радовалась работам В. Н. Орлова, а дома, в Ленинграде и в Москве, кое-кто не прощал ему чересчур официальных характеристик некоторых литературных явлений, отдельных поэтов начала XX века. Между тем, говорила мне Минна Исаевна Дикман (она всегда защищала Владимира Николаевича от подобных нападок), такие официальные клише были вынужденным «джентльменским набором» того, что приходилось произносить по условиям «жестоких игр» в области идеологии, продолжавшихся и в 60-е, и в 70-е годы.

Владимир Николаевич не дожил ни до реабилитации Н. С. Гумилева, ни до отмены ждановского постановления, ни до широкой публикации В. Ходасевича, Вяч. Иванова, В. Набокова (последнего ценил чрезвычайно). В. Н. Орлов был одним из первых, кто всеми силами стремился сделать произведения этих авторов достоянием советских читателей. Так, в 1967 году в Малой серии «Библиотеки поэта» он подготовил к изданию сборник «Поэты XX века», в который включил наиболее значительные стихи одиннадцати поэтов, чья творческая деятельность в основном укладывалась в этот период: К. Бальмонт, Ф. Сологуб, И. Анненский, Вяч. Иванов, Андрей Белый, М. Волошин, М. Кузмин, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Ходасевич, Н. Клюев. В марте 1967 года небольшая публикация из будущей книги появилась в «Литературной газете», а через несколько месяцев, после изнурительной борьбы с «инстанциями», набор книги был рассыпан.

Сборник «Поэты XX века» окончательно погубило то обстоятельство, что за рубежом появились мемуары одной литературной дамы, высказавшей походя свою версию причастности Гумилева к контрреволюционному заговору. Надо было знать В. Н. Орлова, чтобы представить себе градус его ярости и негодования по адресу сей дамы-эмигрантки.

В муках рождались тома русских поэтов XX века и поэтов народов СССР в Большой и Малой сериях «Библиотеки». Так было и с Пастернаком, и с Мандельштамом, и с Ахматовой, и с Тицианом Табидзе, и с Перецем Маркишем. Трудно складывались судьбы поэтов и в посмертной жизни. Выход некоторых книг затягивался на годы. Приходилось перезаказывать вступительные статьи, поручать другим авторам составление и комментарии, предпосылать тому или иному «опасному» тому заметку авторитетного по тем временам, сиятельного лица, как бы дающего алиби большому поэту. Но книги — выходили. Затянутые в одинаковые «пиджаки» темно-синего цвета, рядом становились тома Иннокентия Анненского, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Марины Цветаевой, Саши Черного, Симона Чиковани. В течение четырнадцати лет, с 1956-го по 1970 год, главным редактором «Библиотеки поэта» был Владимир Николаевич Орлов. Это время мы называем по праву золотым веком «Библиотеки». Под самой крышей Дома книги, в двух комнатах на седьмом этаже существовал очаг нашей культуры. Самые квалифицированные научные силы страны, лучших филологов, переводчиков привлекал В. Н. Орлов к участию в издании книг. Работавшие при В. Н. Орлове редакторами В. С. Киселев, К. К. Бухмейер (Троицкая), Г. М. Цурикова, Д. М. Климова, Л. А. Николаева помнят атмосферу творчества и деловитости, царившую в «Библиотеке». Психеей «Библиотеки поэта» называл Павел Антокольский заведующую редакцией, верную помощницу В. Н. Орлова Ирину Владимировну Исакович.

Каждую книгу Владимир Николаевич обязательно читал сам, состав каждой обсуждал вместе со своим заместителем Исааком Григорьевичем Ямпольским, которому доверял абсолютно. В. Н. Орлов любил и в тонкостях знал книгоиздательское дело, это касалось и технической стороны издания, и оформления, и выбора шрифтов.

Большую школу в «Библиотеке поэта» проходила литературная молодежь. Обычно авторский коллектив формировался таким образом, чтобы одним из составителей, комментаторов трудной книги был маститый ученый, а рядом с ним работали менее опытные, начинающие.

Работавший сам с исключительным тщанием, Владимир Николаевич требовал того же от других. Оплошностей, ошибок не прощал. К халтуре был беспощаден. Никакие хорошие отношения тут не спасали. Какой скандал разразился над моей головой, когда в части рукописи тома Владимира Луговского, в расклейке «Середины века» я не поставила две точки над «Е» в слове «всё» (текстология «Библиотеки поэта» требует различать «все» и «всё»). Промах выяснился в первой корректуре — В. Н. Орлов метал громы и молнии. К счастью, дело оказалось поправимым, и уже во второй корректуре все точки над «Е» были на месте.

В «Стихотворной сатире первой русской революции» прокол оказался серьезнее: составители приняли поэта М. Волошина, сотрудничавшего в киевской сатирической печати, за Максимилиана Волошина и приписали последнему несколько острых, разоблачительных стихотворений, включенных в книгу. Не успел наш

многотрудный сборник (мы шли буквально по целине, обследуя все столичные и провинциальные периодические издания 1905—1907 годов) выйти из печати, как в издательство «Советский писатель» на имя В. Н. Орлова пришло разгневанное письмо вдовы М. Волошина Марии Степановны — Макс-де никогда этих стихов не писал! Гром разразился над нашими головами. Праведный гнев В. Н. Орлова мы делили на троих вместе с Н. Г. Захаренко и Э. М. Шнейдерманом. Правда, сам же Владимир Николаевич помог нам публично исправить ошибку: благодаря С. М. Машинскому, старому его приятелю, работавшему в «Книжном обозрении», была ускорена публикация нашего письма с признанием ошибки и объяснением ее причин — на страницах «Книжного обозрения».

Постепенно все обошлось, простилось, полузабылось, двери «Библиотеки» были по-прежнему открыты для каждого из нас, но, увы, в 1970 году, в расцвете научно-издательской деятельности, Владимир Николаевич покинул пост главного редактора, не выдержав изнурительной борьбы с «инстанциями» по поводу то одной, то другой книги. Я пишу «покинул», хотя дело обстояло иначе: его сняли, выжили кураторы идеологии и культуры из тогдашнего ленинградского Обкома; блестящего знатока дела сочли непригодным,— история, типичная для недавних лет.

Человек самолюбивый, гордый, В. Н. Орлов был оскорблен. Правда, нет худа без добра: больше времени оставалось теперь на собственную работу, точнее, на собственные сочинения, ибо все, что касалось «Библиотеки», было его родным. Так вот, он взялся за осуществление давней мечты — написать о Блоке документальный роман. В отличие от многих лихих беллетристов, бесстрашно берущихся писать биографию того или иного великого, известного человека, полагаясь на интуицию и домыслы (читатель любит книги о великих!), В. Н. Орлов пришел к своему роману, изучив Блока доскональноейшим образом, вдоль и поперек пройдя тропами его исканий, прекрасно зная эпоху, окружение поэта, его взаимоотношения с современниками. Мне кажется, что первым подступом к роману была давняя блистательная статья В. Н. Орлова «История одной „дружбы-вражды"» (Александр Блок — Андрей Белый).

Из всех своих книг Владимир Николаевич выделял «Гамаюн». Это было его любимое, позднее дитя.

Именно в «Гамаюне» в полной мере открылось, как сильно он был привязан к Блоку чисто человечески. Он Блока любил — и ревновал к другим поэтам, с которыми Блок в одно время жил, ревновал даже к женщинам, которые прошли через судьбу поэта; по существу ни одна из них не представлялась В. Н. Орлову по-настоящему достойной Блока.

Александра Блока могла немного потеснить в сердце Владимира Николаевича только Марина Ивановна Цветаева. Ее возвращением к читателям-соотечественникам во второй половине пятидесятых — начале шестидесятых годов мы обязаны тоже В. Н. Орлову. Публикации стихов и прозы М. Цветаевой в журналах, первое цветаевское «Избранное» 1961 года со статьей, комментариями Вл. Орлова, а затем солидный том ее избранных произведений в Большой серии «Библиотеки поэта» (1965), «Мой Пушкин», вышедший первым изданием в 1967 году,— вот вехи благородного, подвижнического и тоже влюбленного труда В. Н. Орлова.

Его союзницей и единомышленницей на этом поприще была Ариадна Сергеевна Эфрон. Ее проза — страницы воспоминаний о матери — вероятно, лучшее, что когда бы то ни было написано о Цветаевой, увидели свет в журнале «Звезда» тоже благодаря усилиям, хлопотам В. Н. Орлова, с его предисловием: частью в 1973 году, частью — в 1975-ом, за два месяца до кончины Ариадны Сергеевны. В одной из последних работ «Блок читает стихи. Страницы из дневника 1920 года» («Советская культура», 1980, 14 октября) В. Н. Орлов объединяет имена, судьбы самых любимых поэтов и говорит о той, что подвигла его на это сопряжение, об Ариадне Сергеевне, Але, девочке, которой «суждена была большая и сложная жизнь»: «Мы с Ариадной Сергеевной дружили и деятельно переписывались. Письма ее всегда были содержательны и интересны. Нередко они превращались в своего рода новеллы о прожитом и пережитом, о примечательных людях, с которыми ее сводила судьба. Однажды Ариадна Сергеевна решила порадовать меня рассказом о том, как в детстве она слушала Блока».

Когда Владимир Николаевич скончался, Анна Сакердоновна Ильина (Нюша), его домоправительница, нянька, единственный человек, не оставлявший его в беде, в болезни, попросила, чтобы я взяла на память о нем какую-нибудь вещицу, и сама протянула мне крошечную хрупкую чашечку старинной работы, о которой сказала: «чашечка Цветаевой». Ее подарила Владимиру Николаевичу А. С. Эфрон. Принадлежала ли она действительно М. И. Цветаевой, бог весть. Как бы там ни было, она овеществляет для меня связь между этими людьми, одного из которых я знала, почитала, любила.

Пристрастность, характеризовавшая отношение В. Н. Орлова к Блоку, проявлялась еще сильнее в «цветаевской ситуации». У Блока не было явной «пары»,

у Цветаевой была — Ахматова. Владимир Николаевич их подчеркнуто противопоставлял. Он, великий знаток, ценитель, исследователь поэзии, чуть ли не предписывал категорически: любя одну, не любить другую. В этом была вздорность, были каприз, своеволие, а в конечном счете, наигрыш, за которым, однако, скрывалось истинное, высокое отношение к той же Анне Андреевне Ахматовой. Это отношение выдают и стихи В. Н. Орлова, посвященные Ахматовой,— тетраптих складывался в течение сорока лет жизни обоих в одном городе, в одной нелегкой эпохе.

Второе стихотворение цикла помечено августом 1946 года. Нет нужды объяснять лишний раз, какая это была зарубка в судьбе Ахматовой, в судьбе всей нашей интеллигенции, всей отечественной культуры:

Здесь жизнь стиха, а в ней — судьба искусства.
Слова поэта суть его дела.
Пробившись сквозь лирическое чувство,
В ее стихи история вошла
И, разбросавши прошлого обломки,
Заговорила глухо, не спеша,
И, может быть, далекие потомки
Поймут, узнав чужой души потемки,
О чем сказала голосом негромким
Строптивая и гордая душа.

Стихи живут. Пусть по миру влачат их!
Они шумят, как крылья вольных птиц,—
В избытке сил, быть может, непочатых,
В игре страстей — без правил и границ...
Трудны пути. Опасны переправы.
И голос Музы хрипнет на ветру...
А подвиг стоит этой черной славы,
И смерть красна — не только на миру!

«Вот уж кто был бы рад сейчас!» — сказал М. А. Дудин, имея в виду Владимира Николаевича Орлова, вспоминая о нем в дни, когда праздновалось столетие со дня рождения Ахматовой, когда во флигеле Фонтанного дома торжественно открывали ее музей. И в самом деле, как бы он, испытавший на себе адовы муки, связанные с открытием музея-квартиры Блока, порадовался тому, что не сбылась угроза ленинградских партийных властей: музей Блока — последний персональный литературный музей, который в этом городе разрешается!

А в музее Ахматовой на одном из стендов, конечно же, место автографу орловского тетраптиха (Владимир Николаевич переписывал свои стихи друзьям; его посвящения Ахматовой хранятся, например, у Слонимских).

О Цветаевой В. Н. Орлов очень хотел написать большую книгу в таком же духе, что «Гамаюн».

Было название: «Царь-Девица» (по имени поэмы-сказки М. Цветаевой). Был накоплен большой материал. Была концепция нового документального романа. Не было здоровья.

Владимира Николаевича поразило тяжелое заболевание сосудов, сказавшееся на зрении. Он почти ослеп. Учился читать заново по детскому изданию «Конька-Горбунка» с крупным шрифтом. Эта книга стала настольной в буквальном смысле слова. В кабинете В. Н. Орлова сгустилась тоска. Загрустили без применения книги его уникальной библиотеки (литература начала XX столетия), внешне напоминающие своего хозяина в лучшие времена — лощеные, с иголочки, словно бы в накрахмаленных до звона воротничках и манжетах; идеальное состояние книг объяснялось тем, что никто, кроме самого Владимира Николаевича, за малым исключением, ими не пользовался, он сам говорил об этом. Во время болезни окончательно созрело решение — библиотеку всю целиком, не разрознивая, равно как и картины художников начала века, висевшие в кабинете, завещать музею Блока, начать передачу книг постепенно, при его жизни и под его наблюдением.

Работу он не оставлял до конца, но в основном это было собирание, систематизация всего написанного прежде — подготовка двухтомного собрания сочинений в издательстве «Художественная литература» и последней книги «Здравствуйте, Александр Блок» (Л.: «Советский писатель», 1984). Требовалась посторонняя помощь, был приглашен секретарь-чтец. Владимир Николаевич все строжайшим образом проверял на слух. Но поразительна была интуиция (нюх!) прирожденного издателя. М. И. Дикман рассказывала, как в своей последней книге, полуслепой, он тут же нашел единственную опечатку!

Крупные изображения, вдаль — он еще продолжал видеть неплохо и, пока мог, ходил в кино, посещал выставки. Помню, мы с М. А. Дудиным и Б. Ф. Семеновым встретили его в Манеже на выставке портретной живописи старых мастеров из собрания ярославских музеев. В ранних сумерках февральского дня все вместе возвращались по Адмиралтейскому проспекту. Владимир Николаевич тогда читал стихи М. Кузмина. Он много помнил наизусть из поэзии прошлого века и особенно из начала нынешнего. Блока — знал, помнил, кажется, всего, от первой до последней строки.

Иногда друзья пользовались моим посредничеством, чтобы отыскать, атрибуцировать ту или иную блоковскую строку. Киновед Изольда Сэпман, комментируя для собрания сочинений Г. М. Козинцева его книгу «Пространство трагедии», две цитаты Блока никак не могла найти. Откуда, из какого стихотворения вот это: «Так звени стрелой в тумане гневный стих и гневный вздох»? И еще: Блок говорил, что стихотворение — это покрывало, натянутое на острия нескольких рифм. Где говорил? Звоню Владимиру Николаевичу (это в пору, когда читать, нормально работать с книгой он не мог), как можно деликатнее, чтобы не причинить боли, спрашиваю, не помнит ли. Помнит! Первое — из стихотворения «Русский бред» (1919), которое очень редко цитируется. Второе — из дневников, такой-то год. Отвечает тут же, мгновенно. Он сам, чувствую, рад, что может помочь: значит, не все еще кончено!

В тех редких случаях, когда сам затруднялся дать ответ, советовал обратиться к Лидии Яковлевне Гинзбург. Мало кто из коллег, работающих в близких, сопредельных областях поэзии XX века, пользовался кредитом полнейшего признания с его стороны. Л. Я. Гинзбург была одной из немногих. Еще, среди более молодых исследователей,— его тезка, Владимир Николаевич Альфонсов (В. Н. Орлов боролся за выход его книг, за то, чтобы этого талантливого человека приняли в Союз писателей). Блоковедов, в большинстве, он не признавал, делал исключение лишь для Павла Петровича Громова.

Что было, то было: гордыней, резкостью, категоричностью он мог отталкивать людей, и в результате круг друзей сокращался. В последние годы он страдал от одиночества и, наверное, поэтому стал мягче, добрее, проще в отношениях с теми, кто проявлял к нему искреннее, бескорыстное расположение. Мы с М. А. Дудиным навещали его в Лисьем Носу, где ему приходилось проводить летние месяцы — поближе к Ленинграду, к медицине. И, случалось, около дома № 59 на Межевой улице, когда мы приезжали, стояла «неотложка». В благополучные дни сидели в беседке, гуляли. Разумеется, эта бедная дачная местность составляла для него слишком жалкий «фон». Вспоминались иные прогулки, вспоминалось, как «смотрелся» Владимир Николаевич на Университетской набережной, около Академии художеств, в аллеях Екатерининского и Александровского парков Пушкина, на Литераторских мостках у могилы Блока. Можно было вообразить его на улицах Рима, Венеции, Равенны — в Италии он был несколько раз, в том числе и в тех местах, что освящены именем Блока, из одной поездки привез медаль имени Данте, которой был награжден. Случилось так, что мы оказались вместе в путешествии по городам Испании осенью 1978 года.

«Все это было, было, было...». Однако и здесь, в Лисьем, скудость обстановки как-то забывалась за разговорами о высоком, о поэзии. На строгий суд Владимира Николаевича М. А. Дудин привозил новые стихи. Помню, когда в августе 1980 года он читал лирический цикл «Ключ», Владимир Николаевич попросил: «Миша, „Оду свече“ подари, пожалуйста, мне».

... Ночь. Ни звезды, ни месяца.
Ни вспышки, ни луча.
Но светит, светит, светится
Старинная свеча.

Пылает тревога ложная —
Смети ее, смети!
Гори, моя надежная,
Не потухай, свети!..

Ода была созвучна настроению Владимира Николаевича, к посвящениям-подаркам от поэтов-друзей Павла Антокольского, Кайсына Кулиева добавился теперь еще и этот (в 1971 году Дудин посвятил В. Н. Орлову также стихотворение «Прощаясь с Венецией»).

А Владимир Николаевич и сам всю жизнь, с юношеских лет писал стихи, но как-то не решался издать их отдельной книгой. Когда его не стало, члены комиссии по литературному наследию В. Н. Орлова, люди, любившие его, преданные его памяти, решили такую книгу собрать, полагая, что стихи — часть судьбы Орлова, человеческой и литературной, дополнят представление широкого читателя о личности замечательного литературоведа, исследователя русской поэзии XIX и XX веков. И. В. Исакович стала составителем книги, М. И. Дикман — редактором, М. А. Дудин написал небольшое предисловие.

«Дым от костра» — цельная лирическая книга. Вот он перед нами, ее автор. Стихам передались его осанка, манера держаться, говорить, и педантизм, и ирония, охлаждающая сентиментальность, и нетерпимость, категоричность в большом и малом, уживающаяся с душевной незащищенностью:

Прошу тебя: люби меня,
Зови меня по имени,
По имени, по отчеству,
Иль — как тебе захочется!

Черты человеческой личности виднее в стихах Вл. Орлова тем, кто хорошо знал его в жизни. А объективному читателю сверх того и прежде всего откроется образ современника многих памятных событий нашего столетия, образ потомственного русского интеллигента с его обостренным чувством гражданской совести, уважения к национальным святыням и ценностям мировой культуры, образ знатока, рыцаря и служителя Поэзии.

Путь Владимира Николаевича Орлова завершен — название книги «Дым от костра» (авторское название!) звучит прощально. Но в самой книге, в стихах разных лет полыхает костер человеческой жизни, костер страстей, которые и возвышали душу, и мучили.

С особенным воодушевлением говорит

Вл. Орлов в стихах про общность судеб современников, друзей, породненных служением поэзии. Он чеканит стихом прекрасные профили поэтов — и позолотой бессмертия отливают имена ушедших друзей Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани («Платаны на проспекте Руставели не поредели, разве — поседели. Они горели пламенем зеленым над Тицианом, Гоглой и Симоном...»).

Перечитываю стихотворение «Ответ», посвященное Ольге Берггольц, и вспоминаю, как впервые увидела отрывок из него вписанным в текст поздравительной телеграммы к шестидесятилетию Ольги Федоровны: «Милая моя дорогая Оля сердечно поздравляю тебя точка за те долгие годы что мы знаем друг друга утекло много воды но все так же сильно звенит твоя струна в тумане и для всех нас твоих верных друзей ты осталась все той же девчонкой ясноглазой звонкоголосой гулевой не преклонившейся ни разу светловолосой головой точка горячо желаю тебе всего доброго и прекрасного крепко обнимаю нежно целую искренне твой Владимир Орлов».

Недавно, пересилив себя, я пришла в дом № 1 по улице Желябова навестить Нюшу, заменявшую Владимиру Николаевичу и мать, и няньку. Жутко было в кабинете среди голых стен и пустых шкафов. Обыватели из литературной среды вроде бы поговаривали, что «все там у него из красного дерева». Может быть, и из красного, может быть, из других сортов, ей богу, не знаю. Жизнь в этих комнатах определялась не ценностью мебели, а библиотекой. Может быть, мы все-таки увидим ее воссозданной в том же виде, с соблюдением той же системы расстановки книг, что была в кабинете В. Н. Орлова,— увидим воссозданной теперь уже в кабинете его памяти при музее Блока на Пряжке.

Пуст письменный стол. Если не ошибаюсь, в правом верхнем ящике стола он хранил коллекцию настольных памятных медалей, которые собирал, выменивал и выманивал (выманил у меня медаль с профилем Блока — подарок М. А. Дудина, потом «возместил», кажется, Яблочковым).

Кроме голоса Нюши, причитающей все о том же («говорят, суровый был. Неправда это. Вид был суровый — не видел, чтобы поздороваться последние-то годы. Другого такого же хорошего, ласкового, доброго нет на свете...»), о прошлом напоминает вдруг тоненький звук: из настенных часов (не взятых в музей) на мгновение выскакивает кукушка. Эта кукушка немного развлекала, отвлекала его...

Кажется, чуть не последний раз мы виделись с Владимиром Николаевичем в этой комнате, когда я приходила к нему вместе с Андреем Тоомом, внуком П. Г. Антокольского. Он приехал из Москвы посоветоваться о литературном наследии деда, спрашивал, правильно ли поступает в том или ином случае, готовя публикации, сдавая часть материала в архив. Снова я диву давалась, насколько точно помнит Владимир Николаевич даже очень давние стихи старого друга, написанные в первые годы революции и по сию пору не напечатанные.

Владимир Николаевич очень страдал от того, что его многолетний труд как бы не замечают «свыше», что ко дню рождения — круглой дате — не удостоивают ни наградой, ни порядочной статьей в ленинградской прессе. Он понимал, конечно, что за ним тянется хвост «преступлений», совершенных в бытность главным редактором «Библиотеки поэта», когда он публиковал вступительные статьи А. Синявского, Е. Эткинда, изгнанных в дальнейшем за рубеж. Все это, повторяю, он прекрасно понимал и, тем не менее, ждал, чтобы его отметили, уважили чиновники, люди, которых сам он не уважал.

Единственное, что они позволили сделать,— это выполнить завещание В. Н. Орлова и похоронить его на Литераторских мостках Волкова кладбища неподалеку от могилы Блока. Владимир Николаевич скончался 8 марта 1985 года, через три дня умер Черненко, по этому поводу в Ленгорисполкоме, куда ездили с бумагами представители Союза писателей, отсутствовали какие-то нужные люди, ставящие печати, так что погребение затянулось.

Деревья умирают стоя.
А люди гибнут на ходу...
Быть может, самое простое —
Скучать в раю, гореть в аду.
Но, Боже, до чего же сложно
Пустое поле перейти,
Дойти — и посох свой дорожный
Не потерять на полпути...
От правды грубого столетья
Не убежать ни в рай, ни в ад,
Как не найти на этом свете
Ни утешений, ни наград.
Когда ж закончится кочевье
И разомкнется долгий плен,
Авось, умрем мы, как деревья,
Хоть перед смертью встав с колен

Это стихотворение (1957 г.) Владимир Николаевич в свое время переписал мне в подарок. Оно пока что не опубликовано, в книгу «Дым от костра» не вошло. Читателю судить о том, насколько совпадает автопортрет, запечатленный в стихотворении, и портрет человека, каким он остался в моей памяти.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Б. Окуджава. Избранные произведения в двух томах. Т. 1-й: Бедный Авросимов; Свидание с Бонапартом. Т. 2-й: Похождения Шипова, или Старинный водевиль; Автобиографические повествования. М.: Современник, 1989.

Когда пал гипсовый сталинский «ампир», и на его развалинах расцвела романтическая апология Революции, увлекла она и Окуджаву. Но скоро он почувствовал, что новая идеологическая декорация так же мертвенна, как и прежняя. Нужна была совсем иная мера вещей, и он нашел ее. Сломав жанровый стереотип, он назвал свой марш «сентиментальным». Он спел про девочку, которая плачет, и рассказал про мальчика, «школяра», попавшего на войну, повесть о котором тоже начиналась слезами: «В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды...». Реминисценция отсылала нас к раннему Толстому и к той школе, которая его воспитала — к сентиментализму Стерна и Руссо. Вслед за ними Окуджава отказал в доверии истории, мнимому величию которой он попытался противопоставить изначальную чистоту человеческой природы.

История предстает в романах Окуджавы грандиозной фикцией. Герои ведут бесконечную игру, меняя — чуть не на каждой странице — маски и одеяния. В «Свидании с Бонапартом» показан большой исторический перелом — падение павловской тирании: «одежда была так внезапна, так неправдоподобна — снова круглые шляпы на мужчинах ⟨...⟩, снова французские фраки под распахнутыми шубами...». Но репертуар истории в сущности однообразен, это «старинный водевиль» со смертельным исходом, «где убийц убивают и их убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые... И тот, кто крутит это колесо, ввергает их в преступления ⟨...⟩, и у них уже нет сил сопротивляться...»

Кто же «крутит колесо»? Герои толкуют о «судьбе», о каких-то «высших силах»... Простодушный Авросимов вдруг задумывается: «А нет ли этого начала и в нем самом?»

Автор вынужден согласиться. «Наивные пророчества Руссо» — не подтвердились. «Природа» не противостоит «истории» но ее порождает — всегда, в каждом человеке, когда он уступает искушениям силой, славой, властью. Романы Окуджавы — именно об этом, главный их предмет не история, а антропология. С трезвостью испытателя человеческой природы смотрит он и на самого себя, когда пишет свои «автобиографические повествования» — долгий реестр самообольщений, сладостных и пустых. К тому же жанру пришли и Руссо, и Толстой, назвав его, правда, более традиционно — исповедью.

Л. ДУБШАН

Эдуард Лимонов. ...У нас была великая эпоха. «Знамя», 1989, № 11.

Он писал, движимый таким нежным чувством! Он хотел рассказать о близорукости детства, вплотную приближающегося к миру, чтобы заслониться деталью от целого. Он хотел рассказать о детстве, совпавшем с великой сталинской эпохой, но вне этого совпадения, а только о маме, выводившей соляной кислотой татуировку на руке, только о фотографиях семейного альбома, в которых проглядывали связи, чуткие и мертвые, как растения в гербарии, только о похоронах, с которых, по надежде ребенка, возвращаются домой все — и покойник. Но он был поправлен мыслью, оказавшейся сильнее его слова и могущественнее чувства. Мысль же была — «вычистить» из литературы идеологию, ибо он уже знал, что антисоветские произведения отличаются от просоветских только арифметическим знаком, никакого отношения к искусству не имеющим. Но когда действие это было совершено, Эдуард Лимонов обнаружил вдруг, что вместе с вырванной идеологией держит в руках и этику, поскольку тождественны они для советской литературы вообще и для него самого, в частности. Тогда осталось сделать лубок, опереться на фольклорное сознание, не настаивающее на нравственности. Но тут подвел жанр, ведь лубок не что иное, как канонизированная мифема — миф для социального употребления. И вот пришлось Эдуарду Лимонову канонизировать мифему той самой великой сталинской эпохи, канонизировать идеологию, которую он ненавидел.

В романе есть эпизодическая фигура — Левитин — некий абстрактный соперник. «У каждого из нас, товарищи, есть в жизни свой Левитин. Иногда автору кажется, что его Левитин — это поэт Бродский». У последнего же есть строки:

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
К сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
Видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
Но раздвинутый мир должен где-то сходиться. И тут —
Тут конец перспективы.

Елена СКУЛЬСКАЯ

Эфраим Севела. Остановите самолет — я слезу! «Искусство кино», 1989, № 7—10.

Помните «синтетический» анекдот образца 70-х, будто бы сочиненный ЭВМ: «Звонок. Леонид Ильич открывает дверь. На пороге Штирлиц и Василий Иваныч, причем оба — евреи»? Вот из-за этого «причем» повесть — современница анекдота — не могла в те годы у нас быть напечатана. Ибо в ней затрагивалась крайне болезненная тема еврейской эмиграции. Парикмахер Аркадий Рубинчик сначала уезжает, потом пытается вернуться, и, в конце концов, не находит себе места ни там, ни здесь. Он бы вообще предпочел все время находиться в воздухе. Увы, самолеты имеют обыкновение совершать посадку либо там, либо здесь. Точь-в-точь в духе нашей тогдашней политической доктрины: уехал — враг.

Признаться, первый десяток страниц читаешь не без раздражения. Форма комической исповеди балагура-парикмахера диссонирует с тематикой, рождает неуютное ощущение танцев на похоронах. И все же чере́а какое-то время манера автора перестает шокировать. Потому, что в *своем* жанре повесть сделана уверенной рукой.

Трагедия эмиграции, разрушенных судеб, проблемы «отказников» и антисемитизма — от бытового до имперского — все это ждет еще своего воплощения в литературе. Севела создал анекдот, что тоже неплохо: наша многогранная действительность без «хохмы» была бы неполной. Другое дело, что сегодняшние евреи сильно отличаются от персонажей Шолом-Алейхема, и когда автор начинает следовать классикам буквально, он выглядит архаичным и провинциальным. Тем не менее, предоставив слово своему неунывающему герою, Севела высвобождает чувство национальной самоиронии, умение переживать беды с улыбкой, замечать какие-то смешные черточки, в первую очередь, не у соседа, а у себя самого. Думаю, первое инстинктивное сопротивление этой манере шло от воспитанной годами привычки к самозапретам: что, как и до какой степени допустимо писать, дабы не дать лишних козырей в руки альфредов розенбергов и юлиусов штрейхеров отечественного розлива (словно большинство своих чудовищных «аргументов» те давно не придумали сами). Будь повесть опубликована у нас в середине 70-х, она стала бы неплохим противоядием против шовинистических «фобий». Глядишь — и леденящие душу истории о «призраке сионизма» поблекли бы, не выдержав испытания смехом, и почву для грядущей «Памяти» было бы готовить хоть немного труднее.

Р. АРБИТМАН

Д. Затонский. Процесс. Повесть. «Радуга», 1990, № 1.

Пять или шесть человек в форме окружили главного героя повести, которого двое из них взяли под руки и повели в его собственный кабинет. Пересекая приемную, он заметил, что за приоткрытой боковой дверью блеснуло пенсне Лаврентия. Так был арестован Сталин...

Усладу современному читателю дает не столько злорадство при виде павшего тирана, сколько парадоксальная игра мысли. Впрочем, только ли это игра?

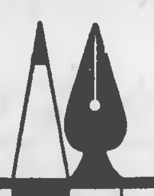
Что было бы со страной, если бы Сталин не дожил до 50-х годов? Или, наоборот, правил в 60-е? Наши историки не любят вдаваться в подобные споры. Втайне они фаталисты и предпочитают рассматривать исторический процесс как сугубо закономерный, а пройденный путь как единственно возможный. Между тем, в реальной жизни многое зависит от стечения обстоятельств. Разбор несбывшихся вариантов помогает понять действующие силы и лучше оценить перспективы.

Автор небольшой повести описывает такой вариант: следом за другими вождями — Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Рыковым — сам Сталин пал жертвой созданной им системы взаимных подозрений, фантастических обвинений и жестоких репрессий. Не так уж невероятно, чтобы в эту машину затянуло самого создателя: ведь и те вожди были фигурами не менее значительными. Правда, в СССР такой вариант был более реален не после войны (как в повести), а перед ней: тогда только что прервалась чехарда свергаемых. Коль скоро «врагами народа» объявлены «любимец партии» Бухарин и глава Интернационала Зиновьев, то почему бы не Сталин? А союз с Гитлером был великолепным поводом для обвинения — самым наглядным и понятным для народа!

Повесть, однако, выглядит оборванной. Только-только развернулась экспозиция — и уже концовка: очередной следователь, преданный Сталину, клянется собрать ребят и отбить вождя. Сталин не поверил — и правильно: даже в годы культа личности *эта* организация была верна не личности, а системе.

Гораздо интереснее другое — как повел бы себя народ. В повести Сталин, стоя у окна, гадает, что сделали бы люди, узнав, что он, плененный, стоит у окна и смотрит на них. «Если бы он только крикнул, попросил о помощи, народ разнес бы этот дом на Лубянке и вызволил своего вождя...» Мы-то знаем, что это не так. Воспитанный им народ единодушно одобрил бы арест, скорый суд и смертный приговор.

ЛЕВ САМОЙЛОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Мини-мемуары

Игорь ИНОВ

ВЕСНА, ОПАЛЕННАЯ СТУЖЕЙ

Моим друзьям в Чехословакии — рыцарям и мученикам «Пражской Весны».

Я заканчивал работу над документальной повестью о чешских театральных клоунах и комедиографах Я. Верихе и И. Восковце, собирался писать книгу о судьбе поэта В. Незвала и в августе 68-го по командировке Союза писателей направлялся в очередной раз в Прагу. Ехал я через Москву. Во дворе СП СССР на улице Воровского случайно встретил К. Симонова, лично знавшего и переводившего В. Незвала. Сказал ему, что собираюсь в Чехословакию. «В интеррэсное врремя едете»,— отозвался К. Симонов, грассируя и одобрительно улыбаясь.

Вагон «Москва — Варшава — Прага», в который я сел на Белорусском вокзале, был подозрительно пустоват. Уже потом я узнал, что оказался чуть ли не последним советским гражданином, которому позволили выехать в Чехословакию с деловыми целями,— видимо, по недосмотру. Иных снимали прямо с поезда.

В Прагу я приехал утром 10 августа. Там меня уже ждали жена с сыном. Жена, Ирина Макаровна Порочкина, читавшая лекции по чешской и словацкой литературам на филфаке ЛГУ, была командирована на Летние курсы славистов — их ежегодно проводит Карлов университет для зарубежных филологов. Разноплеменных слушателей разместили в университетском общежитии «Будеч». Там же поселился и я.

Обновлявшаяся после долгих лет запустения чешская столица была разрыта вдоль и поперек, многие трамваи изменили свои маршруты — это как бы символизировало время перемен общественного курса в Чехословакии! По Праге сновали разномастные частные такси, открылись частные кафе — первые приметы экономической реформы. Возродились, активизировались традиционные политические партии, дотоле задавленные диктатурой КПЧ. Возникали новые общественные и профессиональные объединения. На улицах, в клубах кипели дискуссии. Была отменена цензура, и пресса впервые после готвальдовского путча 48-го вздохнула свободно. Продолжался сбор подписей под манифестом «Две тысячи слов», в котором обскуранты по обе стороны чехословацко-советской границы усмотрели «платформу контрреволюции». Отстояв длинную очередь у «Детского мира» на Пршикопах (нарядная улица в центре Праги), подписали манифест и мы с женой. Радостное воодушевление, вроде того, какое нам предстояло пережить в начале нашей собственной перестройки, владело пражанами.

Но в приподнятой атмосфере преобразований все явственнее ощущалась тревога. Нас с женой и сыном пригласил к себе на дачу профессор Ф. Водичка — директор Института чешской литературы, некогда посетивший нас в Ленинграде. Вместе с другими гостями мы сидели под пологом еловых ветвей, и разговор все время возвращался к недавним советско-чехословацким переговорам в Братиславе и Чиерне-над-Тисой. Чехи деликатно высказывали опасения, не прибегнет ли Москва к силе. Спрашивали, что думаем об этом мы. На помещенной в газете «Литерарни листы» карикатуре Чехословакия была изображена в виде беременной женщины, А. Дубчек — лидер «Пражской весны», нынешний председатель Федерального собрания ЧСФР — в виде врача с фонендоскопом на шее. Подпись под рисунком гласила: «Если не будет никаких осложнений,— доно́сите!». Нам, видевшим как деятельна и оживлена Прага, нам, ежедневно слышавшим по

радио и читавшим в газетах искренние слова дружбы в адрес русских, «осложнения» казались маловероятными, хотя мы и испытывали глухое беспокойство.

Я записался в университетскую библиотеку, стал бывать в Институте театра, сотрудники которого очень помогли мне, когда в 1965—1966 годах я жил в Праге, собирая материал для книги о Я. Верихе и И. Восковце.

Ночью с 20 на 21 августа я проснулся от стука в дверь. «Нас оккупировали!» — раздался из-за двери рыдающий голос добрейшей пани Штепанковой — вахтерши. И тут же мой слух различил тяжелый надсадный гул самолетов. Было часа два-три. Я кинулся к раскрытому окну. В черном летнем небе мигали, проплывая к Рузыньскому аэродрому, красные сигнальные огни. Я включил радио. Президент Л. Свобода, боевой генерал, едва сдерживая слезы, извещал сограждан о «неспровоцированном нападении армий пяти стран Варшавского Договора» и призывал население воздержаться от каких бы то ни было действий, могущих повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Светало. Наскоро одевшись, мы с женой сбежали на первый этаж, где находились канцелярия и гостиная с телевизором. Там уже собрались едва ли не все обитатели «Будечи»: курсисты-иностранцы, администраторы-чехи. Мы пожали чехам руки и выразили свою солидарность с ними. Ни единого враждебного слова, ни единой укоризны не услышали мы от них в ответ. Телевизор был включен, и диктор, словно бы задыхаясь, комментировал ход операции по захвату телестудии. «Они уже на первом этаже... Уже на втором... Они уже в соседнем помещении... Слышите? Мы с вами, будьте с нами! (Эти слова станут девизом сопротивления! — *И. И.*) Они...» Экран передернуло, и диктор канул в серое безмолвие... Кто-то из чехов вскрикнул: «Йой!». Сидевший рядом молодой филолог из администрации разрыдался, обхватив голову руками. «И как допускают такое другие страны?!» — послышался отчаянный возглас. «Кому мы нужны!..» — последовала горестная реплика. Трагедия маленькой страны, из-за которой никому неохота ломать копья...

Я вышел на Венцигову, спустился к Вацлавской площади. Потемневший от времени монументальный фасад Чешского Национального музея пестрел белесыми оспинами — следами от пуль. Площадь была захлестнута людским морем, бившимся о бронированные скалы советских танков. Истово жестикулирующие люди что-то внушали, объясняли сидевшим на танках и стоявшим подле гусениц солдатам, офицерам. По нескольку ораторов сразу взбирались на высокий цоколь конной статуи святого Вацлава — покровителя чехов. Постамент был убран цветами и обклеен призывами, предостережениями, изобличениями, в горячности которых выражались смятение и обида: «Ни сегодня, ни завтра мы не будем заодно с оккупантами!», «Брежнев рехнулся!», «Требуем нейтралитета!», «Дубчек — Свобода!». И под этими пластырями на ранах, вероломно нанесенных национальному достоинству, была уже не видна начертанная на монументе мольба, обращенная к св. Вацлаву: «Не дай загинуть нам и грядущим!». На вздетом копье легендарного князя, убитого по наущению брата, колыхался трехцветный флажок.

Друзья, в том числе и из Института театра, знали о моей приверженности «Пражской Весне», и я счел своим долгом немедленно отправиться в Институт, чтобы выразить свое возмущение случившимся.

Протискиваюсь сквозь толпу к нижнему концу Вацлавской площади. Людское море клокочет. Люди жгут портреты Брежнева, разбросанные с вертолетов советские листовки. Из прилегающих улиц тянет гарью — догорают перевернутые автобусы и легковушки. Окна во многих домах выбиты. Таблички с названием улиц — белое по красному — сорваны: горожане стремились затруднить передвижение оккупационных войск. На носилках — труп мужчины, прикрытый государственным флагом. Из репродукторов доносятся горделивые строки Я. Неруды «Только вперед!», мужественные слова гуситских хоралов, музыка Сметаны, Дворжака, боевые песни Я. Ежека на слова И. Восковца и Я. Вериха, стихи о Праге В. Незвала, строфы Ф. Галаса: «Малодушные, думайте о хорале! И гоните от себя страх!». И вдруг — пауза. Догадываюсь: Радиокомитет пал. Диктор только и успевает произнести на прощание горестно-ироническое «Передохните!..». Вскоре по всей республике заработают подпольные, в целях безопасности постоянно менявшие свое местонахождение радиопередатчики.

На Национальном проспекте у входа в Клуб писателей, где я еще недавно сиживал с чешскими коллегами за бокалом мельницкого рислинга или пльзенского пива, стояли советские автоматчики. Возле редакции «Литерарних листов» на набережной Влтавы — тоже. Добравшись до Института

на Малой Стране, я узнал, что помещения всех творческих союзов, а также редакций «контрреволюционных» газет и журналов заняты «малиновыми беретами». Сотрудники Института как раз подписывали протест против незаконного вторжения извне. «Можно и я?». Мне протянули ручку, затем булавкой пришпилили к рубашке нейлоновую ленточку с тремя продольными полосами, повторявшими цвет государственного флага. Я был горд.

На двенадцать часов дня была назначена общенациональная двухминутная стачка: пешеходам надлежало замереть там, где их застигнет рев заводских сирен и автомобильных клаксонов. Нас с женой полдень застал на Капровой улице. На другой стороне жались к стенке девушки в белых халатах. Движение в городе остановилось. Вся Прага, вся республика от Чиерны-над-Тисой до Аша стонала в непокорном оцепенении. Неподалеку от дома, где мы бастовали, жил когда-то руководитель джаз-оркестра Освобожденного театра — театра И. Восковца и Я. Вериха Я. Ежек, чьи лирические, шуточные, маршевые антифашистские песни в 30-е годы распевала вся республика. Изваянный в бронзе композитор, горделиво вскинув голову, смотрел поверх человеческой суеты с высоты второго этажа. Один из самых поэтичных блюзов Я. Ежека назывался «Темно-синий мир». «Темно-синим» — несмотря на яркое полуденное солнце — виделся мир в эти минуты и нам.

Курсы славистов завершились, не завершившись. Библиотеки, архивы не работали. Да и нам уже было не до литературных разысканий! К тому же и Я. Вериха не оказалось в Праге, он проводил лето на даче в Вельгартицах и 21 августа по совету доброхотов перебрался на некоторое время в Австрию: ему, активисту «Пражской Весны» (в 68-м Я. Верих еженедельно комментировал «злобу дня» в телевизионной передаче «Что вы на это скажете, пан Верих?») оставаться дома было небезопасно.

Мы решили уезжать. Пошли на вокзал. Там было полно солдат. Они подкреплялись из котелков дымящейся кашей. Лейтенант, явно приняв нас за жертвы чешской «контрреволюции», сочувственно пояснил, что поезда не ходят и что первый поезд на Москву, возможно, уйдет 24-го. Он предложил нам поесть — мы отказались.

Экипаж танка, разворотившего гусеницами газон вокруг памятника А. Ирасеку, автору романов о гуситах, насыщался из консервных банок. Всухомятку. «Оккупантам — ни корки хлеба, ни глотка воды!» — повелевал призыв на стенах домов, на зеркальных стеклах витрин, как-то вдруг потускневших, омертвевших.

Противоречивые чувства испытывал я при виде наших солдат на улицах и площадях Праги. Они вызывали у меня жалость и негодование. На Староместской площади, где рвущийся из бронзового пламени Ян Гус оказался в окружении орудийных расчетов, тщедушная старушка пыталась на ломаном русском языке втолковать юному артиллеристу, что так с друзьями не поступают, что никакой «контры» нет. На ее вопрос, знает ли он, в какой стране находится, солдатик пролепетал, запинаясь: «Вроде как в Польше». Множество подобных разговоров, споров пражан с непрошеными гостями слышали мы в те дни на улицах Праги. Наши солдаты подчас ничего не понимали и были тоже ошеломлены таким оборотом. Начальство даже не удосужилось или не успело впопыхах сообщить, куда их перебрасывают. И уж тем более не знали солдаты правды о том, что происходило а Чехословакии. Это, а также вполне объяснимый страх, который они испытывали, очутившись в неведомом городе, в кольце иноязычной возбужденной толпы, становилось причиной того, что иной раз они открывали огонь по безоружным и ни в чем не повинным людям. Взаимная враждебность усиливалась. Каких только инцидентов не случалось в сумятице тех дней!

Я видел, как утюжил Вацлавскую площадь танк под номером 023. А на Смихове (промышленный район Праги) стоял и до сих пор стоит на постаменте танк под номером 23 — первая боевая машина, ворвавшаяся в восставшую и взывающую о помощи чешскую столицу в мае 45-го. Тогда наших танкистов осыпали цветами... Терпкая ирония судьбы! Номера двух этих танков, принадлежавших одной армии, разнились всего лишь нулем, но это был нуль, к которому великодержавное насилие свело в августе 68-го и многовековые, уходящие в глубь истории симпатии чехословаков к русским, и ту искреннюю признательность, какую чехи и словаки питали к советским воинам-освободителям весной 45-го. Останки погибшего тогда русского солдата будут сорок с лишним лет спустя перенесены с площади Красноармейцев в центре города на Ольшанское кладбище, а сама площадь обретет имя Яна Палаха, студента, который в знак протеста против оккупации Чехословакии в 68-м решился на самосожжение.

«Вчера любимцы, сегодня — убийцы!» — кричали настенные листовки и

прокламации. На некоторых из них были изображены пронзенная штыком голова А. Дубчека (надпись: «Такой он, этот ваш мир»), звезда с фашистским пауком посередке, эмблема гитлеровского СС, соединенная с двумя последними буквами аббревиатуры «СССР»; монстр, на голове которого надпись «СССР», а на четырех руках — названия стран, принявших участие в удушении чехословацкой перестройки (комментарий: «Дружеские объятия»), серп и молот (надпись: «Современные орудия пыток»), дорожный указатель, стрелы которого помечены словами «Москва», «Берлин», «Варшава»...

Не раз вспоминалась мне в те трагические августовские дни зима 43-го, когда в Кисловодск, где мы волею тоже трагических обстоятельств полгода прожили с матерью при немцах, въехали на запряженных волами двуколках наши солдаты — смертельно усталые после спасительного Сталинграда, с посеревшими лицами, в прокопченных шипелях, иные даже без сапог, в одних портянках... Со слезами радости на глазах, радости, какой не испытывал я ни до, ни после, бежали мы вслед за ними, протягивая чудом уцелевшие куски самодельного хлеба из картофельных очисток, а у победителей не доставало сил протянуть руку, и головы клонились, и глаза закрывались сами собой... Какими патриотами были мы в те незабываемые минуты!

Но вот прошло тринадцать лет, и мир содрогнулся, узнав о кровопролитии в Венгрии. Еще через двенадцать — насилие в отношении Чехословакии. На А. Дубчека прямо в здании ЦК КПЧ надели наручники и увезли в московскую неизвестность. Та же участь ожидала и других приверженцев «Пражской весны». «Черные "Волги"» (далее перечислялись номера машин. — *И. И.*) арестовывают наших людей», — предупреждали листки на домах. Горько и стыдно было за родную страну.

Первоначальная растерянность горожан (несмотря на обострившиеся летом разногласия между Прагой и Москвой, чехи, словаки все-таки надеялись на благоразумие и благородство «старшего брата»!) постепенно уступала место решимости действовать. По улицам проносились грузовики, переполненные молодежью, в руках у парней и девушек государственные флаги, транспаранты с требованием вывести войска и освободить А. Дубчека. Из рупоров и мегафонов неслись призывы к единению, стойкости. По всей Праге шла лихорадочная кампания по сбору подписей под всевозможными воззваниями, протестами. Среди внизчащихся под ними тысяч чешских имен затерялись и наши с женой имена... В своей солидарности с чехами и словаками мы были не одиноки. Но далеко не все наши земляки, находившиеся в то время в Праге, считали агрессию поступком недальновидным и безнравственным. На Пршикопах мы заприметили издали одного московского слависта — давнего знакомца. Увидев, как мы склоняемся над раскладным столиком, чтобы подписать очередной протест, ученый муж круто свернул в сторону и поспешил удалиться, дабы не скомпрометировать себя созерцанием подобной «антисоветчины».

24 августа поезд, о котором нам говорил сердобольный лейтенант, действительно отбывал в Москву. В тот день мне исполнилось тридцать восемь. Молча и скорбно отобедали мы по этому поводу в ресторане Дома продовольствия, откуда был виден изуродованный фасад Чешского Национального музея. Затем отправились на Главный вокзал.

Поезд медленно и долго, словно на ощупь, выбирался из лабиринта городских кварталов, пакгаузов. Проплыл за окном облупленный желтый фасад дома с черной, сохранившейся, вероятно, еще со времен Франца-Иосифа, рекламой «Краски. Лаки», — из года в год она встречала и провожала меня. С тяжелым сердцем покидали мы Прагу, мысли наши вновь и вновь возвращались к чешским друзьям, с которыми мы обнялись на прощание, не зная, что нас всех ожидает в будущем.

В Москве, в Центральном Доме литераторов меня отвел в укромный уголок ответственный сотрудник Иностранной комиссии ССП и тихим заговорщицким голосом спросил: «Ну, как чехи?». — «Чехи нас ненавидят. И это — на несколько поколений!» — выпалил я в сердцах: пережитое саднило во мне, кровоточило.

Я здесь нечаянно засел
в попытке выжить и не
спятить,
не на распутье — на распятье
одноколейки и шоссе...
С отчаяния — по горам!
С позором — ящеркой в
расселину!
Попытка заживленья ран...
Ожогом в листья! Пытка
зеленью...—

сложатся вскоре строки на юге, где я медленно приходил в себя.

В Чехословакии началась чистка, репрессии — так называемая «нормализация», сказавшаяся, помимо всего прочего, и на журнально-издательской деятельности у нас. Свобода выбора чешских и словацких художественных произведений для перевода сменилась аморальной, порой наглой практикой навязывания опусов десятка «апробированных» авторов. Малейшее нарушение разрешительных списков грозило «международным» скандалом. Опубликованные в «Неве» пять строк старейшины чешских поэтов Я. Сейферта, где говорилось о том, как в мае 45-го чешская девочка напоила водой красноармейца, навлекли на себя гнев высочайших инстанций. Трещали телефоны, шло дознание с пристрастием. В поэме В. Незвала «В пяти минутах от города» пришлось вымарать существительное «гусак», — мол, еще заподозрят чего доброго намек на фамилию тогдашнего главы КПЧ и чехословацкого государства... Выпущенная ленинградским отделением издательства «Искусство» моя документальная повесть «Ян Верих» по навету И. Тауфера, сотрудника чехословацкого посольства в Москве, была запрещена; не успевшую разойтись часть тиража превратили в бумажное крошево. С признательностью вспоминаю о том, как мужественно отстаивала книгу редактор Н. К. Войцеховская.

Первый раз после того августа я приехал в Чехословакию в 70-м году. Атмосфера в стране была похоронная. Смолкли уличные оркестры, исчезли с Карлова моста художники. Лица хмуры. Доктор В. Барнет, с которым я учился в ЛГУ, прежде чем что-то произнести, запер дверь кабинета на философском факультете Карлова университета, потом обеспокоенно приложил к губам палец и сдавленным голосом обронил несколько ничего не значащих фраз... Вскоре он свел счеты с жизнью.

Неузнаваемой стала и обстановка в новообразованном Союзе писателей. Улетучилась былая непринужденность, товарищеская доверительность. Чопорной подозрительностью веяло от литературных аппаратчиков. За каждым моим словом и шагом следили: с кем я общаюсь, куда хожу. А я продолжал общаться с опальными друзьями и знакомыми. Навещал Я. Вериха, художника и писателя А. Гофмейстера, художника Ф. Музику, поэта Я. Сейферта. В Словакии, где дышалось чуть легче, — драматурга П. Карваша, прозаика Л. Тяжкого. Я льстил себя сумасбродной надеждой, что хоть немного ободрю этих честных людей и блистательных творцов, посильно скрашу их вынужденное отшельничество, — мол, видите, не все в СССР поверили лжи о чехословацкой контрреволюции.

Чехословаки, общественное бытие которых долгие годы зиждилось на демократических, гуманистических идеалах Т. Г. Масарика, одного из основателей и первого президента Чехословацкой республики, не сдавались. Год от года крепло правозащитное движение, апогеем которого явилась бескровная революция 17 ноября 1989 года. Революция восстановила историческую справедливость, вернула доброе имя тысячам оболганных и репрессированных людей, широко распахнула дверь перед изгнанниками поневоле. «Правда побеждает!» — этот девиз Я. Гуса нашел в чехословацкой революции 89-го триумфальное подтверждение и воплощение.

Вернисаж «Седьмой тетради»

На двух прошедших в 1989 году выставках ленинградцы имели возможность познакомиться с фрагментами создаваемой художником Вячеславом Чеботарем монументальной композиции «Жертвам насилия всех времен и народов», с живописными эскизами к ней. Выставки привлекли внимание, но зрителям не просто было понять многоплановый замысел «сверхкартины» во всем его объеме. Мнения профессионалов, в том числе тех, кто, начиная с дипломной работы В. Чеботаря, следит за его творчеством, далеко не однозначны. Доктор философских наук, профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина В. Ф. Рябов, например, в целом одобряя начатую работу, замечает: «Очевидно, мы, современники, страдающие от засилья стереотипов, едва ли способны верно оценить замысел В. Чеботаря». Большинство из тех, кто увидел фрагменты задуманной художником сверхкартины, высказались за то, чтобы многотрудная, подвижническая работа была продолжена и завершена.

Сегодня положение живописца отчаянное — четыре года не решался вопрос с художественной мастерской, время тратится на беспрерывные утомительные пробивания и согласования, так что сил для творческого труда почти не остается. И вполне может так случиться, что Вячеслав Чеботарь сам превратится в жертву и окажется среди тех, кому посвящена его сверхкартина.

Е. АНУЧИН

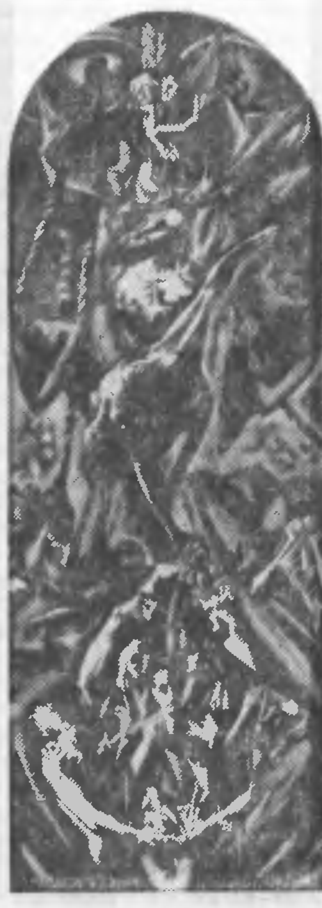
СВЕРХКАРТИНА ВЯЧЕСЛАВА ЧЕБОТАРЯ

Термин «сверхкартина», при кажущейся его нарочитости и претензионности, выражает емкое понятие. Само это понятие лежит в ряду таких, как сверхзадача К. С. Станиславского, сверхлитература в понимании А. Адамовича и Ч. Айтматова, сверхтеатр в системе мироощущений литовского режиссера Й. Вайткуса. Приставка «сверх» подчеркивает прорыв в новую эстетику.

Сверхкартина замышляется художником Вяч. Чеботарем как произведение монументального искусства. Она состоит из множества сюжетно и композиционно связанных картин общей площадью живописной поверхности около 2000 квадратных метров. Эту живописную композицию предполагается разместить в специально выстроенном здании. Сверхкартина будет включена в единый полифорум, где живописный и архитектурный компоненты дополняются музыкальным и поэтическим. Особенность изобразительного строя живописи в преодолении как внешнего правдоподобия реализма, так и трагической безысходности авангардизма.

Девиз сверхкартины — восстание против тьмы возможного несуществования человечества с помощью духовного возрождения. Пробудить, воскресить, верно направить дремлющую в каждом из нас энергию жизнеутверждения можно лишь через живое храмостроительство, побудить к добротворению можно лишь через переживание.

В сверхкартине сопрягаются два пути человечества: один — восхождение на Голгофу как олицетворение трагизма человеческого существования, второй — путь спасения.



Зритель, рассматривая сверхкартину, сам проходит оба эти пути сначала по внутренней, а затем по внешней спиралям, образуемым архитектурными объемами. Внутренняя спираль, раскручивающаяся в замкнутом пространстве, символизирует закрытую общественную систему. Внешняя спираль, развертывающаяся по наружной стороне сооружения, напротив, обращена к космической беспредельности, она символизирует собой открытую общественную систему будущего — ту самую загадочно-манящую страну, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

Контуры изобразительного решения пути на Голгофу просматриваются уже сегодня в целом ряде подготовительных живописных фрагментов и эскизов художника. Этот путь рассчитан на сопереживание зрителя, который, поднимаясь по террасам, останавливается на платформах, чтобы рассмотреть картины. Цикл картин — не хронологическая лента: он создается вне конкретных времени и места действия, он начинается с древних сюжетов «семи грехов» — чревоугодия, сладострастия, корыстолюбия, уныния, гнева, зависти и предательства. Далее следуют платформы с сюжетами «семи добродетелей». Другие сюжеты перекликаются с проблематикой «Божественной комедии» Данте, с апокалипсическими видениями, привнесенными в копилку жестокостей и сверхнасилия XX веком.

Радоваться бы, что животворный ключ жизни выносит на сцену Истории праведников и правдоискателей. Но тем безжалостней вовлекаются в круговерть насилия все новые и новые жертвы. Центральная композиция образует крестообразную форму, здесь один из ключевых мотивов сверхкартины. Идейный центр и средоточие общего движения участников живописного действия — новомученик в окружении сограждан. Вот она, очередная жертва! Она как бы подвешена к языку колокола, она как набат взывает к людским сердцам, но лишь разбивает собственную голову. Мучительные попытки пробудить в людях энергию жизнеутверждения все еще тщетны. Они завершаются гибелью праведников.

Как разорвать путы закрепощенного сознания? Как избавиться от состояния нравственного одичания и найти путь к спасению? Идея спасения существует с ветхозаветных времен, но в последние десятилетия призрак пропасти небытия маячит не только перед отдельным человеком, но и перед человечеством.

Религия видит путь к спасению во внешних, божественных силах, в духовном возвышении отдельного человека как сына Божьего. Это путь смирения, покорности, успокоения, уничижения перед величием Божьим. Такой путь спасения иллюзорен, ибо помимо естественной, природной зависимости, человек попадает в зависимость надприродную.

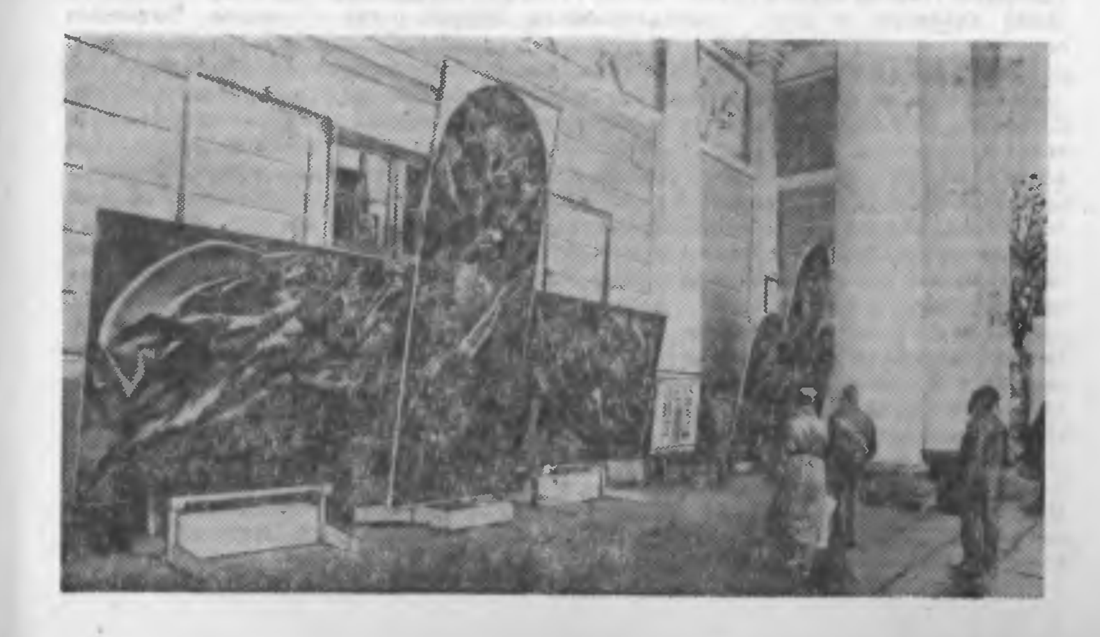
Светская гуманистическая идея спасения исходит из сущностных сил самоценного человека и во многом строится на афоризмах: «Человек — это звучит гордо!», «Человек сам кузнец своего счастья». Но жестокая реальность истории не устает подавать нам примеры того, как скоро гордость перерождается в гордыню, гордыня — в самодовольство, самодовольство — в спесь, спесь — в насилие.

Нет спасения вне христианства,— провозглашает церковь. Нет спасения вне гуманизма,— утверждает светская социальная мысль. Но для личного и общечеловеческого спасения недостаточно только христианской или только гуманистической идеи. Как христианство, так и гуманизм, последовательно и неуклонно воплощаемые, неизбежно приводят к фанатизму, а значит, вместо спасения толкают к насилию. Ни религия, ни гуманизм, несмотря на множество положительных сторон, не могут решить проблему человеческого предназначения.

От фанатизма и нетерпимости может спасти диалектика. Она не дает окончательных ответов, она честно признает, что не знает этих ответов. Она все время побуждает искать их на путях созидательной деятельности. Причем, условием такой деятельности является следование известному суждению Гераклита: «Мышление — великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и, чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно».

Через синтез религиозного и светского начал только и может быть постигнута та «иная реальность», которая именуется духовностью. В современной философской литературе духовность понимается как триединство теоретизма, этизма и эстетизма. Каждое из этих трех понятий может быть рассмотрено в парных атрибутах истины и заблуждения, добра и зла, гармонии и дисгармонии. Такое трехмерное, а лучше сказать, цельное, многомерное понимание духовности неизбежно влечет за собой признание необходимости изменения видовой природы человека от Homo sapiens к Homo spiritualis. Упование только на разум завело нас в тупик. Еще Ф. Бэкон предостерегал об опасности идолов разума. И что же? За минувшие столетия разум, многократно отразившись в кривых зеркалах Истории, еще более наводнил мир химерами и монстрами. Опутанные ложью и предрассудками, люди утрачивают вкус к подлинности. Это не свидетельство против Разума, но факт присущей ему фатальной ограниченности, ибо он скован каркасом детерминированности.

Только открытая система мира, основанная на новом понимании духов-



ности, спасет человека и человечество, уведет его из тупиков безысходности к собственному живому храмостроительству. И порукой тому будет цикл картин на внешней стороне архитектурного памятника, где воплотятся сюжеты, основанные на понятиях соборности, всеединства, Софии, новой этики, духовности и энергии жизнеутверждения, что корнями уходят в творения русских религиозных мыслителей от А. С. Хомякова до отца Павла Флоренского и Н. А. Бердяева, включая великого объединителя судьбоносных идей Востока и Запада — Н. К. Рериха.

Все сказанное — фантом или ничто без творца, исполнителя. Художник Вяч. Чеботарь своими идеями живет. Или нет пророка в нашем Отечестве? Пусть состоится дерзновенная попытка. Великодушное отношение к помыслам художника, вера в него будет залогом не его спасения, но нашего.

Дело прошлое

Мне довелось видеть одну старую фотографию: министр финансов Российской империи Петр Львович Барк в окружении многочисленных подчиненных. Ухоженные бородки, нафабренные усы, фраки, орхидеи в петлицах. Это было на чествовании министра в 1914 году, и все слегка прифрантились. Возможно, что и автор дневника, пожелавший скрыться в историческом прошлом, тоже попал в кадр. Но кто он? Как его звали?

О себе сообщает мало — выпускник Императорского училища правоведения, возраст — от 18 до 40, служил в Особенной канцелярии по кредитной части, холост, православный, по всей видимости, аристократ. Вскользь упоминает о родителях, о своих коммерческих делах, о светских знакомых. И — через весь дневник проходит — боль и трагедия человека, попавшего в «революционные жернова».

В «Списке личного состава Министерства финансов на 1916 год» (такой, к счастью, отыскался в Государственной Публичной библиотеке) Особенная канцелярия по кредитной части занимает несколько столбцов. Данные о каждом из чиновников — год рождения, вероисповедание, какое учебное заведение окончил, время вступления в службу, награды... Стоп! Посмотрим-ка бывших «правоведов» — теперь список значительно уменьшился. Молодых аристократов среди них совсем немного. А вот, кажется, и он — тот, кто мог быть автором дневника,— коллежский асессор, чиновник особых поручений Сергей Константинович Бельгард.

В 1918 году ему исполнилось 27 лет. Его дед был участником турецкой кампании 1828 года, генерал-лейтенантом русской службы, героем Крымской войны, отец — камергер двора, входил в управление Аничковым дворцом, там же и жила семья до Февральской революции. А после — родители, вероятно, переехали на Галерную (так, во всяком случае, можно судить по дневнику), а сам Сергей Бельгард заявил квартиру в доме, принадлежавшем Министерству финансов. Адресные справочники указывают, что в этом доме на Тучковой набережной, 2, жил и товарищ министра финансов С. А. Шателен, заходивший к «петроградскому чиновнику».

Но и эта квартира оказалась для автора дневника временным пристанищем. 23 ноября 1917 года он запишет: «Саботирующие чиновники должны очистить квартиры к 27 ноября. Я перееду 26-го на Моховую, в квартиру графини Пален». Тот адрес известен — Моховая, 28. Известно и другое: в этом же доме жили две тетушки С. К. Бельгарда («Весь Петроград на 1917 год»). Одна из них, как и графиня М. К. фон дер Пален, была фрейлиной императрицы. Совпадение? Вряд ли.

Еще одно косвенное свидетельство — автор дневника не указал года своего рождения, но назвал день — 11 июля по новому стилю. В русских святцах это день преподобного Сергия.

Так что же, автор дневника — Сергей Константинович Бельгард? В письме из Норвегии скандинавские ученые-русисты Енс Петтер Нильсен и Борис Вайль, готовившие к публикации рукопись дневника, поддержали мою версию. Но здесь все-таки лучше пока поставить знак вопроса, потому что прямых доказательств нет, и вряд ли они могут отыскаться.

После 1918 года след Сергея Бельгарда теряется. Его отец, вероятнее всего, попал в число 512 жертв «красного террора», расстрелянных в первых числах сентября 1918 года и не объявленных в списках заложников. Об этом официально сообщил в газете «Северная коммуна» от 6 сентября 1918 года новый глава Петроградской ЧК Глеб Бокий.

Борис НЕПЛОХ

ГЛАЗАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ЧИНОВНИКА

26.X.1917

Коковцов[1] не думает, чтобы образовался большевистский кабинет, считая, что они не уверены в своих силах. В сущности, то, что вчера произошло,— не политический переворот, не восстание, а просто военный заговор. Есть еще возможность спасти положение — демократически реорганизовать Временное Правительство с декларацией о готовности вступить в переговоры о мире. Разгон Совета Республики — 18 брюмера г. Троцкого. Передают слухи об образовании нового министерства в Москве во главе с М. В. Родзянкой и Савинковым как военным министром. Хочется этому верить, но не верится.

27 октября 1917 г., пятница

Весь день прошел на собрании служащих Кредитной Канцелярии, а затем делегаций от всех учреждений Министерства финансов. Собрание началось в 2 часа дня и кончилось в 10 вечера. Постановили начать общую забастовку и указать в резолюции, что, протестуя против совершившегося захвата государственной власти, мы, служащие Министерства финансов, заявляем:

1. Мы не считаем возможным подчиняться распоряжениям, исходящим от захвативших власть. 2. Мы отказываемся входить с ними в служебные отношения. И 3. Впредь до создания власти, пользующейся всенародным признанием, мы прерываем свою служебную деятельность, возлагая ответственность за последствия на захвативших власть. Эта резолюция выражалась в еще более резкой форме, чем резолюция товарищей министра и директора отдельных частей, которые оговаривали перерыв своей служебной деятельности наличием невозможности действовать в законном порядке.

Вечером, от 10 до 12-ти, поспешно эвакуировал свои вещи, так как опасаюсь разгрома моей казенной квартиры.

Приезжал Менжинский. Хотел поручить Замену[2] составить список крупных банкиров. Замен руки ему не подал и ответил, что никакого другого разговора вести с ним не будет, как только об охране дел. Менжинский ответил: «Я не считаю Вас больше директором Кредитной Канцелярии».

28 октября 1917 г.

Вчера в последний раз вышли «Новое Время» и «Речь». Сегодня «буржуазной» прессы уже не видно, да и органы социалистов-революционеров иногда подвергаются насилиям со стороны большевиков и уничтожаются. Народный комиссар по министерству финансов Менжинский приезжал утром в Министерство, но встретил одних только сторожей и курьеров, предпочел вскоре удалиться.

«Воля народа», издаваемая социалистами-революционерами, вышла с заголовком: «Большевики губят Россию! Все на борьбу против них! Граждане, объединяйтесь вокруг единственного представителя революционной демократии — Комитета Спасения Родины и Революции! Да здравствует Учредительное Собрание!»

Военно-революционный Комитет отдал приказ, чтобы повсюду производилась торговля. Все товарищи-рабочие приглашаются прекратить все экономические и политические забастовки.

Смертная казнь отменяется, вводятся самосуды. Большевистская свобода печати — уничтожение всех органов, кроме «Правды» и пр. Помощник военного министра кн. Туманов убит озверевшими солдатами, линчован и брошен в Мойку[1].

В 3 часа дня у Думы перестрелка. 6 человек убито, во всех министерствах служащие прекратили занятия. В «Известиях Центрального Исполнительного Комитета» опубликован декрет Ленина 26 октября о земле. За весь ноябрь будет отпущено по $^1/_4$ фунта коровьего масла, $^1/_4$ фунта растительного или $^1/_4$ фунта сала на человека. Яйца будут отпущены лишь детям и больным.

Воскресенье 29 октября 1917 г.

В 10 часов утра юнкера захватили Центральную Телефонную станцию. Я был на Морской, но выстрелов не слышал. Днем в 4 часа большевики взяли станцию обратно. Была стрельба. В наш министерский лазарет принесли убитого мальчика-рассыльного лет двенадцати. При переноске оказал помощь какой-то иностранец.

На Невском днем было спокойно, тогда как вчера в три часа дня была стычка у Думы и Гостиного Двора. Мне телефонировали (до 5 телефоны действовали исправно), что на Спасской улице обстреляли юнкеров и около Инженерного замка была перестрелка. С пяти телефо-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 8.

[1] Граф В. Н. Коковцов — министр финансов царского правительства с 1906 по 1914 гг. и председатель Совета Министров с сентября 1911 до января 1914 г.

[2] К. Е. Замен — директор Кредитной канцелярии министерства финансов.

[1] Согласно Джону Риду («Десять дней, которые потрясли мир»), кн. Туманов не был убит, лишь арестован. Согласно Зинаиде Гиппиус — убит.

Путиловцы — красногвардейский пикет. Октябрь 1917 г. Фото из фондов ЦГАКФФД

ны бездействуют, хотя сейчас, в 10 часов, чей-то мужской голос откликнулся и меня соединили.

Графиня Клейнмихель три дня не ночевала дома. Сколько эта несчастная старуха переживает.

29.X.17. Воскресенье

Мне кажется, что единственное спасение страны — присылка нескольких дивизий иностранных войск, но технически, говорят, это неосуществимо. Еще в августе я предсказал гибель России и назначил дату: 17 октября. В результате — ошибся всего на неделю.

Понедельник 30 октября 1917 г.

По-прежнему нет никаких известий из других городов. Мы точно отрезаны от внешнего мира. Газет почти нет. На улице тихо. Город по-прежнему во власти большевиков. На улицах разгуливают красногвардейцы.

Красное Село было взято еще в пятницу войсками Керенского. Новый Центральный Исполнительный Комитет постановил войти в контакт с центральными комитетами всех социалистических партий по вопросу о создании коалиционного министерства. Железнодорожный союз угрожает полной железнодорожной забастовкой, если не будет образовано чисто социалистическое министерство.

Под видом борьбы с большевиками «Комитет спасения Родины и Революции» хочет захватить в свою очередь власть. Не следует забывать, что этот Комитет состоит из социалистов-революционеров и требует образования однородного социалистического министерства.

Был в Английском Офицерском Собрании. Англичане разобщены от всего мира и тоже ничего не знают и естественно злятся. Был у датского посланника Скавениуса [1]. Они переезжали на два дня на Сергиевскую, в здание австрийского посольства, думая, что там будет спокойнее. У них приютилась графиня Клейнмихель.

31 октября, вторник

Голод в Петрограде неминуем: за субботу было привезено всего 5 вагонов продовольствия, в воскресенье — один. Генерал Каледин задерживает вагоны, идущие в Петроград. Англичане мне говорили, что юнкера Николаевского Кавалерийского Училища, охранявшие английское посольство, перепились виски и шампанским, которое они стащили у одного из

[1] Харальд Скавениус (1873—1939), датский посол в России (1912—1919).

секретарей, и так, что на следующий день только один мог встать. Пришлось жаловаться большевистскому Главнокомандующему подполковнику Муравьеву.

Комиссия Труда Рабочего и Крестьянского Правительства (бывшее министерство труда) мобилизует новых служащих, верных революции, приглашая их занять посты во всех учреждениях новой народной власти. Открывается запись на работу вместо чиновников бывшего Временного Правительства, которые «благодаря своему ослеплению саботируют свои обязанности, не считаясь с вредными последствиями своего поступка».

Народным комиссаром по министерству финансов был назначен некий Скворцов [1]. Сегодня приказом по министерству финансов назначен временным заместителем народного комиссара Вячеслав Рудольфович Менжинский.

Приказано производить с сегодняшнего дня работу в обычное время. Если в каких-либо учреждениях министерства финансов забастовка будет продолжаться, начальники этих учреждений будут немедленно арестованы. Выходит новый орган Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов «Рабочий и Солдат». Это вечерняя газетка большевистского направления, полная теперь яростных нападок на социалистическую прессу.

Новая острота: что такое анархия? Анархия — это когда «всем, всем, всем» можно делать все, все, все! [2]

Я по-прежнему сомневаюсь в успехах Керенского. Слишком имя его всем ненавистно. И во имя чего и для чего его будут солдаты поддерживать. С выступлением большевиков они получили все, или, по крайней мере, обещание всего: мира, земли, полной свободы, граничащей с коммуной. Чего еще?

Правые не станут поддерживать такого прохвоста, как Керенский, который думает только о себе, о своей власти и губит Россию окончательно и бесповоротно. Я предпочитаю Ленина, открытого врага, Керенскому, этому волку в овечьей шкуре. Воображаю, как радуются теперь немцы при прелестных известиях из России.

Убита госпожа Слуцкая, член Петроградской Городской Думы, в то время, когда она выступала с зажигательными речами перед войсками Керенского [3]. Туда ей и дорога. Она была убита наповал осколком снаряда.

[1] И. И. Скворцов-Степанов (1870—1928).
[2] «Всем, всем, всем!» — так начиналось обращение Керенского и большевистские обращения после октябрьского переворота.
[3] Вера (Берта) Слуцкая (1880—1917) — большевичка.

Опять слухи о взятии Аландских островов и о десанте. Сегодня я заходил в шведскую миссию. Там нет никаких сведений. Трудно разобраться в разноречивых известиях. Мне кажется, что песня Керенского спета.

31.X.1917

Вчера Викжелем [1] получены телеграммы о том, что в Москве творится нечто невообразимое. Убитых и раненых до 2000. Винный склад в десятки тысяч ведер осаждается возбужденными массами, толпы врываются в дома, начинается пьяный погром. Разгромлен кадетский корпус, масса кадет перебита.

1 ноября 1917 г., среда

У нас в министерстве продолжается забастовка. В воскресенье опять мерзавец Керенский учинил подлость: юнкерам было приказано отражать большевиков и к 7 час. вечера обещана была помощь. Вместо этого Керенский опять занимался произнесением речей в Царском Селе.

Я об одном мечтаю — видеть Керенского повешенным.

Из-за угроз Менжинского в частных банках опять полная забастовка. В Государственном Банке — тоже. Сегодня сберегательные кассы будут открыты на два часа.

2 ноября 1917 г.

Вчерашний день в «военном» отношении прошел тихо, стрельбы не было. Красногвардейцев на улицах, по крайней мере, в центральных частях города, немного. Происходят междупартийные переговоры, которые, по-видимому, сегодня выльются в определенную форму. Вероятно, премьером будет Чернов. Сбывается то, что я предсказывал еще два месяца тому назад. Политическая болезнь русского государства течет совершенно нормально. В составе нового кабинета Ленин и Троцкий не будут участвовать.

Мне кажется не трудно предсказать грядущие политические события, если только руководствоваться логикой и здравым смыслом, а не россказнями, слухами, болтовней, а главное несбыточными надеждами и бессмысленными мечтаниями. Забастовка министерств продолжается, но с завтрашнего дня мы приступим к текущим делам.

Очень интересно читать газеты противоположных лагерей: и те и другие ругаются и подтасовывают факты. Мы

[1] Викжель — Исполнительный Комитет Всероссийского Союза железнодорожных рабочих и служащих.

дошли до того, что правым органом считаем «Волю Народа» партии социалистов-революционеров с заголовком «В борьбе обретешь ты право свое!». «Воля Народа» называет позором капитуляцию перед большевиками. Соглашение с большевиками — неизбежная и перманентная гражданская война, гибель России, позорное самоубийство революционной демократии, смертельный удар родине и свободе.

Сила теперь на стороне большевиков, но обещания их неосуществимы, они их не исполнят и останутся в блестящем одиночестве. Мира не будет — это уже ясно, хлеба — тоже. Не будет керосина, угля, начнется полная нужда. А уже о свободе и помину нет. Среди железнодорожников раскол. Среди чиновников — тоже. Так, у нас в Министерстве завтра уже приступают к частичным занятиям, находя, что мы уже достаточно выказали свой политический протест против захватчиков власти. Кто бывал в эти дни в Смольном, утверждает, что все заправилы — жиды.

2.XI.17

Обедал в Офицерском Собрании английской военной миссии. Из печальных новостей сегодняшнего дня пока подтверждается забастовка в Финляндии и взятие Аландских островов. Есть слух о самоубийстве Керенского. Я лично слуху этому не верю — такие подлые эгоисты не стреляются.

Заходил в бельгийскую миссию сговориться с Lalaing[1] поселиться вместе в Москве в случае эвакуации. Застал сборище бельгийцев по случаю дня рождения Короля. Собрание происходило во мраке, т. к. до $5^1/_2$ часов не пускают электрического света. Было объявлено, что в клубах не будет света, а между тем я был у нас в клубе, и ровно в шесть зажглось электричество. «Положительно при большевиках больше порядка»,— воскликнули мы.

В английском офицерском собрании очень симпатично, мне, по крайней мере, т. к. я люблю англичан и их обычаи, но неинтересно: все они чрезвычайно сдержанны, ничего никогда не узнаешь. Теперь они оптимистично настроены, т. к. хуже, чем было, быть не может. Много разговоров о том, что Вильгельм будто бы отверг предложенный большевиками мир. Другого и нельзя было ожидать от такого умного человека, как кайзер. Он прекрасно понимает, что мир, предложенный одной только политической партией — простой блеф и всем русским народом признан не будет и реального значения не получит. Но какой это козырь в наших руках. Социалисты сели в лужу. Особенно трагично положение Плеханова и других идейных партийных работяков: всю жизнь стремиться к чему-нибудь и когда надежды осуществились — убедиться, что они в то же время погибли.

Несомненно, что Керенский окончательно погиб, если еще не физически, то, во всяком случае, политически. Действительно, всем, всем, всем имя его ненавистно.

5 ноября 1917 г., воскресенье

Выпал первый снег. В былые годы в это время был санный путь.

6 ноября, понедельник

У нас в министерстве забастовочное движение усиливается. На сегодняшнем общем собрании решено во всех учреждениях продолжать забастовку и производить работы только с разрешения Союза Союзов по неотложным делам, непосредственно связанным с нуждами обороны. В субботу утром был арестован и увезен в Смольный И. П. Шипов, а в субботу же днем возили на допрос в Смольный товарищей министра Кузьминского, Шателена и Фридмана, а также Замена и Дементьева. У нас в министерстве сидит в министерском кабинете некто Ланицкий. С чинами нашего ведомства большевики в Смольном были изысканно любезны и только, ничего не добившись, перешли на угрозы, что, если им не дать ассигновки на 15 миллионов, они захватят Государственный Банк и возьмут столько, сколько им понадобится.

6.XI.1917

Попытка большевиков «ограбить нацию» на 15 миллионов пока не увенчалась успехом. Я не поручусь, что они не приведут в исполнение своих угроз взломать государственные сундуки — они пойдут на крайние средства. Терять им нечего.

Вместо семеновцев в Государственный Банк был прислан большевистский караул Павловского полка. Но так как павловцы не знали пароля, семеновцы отказались смениться. В случае разгрома Государственного Банка, по словам Шингарева[1], по всей России прокатится страшная кроваво-погромная волна, которая сметет со своего пути все живое.

Опубликовано воззвание служащих Министерства Финансов к населению Петрограда и ко всему русскому народу, что они готовы удовлетворять все законные и неотложные нужды армии и населения, но, не желая быть участниками в расхищении народного достояния, они не подчинятся давлению захватчиков и при попытке насилия над кемлибо из чинов ведомства, они немедленно прекратят свои работы, возлагая заранее всю ответственность за могущие произойти потрясения на лиц, производящих покушение на средства народа.

В Министерстве Иностранных Дел, несмотря на строгий приказ г. Троцкого, сегодня никто не явился. До последних событий курс рубля в Стокгольме держался в пределах 31-36 ёре. Под влиянием событий курс упал до 12, а при разговорах о возможном мире сразу поднялся до 45.

2 ноября, 1917 г.

Ночью была ограблена касса Кредитной Канцелярии. Грабителями явились полотеры; было разгромлено два шкапа, и никто ничего не слыхал! Сегодня утром большевики пытались вскрыть кладовые Государственного Банка, но стоящие в карауле семеновцы не допустили разгрома «народного достояния».

Менжинский объявил, что если Совету Народных Комиссаров не будет выдано 10 миллионов рублей, сумма эта будет взята путем взлома кассы силою. Совет Государственного Банка постановил: Совет не считает себя вправе удовлетворить это требование как не основанное на законе. Текущий счет на имя Совета Народных Комиссаров не может быть открыт, т. к. Совет не пользуется правами юридического лица.

В армии начался форменный голод. Солдаты бегут из окопов.

8 ноября, среда

Вчерашнее нападение на Государственный Банк не увенчалось успехом. У И. П. Шипова от страшного волнения сделался припадок астмы. Армия — без хлеба, северная Россия — тоже. Стране грозит всеразрушающая катастрофа. Петрограду и Москве (т. е. положение там не лучше, если не хуже) грозит неминуемый голод, остановка фабрик и заводов, водопроводов, газового и электрического освещения, трамваев.

По-моему, напрасно взваливать всю вину в теперешней катастрофе на большевиков. Несомненно, выступление большевиков ускорило катастрофу, но истинной причиной была причина уже не партийного и государственного характера, а стихийного. То, что теперь происходит — неминуемо должно было случиться, и случиться именно теперь, перед наступлением зимы, и вне зависимости от того, кто находится у власти. Если бы сам Николай Угодник и все святые ангелы с ним явились бы править нашей несчастной страной, неумолимой судьбы, роковой и катастрофической, они не могли бы предотвратить.

9 ноября 1917 г., четверг

Большевиками захвачена московская контора Государственного Банка, в которой находилось кредитных билетов на 100 миллионов рублей. 12 ноября — день выборов в Учредительное Собрание. В этот день опять ожидаются беспорядки. В воскресенье каждая богатая квартира (свыше 2400 рублей) должна пожертвовать для отправки в действующую армию теплую одежду и одеяло. Этот приказ — прекрасный повод для производства самочинных обысков и хищений.

9.XI.17

Реквизиция теплых вещей будет произведена большевиками при посредстве домовых комитетов. Служащие Государственного Банка категорическим образом протестуют против покушения на кассу Государственного Банка лиц, силою захвативших власть и именующих себя Народными Комиссарами. Служащие Экспедиции присоединились к этому протесту.

Встретил сегодня Mr. Meserve[1] директора National City Bank, который только что вернулся из Москвы. В революционные дни шесть дней им пришлось отсидеть безвыходно в Национальной гостинице, частью даже в погребе. Пищи было мало. Один раз в день давали горячий суп. У гостиницы снесена крыша и пробиты стекла. От пережитых волнений он уезжает с семьей в Америку.

Мне вспоминается, что в 1905 году на каждом шагу употреблялись новые тогда слова «хулиган», «платформа», «экспроприация» (вместо «воровство»). Теперь же только и слышно о революционном суде, революционной дисциплине, революционных лозунгах. Иностранцы не могут без омерзения слышать слова «svoboda» и «tovaristchi». Когда Albert Thomas, французский министр снабжения (социалист), был прошлой весною в Петрограде, он, говорят, сказал: «La Russie est fourtu pays qui sera bientót foutu».[2] Слова оказались пророческими. Уезжая он воскликнул: «J'ai oublié d'aller a Zarskoe Sélo, serrer lamain a ce brave

[1] Сотрудник бельгийского посольства.

[1] А. И. Шингарев — министр финансов Временного правительства.

[1] Генри Фессенден Мезерв — представитель National City Bank'a, руководимого Фрэнком Вандерлипом. Русское отделение этого банка открылось в 1916 г., закрылось в 1918 г.

[2] Россия — это гиблая страна, которая скоро погибнет.

Nicolas II qui pendant vingt trois ans a py gouverner cette crapule».[1]

По возвращении во Францию его спрашивают о впечатлениях о нашей революции: «Oh, ils sont charmant les tovaristchy, mais c'est étonnant qu'ils ne portent pas de boucle a leur hez!»[2]

А все-таки я продолжаю утверждать, что партии большевиков у нас нет — есть кучка «максималистов», быть может, идейных, быть может, подкупленных немцами, и за ними русское стадо, которое нисколько политикой не интересуется, лишь бы только окончилась война, прошла бы дороговизна, уменьшился бы голод, передана была бы крестьянам земля. Какое правительство принесет эти жизненные блага — народу совершенно безразлично. Весь вопрос, как это осуществить.

Кто бы теперь ни находился у власти — теперешние бедствия были неизбежны, они являются результатом ошибок многих лет, отсутствия образования, а главное, дисциплины и добросовестности у русских людей.

Размеры теперешней катастрофы нельзя охватить разумом. Когда подумаешь, что от великого государства, от великой Российской Империи остались одни лохмотья — жутко становится на душе. Прежняя жизнь отошла в вечность.

Как ни старайся развивать в себе эгоизм, как ни думай только о себе и своих делах — нельзя побороть в себе чувства стыда и позора, нельзя не болеть душой за свою несчастную родину.

10 ноября 1917 г., пятница

Совершилось позорище земли русской: наше «Правительство Народных Комиссаров» предложило сепаратный мир,— иначе нельзя назвать приказ Верховному Главнокомандующему о заключении немедленного перемирия для начатия мирных переговоров.

На фронте творятся ужасы, солдаты убивают генералов и офицеров и голодные и озверевшие бегут в тыл.

10.XI.17

Большевики стремятся во что бы то ни стало организовать выборы в Учредительное Собрание 12-го, хотя в то же время лишают возможности вести свободную политическую агитацию. В. Ульянов (Ленин) обратился с воззванием к солдатам, призывая их не дать контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира: «Вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда... Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры с неприятелем. Совет Народных Комиссаров дает вам право на это».

Какой кошмар. Призывы к арестам и к измене родине. Холод на душе. Военно-Революционный Комитет в воззвании, расклеенном на всех углах, объявляет, что чиновники подрывают работу правительства, казначейств и государственного банка, не выдают денег. Контрреволюционные чиновники являются самыми бесчестными преступниками по отношению к голодающим и умирающим на фронте. Военно-Революционный Комитет делает этим преступникам последнее предостережение. В случае малейшего сопротивления или противодействия с их стороны по отношению к ним будут приняты меры, суровость которых будет отвечать размерам совершаемого ими преступления.

Этот призыв к насилиям заключает совершенную ложь. В государственном банке и казначействе оплачивают все ассигновки, относящиеся к обороне, а самим большевикам денег не дают и не дадут.

Большевики обещали мир на всех фронтах, а устроили перемирие только на русском фронте, они осуществляют сепаратный мир и оставляют за немцами десятки русских губерний.

11 ноября, суббота

Министерство финансов категорически заявляет, что слухи будто по вине служащих министерства и, в частности, Государственного Банка, армия и население терпят голод, холод и другие лишения, т. к. чиновники не желают будто бы давать деньги на народные нужды... слухи эти ложны — не верьте им.

За время с 25 октября по 9 ноября Госбанком выпущено в обращение кредитных билетов на 610 миллионов рублей. Сегодня опять состоялось общее собрание служащих Кредитной Канцелярии; как всегда, происходили бесконечные споры и наконец постановили продолжать забастовку в тех пределах, вернее сказать, с теми исключениями, как было уже принято и проводилось. Окончание забастовки ставится в связь с окончанием выборов по Петрограду в Учредительное Собрание.

Продолжение следует

---

[1] Я забыл съездить в Царское Село, пожмите руку этому храброму Николаю II, который в течение 23 лет смог править этим сбродом.

[2] Они очаровательны, эти товарищи, но очень странно, что они не носят колец в носу!

НЕТЛЕННЫЕ ДАРЫ ИСКУССТВА

А. Остроумова-Лебедева. Стрелка Васильевского острова

Е. Кругликова. Автопортрет

В наше кипучее время, щедро заполненное обилием художественных выставок всех направлений, как-то не успеваешь угнаться за несущимся опрометью калейдоскопом живописных полотен, эстампов, огромных панорам — многозначительных, нервно-пульсирующих...

И так ощутима бывает жажда передышки, когда вдруг захочешь оглянуться, вздохнуть полной грудью, и потянет душой в петербургскую заветную старину, манящую неярким светом и сладостным запахом детства.

Тут сразу же возникают в памяти имена чудодейственных наших мастеров искусства, тех, кто навсегда восславил в своих произведениях красоту родного города на берегах Невы.

Перечень замечательных художников, что были связаны судьбой с Ленинградом,— неисчерпаем; вспомнятся тут и Анненков, и Добужинский, Бенуа и Лансере, Верейский, Пахомов, Тырса, Лапшин...

Совершенно необходимо пополнить этот почетный список именами двух замечательных и на редкость разнообразных в своем искусстве художниц — Анны Петровны Остроумовой и Елизаветы Петровны Кругликовой. Обе они, эти чародейницы (лучше не скажешь),— великолепные граверы, мастера цветного офорта, автолитографии. Поражает в богатом их творчестве многообразие сложнейшей техники от акватинты до живописных полотен или тонкого, трепетного силуэта.

Все, кажется, постигли, освоили в искусстве эти поразительные художницы, все одушевили своим поистине уникальным дарованием.

Советую моим читателям,— не поленитесь взять в своей библиотеке монографии и альбомы Кругликовой и Остроумовой-Лебедевой. Это принесет вам истинную радость и укрепит любовь к нетленной красоте Ленинграда.

Борис СЕМЕНОВ

А. Остроумова-Лебедева. Новая Голландия